95 коп.

14

Индекс 73276



«Нева», 1988, № 4, 1—208

НЕВА 4 1988

ISSN 0130-741X

НЕВА

4 | 1988

Дани

Содержание

В номере вклейки: «Книжная графика Алексея Федоровича ПАХОМОВА» и «Живые краски мира. Страницы творчества О. Б. БОГАЕВСКОЙ».

На обложке: плакат художника ДЕНИ (1926 г.)



Рис. Фаины Васильевой

Александр КУШНЕР

ПОСЕЩЕНИЕ

Там, где в детстве и жил,
Я опять побывал.
Я настиг, ощутил
Это время, в провал
Заглянул, не узнал,
Восхитился, застыл,
Этот мальчик был мал.
Из калитки вела
Золотая тропа
В рыжеватый лесок.
Там зеленая мгла,
И сосна, и песок,
Там топталась судьба
И дышала в висок,
Непостижна, груба.
Там двойная игла
То свисала со лба,
То сползала со щек.

Там, на круглом лугу,
Среди запаха смол
Перед детским в долгу
Взрослый был волейбол.
При подаче, как вол
Исподлобья, дугу
Описав, он вбивал
В землю резаный мяч,
О, как я ликовал:
Этих взрослых подач
Был прекрасен обвал.

Луга нет и столбов
Не найти. Игроки
В немощных стариков
Превратились. Руки
Не поднять. Может быть,
Кто-то в царстве теней
Сетку смог раздобыть,
Мяч заняв у детей.

Если даже цветок
Понимает язык
Музыкальный и в шок
Его — окрик и рык
Повергают, то вот
Эта старая ель
Помнит, может быть, тот
Детский взгляд и черед
Летних дней и недель.

Ах, я детства боюсь,—
Золотая тщета!
Нас смутили б, клянусь,
Впечатлительность та,
Одиночество,— мнусь,
Не шагнул бы туда.

Что за год это был?
Он делил пополам
Век двадцатый, любил
«Князя Игоря», срам
Обещавшего свой
Искупить и позор,
Чуть не до хрипоты,
В каждом доме — степной
Половецкий шатер...
«Кавалера звезды»
Он любил «золотой».

«Далеко от Москвы»
Он читал в поездах,
Но июльской листвы
Ликованье в садах
Волновало сильней —
И суждений гостей
Не запомнил, увы,
На террасе, впотьмах.
«Попрощайся скорей
И ложись...» В двух шагах

За стеной разговор
Продолжался, но слов
Не расслышать... Кустов
На подушке узор.

Ну, доволен ли ты
Жизнью взрослой своей?
Не хотел бы другой?
Как немеют кусты
И дрожат под рукой!
Сколько мыслей, людей,
Быстротечной воды
Утекло, новостей...
Я отвечу, постой!

Я ее предвкушал
Не добрей, не полней,
Среди тех одеял
Дачных, зыбких теней,
Но и в судорогах зла
И в объятьях любви,
Что она превзошла
Ожиданья мои,—
Не скажу,— словно мне
Был заранее дан
В детском том полусне
Общий смысл ее, план.

Пусть вину от обид
Отличить не спеша,
Сердце детское спит,
Ум неразвит и слаб,
Но тоскует душа:
Не понять норовит,—
Примириться хоть б
С этой жизнью, томит
Ее — хохот и храп.

Стук мяча, голоса
На площадке, сосед,
Шаркавший полчаса
В коридоре,— ей лет
Столько... ночью игла
Колет хвойная нас...
Столько, сколько жила
На земле она раз.

Изумленье, испуг,
Хвойный дождик в леске.
Словно вызвали вдруг
Ученицу к доске,
Хмурят строгую бровь,
Предлагают мелок —
И, отличница, вновь
Отвечает урок.

* * *

Он, о себе говоривший, что крупного плана
Видеть не может без слез на экране,— шутя
Это сказал,— все равно, даже хвостик барана
Маленький, толстый, тем более — струи дождя,
В фильме как будто бегущие вскачь, и малина,
Белые, острые, цепкие листья ее,
Взгляд человеческий, женское платье, овчина
Желтая, жесткая, жаркая, просто тряпье
Или репейник, тем более — цепкая дверца
Автомобильная, кто обращается с ней.
Так осмотрительно? — щелкнула,— екнуло сердце,
К псковскому поезду! — потные лица детей,
Он, замороченный лефовскими острякам,
С ними не спевшийся, хоть и пристегнутый к ним,—
Как на экране глаза голубеют белками!
Нет, кроме шуток, и бог, если есть,— нелюдим,
Полка вагонная, плащ, на крючок аккуратно
Кем-то повешенный, кажется, нет ничего
Будничней, господи, жилки венозные, пятна
Старческих рук, это счастье смертельно, громадно,
Весь он в слезах — и не надо смотреть на него!

* * *

Родись в другой стране — и жизнь совсем другую
Я прожил бы, мой друг.
Но помню гнев войны, сумятицу людскую
Эвакуационных вьюг.

Нет, нет, не с теми я, кто хвалит свой обычай
За счет чужого, жаль

Квасного дурака, его повадки бычьей,
Подай ему гармонь, замкни ему рояль.

Сквозь щели жалюзи блеснут глаза Европы
В кино на полотне.
Счастливей был бы там, доверчивей, но опыт
Смертельный там почем, в какой у них цене?

Не купите его, как эту балалайку,
Фанерный сувенир.
На западную мне смотреть приятно стайку
Щебечущих транжир,

Не знающих по-русски,
Живущих, как в саду, не так, как мы — в лесу.
Но я люблю стихи, подъемы эти, спуски,
Колеблемый тростник, звучащую лозу.

В комедии играть? Но мне привычней драма,
Как хвойный этот век, как снежный этот мел.
Без Анненского я прожить, без Мандельштама
Не мог бы, не хотел.

* * *

Вот и кончается скорбный наш век.
Что ж, оглянись на него еще раз.
Кажется мне или вижу сквозь снег,
Как среди адских безжизненных нег
Сталин и Мао слушают нас?

Там, на банкетке кремлевской, вдвоем
Слушают, как мы и что мы поем,
И совещаются с глазу на глаз
Утром и вечером, ночью и днем.
Слушают нас, слушают нас.

Век отсверкал, отгремел и отцвел.
Парочка эта в нездешней тени
Стоит всех знаний, учений и школ.
Кто впечатленье на нас произвел
Самое сильное в жизни? Они.

Будь ты хоть половец, хоть печенег,—
Крепнет единство народов и рас.
В хоре нас, школьников, сто человек,
Высимся мы, как Тянь-Шань и Казбек,
Сталин и Мао слушают нас.

В школьном я хоре всех лучше пою.
Сталин коленку погладил свою,
Мао скосил подозрительный глаз...
Как изменилось все,— не узнаю!
Те, кто моложе, не верят сейчас.

РОМАН С ГЕРОЕМ -КОНГРУЭНТНО- РОМАН С СОБОЙ

Ну, предположим, освоилась с языком, обжилась с людьми, с делом их, с краем, сижу уже как своя. И чего? Дело-то — их, а не мое, я-то все равно сбоку-припеку. Они и без меня очень даже прекрасно свое дело делают. Я им только мешаю. Без меня их дело не заржавеет. Я спокойно могу убраться подобру-поздорову, поскольку все равно было не больно понятно, чего мне тут было нужно столько времени и зачем. А ведь так обидно, что без меня — нигде ведь не заржавеет! Так все-таки надежно, когда ощущаешь себя конкретным специалистом — по молекулярной спектроскопии, ухо-горло-носу или по кенгуриному хвосту. Тогда ты кому-то точно и наверняка нужен. Тебя уже даже в Малых Бердышах ждет уже, прямо возле самолетного трапа, ждет заждавшийся именно тебя, профессионала и специалиста, неистовый спектроскопист, размахивая тебе навстречу новой молекулой. Ты желанен в любой компании — на Памире, в Москве и даже на необъятных просторах Восточно-Сибирской низменности, каждый сразу тебе покажет ухо, нос, горло, селезенку, распахнет — без всяких с твоей стороны усилий и просьб — свой самый сокровенный цисцит, одарит тебя корой и подкоркой. Потому что — каждый сразу верит тебе, ждет от тебя совета и ощутимой помощи. А коли, будучи специалистом по кенгуриному хвосту, ты не поленишься заглянуть, например, в Сидней, тебя и там сразу встретят с распростертыми объятиями братья по хвосту, ибо у тебя и там есть непременно ученики, аспиранты, коллеги, нерешенные проблемы хвоста и далеко идущие замыслы, требующие коллективных усилий на базе кенгуру и общего человеческого прогресса, где ты сам ощущаешь свое законное место и другие его за тобой признают. А меня кто где ждет? Только Машка в кухне со своим опять же — кризисом очередного переходного возраста. Издатель плачет по мне? Убивается редактор? Читатели бьют сапогами в дверь? Да при теперешнем-то потоке литературы, коли я промолчу,— всем только облегчение глаз и жизни...

А хоть и не промолчу! Ну, «тало» мое сделает, предположим, тихое свое «ш-ш-ш...» Но дом-то, черт возьми, не вздохнет и не вздрогнет, вот беда. Силы мои слабы, а мир так огромен, человек так огромен, столько он уже написал, придумал, сделал и понял в науках, в технике и в искусстве. Себя, правда, он пока маловато понял. Тут бы, кажется, и воткнуться, тут — желанная бесконечность. Кишка тонка.

Душа, душе, душою, о душе. А где мой милый? Милый мой — в парше.

Но работать все равно нужно. Спросите — почему? Я скажу. Мой дружок-художник, коего я чту как мыслителя, мне все элементарно объяснил. Если кто-то не делает то дело, к какому — призван (что «кажный» к какому-то — единственному его — делу призван — это для него аксиома), то образуется дырка и дырка эта зиять будет вечно, если ты и только именно ты не заткнешь эту дырку, то есть не заполнишь ее своим делом, не замуруешь ее своим неусыпным трудом, не забетонируешь своими мозгами, не залепишь воском своего сердца. «А где дырка-то? В чем?» — полезла я уточнять. «В мироздании»,— объяснил мой дружок-художник. «И какие эти дырки на вид?» — поинтересовалась я. Люблю наглядность на уровне абстракции. «Если математическое мышление не совершенно, то где же еще искать истину и уверенность», как все тот же Гильберт справедливо заметил. «Всякие,— уклонился от примитивной наглядности мой дружок-художник.— У кажного — своя». Я представила стройное здание мироздания — всё в дырьях разных конфигураций, как в язвах, дырья эти взывали, вопили, чесались и корчились, в них налезали черные злые мухи, раздырявливали их еще глубже, больнее, хуже, дырья мучились и беззвучно, раздирая дырявые рты, кричали мне черными, запекшимися губами: «заткни! заткни!» Здание мироздания, изрешеченное дырьями, трещало и шатко раскачивалось над бездной вечности, того гляди — могло туда завалиться...

«Так оно же рухнет!» — «Пока кажный делает свое дело, не рухнет»,— успокоил меня дружок-художник. Эмалевые его глаза бессмысленно и целенаправленно глядели в никуда, значит, он сейчас думал светло и цепко, находился в прекрасной творческой форме, он, как правило,— в ней, даже противно. «Ну, ко мне это не относится,— грубо отмела я.— Моей дырки там нету».— «Есть,— сказал он.— Твоя, моя, Машкина, этого твоего из школы, у кажного она обязательно есть».— «А моей все равно нету»,— уперлась я. «Хоть маленькая, да есть». Было обидно, что он согласен на маленькую для меня, себе, небось, отвел котлован, но все-таки приятно, что моя — есть. «Сам придумал?» — «Ну, что ты? Это — наука». Отлично знает, что против науки я бессильна. Впрочем, сугубо научным сведениям, от него исходящим, я как раз не верю. Не то, чтобы вовсе не верю, но делаю обязательную скидку на его изначально-художественное восприятие любого знания, когда точный факт трансформируется иной раз даже и до полной своей противоположности. Но факты, как известно, упрямая вещь. Поэтому — интересность от такой трансформации порой даже возрастает, но сам-то факт проходит уже по другому ведомству — по ведомству искусства и этим же тогда уже определяется его истинность, органично встроенная в художественную систему моего дружка. Можно вдруг наблюдать тогда несусветное — исключительно субъективную истину, которая даже перевернувшись наоборот и в любую сторону, не утрачивает истинности и ею, наоборот, остается. «Если ты не будешь свое дело делать, твоя дырка там останется навсегда, будет всегда мешать и всегда чувствоваться...» — «Кому мешать?» — обозлилась я. Это — мое личное, в конце концов, дело. И моя — дырка. «Ну, культурному процессу...» Это еще — что за фрукт? Ладно. «И как же чувствоваться?» — «Ну, как — дырка. Пробел. Пустота...» Удивительно постная все-таки личность мой дружок-художник! «Отстань, буду работать».— «А как же иначе?» Ишь, сразу повеселел.

Расписнушка — такая крошка, яркий райский цветок, глядит восхищенно и кротко, как прекрасен ее сынок. Средь зеленых арчовых веток нигде больше такого нету, как силен он и как красив, как червей глотает горстями, вон — как челка его стоит над разбойничьими глазами! Расписнушкино сердце бьется упоительными толчками: ах, сыночек, это — сыночек, он пробьется, этот — пробьется, будет первым промеж орлами!

Старая, добрая модель иррациональной любви. Куда ж от нее? На ней мир испокон веку стоит. Куда ж с ней, единственной да неистовой? Она же ребенка загубит своей топленой нежностью, а потом сама же будет рыдать и винить этого — своего — ребенка. Между этим вот святым молотом родительской любви и ее же священной наковальней и надсаживается, снует, суетится и все подставляет, и подставляет — то туда, то сюда — свое безотказное плечо настоящий Учитель...

Вряд ли тогда, досточтимый сэр, директор бы сильно расстроилась, если бы Вы из школы действительно ушли,— на завод ведь, не в подворотню. Ну, конец августа, перемоглась бы сколько-то в сентябре с Вашими выпускными,

---

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1988, № 2, 3.

сама повела бы, глядишь — какой-никакой математик бы подвернулся, помогло бы роно. Такого, как Вы, она, пожалуй, и искать бы не стала. Где такого найдешь? А главное — зачем? Но директор, хоть год уже проработала на директорском месте, совершенно не знала, оказывается, подведомственного коллектива. Вы еще кипели в оскорбленной гордыне и даже, после завода, чтобы печально упиться своею отныне свободой, отправились на дневной сеанс в кино, а в директорский кабинет уже бочком входила учительница химии, Надежда Кузьминична, человек тишайший и безответный, и своим тишайшим и безответным голосом, словно у нее птенец в горле и страшно его потревожить звуком, Надежда Кузьминична, краснея, уже сказала директору: «Я должна Вас предупредить, что если с Васильевым — правда, то я в этой школе работать не буду...» — «Как это — не будете?» — даже не поняла сначала директор. «Простите, не смогу». И тишайшая и безответная Надежда Кузьминична уже вышла. Директор только головой успела мотнуть.

И тут же ворвался преподаватель физкультуры, певун, говорун и оптимист, которому все — всегда хорошо, все — трын-трава, лишь бы дети бегали, прыгали, лазили по канату и глядели орлами. Школа по физкультдостижениям держала первое место. «О-о, хорошо — застал,— бурно обрадовался физкультурник.— Куда заявление положить?» — «Какое, Алексей Петрович?» — спросила директор. Но она уже поняла. И ее, надо думать, захолонуло. Ведь конец же августа! И если уж физкультурник?! «Приходится эту школу покинуть,— весело доложил физкультурник.— Семейные обстоятельства, тут написано». Небрежно бросил заявление на директорский стол. И — как его не было.

Зато сразу, как под дверью стояла, вошла мама-Нестерова, председатель родительского комитета. Директор вдруг у нее спросила: «Не знаете, у Алексея Петровича есть семья?» Плохо она изучила за год свои кадры, плохо. «Нет, он пока неженатый»,— сказала мама-Нестерова, которая знала всегда все и удивить ее неожиданным вопросом не было ни у кого никакой возможности. «Я так и думала»,— сказала директор. «А в чем дело?» — заинтересовалась мама-Нестерова, поскольку не знать чего-нибудь, что знает кто-то другой, для нее — непереносимая ситуация. «Так, пустяки»,— сказала директор довольно нервно.

«Говорят, Юрий Сергеевич из школы уходит?» — это был со стороны мамы-Нестеровой вопрос совершенно риторический, так как она все подробности получила от завуча, Нины Геннадиевны Вогневой, еще вчера вечером по телефону. И тут же, кого надо, обзвонила. Вот-вот должен был подъехать папа-Тупыгиной-Веры, мама-Солянская, дедушка-Панько-Димы. А папа-Шарьян-Владимира, как самый высокодолжностной среди родителей обоих десятых классов, обаятельный и умеющий вести беседу на любом уровне, с утра был снаряжен уже в гороно (тогда было, конечно, еще гороно), дважды уже оттуда звонил, но зав пока не появился, а говорить с замами — это все они еще ночью по телефонам согласовали — не имеет смысла. «Возможно», — сухо кивнула директор.

«А вы представляете, что это такое?» Этот вопрос мамы-Нестеровой был уже вовсе не риторический, скорей даже — дружеский. И она серьезно, без обычной ее игривой легкости, заглянула в глаза директору. Глаза были холодные. «Потеря учителя — для школы всегда беда,— сказала директор.— Особенно — перед самым началом учебного года. Особенно — такого, как Юрий Сергеевич Васильев. Но если уж так получится...» Она развела руками. «Значит — не представляете,— подытожила мама-Нестерова.— Если позволите, объясню».— «Объясните»,— разрешила директор. «Во-первых, за ним уйдет Маргарита Алексеевна...» — начала мама-Нестерова.

Уход Маргариты вряд ли так бы уж директора огорчил, если сказать по чести. Думаю, эрудиция Маргариты ее слегка уже утомила за прошедший год. Но она сказала: «Для этого нет ни малейших оснований, мы этого, разумеется, не допустим».— «Если Маргарита Алексеевна решит, то допустите,— не очень тактично отмахнулась мама-Нестерова.— А она — решит. Во-вторых, у вас разбегутся девятые классы. В-третьих, кто бы на место Васильева ни пришел, десятые — этого человека не примут и объявят ему бойкот».— «Не

нужно преувеличивать,— сказала директор.— Это уже картина какого-то мятежа в пределах школы. Так, слава богу, не бывает».— «Не бывает, но будет. Вдобавок — еще кто-нибудь из учителей уйдет. Интересно, с кем вы останетесь?» — «Никто никуда не уйдет,— рассердилась директор.— Только не нужно меня пугать! Не я его, в конце концов, выгоняю...» — «А кто?» — поймала ее на слове мама-Нестерова. «Он сам уходит».— «Так нужно сделать, чтобы он не ушел»,— раздельно произнесла мама-Нестерова, фразы которой обычно лились слитным потоком. «Это уже — вне нашей с вами компетенции».— «Вы меня не поняли. Ваше дело — уговорить Васильева забрать обратно свое заявление, а уж других — другие уговорят, в чью компетенцию это входит...» — «Я никого уговаривать не буду»,— сухо сказала директор. Тут в кабинет ее вежливо постучались. И появилась, кажется, Маргарита...

Все равно упрощаю, дорогой сэр? Да? Ну, самую малость только сгущаю, придаю чуточку больше темпа событиям, только и всего. Ладно, они все не в одну ночь сговорились друг с другом. Ладно, физкультурник заявления не подавал. Но ведь подал бы, если бы до этого дошло! Он же в кармане его носил. А химичка Надежда Кузьминична тоже, скажете, не подавала? Вот именно. Еще как! У нее, между прочим, больная свекровь, двое детей, муж инженер, а не работорговец, получает твердый оклад, с окладом в дому всегда туго, сама Надежда Кузьминична и в этой-то школе с трудом прижилась, с ее-то стеснительностью да тихостью, у нее в кабинете химии поначалу в портрет Менделеева гвозди втыкали, помните, дисциплину она держать не умеет, говорит тихо, цыкнуть вовсе не может, все на сознательности да на любви, сколько раз тогда Геенна Огненная огнем и мечом усмиряла народ в кабинете химии. Это потом, когда уж народ раскусил и оценил Надежду Кузьминичну, на уроках у нее стало деликатно да мирно, любо глянуть или под дверью постоять. Куда, интересно, она бы в тот раз пошла, кабы директор ей заявление подписала? А она бы — пошла...

И ведь правда, что самая тяжелая и неблагодарная работа была — уговорить Вас, хоть Вам, сознайтесь, ужасно хотелось остаться и невыносимо даже было подумать, чтобы уйти всерьез. Вы же без школы жизни своей не мыслите! Но упрямство, текинский ишак повесился бы от зависти, кабы было на чем в пустыне! Я Вам как-нибудь о нем специально расскажу, только напомните. Вам было тогда совершенно ведь наплевать, сколько людей из-за Вас ночи не спало, нервничало, хлопотало и унижалось. В роно. В гороно. Не знаю — где еще. Наплевать, что директор клялась и божилась — примерно Вас потом наказать, лишь бы от Вас отстали, обещала обвесить Вас выговорами с занесением в личное дело и куда угодно с головы до пяток, по выговору — на каждую пуговицу Вашего костюма в серую клеточку. Лишь бы Вас только никто не трогал и в школе бы было спокойно, вот до чего упрямством своим довели Вы тогда эту несчастную женщину, которой всегда, со свойственным Вам тактом, говорили правду, только правду и ничего, кроме правды.

А уговорила Вас — нет, даже не Маргарита, а — наоборот — Нина Геннадиевна Вогнева, тогдашний завуч. Я как-то, в мягкую минуту, спросила Геенну: «Как вы тогда уговорили Васильева забрать это идиотское заявление?» О, стальные глаза блеснули лукавством! «Противно вспомнить,— сказала Геенна Огненная, ныне — директор.— Но уговорила!» И засмеялась так чисто и хорошо, как у Нины Геннадиевны редко теперь бывает: без подтекстов. Значит — до сих пор числит это деяние среди крупнейших своих достижений, а уж Геенна Огненная, будьте уверены, знает цену и иерархию собственных достижений, Ваших — тоже, что делает честь ее административному чутью. Поэтому, может, она как раз на месте в директорском кресле? Вас туда не засунешь. Да вы и не усидите. С улицы зазывать — тоже гарантии нет, что затащишь именно того, кого нужно и кого душа жаждет.

Ну, а как я сама, к примеру, стала бы разговаривать с тем восьмиклассником, которого надо выпустить, а он, например, не хочет ничего ни знать, ни делать? Она тогда ворковала. А я бы — чего? Если бы на меня так же, как на нее, давили со всех сторон, снизу, сверху, с боков? И чего бы я подавала в свод-

ке при Ваших восемнадцати двойках за полугодие в девятом «Б», если бы меня публично убивали и мордовали даже за одну-единственную двойку. Нет, свою кандидатуру снимаю начисто. Не гожусь. Не усижу. Не имею педагогического образования. Ничего не умею, ничего не знаю и никому ничего не скажу. Но ведь — если учитель высок, по определению, то и директор обязан быть высок, поскольку он же тоже учитель. Коан какой-то...

Еще меня страшно занимает, как это у нас получается: чуть человек потребует (или: скромно попросит, все равно), чтобы другой человек (секретарша или директор, все равно) занимался на своем рабочем месте своими прямыми и непосредственными обязанностями, то есть — именно работой, на которую он же сам пошел, по любви, по долгу, по случаю, его уж дело, но ведь — сам, не на канате же его на это рабочее место привели... Так вот, повторяю: как только один человек попросит другого человека об естественной этой малости, как сам же и мгновенно попадает в острейшую ситуацию — типа острие бритвы или зажим в автоматических дверях, где давление атмосфер, минимум, десять.

Человек этот, который требует от другого просто-напросто — честного исполнения служебных обязанностей, попав сразу в острую и заведомо для себя невыигрышную ситуацию, обязательно как-нибудь сорвется, крикнет, стукнет или еще чего-нибудь, молвит слово не то, не так, не тем тоном, нервы у него, у бедняги, обязательно сдадут,— и сразу он будет хулиган, не умеющий себя держать в порядочном обществе, или хам, которому не место, и сразу надо его потом спасать, вытаскивать и вообще сильно из-за него хлопотать, ибо все его другие стороны и заслуги, и самая цель и смысл — его такого вот выступления, по началу ведь всегда — исключительно мирного, уже значения не имеют, раз он хам, хулиган и ему нельзя, оказывается, ничего доверить, хоть до этого у него были кругом одни благодарности...

Как у нас вот это выходит, очень мне интересно? А если, например, просто — хулиган, но не требует ни от кого исполнения рабочих — прямых — обязанностей, или просто хам, но не трогает же никого и не беспокоит, подумаешь — ну, обхамит, не впервой, переживем и, посмеиваясь, пойдем дальше,— то ничего, иногда — даже вполне хорошие люди, которым всюду место. Вот как понять этот извив нашего восприятия? И нашего быта, спаенного с работой в единое и неделимое целое? Просто — теряюсь в догадках. Не пойму даже, что бы могла мне тут прояснить всемогущая физика, совсем уж для меня патологический случай, отказывает последний якорь...

Что-то, значит,— с мозгами.

Бесшумно брызнул дождик на теплый тротуар, легко и невозможно, священно и безбожно, взахлеб и осторожно, коплю тебе слова. Скажу, а ты не слышишь, твоя бесплотна плоть, слова — как дождь по крыше, как птицы — в тесной нише, как шпага — в робкой тиши — не могут уколоть...

Как это имя может отпустить, если в нем каждая буква — круг, если в нем каждая буква — кольцо. И одна только буква, из которой бы можно вырваться, даже — выпасть. Но ведь буква-то эта — «л», то есть — Любовь. И само это имя — гибкое и горячее кольцо, удавка, а не имя. Но удавка эта пленительна прозрачной своей музыкальностью, она как бы серебристый струящийся обруч, а уже не удавка. И переливается неостановимо, слогами. Вы только вслушайтесь, вы только вчувствуйтесь: Во-ло-дя.

Когда Володю Рыжика выдвинули в освобожденные секретари комбината, он свою кандидатуру сразу отвел: «Ошалели, ребята? Я же несдержанный, невыдержанный, неуправляемый! Я — дикий конь». Ребята, в возрасте от шестнадцати до двадцати восьми, полный зал битком, дружно заржали. «Не, я серьезно. Конь! Я в детстве так думал, а сейчас знаю».— «Вот и поволокешь»,— дружно сказали ребята. И выбрали Рыжика в секретари. Звали его, самой собой, больше — «Рыжий», а он был каштановый, ладилось дело — волосы у него завивались, не ладилось — прямо лежали. У Рыжика все

зависело от эмоций. Эмоции были сильные, волевые, он их всегда доводил до логического конца, так что уже непонятно: логика это или эмоция. Как только объявили результаты голосования, сразу сказал: «Не буду. Лучше сдохну». Рыжик сильно любил свою работу, экономист-нормировщик, и не желал от нее освобождаться. «Лучше сдохну»,— так он тогда сказал.

И на следующий день на работу не вышел. На второй — тоже. На третий — снова не вышел. Жена его Света, библиотекарь, со страху взяла отгулы и тоже теперь сидела дома. Но никому не отпирала, говорила сквозь дверь: «Володя велел передать, что его — нету». На четвертые сутки к Рыжику отправился сам Немаев, новый директор комбината, мужик заводной, властный и резкий. Немаева жена в квартиру впустила. Но Рыжик пребывал в своей комнате, замкнутый изнутри на задвижку. Немаев стукнулся: «Владимир Прокопьич, ты спишь?» Ответа не воспоследовало. «Он чего у тебя?» — спросил Немаев жену. Света, с годовалой дочкою на руках, стояла возле окна и тихонько плакала. Дочка смеялась и цапала ее за лицо. «Сдыхает»,— объяснила Света. Она твердо верила, что если уж Володька что-то задумал, то непременно исполнит. «Гусь,— сказал Немаев сердито.— Никакой он не конь у тебя». Света молчала и тихо плакала. «Владимир Прокопьевич, если вы завтра же не появитесь на рабочем месте, я вас по статье уволю,— громко сказал Немаев.— За прогул». За дверью как было тихо, так и осталось.

Немаев сел к столу и задумался. «А чего ты хочешь, Владимир Прокопьич?» — вдруг проорал он сидя. Ответ опять был — молчание. «Пищу-то принимает?» — деловито осведомился Немаев. Света, давясь тихими слезами, бурно и отрицательно затрясла головой. «А пьет?» — «Ночью пьет из-под крана, когда меня в кухне нету»,— доложила Света. «Так он долго продержится,— рассудительно сказал Немаев.— Забыл — сколько. Дней двадцать. А с его характером — может и месяц...» Подошел к закрытой изнутри двери, деловито пригнулся и прильнул глазом к замочной скважине. «Ни черта не видно»,— сказал, опять распрямившись. «Он изнутри газетой заткнул,— пояснила Света.— Сперва я тоже глядела. Все лежал на койке кверху лицом».— «Правильно, экономит силы»,— оценил Немаев. Постучал по двери сапогом. Дверь была крепкая, финской еще постройки дом. «Ну, зараза упрямая!» — громко сказал Немаев. И расхохотался. Хохотал он долго и, видать, от души.

Потом стал около двери и сказал шепотом: «Рыжий, тебя, заразу, доверием обличили. Слышишь? Твоя квалификация при тебе и останется. Я тебя по основной специальности тоже загружу, не бойсь. Ты у меня еще взвоешь от перегруза! Заступай, зараза, на комсомольский пост. А то дверь сейчас высажу, дом пожгу и водопровод перекрою. Понял?» — «Понял,— раздался вдруг изнутри насмешливый голос.— Чего зазря заступать? Все равно работать не дадите!» — «Дам»,— сказал Немаев. «Квартиры, четыре штуки, для молодых специалистов — в доме, что будут сдавать, новое общежитие — на закрытом руднике, вне очереди, в старом — блохи с холоду из окон кидаются вниз башкой, пол сгнил, под подушками крысы детей высиживают, еще — участие во всех совещаниях при директоре и закрытых дверях, с правом голоса, а не — абы как...» — «Решающего?» — поинтересовался Немаев. «Что касается комсомольцев, может, и решающего»,— последовало из-за двери. Голос за дверью был теперь близко. «Рожа не треснет?» — спросил директор комбината. «Я ж говорил — все равно не дадите работать»,— отдалился голос. «Дам, Рыжий, дам»,— весело крикнул Немаев. И подмигнул жене Свете. Света — сквозь тихие слезы — улыбнулась, а годовалая девочка вдруг заплакала. «Если дашь — завтра приму дела,— твердо отзвучало за дверью.— Сам потом будешь мучиться и снимать».— «Не буду»,— серьезно пообещал Немаев. «Значит — другой кто-нибудь этим займется...»

Все, главное, потом было, как они говорили. Рыжика только тогда удалось убрать, когда Немаева повысили в Москву. Через три, вроде, года. Это — потом. А пока мы жили себе да жили. Жить было интересно, беззакатное солнце, Заполярье, годы — шестидесятые, сопки четки и мохнаты, дома светлы, окна блестят, узко бежала через поселок речка в шлаковых — черных — отвалах, тоже блестела, над комбинатом высоко и стройно возносился лиловый

дым, будто труба там была до седьмого неба. В комитете до часу ночи толкался веселый, горластый народ, новичка вели сразу к Володе Рыжику, новичок сразу в него влюблялся, вдруг начинал рисовать в стенгазету, давать полторы нормы, красить все в цеху в разный цвет, этим тогда только-только начали увлекаться, открыли при комбинате молодежное кафе, назвали — «Заходи», люди постарше посмеивались на Володькину наглость, какое еще — «Заходи», когда надо «Огонек», ничего, быстро поправят, но никто почему-то не поправил, сам Немаев плясал на открытии, из тонизирующих напитков пили кофе, орали, Володька был почему-то в волчьей картонной маске и в махровом халате, маска ему мешала, Володька сдвигал ее на́ лоб, резинка была тугая, от ушей к глазам шли красные врезины. Я была зачем-то в чалме, в блестящих тапках с загнутыми носами, гадала всем по руке, недавно попался рваный учебник хиромантии, нагадала Стасу Якимову длинную жизнь и ужасную смерть от брюнетки, Аньке Анисимовой — запор, Анька вдруг заплакала и побежала на черную лестницу, ее вернули, главный бухгалтер Дьяков, старик, читал свои стихи про любовь, ужасающе слабые, но все кричали — как здорово, и я кричала громче всех, действительно — было здорово, стихи, писклявый голос старика Дьякова, громадная его жена в расписной шали с кистями, всё.

По ручью Суматошка, в тридцати километрах от комбината, открыли новое месторождение, говорили — богатое, говорили — переплюнем Норильск, оно быстро себя исчерпало, тогда — не знали, был только общий восторг. Тянули дорогу в сопках, комсомольцы работали сверхурочно, тьма была белых грибов, их набивали в кузов, «штаб» выпускал ежедневные «молнии», кругом — красно от брусники, ватман, брюки, лица — в пыли и в брусничных брызгах. На глазах рос новый поселок — Суматошка. Строители жили в вагончиках у подножья Крутой сопки, туалет поставили на склоне возле ручья. Ночью прошел в сопках ливень, туалет уволокло вместе с глиной, скинуло в Суматошку. Сколотили новый, подстраховали тросами, назначался теперь дежурный: «ответственный по тросовому хозяйству», так говорили. Рудник Суматошка уже выдавал руду. При открытии рудника погиб один человек — Стас Якимов, взрывник, которому я нагадала длинную жизнь и ужасную смерть от брюнетки. Стас дружил с Олечкой Мерзоянц, с обогатительной фабрики, Олечка была смугла и черна. Он тогда закричал: «Так вот где таилась погибель моя!» — схватил Олечку за руку, с хохотом они врезались в танцующий круг, были в нем самыми легкими и неукротимыми. Стаса Якимова хоронили на Суматошке, в закрытом гробу. Гроб долго несли на плечах. Играл оркестр, говорили речи, менялся почетный караул. Рыжик дважды пропустил свою очередь говорить, мотал головой, отходил. Вдруг вклинился без объявления: «Ребята, смерть вырвала из наших рядов Стаса Якимова. Мы этот рудник назовем его именем!» Володька рубанул рукой в воздухе. И рука его вдруг упала. Вдруг он тихо сказал: «Я со Стасом дружил, все знают. Как это — вырвала? Я не понимаю. Это — не может быть. Я в это никогда не поверю...» После Володьки никто говорить не смог. На следующий день в рудничной раздевалке уборщица Григорьевна сказала громко: «Теперь Суматошка — людское место: есть своя могила. Пока нет могилы, место еще не людское, хоть сколько домов напостáвь да плакатов повешай...»

Вдруг посреди полярной ночи, когда дым примерзает к трубам, северное сияние — к звездам и в черноте свет стоит над фонарем, как блестящая ледяная сосулька, объявлялись по комбинату «ночи комсоргов». Комсорги — по-спортивному в куртках, но в валенках и с рюкзаками, тогда мало кто ходил с рюкзаком, не было еще моды,— бежали в ноль-ноль часов к комитету, набивались в вездеход, ехали куда-то во тьму, в сопки, на волчьи куличики, ставили там палатки, тоже еще этой моды не было, жгли костры, стреляли — на меткость и скорость, плюнешь — плевок на лету замерзает, ползали в снегу, боролись, потом отгадывали шарады, играли в слова на сообразительность, это было по моей части, даже лекции ухитрялись читать и слушать, чтоб комсорги были в курсе мирового прогресса и «не бурели», как выражался Рыжик, а то сидят по теплым цехам да по теплым рудникам, надо их «гнобúть», тоже его выражение, не то взносы начнут собирать по телефону

и на «вы» разговаривать со своими ребятами, у Володьки все комсомольцы были — «ребята» и на «вы» он не любил, не получалось у него.

В комитет как-то посреди рабочего дня ворвался парень в рабочей спецовке и швырнул на пол, Володьке под ноги, комсомольский билет: «Отказали! Я, знаешь, где это все видал?» Я читала в кресле, в дальнем углу, вздрогнула на особо визгливую ноту: «...Знаешь, где?..» — «Подыми»,— тихо сказал Володька. «Хватит! — заорал парень.— Не верю. Ноги моей тут больше не будет! Сегодня же ночью!» Ночью, раз в сутки, уходил поезд на Мурманск, урезанный, три вагона. «Подыми»,— повторил Володька. И что-то еще он тогда сказал, понизив голос до шепота. Что? Что он тогда сказал? Я застыла в кресле. Не расслышала? Или сразу забыла от страстного напряжения — помнить. Вырубилась? Как у меня бывает, если особо острый момент. А все, что крутилось и кипело тогда вокруг Рыжика, было для меня тогда главным. Володька был главный человек на земле, вернее — он был тот главный, огненный центр, вокруг которого вращалась земля. Что он сказал? Нет, выруб. Какие были слова? Что было за дело, в котором тогда отказали? Почему это было так важно?

Нет, не вспомнить.

Услышала только: «Подыми. Или сам сейчас подыму». Парень медленно, как в замедленной съемке, нагнулся и медленно поднял. Но лицо было ощеренное, остро торчали скулы. «Куда хочешь ехать?» — спросил Володька. «К матери пока, в Астрахань».— «Знаешь, как мы с тобой решим»,— вскинул на него Рыжик сузившиеся глаза, щели, из щелей — свету больше. «Я уже решил».— «Давай решим так. Ты останешься ровно на неделю. Я сам все сделаю!» — «Ничего ты не сделаешь!» — «Сделаю. Ты эту неделю будешь все время рядом: куда я — туда ты. Понял? Больше от тебя ничего не надо. Если ровно через неделю так же будешь думать, нам всем цена грош и я сам билет тебе на поезд куплю. До Астрахани». Что же было за дело? Что? Что? Нет,— выруб. «Да ничего это не изменит, Рыжий»,— отмахнулся парень устало. «Одна неделя! Можешь ты мне эту неделю подарить?» — «Могу»,— мрачно сказал парень. И шагнул к выходу. «Куда? — вскочил Рыжий.— А договор? Где я, там и ты».— «Шустрый ты, Рыжий,— парень коротко засмеялся. Но и смех был злой.— У меня смена еще не кончилась». Рыжик секунду подумал. «Ладно. Буду ждать в вашей раздевалке».— «Не сбегу»,— усмехнулся парень. «Ничего, я встречу,— сказал Володька.— Встречать — не провожать, это я люблю».

Парень этот никуда потом не уехал, это я помню...

Как и Монстр, вдруг подумалось мне сейчас,— не любил Володя Рыжик провожать, это правда. Проводить до вагона, как все люди, поднести чемодан, пальцем пописать по стеклу снаружи прощальные слова, добрые напутствия, пробежать за вагоном по платформе, чуть постоять в некоторой еще печали и медленно, все убыстряя шаг, вернуться к прежним своим делам. Нет, он так не мог.

Когда через полтора года я все же решила перебираться в Мурманск, у него по цехам шли перевыборные собрания. «Да тебе-то зачем срываться?» — говорила я. Хотя было мне впереди как-то мутно. Поступило из Мурманска несколько предложений, это хуже нет, это — выбирать, а города я не знала, никого у меня там не было. Ладно, не маленькая! Это я Рыжику сто раз объясняла, что я — не маленькая, он мне — не папа. Он тоже мне объяснял, что я не маленькая, сама — большая, у него отчетные собрания, могла бы найти время и поудобней, чего мне сейчас приспичило, сейчас он не может даже на день уехать. А накануне моего отъезда он с утра пришел к директору комбината и вручил Немаеву заявление: «Прошу с завтрашнего дня дать мне отпуск за свой счет, потому что мой друг уезжает в Мурманск устраиваться на работу и без меня он там не сможет толково устроиться. Владимир Рыжик». Немаев прочел со вниманием. «Ты что — сдурел, Владимир Прокопьич? В такое время!» Володька только сопел. Немаев еще подумал. «И сколько ты будешь ее устраивать?» — «Пока не устрою»,— сказал Володька. «Три дня»,— вздохнул Немаев.— И этого не могу, и это через немогу, Владимир Прокопьич». И подписал Володькину бумажку.

До сих пор не понимаю, как мое устройство в Мурманске все-таки состоялось. Места, куда меня звали, Рыжику сплошь не нравились. Это происходило так. Я исчезала в должностном кабинете, а Володька, как и договаривались, оставался ждать в коридоре. Со мной в кабинете доброжелательно беседовали. Мне говорили, что будет интересно, работы много, люди хорошие, если я сама — ничего, они следили за моей скромной деятельностью на ниве районной печати, я немножко, кажется, соображаю, в остальном они мне помогут. Меня все вроде устраивало. Я уже рот раскрывала, чтоб поблагодарить за доверие и окончательно согласиться.

Тут дверь распахивалась, влетал Володька, глаза его сверкали, волосы вихрились воинственно, грудь была колесом, рост огромен. Он грубо плюхался рядом со мной, хоть никто его и сейчас не приглашал. И говорил сразу: «А оклад какой? И как на такую зарплату прожить? Нет, это нам не подходит. А какие гонорары? Ну, это разве гонорар! А квартира? Пусть — комната для начала? А где ночевать, в порту? Нет, не подходит. Гостиницу пусть оплачивает организация. А вы как думали?» Должностное лицо сначала шалело, откидывалось в кресле, беспокойно шарило по Рыжику взором, при нем был портфель, но ружья — вроде бы — не было, кто его знает — может, складное в кармане. Но по кругу вопросов он как раз, в отличие от меня, видимо, производил впечатление вполне нормального. И должностное лицо постепенно приходило обратно в себя. Строго выпрямлялось на кресле. Строго спрашивало: «А вы, простите, собственно — кем приходитесь?» — «Я — друг»,— Володька тыкал себе рукой в грудь, чтобы им было наглядней. Им было вполне наглядно, они опускали глаза со значением. «Друг. И прихожусь другом».

«Слушай,— шипела я.— Мы же договорились...» — «Чего мы договорились? — громко удивлялся Володька.— Ты ж о деньгах никогда не спросишь. Ты ж без меня пропадешь за пустяк. Знаю я тебя! Договорились! А перспективы — с комнатой? Ну, это вообще не разговор. Райка, чего ты меня дергаешь за штаны? Отстань. Выйди в коридор, обожди, пока деловые люди разговаривают. И сколько же у вас площади в год дают? Нет, конкретно вашей конторе. У-у-у, это сто лет можно ждать. Райка, пошли отсюда! Нам это не подходит!» Доругивались мы с ним обычно уже на лестнице, на улице, на скалах с видом на вокзал, где теперь почти центр и новый район, в кафе возле строящегося стадиона, где я потом любила писать за столиком, там было тихо, и в разных других местах красивого города Мурманска. Ругаясь тогда с Володькой, я обживала для себя город...

По осени, по осени вся в крапинах — как в оспинах — черна трава нордосмия, плавучая трава, и листья полукруглые обуглены, обуглены, ботва ее мертва. Неслышная, как таинство, вода шестом сдвигается, и лодка пробирается едва, едва, едва. За плесами, за плесами туманами, как косами, увиты берега. И тишиной приглушена, как в памяти засушена, тайга, тайга, тайга. По осени, по осени в душе — ни сна, ни просини, предчувствие готового тернового венца. А по воде разбросана, распластана, разостлана плывет трава нордосмия и нету ей конца...

«Без этого, конечно, не можешь?» — брюзгливо сказала Машка. Я сразу поняла. Машка имела в виду слово «ботва», его простецкую, сугубо огородную и, может, даже вульгарную сущность применительно к экзоту нордосмии и общей поэтической печали моего сердца, пронизывающей творение вдоль и поперек. С Машкиной стороны — это была просто зависть. «Не могу,— свысока согласилась я.— Ибо „листва“, если ты мне намерена ее предложить как величину конгруэнтную, таковой не является, листва — это листья, а я имею в виду нечто большее и глубинное, всю совокупность, колышащуюся в воде».— «В какой воде?» — насторожилась Машка. «В проточной».— «Я спрашиваю — где?» На этот ее вопрос я, честно говоря, как раз не хотела отвечать. «Например — в Печоре».— «Мама, убью»,— честно предупредила Машка. «Убивай»,— равнодушно разрешила я. Но в Машке почему-то здоровое отвращение к Шмагину вдруг пересилила опять же здоровая любознательность. Я для себя объяснила это силой своего дарования, пробившегося — значит — в стишке. «И что это за нордосмия?» — поинтересовалась Машка. «Да вроде бы водяной лопух, лист огромный, почти треуголен, чем она старше — тем более этот лист округл и совсем уже похож на лопух, он дрожит в слабом течении, а стебель его бесконечен и гибок»... Машка почему-то слушала со вниманием. «И много ее там?» Когда она задает хоть какие-то вопросы, связанные с биологией, я всякий раз обольщаюсь, что к ней вдруг вернется оголтелое, с пеленок, влечение к этой великой науке. Но ждать этого наивно, я понимаю. «Полно,— вяло сказала я.— Шмагин велик, а Печора широка...» — «Это понятно,— фыркнула Машка.— Нельзя ли поконкретней».— «Можно,— сказала я.— Если река метров восемьдесят в ширину, то заросли нордосмии занимают иной раз метров шестьдесят».— «Без цифр ты, естественно, не можешь»,— отметила Машка. «Мир — это цифры»,— сказала я назидательно. Может, она увлечется по-настоящему математикой? Вот я на что тайно теперь надеюсь. «Ясное дело,— сказала Машка.— Сейчас изобразим...» Нет, даже Он на математику дочь мою не подвигнет.

«Сейчас мы ее изобразим»,— почти пропела Машка. Нашла фломастеры и через пару минут поднесла мне свою модель-нордосмию: поверх синей воды, чуть тронутой тусклой рябью, плавало мое запрокинутое лицо в форме большого растительного листа, оно было печально и вечно откинуто навзничь в вечное белесое небо, где парил одинокий комар, у листа отчетливо выделялся мой крупный нос и грубые — треугольные — щеки. «Похоже?» — спросила Машка. «Как тебе сказать,— я сделала усилие, чтоб сохранить объективность.— Не то, чтобы так уж похоже, но некую суть передает. Только почему она столь печальна?» Машка поглядела на свое творение, как бы вдумчиво анализируя со стороны. «Жизнь, наверное, не удалась»,— объяснила она нагло.

От художественной ее проницательности мне сделалось вдруг тоскливо. «Хочешь — книжку тебе проиллюстрирую?» Это был с Машкиной стороны шаг доверительности и любви. Ничего она сроду не проиллюстрирует, рисовать никогда не училась, рисует — как сама хочет и что ей взбредет. И делает это всегда мгновенно, будто срисовывает из воздуха, где это — незримо для других — уже плавает в точных размерах и красках, ей остается лишь небрежно и легко перенести на бумагу. «Книжку надо еще написать»,— вяло сказала я. «Напишешь»,— небрежно обронила Машка. Она воображает, что для меня все тоже в готовом виде плавает в воздухе, мне нужно сделать только легкое движение руками, чтобы поймать. «Спасибо, не надо,— заранее отказалась я.— Мне твоих портретов не выдержать».— «Почему? — удивилась Машка.— А ты бы чего хотела?» Она, видимо, ожидала творческих указаний по поводу гипотетических иллюстраций. Свершениями дочь моя пока не богата, но порассуждать о процессе любит. Ей симпатична равноправная беседа потенциальных творцов. А кому она не симпатична? Наверное, я неправильно общаюсь со своей дочерью. Всегда — на равных. Совершенно не умею держать дистанцию. Доверие ее ставлю превыше всего и проявляю чудеса понимания. Общаемся мы на равных, но я работаю, как крестьянская лошадь в разгар пахоты и до изобретения автомобиля, ночью пахала по-черному почти до рассвета, а утром — все порвала, с лошадьми такого, вроде бы, не бывает. Машка же, по-моему, попросту проспала, опять пропустила школу и довольно лениво изображала потом головную боль. На мои деликатные намеки (Господи, почему растущий организм требует такой трепетной деликатности? И не слишком ли он ее требует? А что если произрастает попросту вполне жизнестойкая крапива?), что посильную боль полезно преодолевать и у каждого человека есть свои обязанности, последовало замкнутое молчание, подчеркнуто горькое и сухое. Как бы печальный, вполне бессловесный, знак одиночества Машкиной души, потерявшей жизненные ориентиры и не нашедшей покоя. Жалость, как всегда, кольнула меня прямо в сердце...

Хорошо помню первый укол этой жалости.

Мы с Машкой лежали тогда на южном берегу Иссык-Куля. Был белый песок, кусты облепихи в огромных шипах, густо унизанные желтыми маслянистыми ягодами, в облепихе бесшумно кормились розовые скворцы, моло-

денькие и потому вовсе даже не розовые, а серые. Только если взлетала вдруг старая скворчиха, то сквозила в ней розовость. Птицы набирают цвет с возрастом, яркость у них — признак зрелости. Я как раз тогда про это подумала. Озеро было беззвучным и синим, безмятежная синь. Но к северу над горами уже появилось маленькое круглое облачко. К вечеру оно расползется тучей и пойдет дождь, так каждый день бывало. Возле тихой воды степенно прогуливался удод, совсем близко от нас. Снизу — до пояса — был он похож на бесшабашного палубного матроса, тельняшка резко очертана, белые-черные полосы, а голова была важная, от другой как бы персоны: пепельно-серая, с веером-хохлом, и с головы удод походил на знатную китаянку с гребнем. Мы с Машкой рядом с этим удодом выглядели совсем замарашками. Лежали плашмя на горячем песке, животы у нас были черные, как пятки янычара, плечи каленые, руки и шеи — изгрызанные мошкой, ноги побиты камнями, носы облупившиеся и волосы выцветшие. Машкины глаза казались громадными на черном лице и была в них свежесть, какая-то детская еще промытость души.

За ближними кустами торчала старая лодка, намертво въевшаяся в песок, вернее — уже полусгнивший остов. Там, на останках лодки, клубилась сейчас лениво-коммунальная дискуссия первейших умов нашего отряда. «Проблему ставит жизнь»,— доносилось оттуда. «Никаких проблем жизнь не ставит, а ставят проблему отдельные люди, которые двигают историю, и потому люди ставят только ту проблему, которая им — лично — интересна». Это уже — насморочная растяжка начальника отряда Бурдяло. (Идеальное имя для кобеля чао-чао: широкая морда, черный язык, могучая шерсть с краснинкой и медвежьи — твердеющие яростью — глазки, «Бурдяло», но это роскошное имя почему-то досталось в качестве фамилии столичному орнитологу, бледному, в увядших веснушках, но глаза — похожи.) «А общество?» — «Общество проблему не ставит. Обществу проблемы не надо, оно живет, благоустраивается, плодится. Проблему ставлю я. Общество либо помогает мне ее решить, либо мешает».— «Значит — ты пуп?» — «Я — профессионал. Человек смотрит на мир или как профессионал, или никак. (А что? Тут он, пожалуй, прав,— лениво подумалось мне). Один ставит проблему, один думает, один делает. Остальные — плодятся».— «Ты, кстати, тоже плодишься». (Ого, это уже был коммунальный бунт на корабле!) — «Для меня не это главное»,— небрежно отмел насморочный голос. «Но, согласись, время же диктует проблемы!» — «Время ничего не диктует, это абстрактная категория».

Якобы спор этот бесконечен, из него не выпутаться, как мухе из патоки. Слово «проблема» мелькает непрерывно, в этом отряде я вдруг впервые ощутила его блеющий — овечий — привкус, философия старая, полусгнивший остов. На помощь здравому смыслу, как всегда, пришел шофер Вениамин, единственный человек с юмором: «А вот мне что интересно, мужики! Почему у вас в институте никто просто так ничего не делает? Чтобы — просто делать? Если уж курит, то лицо непременно морщит, будто большая мысль его сводит. Если стоит у окна — тоже не просто так. Обязательно — думает! Или я, может, чего не понимаю?» — «Не понимаешь,— согласился насморочный голос.— Мы занимаемся делом, не связанным с сиюминутной практикой, делом — для человека вообще. Это — выше, это не объяснишь».— «Я так и думал, что выше,— весело обрадовался Вениамин.— Я так и думал, что я не понимаю...»

Но все-таки он их, как всегда, сбил своей живой живостью. За ближними кустами облепихи провисло теперь молчание.

Не больно удачный, по правде сказать, отряд, но для меня — все равно любопытный, любопытно ведь и со знаком «минус», избаловалась все с интересными людьми, этих, конечно, нарочно не выберешь, я примкнула к этому отряду случайно, совпали географические интересы, была там недолго. Как типаж привлекал меня именно начальник отряда Бурдяло: тот, что ставил «проблему», кандидат наук. Гармоничный его эгоцентризм намного превышал все дотоле практически известные мне допуски экспедиционного быта. Бурдяло прибыл из центра, открыто презирал ползучий эмпиризм местных специалистов, в советах их не нуждался, местных условий не знал совершенно, легко

мог спутать в полете бородача с грифом, а клушицу — с кликушей («кликуши», правда, в природе нет, это уже, по-видимому, перебор моего сарказма), но ничьих поправок не принимал, доверял только справочникам, каковые таскал с собой даже на перевале Долон, ни с кем с утра не здоровался, сильно был по утрам не в духе, ощущал себя, видимо, в обычных походных условиях крупным землепроходцем, потому облачен был всегда — независимо от погоды — в меховую куртку, меховой шлем и в широкие, с тесемками, энцефалитные штаны, в последних — терялся с головой, но вид был — бывалый, ничего не скажешь, общался лишь посредством кратких распоряжений, отрывисто-насморочных, у него была собственная методика, а чем невнятней мировоззрение и чем субтильней общий культурный уровень — тем таинственней и недоступней методика, это давно известно. Занимался Бурдяло ночными миграциями, изучаемыми с помощью телескопа и круглой луны. Но как высокий профессионал функционировал он практически круглосуточно, а не только ночью, в фанатизме ему не откажешь.

Нет ничего наивнее городского взгляда, что в экспедиции ездят только люди веселые, открытые, бесконечно надежные, готовые в любой момент заслонить широкой спиной товарища, всеумелые, днем они любознательно и радостно рыщут в горах, пустынях и тундрах, ночью палят красивые костры, рассказывают друг другу веселые истории, играют на гитаре и поют для собственного удовольствия песенки Городницкого-Визбора-Окуджавы. В экспедициях, увы, как и в городе — народ всякий. Едут те, кого судьба послала, чья работа — требует таких разъездов, чья уж жизнь так сложилась: экспедиционно. Но все же, нужно признать, что сохранить в условиях тесного экспедиционного быта столь совершенный эгоцентризм, без намека даже на видимость коллективизма, труднее, чем в городе, и для этого тоже надобен характер — противный, но крепкий. У Бурдяло он был, вот в чем для меня его прелесть.

Прямо на перевале Долон (высота — три тысячи метров, Тянь-Шань, ровный, бритый, ветровой угор, с необозримым видом на окрестные горы-увалы, бескустные, не только безлистные, с мелкими кучками — пупками — серых камней, небрежно поросших оранжевым лишайником) Бурдяло организовал себе рабочее место, даже на сто метров ниже он лагерем съехать себе не позволил, хоть там уже — родник. Но ему нужно было круглосуточно сидеть непосредственно на «материале». Вернее — он на нем не сидит, а лежит. Конкретно: на перевале поставлен прямоугольный ящик из-под телескопа, Бурдяло — хмурый, бледно-сосредоточенный, в меховой куртке, в меховом шлеме и широких энцефалитных штанах — с утра до вечера лежит спиной на ящике, широко расставив длинные ноги и вперив глаза в бинокль, нацеленный прямо в пустое небо. На ящике он являет собой монумент, который не нуждается ни в общении, ни в дополнительных стимулах (обедать, к примеру, идет на шестое приглашение). Небо высокое. Чистое. В солнце. Иногда — нечистое. Дождь. Град. Мокрый снежок. Снова — чистое. Бурдяло лежит. Он вечен, как эти горы. Хмур, как они. Небрежно порос лишайником, может — это борода проступила. Иногда вдруг встает. Это всегда неожиданно и как бы рушит вечность. Молча заходит в хозяйственную палатку. Все разом замолкают, если кто говорил. Молча заваривает себе одному кофий в огромной кружке и кипятит его на газу. У Бурдяло персональная кофемолка и никогда никому он не предлагает разделить с собой кофейную трапезу. Выпил. Подзарядился. Ни слова не вымолвил. И опять уходит — лежать, вперив в небо бинокль...

Шофер Вениамин, единственный тут — независимый, поскольку все в экспедиции — наоборот, — зависит от машины, уверяет, что Бурдяло на трудовом посту иногда храпит. Только Вениамин может позволить себе столь легкомысленные высказывания по адресу начальника отряда, у него машина всегда в порядке, бензин есть, запчасти есть, готовность — номер один. От нечего делать Вениамин помогает другим машинам, которых тут немало, тракт — на Нарын, взбираться на перевал Долон, одалживает кому-то трос, сам втаскивает на буксире. Ему потом норовят сунуть десятку, теперь суют и в горах, и между шоферами бескорыстие, выходит, перевелось на высоте три тысячи метров. Вениамин хохочет: «Лучше что-нибудь веселое расскажи! Из своей жизни». Иногда — рассказывают. Чаще обижаются на непомерность

требований: «Веселое? Покрути-ка баранку с мое, узнаешь!» — «Я же тоже кручу,— смеется Вениамин.— Пятнадцатый сезон в Средней Азии».— «А ты на этой дороге осенью покрути!» — «Да я на Памире крутил!» — «Значит — не та баранка, больно веселый». Трогают с перевала дальше, деловые, сумрачные, будто обиженные дружелюбной Вениаминовой помощью. «Видала? — подмигивает мне Вениамин.— С таким ведущим мостом ему ж на Кызырмане и делать нечего. Там сорок серпантинов, на третьем — засядет. Нет, это не здорово».

«Это не здорово» — у Вениамина высшая степень осуждения. Мне нравится наблюдать за ним: рядом с ним добреешь. Он — ласковый, вот оно — это слово, достаточно редкое для взрослого человека, чтобы его определяло. Вениамин ласков с машиной, ласков с палаткой, которую вдруг сорвало ветром, снова — натягивать, ласков с травой, жесткой и грубой на ощупь, ласков с начальником отряда Бурдяло («Он телескоп свой любит. Видала, курткой прикрыл? Ему, видать, где-то крупно не повезло...» — «Да в чем ему не повезло? Кругом — везун».— «Нет, не скажи. Ему в жизни, видать,— не здорово...»). «Ты всегда такой ласковый?» Не удивился слову. «Я с сестренками вырос. Четыре сестренки, мама, отец утонул на сплаве. В детстве только с девочками дружил. Что — заметно?» — «Заметно».— «А и должно быть заметно»,— обрадовался.

Вениамин наблюдателен, быстр, неутомимо шастает по ущельям, собирает гербарий, в кабине у него за сиденьем понапиханы гербарные сетки. В отряде к этим его занятиям относятся снисходительно, как к блажи нужного человека. «Я то с маммологами еду, то с энтомологами, то с ботаниками. Мне экспедиционная работа нравится». О себе всегда говорит чуть посмеиваясь: «Если с ботаниками, то насекомых лучше всех знаю, если с энтомологами — то растения. И все ко мне бегут: „Это что?“. Я всем отвечаю. Может — неправильно, но быстро и никому не отказываю, бывают довольны». И ведь, наверное, всем правильно отвечает, вот ведь в чем штука,— думаю я. Вениамин действительно много знает и помнит, умеет заметить и удивиться, мне дико, что ставит «проблему» Бурдяло, а не Вениамин...

Единственный, с кем мне жаль сейчас расставаться на Иссык-Куле в этом отряде,— шофер Вениамин.

Машку свою я не видела полтора месяца. Машка закончила восьмой класс, у нее — четкая устремленность, она будет биологом, я сдуру не стала, но Машка — станет, мозги у нее в порядке, Машка уже прочитала больше, чем сейчас я, память отличная, она вынослива, перемен не боится, с осени переходит в другую школу, математик там — зверь, литературу ведет — Маргарита, я сама бы мечтала в той школе учиться, но я не тащила Машку, она — сама, всю зиму усиленно занималась математикой, в ту школу ей добираться больше часу и с двумя пересадками, это Машку не останавливает. Я ужасно горжусь, что Машка туда переходит, значит — мозги у нее в порядке.

От великой родительской гордости я взяла Машку с собой в Среднюю Азию, чтобы она понюхала настоящей жизни, и отдала ей лучшее, что в Средней Азии есть,— Володю Максимова (опять — Володя, куда же от себя деться! «Максимова» все равно зовут «Макс», имя и не потребуется!) и его отряд, в котором я была так счастлива в прошлом году — на Балхаше, в Кызыл-Кумах, в предгорьях Алтая и в разных других местах...

Мир мой — в отличие, к примеру, от мира Маргариты — густо населен на плоскости: плоскостной мир. Он даже забит — людьми, голосами, специальностями, красками, запахами, пустыней, тундрой, радостью, одиночеством и родством. Но в глубину, как это ни горько, он недалеко простирается. Я не знаю истории, плохо ее чувствую, привыкла без нее обходиться. Это и есть отсутствие культуры, увы. Можно утешаться лишь тем, что у многих моих сверстников, вполне достойных и даже внесших достойный вклад, глубина — вроде моей. Но это ведь утешение бессилия.

Я пряди мокрые откинула с лица и погляделась в пруд. Там было тихо. Водяной паук бежал по зеркалу на высоченных ножках, недвижно плавала

коричневая крошка, должно быть — почка пня, травы́ — совсем немножко, и на меня лягушка глянула без интереса — как на предмет, лишенный в сферах веса. Она лежала и спала поверх воды, расправив бахрому на лапах, была — кругом права. А тинный, донный, запах стелился над водою как намек, что этот пруд лет так через пятьсот, возможно, зарастет. Какие сроки! Эх, нам бы ихние намеки! Вдруг голова ужа — как черный лебедь — гордо проплыла, осока скрипнула, круги пошли, дрожа. Виденье скрылось. Что ж до меня — меня в пруду негусто отразилось, поскольку тень сосны упала в воду и вмиг меня затмила. Ее породу с моей, конечно, не сравнить: шутя — затмить. Но́ все же я успела, пока сосна с высот до вод летела, перехватить свой взгляд обратно из пруда. Мне не понравился мой взгляд, когда б могла — швырнула бы его назад: я зло глядела. Как будто отравить хотела ужа, лягушку и сиянье дня. Как хорошо, что я одна видала, ведь пруд — не правда ли? — не в счет, а взгляд такой с поличным выдает, он метко бьет — не в бровь, а в лоб, торчит, как жало! Как злобно выдал он мою беду — что Ты со мною не придешь к пруду.

Я была слепа, глуха, нема и глупа, ничего не знала, может — вообще не жила. Но Макс схватил мой рюкзак, зашвырнул его в кузов, закинул меня туда же, вскочил на подножку, рыжим кулаком огрел по башке кабину, проорал: «Для бешеной собаки тысяча километров не крюк!», ГАЗ-69 взревел и затрясся, мы понеслись сквозь солончаки, сквозь миражи, сквозь барханы, все быстрее, небо над нами взметнулось и налилось неистовой синевой, солнце над нами окрепло и раскалилось, нам навстречу свистели рыжие суслики, с овчарку величиною, и молодой ветер, в нем прохлада была и свежесть, наперерез нам мчались сайгаки, они делали на бегу высокий прыжок — как мгновенную стойку на задних ногах, озирались со своего прыжка и удирали за горизонт, ослепительно взблескивая задом в ослепительном солнце, но сайгаков было так много, что они всё никак не могли все от нас удрать и мы продирались сквозь них, как сквозь коровье стадо. «Козырный обед уходит!» — проорал Макс, вылезая из кабины по пояс, голый, потный, волосатый и рыжий, корпус его был весь заворочен к кузову, что невозможно нормальному человеку на вскачь летящей машине, нос короткий, нахальный, ноздри жадно вбирали воздух, глаза шальные, губы широкие, рожа красная, рыжая, и улыбка занимала всю рожу, едва на ней умещаясь. «А чего ты в жизни видала? — проорал Макс в этой немыслимой позе.— На Ала́коле ты была? На Тургае была? А еще говоришь! Ничего ты не видела!»

Во мне вдруг прорезались глаза, уши, смех, бесшабашность, азарт, равноправие и свобода. И открылся мир — в бережной его вечности, живом трепетании и отважных тревогах жизни. В этом мире бешено звенели звонцы, громадные комары, которые не кусают, но от звенящего их зуда в ушах — хочется кусаться самим, поденка вмертвую облепляла мокрое тело и обмирала к ночи, чтобы с рассветом с такою же мощью пробудиться в детях своих, стрекозы, огромные, как вертолет, вырывали своими челюстями живые куски из твоей же живой щеки и смотрели при этом свирепыми, близко-близко сдвинутыми глазами, а простых комаров-кровопивцев бывало вечером столько, что под их напором прогибалась палатка и внутри было страшно, если они прорвутся, то в миг высосут тебя всего до бессильной тоненькой шкурки.

В этом мире обжиты небо, звезды, воздух и всякий куст. Если качаются в тростнике трясогузки, то сразу видно: лимонная грудка — старый самец, желтая — взрослая самка, почти белая грудь — молодняк. Кустики акации вздернули под собой песок, получилось — клумбы. Между клумбами торчит трава-чий, она хороша от сглаза, я скорей привесила чий себе на шею, никакой сглаз мне теперь не страшен. Голубым светится бессмертник-кермек, а в сумерках он блестит как свежевыпавший снег. Выгоревшие добела злаки гибко бегут под ветром светлым огнем. Каменки-плясуньи дергаются на каждом вскрике, словно убиты в грудь насмерть. Но помолчать все равно не могут, прет из них радость жизни, дергает их, как током, но все равно кричат. У хищников голос тонкий, утка зря не крякнет. Большая поганка чомга, для науки она — поганка, для меня-то — все равно утка, длинношеяя и с роскошным

хохлом на голове, медлительно и важно везет свой выводок на спине. «Запиши! Еще чомга с пацанами!» — командует мне Макс. Уже записала, чего орать. Аист летит, вытянувшись в полете, цапля летит сутуло и вроде у нее под шеей мешок, который мешает выпрямиться, так она держит шею, а фламинго распластаны в синеве крестом, не сразу поймешь — где голова и куда держит путь фламинго. «Запиши, голубая чернять, два выводка!» Уже пометила, не слепая. Большие — бурые — утки. Болотный лунь закусывает в полете, жрет жука, небрежно лапой придерживает, чтобы удобней жрать. Лебедь долго-долго разбегается по воде, топая по воде огромными ступнями, и длинный звук этот похож на вялые тягучие аплодисменты. Оторвался. Взлетел. И сразу стал легкий...

Все обжито в этом мире, все названо, в названиях — меткость и красота человечьего понимания, никто никому не мешает, ну, один съел другого, так это же — не со зла, это надо для жизни, все имеет мудрую связь и связь эту вдруг постигаешь пронзительным сопричастием, если рядом Макс, бережны его рыжие пальцы, зычный голос снижен до нежного шепота, глаза прищурены нежным прищуром перед этой звенящей и уязвимой жизнью. «Еще где-то одно гнездо должно быть...» Одиннадцать гнезд мы уже нашли. «Вот оно! О-о-о, козырное жилье!» Из гнезда бессильно щелкают клювами младенцы-пустельги, малого сокола, он в небе — узок и устремлен, таким рисуют сокола в детских книжках. Младенцы-пустельги неказисты, даже откровенно уродливы — беловатые, с кремовым отливом, в некрасивом пуху, глаза их бессмысленно пусты и вытаращенны, словно у них базедова болезнь на бледном лице. А недели через две клюв изящно загнется, огромные круглые глаза обретут достойную черноту, крылья окрепнут благородным серым цветом, глянешь — и сразу видно: сокол...

Проследовал от берега выводок красношейной поганки, загляденье, серые щечки, серый цвет в природе глубок и богат, зачем мы банальное именуем «серым», несправедливо, красноватый чулок на шее и узкая бархатная шапочка через всю голову к носу,— и беззвучно скрылся в камышах. «Запиши!» Уже. «Черный пацанчику завтрак понес!» Мелькнул черный жаворонок, я прозевала. Прямо в лодку ткнулась лысуха, меховая птица, перо — густое, черное, мелкое, чистый — мех, а на лбу — овальное пятнышко, облитое яркой белой глазурью. «Сама кольцеваться пришла»,— орет Макс. Ноги лысухи остро-когтисты, цеплючи, перепончатые пальцы сворачиваются, как лепестки. Лысуха — из пастушковых, где-то южнее есть еще индийская курочка — с красной глазурной бляшкой. «Та — красотка! Не видела? А-а-а, чего ты видала?!»

Ничего я раньше не видела, ничего.

В этом мире Макс, мокрый уже по шею, тяжело рушит камышовые топи высокими сапогами, но не проваливается, а как бы летит передо мною по камышам, над черной и вязкой озерной глубью. Камыша тут тьмища, он сверху сухой, лежит на себе самом, на черной воде — как лежневка, ступать по нему надо быстро и боком, свой вес не допускать в ноги, держать свой вес навесу, иначе — ухнешь. Я ухнула в глубину. Макс больно выдернул меня за плечо, встряхнул и поставил боком. Тут, в сухом камыше, гнездятся чайки и крачки, гнезда их — слабые вмятинки, лежат мелкие яйца, одно, два, чаще — три, буровато-зеленовато-коричневатые в крапинку. Птенцы, косолапые вроде, улепетывают — как брызги. Птенца можно схватить сачком на длинном шесте, мне такой и не удержать, руками, брюхом, всем телом, точно кинутым в воду, или уж как придется.

Я схватила, теперь торжествую, зажимаю на правой лапке алюминиевое кольцо. В руках птенцы отличимы. У крачат — ноги ярко-желты, пальцы неровные по длине, между средним и правым пальцами — большой вырез, а у чаячат ноги бледные, отдают даже в зеленоватость, перепонки точно и ровно натянуты между одинаковыми в длину пальцами. Птенцы в руках — не боятся, не орут, любопытно крутят башкой, щиплют длинным клювом в ладонь, но небольно. Зато орет — все вокруг. Ибо над камышами мечется прорва, бессчетная туча, живая плотная крыша, оря, как безумная, она осыпает нас перьями, пометом и бранью. В яростной этой туче перемешаны и едины в

своей к нам праведной ярости обычная озерная чайка, белая, с черным клювом и довольно крупная, чайка сизая, серебристая, хохотун, не знаю — какие еще, все, какие есть, и острокрылые мелкие крачки, черная тюбетейка и хвост шилом. «Эльдорадо!» — сладостно ревет рядом Макс, легко перекрывая помет, перья и брань...

Что это снова? Картинки с выставки жизни? Слабые узоры бессильным пальцем по заиндевевшему стеклу жизни? Ничего во мне нет, кроме детского взгляда на мир и на вещи в этом мире. Это тоже не так уж мало. Надо радоваться — тому, что есть. Почему ж я не радуюсь? Чего же хочу от себя, безутешной? Какого рожна желаю?..

Отчего ж моя блаженная эйфория? Наш отряд обычен. Аспирант Олег достаточно ленив, сам дела не видит, для всего ждет команды, слишком услужлив со старшими, слишком готовно соглашается с Максом, соображения его не по возрасту солидны, никогда — не оригинальны, он брезглив, постоянно стирает вкладыш, ложку тщательно протирает чистым платком, прежде чем сунуть в уху, самое сладкое для него время — армия, он служил в морском десанте, он соблюдает себя в прекрасной спортивной форме, словно всякую секунду ждет сигнала — высадиться десантом на враждебный берег, ему сильно нравится собственное тело, он себя разглядывает в одобрительных подробностях — руки, ноги, загар, загар его прекрасен, тело его блестит молодой мощью, на нем — отглаженная панама защитного цвета, красные трусы и широкий кожаный ремень, на котором затейливо приторочен охотничий нож в затейливом чехле, в минуты досуга он бросает этот нож в цель, в цель всегда попадает, на ночь Олег аккуратно снимает ремень и укладывает его возле спального мешка, чтобы нож можно было бы выхватить даже в темноте одним — кошачьим — движеньем, если вдруг последует сигнал — выхватить, снял ремень — значит разделся, застегнул на себе — готов к трудовому дню, к орнитологии он, по-моему, относится сдержанно, ему симпатична физическая разрядка, чужд всякий антропоморфизм, умелость у него есть, новых горизонтов он не откроет вовеки.

Еще у нас есть шофер Егор Никитич, это личность функциональная, он функционирует за рулем, за рулем он хозяйственен, молчалив и деловит, в остальное время он — спит, Никитич спал бы круглые сутки, если бы Макс не выбивал его из этого приятного состояния своим громогласным энтузиазмом, Никитич необъяснимо привязан к Максу, при Максе глаза у него темнеют, ради Макса он лезет в черную холодную воду, кольцует уток, гоняется за птенцами, вблизи от Макса в нем прорезается булькающий смех и даже, как будто, общее оживление организма. Никитич отлично готовит. Он белотел, крупен, вечно изъеден мошкарой до крови, во сне он апатично похрапывает, иногда — стонет. Если Никитич не за рулем и не спит, он неостановимо рассуждает про женщин. О женщинах Никитич говорит постоянно, подробно, дотошно, вяло, однообразно, вполне корректно, мне даже сдается — он говорит о них против воли, он сам бы рад от этого предмета отвлечься, хоть бы на время от этого вечного предмета отдохнуть душой, переключиться бы на что-то другое, но он — не может.

Из рассказов Никитича вырастает на меня вялая и неотвязная армада женщин разного возраста, разных краев и национальностей, разной степени безобразия и привлекательности, разных мастей и конфигураций. Их всех, горемычных, объединяет и роднит только иррациональная, какая-то даже жвачно-неистребимая, приверженность к нашему Никитичу, влеченье — род недуга. Они все никак без него не могут. Они все пожизненно-вечно стоят вдоль бескрайних дорог нашей необъятной родины по обочинам, дышат жвачной печалью, переминаются вялыми боками и ждут, когда же подъедет на казенном лимузине наш Никитич. Тут только они все враз просыпаются, расцветают, кидаются ему на шею и протягивают к нему смеющихся детишек, которые враз кричат на разных языках «папка!» и писаются от счастья. До боли обидно, что ни один из этих детишек ничем, ну — ни капельки, не похож на нашего Никитича, но наш безотказный Никитич им всем платит алименты.

Поэтому Никитич вынужден был уйти из тихого городского автохозяйства на экспедиционную работу, ночует с нами в холодных песках, ночью ему на нос падают звезды, днем он гребет на лодке заместо мотора и ныряет в плавни за утками, которые лапами лупят ему грязной водой в лицо. Чтобы все эти детишки могли хорошо питаться.

Но Никитич не жалуется, он просто рассказывает. «Нет, Никитич, не любишь ты женщин!» — жизнерадостный Максов рев врывается в вялую речь Никитича, как блистающая скала — в замшелый пруд. Высоко взлетает энергетическая волна. Никитич вяло отряхивает с себя волну, вздыхает: «Я, Макс, всех женщин люблю и всеми разочаровался...» — «А вот этого как раз делать нельзя! — весело гремит Макс.— Мужчина не имеет права — разочаровываться. Потому что — на нем вся ответственность мира! И что-то должно обязательно доставлять мужчине радость — рыбалка, женщина или крик утки в камышах. А без этого мужчина, Никитич,— уныл. С ним земле тошно!» — «Скажешь тоже — земле! — Никитич смеется неуверенным булькающим смехом.— Мы ж еще не в могиле».— «Земля, Никитич, это — не могила, а вся прорва жизни!»

Кто у нас есть еще? Только — Кирилл Иванович Левчук, этот для всех — «Кирилл Иванович», кроме нас с Максом, с Максом — вместе учились, я, как всегда, отчеством пренебрегаю, считаю — условностью, дурная привычка. Кирилл Иванович — завлаб, давно защитился, в отличие от Макса, которому все некогда, мешает широта интересов и общий захлеб жизни, у Левчука своя тема, занимается он вертикальными миграциями, это — в горах, имеет свой стационар, с нами поехал, по-моему, для разрядки и кругозора, насмешлив, знает все анекдоты мира, рассказывает смешно, с акцентом, обычный вариант контактного человека в поле, плотно начитан по специальности, но говорит про это скучно, считает, что многое объяснить нельзя, тоже — обычный вариант, элегантен, даже старенький свитер умеет носить роскошно, очень любит мыть голову, моет ее почти ежедневно и тщательно расчесывает потом густые волосы первобытным гребнем. Макс всегда самолично поливает ему на голову из ведра и ревет оглушительно: «Еще давай скачу! А за ухом, за ухом садани! Кайф, Кирка, кайф салям! Неважно — какой я дома (я там очень хороший!), а важно — какой я в поле! В поле — наоборот — нельзя распоясываться. Побрился. Чистую рубашку надел. Баш вымыл. Масло в голове есть. Это — мужчина!»

Макс с Левчуком держатся между собою как близкие друзья, понимают друг друга с хмыка, лезут всегда в одну лодку, потом уж неохотно рассаживаются по разным, чтоб соблюсти равновесие научных сил, часто секретничают в ночи на профессиональные темы и активно некурящий Левчук порой даже делает для компании одну-две затяжки. Макс и сейчас, небось, считает, что они — близкие друзья, он в дружбе наивен, безотказен и чист. Я же так не считаю — по одному пустяковому случаю. Мы с Левчуком, в первые еще дни, как-то заплыли в Балхаше далеко, вылезли на пологий — скальный — островок, их там полно пораскидано, черный базальт, и нас приморило солнцем. Разговорились вдруг — про защиту его, про стационар, про коллектив в институте. И вроде — вне всякой связи — он обронил: «Мне предлагали ехать начальником отряда. А на черта мне эта морока? Вся эта бухгалтерия? Пусть горластые занимаются хозяйством, это им подходит».

Я даже сперва не поняла, что он — Макса имеет в виду. А поняв, не подала виду, что поняла. Вот что мне в моей работе противно. Значит: я все-таки наблюдатель, «тайный — все-таки — соглядатай», что бессмертно до меня уже сказано, мне важно: не спугнуть дичь. Тьфу. Между делом, этак — походя, дружка продал, не за понюх, просто — чтобы я, случайный ведь тогда для них человек! — не подумала хоть на миг, что они — ровня, защитивший Кирилл Иваныч и бесстепенной Макс, что Кириллу Иванычу не предлагали быть тут начальником, нет, он сам отказался. Это все для него так всерьез и глубинно ранжировано, для меня же — сразу мертвяк. Надо было его тогда хоть столкнуть с базальта, чтоб удивился. Он бы, правда, не понял. Он уже дальше рассказывал, про свой стационар. Но мне было уже неинтересно, не умею отделять человека от дела, дурная привычка. И тут Макс проорал нам из своей «резинки»: «Давай к берегу! Никитич уху сварил — глянешь и слюна на грудь!..»

В те первые дни наше с Максом нежнейшее и задушевнейшее единство еще, видимо, не лезло в глаза, хоть возникло мгновенно. И вскоре нельзя было уже не отметить, что оно — есть. Так что больше Кирилл Иванович Левчук никаких откровенностей со мною себе не позволял, как бы и не было — такой проговорки. Но я-то против него уже затаила, все равно уж больше ему не верила, анекдотам его не смеялась, держалась с ним — для себя — суховато, что замечал, правда, только Макс и с удивлением мне за это потом выговаривал...

А Макса я публично обсуждать не желаю. Хоть у него тоже, конечно, есть свои слабости, но и они тайно дороги моему сердцу, ибо это слабости — Макса. Кто же без слабостей?! Я-то очень хорошо знаю, что в нашем отряде самым как раз уязвимым был Макс. Такие громогласные, для всех надежные, светло оптимистичные и жизнелюбивые люди, как правило, внутри себя как раз особенно тихо-задумчивы и даже печальны самой надежной для всех нас печалью — сопричастности и понимания...

Для меня без Макса этого мира, который открылся, просто бы — не было. Голос его для меня живителен, слово — упруго и скульптурно, не слово — плоть. Я могу прилететь к нему на одни сутки, чтобы просто подержать его за руку, «для бешеной собаки тысяча километров — не крюк». Он — опора моего духа, чистая радость моего ума, надежда моего сердца, материализованная, если хотите, вера моя в Человека. Я об одном только просила его всегда — не рассказывать мне заранее, что мне завтра предстоит увидеть самой. Только, во имя всех святых, не рассказывать, как стоит в воде фламинго, изгибая змейскую свою шею, пока я этого не увижу своими глазами. Не показывать мне, как бухает глухой ночью большая выпь, пока я сама этого не услышу. Только об этом я его и просила! И он сдерживался, как мог, бедный Макс! Ибо слово его для меня — не просто скульптурно или там — трехмерно, оно для меня, как выяснилось, несло в себе эффект голографии, то есть мгновенно создавало во мне точнейшую — в звуке, красках, в объеме — копию предмета, абсолютно адекватную оригиналу. Но еще более яркую, вот в чем фокус. Такую копию, перед которой действительность потом меркла и как бы покрывалась пылью. И в дополнительном этом эффекте, насколько я понимаю, мощно сказывалось эмоциональное поле личности самого Макса, его доброй энергии. Именно это поле, перешибая действительность, являло для меня устами Макса образ не просто адекватный, но и дополнительно обогащенный, минуя все стадии — уже образ Искусства, что вряд ли сумеет даже голография, но может — только Человек.

Душевный пыл ужель лишь топливо, на коем срабатывает творческий заряд, свою же душу ставя в ряд — бестрепетно — побочным впечатленьям? Ужели «Я» — лишь матерьял своим твореньям? О, как душа устала — быть матерьялом и сколь ничтожен результат таких затрат.

Я отдала Макса Машке на целых полтора месяца, чтобы она дохнула блистательной жизнью, и сейчас, в тени облепихи и близко глядя в Машкины огромные глаза, в коих чудилась моему сердцу только детская промытость души, я ждала беззаветных восторгов. «Ну?! — торопила я.— Машка, ну?!» — «Я поняла, что я этим никогда заниматься не буду»,— вдруг сказала Машка. «Чем — этим?» — «Этой твоей биологией». Я даже не смогла задать идиотского вопроса — почему же «моей», когда — наоборот — ее, так меня поразили эти Машкины слова.

Если бы среди безмятежности дня вдруг шарахнуло бы сейчас землетрясение баллов в десять, я поразилась бы меньше. Собственно — оно и шарахнуло. Оно шарахнуло, земля разверзлась, я так и ушла в черную трещину с парализованными немым удивлением глазами, посидела в глухой черноте и на неведомой глубине сколько-то по шкале Рихтера, и землетрясение вышвырнуло меня обратно. Я опять увидела свою Машку и увидела, что она не шутит. Теперь я даже, пожалуй, разглядела, что в глазах ее — за воспетой моим

сердцем детской промытостью и помимо ее — дрожит растерянность и вроде бы даже враждебность, которая тогда появилась у Машки в глазах впервые и пронзила меня дополнительной болью.

«Да что там у вас такое случилось?» — бодро вскричала я, так — что розовые скворцы дружно рванули из зарослей облепихи и низко пронеслись над нашими головами. Машка проводила их плавным изгибом шеи. Потом сказала: «Ничего не случилось. Просто поняла, что это не мое дело. Я этим заниматься не буду».— «Орнитологией?» — мне так хотелось свести все к частностям. «Биологией»,— жестко уточнила мне Машка. «Тебе не понравился Макс?» О, может, я — ради единственной дочери — готова была пожертвовать даже Максом? Нет, это был вопрос чисто тактический. «При чем тут твой Макс?» — жестко удивилась Машка. «Ну как же — при чем?..» — бодро начала я. Но она меня перебила: «Если хочешь знать, Макс твой — просто трепач». Этим она меня окончательно повергла. «Почему Макс — трепач?» — «Откуда я знаю,— сказала Машка враждебно.— Все болтает, болтает, будто я слепая, сама не вижу».— «Он не болтает,— обиделась я.— Он говорит. И говорит он блистательно».— «Вот пускай тебе и говорит»,— отрезала Машка.

Так мы с Максом потерпели крупное поражение по всему фронту, а Машка после восьмого класса навсегда утратила биологию как четкую направленность жизни. Я сперва подумала, что это — момент, но давно уже так не думаю...

А в тот день, на южном берегу Иссык-Куля,— после первых минут немотной беспомощности — сразу готовно замелькали в моей памяти пленительные картинки, которыми, как розовыми гвоздями, утыкана любая боевая родительская тропа. Сколько же их накапливается внутри, когда рядом растет твой ребенок и ты так истошно спешишь за него порадоваться, спрогнозировать и решить всю его будущую жизнь! И как страстно за них, оказывается, цепляешься!

Машке — три года. Мы на кордоне. Я разговариваю со знакомым егерем. Машка — меж тем — уже влезла в избушку, где заперт внутри медвежонок. Они уже сидят, обнявшись. О, эта девочка, она будет — наверно — зоолог! Машке — пять лет. Мы с ней в Ялте. Машка дерется на набережной, отбивает у мальчишек маленьких жаб, жабят, мальчишки их давят сандалиями. Она натащила тогда полную комнату жаб, они были всюду — в шкафу, в сахарнице, под подушкой. О, эта девочка, она не даст живое в обиду! «Она будет у вас зоологом?» — «Будет, кем сама захочет»,— это я скромничаю. Конечно, будет зоолог. Разве плохо? Я сдуру не стала, но Машка — будет. Машке — шесть. Она выкармливает на даче ежат. У ежат мать-ежиха погибла, попала под автобус. Все помогают Машке выкармливать, все гордятся Машкиной ответственностью и постоянством, она даже купаться не ходит, ей некогда. О, эта девочка! Сразу видно — биолог!

Машке — восемь. Прямо из школы она несется в метро через весь город и — сама, не за руку с мамой! — записывается в знаменитый клуб юннатов. Там таких маленьких и не берут. Но Машку берут! Я узнаю через две недели, когда Машки все нет, а уже девять вечера. Мне ее подруга сказала, где искать. Я нахожу свою Машку возле клетки с черным макаком Юзефом. Этот Юзеф огромен, угрюм и страшен даже моему взору. В детстве он переболел полиомиелитом, что не улучшило его нрава, у него мозолистый зад и огромные лохматые руки. Когда я влетаю в Клуб юннатов, Машка стоит, боком прижавшись к клетке Юзефа, а его огромная волосатая лапа с когтями трясет ее за плечо. Машка шатается, но стоит. Я беззвучно пытаюсь ее оттащить. «Не мешай,— одними губами шепчет мне Машка.— Юзеф ко мне при-вы-кает. Разве ты не видишь?» Вижу я, вижу, вижу.

Воспоминания об этом Юзефе особенно горячат мое родительское честолюбие. Этот Юзеф Машку любил. Она — одна изо всех — свободно заходила к нему в клетку. Он ей разрешал заходить. У Юзефа в клетке было щербатое бревно, не бревно — целое дерево. Когда Юзеф злился, он хватал это бревно, как щенку, поднимал выше головы и с размаху швырял его об пол. Все кругом дрожало. Но если Юзеф сердился на Машку, то свирепо просовывал сквозь решетку свою черную лапищу и буйно вырывал с Машкиной головы ровно один волос. И тут же, у всех на глазах, яростно разрывал этот — один — волос в мелкие клочья. У-у-у, этот Юзеф владел символикой, знаковой системой, семиотикой и семантикой. Машкин волос — ко всеобщему удивлению и восторгу — был именно знаком его крайней ярости и внутренней неудовлетворенности. Машка бесстрашно подставляла своему Юзефу голову. О, эта девочка!

И чтобы такая девочка теперь, когда самая пора серьезно начать, вдруг за просто так, безо всякой даже причины, отшатнулась от биологии? Когда они — Машка и биология, можно сказать,— прямо рождены друг для друга! А как Машка работала на ботаническом стационаре после шестого класса? Сама, небось, забыла. Но я ей напомню. Я ничего не забыла. Что тогда говорила сильно пьющая и сильно добрая сторожиха стационара, которая целую вечность живет там бессменно? Она, тетя Нюша, которую не обманешь, говорила моей подруге, чей стационар, что «студенты нынче совсем ничего не делают, всю работу перевалили на девчонку, а девчонка попалась — золотая, всю ночь над травкой сидит и даже на пол пылинки не сронит». Вот как говорила про Машку неподкупная тетя Нюша, которую не обманешь!..

За какую же ерунду цепляется мое родительское сердце! При чем тут тетя Нюша и Юзеф с мозолистым — твердым — задом? Кто в детстве не подбирал ничейных котят, не тащил в дом крыс, хомяков и золотых рыбок? Только тот, кого со всем этим грубо изгоняли родители. Я же — не изгоняла. Кто в детстве не зачитывался книжками про животных и не знал кучу из быта муравьев, орангутангов и большой панды, которых потом, вырастая, забывал навеки? Откуда взялась во мне эта блистательная модель Машкиного биологического будущего? От Машки? Или — все-таки — от меня же самой? И Машке я это — подсознательно — просто внушила? Тогда надо радоваться, что она вовремя вырвалась из моего внушения. Папа все говорил когда-то: «Смотри, Раюша, ребенка не задави!» Имея в виду, чтобы я в своей тупой и обычной задумчивости не села бы ненароком на маленькую Машку. Но, может, папа имел в виду нечто большее и совсем иное?..

После утра на южном берегу Иссык-Куля, когда мне впервые приоткрылась смятенность Машкиной растущей души, лишенной ясного будущего, мы столько раз возвращались к этой теме. Мы с Машкой потом перебрали все специальности, знакомые мне, а я много их знаю, все известные мне ремесла, умения и призвания, достойные жизни, радости сердца, вершины духа. И на все это Машка решительно говорила: «Нет, это мне не надо». Поначалу она слушала меня жадно, с надеждой, с доверием, сама заводила эти разговоры. Потом стала слушать неохотно, спрашивать перестала, отвечала кратко, лишь бы я отвязалась, в глазах ее я все чаще ловила выражение отстраненной враждебности, порою — насмешливой. Я, конечно, не отставала. Призвав на помощь все свое красноречие и всю свою оптимистическую убежденность, я не ленилась раскручивать перед Машкой необозримые и прекрасные возможности приложения ее сил.

Ведь жизнь сталкивала меня со многими профессиями, кое-чем я и сама занималась, а врезавшись в любое дело, хоть бы и на короткое время, я это дело всегда ухитряюсь горячо полюбить, мне — чтоб понять и почувствовать — надо обязательно полюбить. Тогда дело потом навсегда со мной остается, его уже не отнимешь. Уж Машке-то рассказать я про это сумею! И про людей, которые приходят в наш дом, приезжают со всего Союза, и сильны прежде всего органической слитностью со своим делом и этим делом красивы. Видит же она их! Слышит же она их! А что может быть заразительнее живого примера? Но Машку примеры не заражали. Даже — наоборот. Выслушав явно через силу очередную мою восторженную тираду, посвященную очередному другу-приятелю, очередной страстный панегирик, Машка этого человека встречала подчеркнуто неприязненно. Говорила мне раздраженно: «И чего — в нем? У тебя все — необыкновенные!» — «Естественно,— не сдавалась я.— Люди — штучный товар. Необыкновенные!» — «А обыкновенные — где?» — «Нету»,— говорила я. Машка глядела насмешливо: «Да их навалом».— «Обыкновенных — сама приведешь,— говорила я.— Я таких не знаю. Что это

за убогое деление? Обыкновенные, необыкновенные! Просто — жить интересно...» — «А мне — неинтересно»,— говорила Машка. Как точку ставила. И враждебность сгущалась в ее глазах.

И вдруг меня как-то стукнуло в ночи.

А что, если мои красочные речи, настырно завлекающие, с явно художественным отливом, ибо нигде я так иступленно не ищу образного слова, как в разговорах с Машкой, все рвусь к пониманию — до кванта, а выходит не квант, а скорее — световой год, что, если речи мои имеют для Машки тот же голографический эффект, какой несут для меня, к примеру, рассказы Макса? То есть эмоциональная их яркость перешибает действительность и как бы припорашивает ее потом серой пылью. Действительность потом не выдерживает сравнения. Что — если так? Тогда я рассказами своими убиваю для Машки профессию за профессией, человека за человеком. Мне даже страшно стало. Дети сейчас вообще-то не избалованы общением с родителями. Общение это — зачастую чисто утилитарное. Но, может, я перехватываю как раз в другую сторону? Не слишком ли много и равноправно я общаюсь со своей Машкой? Может — мне давно уже надо, так сказать, отвалить? Замкнуть свои художественные уста? Не бросать к Машкиным ногам красочный мир? И могучих своих друзей, чьей высокой ценности ей, видно, пока не понять? Пусть сама ищет себе — своих, сама — в одиночку — подумает, что годится ей в этой жизни? Кризис роста у нее! Ну и что? Есть во мне слабость: уважаю чужие кризисы. Сама такая. Но за Машкой нет еще ни усталости, ни свершений,— значит нет и права на кризис. Кризис, правда, не спрашивает, он качает свои права в любом возрасте. Вдруг для Машки это как раз явление сейчас благотворное?

Отойти в сторону, вот что надо...

Это будет вроде бы отступлением от единственного воспитательного принципа, который я считаю незыблемым для становления личности: окружение должно быть выше тебя самого. Растешь — только когда тянешься. Окружи себя ровней — и ты погиб. Друзья твои должны быть умнее тебя, книги, которые читаешь, должны быть не до конца понятны, понятные — нечего и читать, проблема (без овечьего оттенка), каковой следует заниматься, должна быть сложна, иначе какая это проблема и зачем тратить на нее время, даже в обычном турпоходе обязательно надо залезть только на ту гору, на которую — вроде — залезть не можешь. Тогда — заберешься. Стимул развития — лишь в непонятном и в невозможном. Тогда — поймешь и осилишь.

Человек должен все время чувствовать, как он мало знает, как он мало сделал и как необозримо много уже накоплено человеческим интеллектом, как таковым, и сделано другими людьми, жившими давно, недавно и живущими сейчас, рядом с ним. Но состояние это, вопреки вопиющей его плодотворности, достаточно само по себе дискомфортно и взрослые, посильно устроившись в своей жизни, частенько спешат от него отделаться. Оно конечно, наступает комфорт и спокойствие, но на этом кончается будущее, вот в чем штука. И идет, подспудно нарастая, подмена ценностей, что регалиям и должностям, естественно, не мешает и только укрепляет эту подмену. Незаметно происходит навечная остановка — в двадцать два года, в тридцать, в тридцать пять, у кого — как. Но обязательно: рано. Кто лет эдак до сорока пяти не остановился, тот, как правило, уже никогда не остановится, чем дальше — тем более уже сама высота себя держит.

А толчок, от которого зависит энергетический импульс и длина пробега, дает человеку детство. Во всяком случае — от детства зависит гораздо больше, чем от других времен года. Но много ли мне дала моя пронзительная прозорливость применительно к собственной Машке? Ничего — не дала...

Опять кручу завороженно диск, опять ищу тебя — Смертельный риск! На языке шевелятся слова, которые произносить — не надо, их сингулярна плоть, их антивещества испепеляюща прохлада, они, до дыр затертые в быту, пронзают глубь, как этот мир — нейтрино, произнесенные — они умрут, они живут лишь нéпроизносимо. А так и тянет их произнести, как тянет бездна — ногу занести.

Выше-ниже. А почему, собственно, я, например,— выше Машки? Такой имею к себе вопрос. По сумме знаний, что ли? Так это, как известно, количество и ничего не определяет. Или по росту? Но она уже меня в сантиметрах переросла. А почему, любопытно, я в праведной тревоге за Машку исхожу только из себя, единственной,— как из критерия, достойного повтора и подражания? А если — не ниже и не выше, а просто: она — другая? Если я, предположим, вещество, то вдруг да она — антивещество? И внутренние законы, может, другие, не ведомые ни мне, ни великой физике. Тогда при ненасытном моем стремлении к взаимодействию я добьюсь только взаимной аннигиляции, в результате коей мы с Машкой просто исчезнем. Милое дело! Этого я разве хочу? Чтобы в оголтелых моих потугах понимания мы бы с Машкой — обе бы — сгибли?

Нет, надо отойти в сторону. Надо. Надо. Пора.

Машка небрежно мусолит по столу мой портрет собственного изготовления — мое запрокинутое лицо в форме большого растительного листа печально откинуто навзничь в вечное небо поверх синей воды. Машка — ни сном ни духом, а мелкий родительский бес уже так и толкает меня под ребро: «А ведь похожа, а ведь что-то есть, может — она будет художник?». Но это я пока что держу глубоко про себя и в себе давлю, и на том спасибо. «Хочешь — книжку проиллюстрирую?» — искушает Машка. «Нет уж,— изо всех сил безразлично отказываюсь я.— Мне только твоих портретов и не хватало для счастья».— «А ты бы чего хотела?» — смеется Машка. «Я бы хотела — быть красивой»,— ляпаю я вдруг. Ух, до чего ее это поразило. Даже не предполагала, что мою скептическую дочь можно так поразить. «Правда?» — вытаращила Машка глаза. «Угу»,— хмуро кивнула я. «А зачем, мам?» Это вопрос — ребром.

Действительно — зачем? Неужто — чтоб Некто, обозначим его испытанной буквой X, меня, наконец, полюбил бы, всех бросил и пошел бы за мной на край света. Интересуюсь — куда и зачем? Фу, как плоско, Раиса Александровна, и совсем не достойно вас. Меж тем — как все истинное искусство испокон веку замешано на нераздéленности чувства и вы это отлично знаете.

Однако — сказала я правду. Причем сейчас я это ощущаю гораздо острее, чем в юности, когда ценила единственно интеллект. И ведь, по чести сказать, ничего меня моя вполне заурядная внешность не лишила. Из радостей бытия. Сережа, Машкин отец, был прямо красавец, первый парень на деревне, если Мурманск — деревня. Обаятельный, легкий, талантливый и ехидный. В нашей первой, собственной, квартире, что было уже в городке Беломорске, куда мы сбежали от мира, чтобы творчески расти и дерзать, стояли книжки вдоль плинтусов, лодка, велосипеды и лыжи, больше — вроде бы — ничего. Еще на полу был матрац. Вся квартирная территория исчерчена была мелом, он обозначивал сходни, по которым можно ходить, все остальное считалось за бурное море. Если кто оступался случайно, то расплачивался щелобанами. Список расплат висел на стене. Ночами мы придумывали сюжеты и так хохотали, что соседи приходили разделить нашу радость. Кто-то из нас постоянно куда-то летел или ехал, на худой конец — плыл. А другой слал туда сумасшедшие телеграммы, которые нередко не доходили за избытком безумия. Потом сам куда-то ехал, летел и плыл. Потом мы бурно встречались и делились впечатлениями, на хохот опять же прибегали соседи, потому что все были молоды, неимущи и жадны до жизни.

Еще мы писали. В друг друга очень верили. Считали, что — вместе мы можем все, украдем списанный вездеход, облазаем всю страну и напишем что-нибудь чрезвычайное, что сильно увеличит в мире радость. Я созидала тяжко, как и сейчас, но сейчас еще хуже, расписывать подробности мне тогда казалось неинтересным, меня завораживал глагол и квантовые скачки моей неизбывной мысли. Повестей моих дальше третьей страницы никто прочитать не мог. Не хотел. Но Сережа все равно в меня верил, что тогда было — главное. Он же писал, наоборот, легко, не знаю — как теперь. Писал он кусками, в страницу-две. Это вдруг был палевый рассвет. Или вдруг чье-то горькое одиночество. Или кто-то с кем-то сидит вечером на скале и как они трогательно молчат, а потом он вдруг ее обнимает, а она вдруг плачет. Когда этих

пейзажей души накапливалась большая стопка, Сережа начинал нервничать. Дальше он не знал: в его талантливой голове начисто отсутствовали связи чего-то с чем-то. Поэтому Сережа никогда не знал, откуда он и она пришли на скалу, зачем, отчего она вдруг заплакала и чего же будет потом, когда они — двое — скалу покинут. И нервничал все больше. Тогда я брала эту кипу, перечитывала с пристрастием, вздрагивая от нежности кусков и тонкости Сережиной лирической палитры, вживалась, сортировала внутри себя, как мне это виделось, и очень быстро писала связки, диалоги и прочее — кто, куда и зачем, а так же — что из этого вышло. Выходила Сережина повесть. Ее печатали. Мы получали деньги и жили на них весело и дружно.

Постепенно, нескоро и как-то очень неохотно стало выясняться, что мы с Сережей по-разному смотрим на разные основополагающие предметы, что это — необратимо и нам вряд ли удастся договориться. Уже была Машка. Все кругом завидовали нашему ладу и легкой атмосфере дома. Но почему-то последние два года этой нашей хорошей и веселой жизни мне снился один и тот же сон. Круглое тихое озеро. Солнце. Сосны. Мы с Сережей — в лодке. Я ныряю с лодки в прозрачную глубину и вижу яркий песок на дне. Обжигающе холодно, северное озеро. Я выныриваю. Смеюсь. Хватаюсь руками за борт. То ли — подтянуться в лодку хочу, то ли вытащить из нее Сережу, чтобы опять нырнуть — вместе. Сережа, загорелый, беловолосый, высокий, стоит на сиденье с веслом. Вдруг он беззвучно и долго, как во сне бывает, заносит это весло высоко вверх и медленно опускает мне в голову. Все. Ни самого удара, ни что — потом — никогда не снилось. Может, Сережа и не ударил. Или ударил мимо. Но вот этот, как в замедленной киносъемке, протяженный подъем весла в загорелой руке и внезапный потом размах в меня повторялись со странной регулярностью. А так-то жили мы хорошо и разошлись хорошо...

Или я просто уже устала от себя самой и красоты хочется — как легкой жизни? По крайней мере — более легкой, чем у меня? Ведь красота — вне логики. Красивому всегда уступят, всегда с удовольствием сделают, просто пойдут навстречу, ничего не нужно умно доказывать, никого убедительно убеждать. Может — поэтому?

«Мам, ну серьезно — зачем?» — Машка уже сердится, поскольку я молчу, тупо взирая мимо нее, словно бы не сама ввязалась с собственной дочерью в этот идиотический разговор. «Ну, чтобы доставлять людям радость...» По-моему, недурной ответ. «Ты и так доставляешь»,— от чистого сердца успокаивает меня Машка. Я знаю, что в глубине души она уважает мою общительность, столь ей несвойственную, и количество моих дружеских связей. Иногда она, по-моему, их даже переоценивает, виной чему опять же мое красноречие сродни болтливости. «Доставлять радость своим видом»,— уточняю я. «Ты и видом доставляешь!» — пылко заверяет Машка. Ребенок, наконец, собрался внутри и имеет силы сообщить матери приятную новость.

Какое счастье все-таки, что Машка хороша собой! За это я не устаю говорить «спасибо» Сереже и даже почти прощаю медленно заносимое над моей головою весло, которое ведь не опустилось же...

«И чего бы ты делала?» — интересуется Машка подробностями моей несостоявшейся жизни. Откуда я знаю? «Лежала бы на диване в обворожительной позе и глядела на себя в огромное зеркало»,— говорю я первое, что на ум взбрело. Некоторое время Машка молчит, видимо — прикидывает про себя это захватывающее зрелище. «А мозги ты бы себе оставила?» — следует затем очередной вопрос. «Я не намерена раскидываться мозгами»,— сухо говорю я. «Тогда, валяясь перед своим зеркалом, ты бы со скуки сдохла,— торжественно сообщает Машка.— В тебе бы тогда постоянно был максимум энтропии!»

Вот это — да! Я чувствую мгновенный и сладостный укол родственной близости. Нет, не зря я все-таки разговариваю со своей Машкой — о том, чего она не понимает и не принимает. Энтропию же вот она приняла! А энтропия — великая вещь, в физике, в психологии, и вообще. Энтропия — это мера беспорядка, и поначалу кажется, что это понятие как-то противоречит нашему привычному — эмоциональному — представлению о порядке. Действительно, ты лежишь на диване в позе отдохновения, на душе и в теле твоем покой безделия и безмыслия, а оказывается, что как раз в этот насладительный момент ты и являешь собой — как система и организм — высшую степень раздрызга и беспорядка: энтропия твоя максимальна.

Все в тебе распределено — вроде бы — равномерно, руки, ноги и силы, а с точки зрения проницательной энтропии ты являешь собой образец упадка и непотребства. Или наоборот. Ты давно уже омерзителен с виду, желт, перекошен и худ, двадцать пятую ночь не спишь, хлещешь лишь черный кофе, выкурил за последний час восемь пачек сигарет и все равно ничего не соображаешь, сам себе противен, ощущаешь себя не просто выжатым лимоном, а лимоном, пропущенным через мясорубку, но ты должен именно сейчас это сделать, сделать на «ять» и все равно сделаешь, не важно что: шахматный ход в матч-реванше на первенство мира, чертеж, чтоб утром сдать курсовую, дырку на океанском шельфе, чтобы проткнулась наконец нефть, операцию, потому что у больного уже перитонит и ждать нельзя, лыжню в бездорожье, ибо пурга и люди сидят без сухарей, либо великое открытие, поскольку до тебя его почему-то прозевали сделать. И только тогда и именно тогда — ты прекрасен и чист с точки зрения энтропии, она в тебе минимальна, ты несешь в себе гармонию и порядок, тобой можно лишь восхищаться и тебе можно только позавидовать.

Само собой, что максимум энтропии легко достижим: все развалить, самому развалиться, махнуть на себя рукой, ничего от себя не требовать, есть, спать, работать поменьше, чтоб без напряга, от сих до сих, в беды других не вникать, при чтении или там в кино — упаси боже! — не напрягаться. И мгновенно достигнешь максимума, от которого, должна честно предупредить, избавиться потом крайне сложно. Ибо энтропия в замкнутой системе, коли ты сам этому поленишься противостоять, не будешь с этой бедой всею волей бороться, имеет беспощадную привычку только повышаться, то есть беспорядок в тебе вроде бы незаметно, исподволь, будет расти и расти, сам не заметишь, как этот беспорядок тебя задушит.

Особенно бдительным следует быть в собственной семье, где система — он-она — является, как известно, наиболее закрытой из людских отношений вообще, достаточно, к счастью, незамкнутых — в принципе. Каждый, кто не хочет зачеркнуть себя как личность, обязан ценить в себе минимум энтропии, коли ему удалось его достигнуть, стремиться к нему и всячески способствовать понижению уровня энтропии у своих ближних. Следить за энтропией, с моей точки зрения, гораздо важнее для человека, чем — к примеру — за каким-нибудь кровяным давлением, которое все равно от тебя не зависит. Но за давлением, как я последнее время с удивлением замечаю, люди еще кое-как худо-бедно приглядывают, а на энтропию попросту плюют.

Резюме: природа почитает порядком разумное распределение энергии внутри организма по отдельным подсистемам, мозги должны концентрироваться в мозгах, а упругая сила — в бедрах, безразборное перемешивание есть хаос и ведет только к хаосу. Порядок требует волевых усилий индивидуума и никогда не возникает запро́сто так, сам собой. Второе начало термодинамики в формулировке Больцмана, понимаемое как энтропия физической системы (система: человек) и связанное с вероятностью ее состояния (что, во многом, от самого человека и зависит), должно лечь в основу школьного курса статистической физики, изучаться во всех гуманитарных вузах и в детсадах.

Лесник рассказывал на кордоне «Глухая Кукушка»: «Я первый раз на парикмахерше был женатый. Хорошая девушка — Соня, а вижу я: не могу. Она домой с работы придет и всюду у ей чужая шерсть. Обнимешь — с шеи посыпится. В ванну залезешь — опять шерсть. Моя старшая школу прошлым летом кончала, говорит: „Я, папа, парикмахером хочу“. Я ничего не сказал, слова — ветер. „Вихря“ взял назавтрева, старшую — в лодку с собой и покатил с ей в поселок. Там зашли в Бытовое обслуживание — часики починить. Девушка лупку в глаз всунула, крышечку верть на часах, что-то там пинцетиком круть. Готово. „Пожалуйста — три рубля“. Моя и глаза вытаращила: „За что же, папа, и три рубля?“ — „Сама видала — за что“. Наше время — элек-

троника. Надо идти, где работа чистая и времени соответствует. Конешно, молодого красивого парня девушке приятно побрить, побросешь, за шею подержишься, одеколоном спрыснешь. Так ведь разве такие только придут? Всякая пьянь полезет, перегар, слюни, щеки сизые. А ты его еще полотенцем оборачивай, чистым, да порезать бойся. Нет, дочка, не ходи в парикмахерши! Дома халатик скинешь, а с тебя шерсть посыпится. Так и убедил. Кончила техникум, был у ей недавно, работает, ходит в чистоте, в белом, кнопки пальчиком жмет и оклад сто восемьдесят. Никому не должна и ни перед кем улыбаться не надо...»

Четкий педагогический процесс. Копни любого и в любом возрасте — найдешь в глубине учителя, от которого поворот зависел, важно — кто этот учитель был, как с учителем повезло, повезло ли. Я спросила Шмагина: «Васильич, кто, как считаешь, на тебя самое сильное влияние оказал? В детстве? В юности? Мама? Папа?» — «Никандров»,— сразу ответил Шмагин. «Это — кто?» — «Сосед сверху, на лестнице познакомились.» — «А он кто был?» — «Тренер по волейболу. Да это — не суть, я у него не занимался. Только из-за Никандрова каждый отпуск в Ленинграде торчу, своих мне бы и за неделю хватило».— «А школа?» — «Школу я не любил. Никогда даже не вспоминаю».— «Ни одного учителя на попалось?» — «Учителя? — Шмагин засмеялся.— Нет, была одна учительница. Все говорила: „Ты, Шмагин, в исправительной колонии кончишь“. Видишь — ошиблась!» — «Ну, ты еще не кончил...»

Мне счастье распирает уши, сейчас задушит, помру в слезах, платочек теребя,— Он разрешает мне любить себя, о господи, как Он великодушен! Ведь если б Он чуть-чуть слабее был, то взял бы — да и запретил. Иссохла б я, Его любить не смея, как без воды — болотная лилея. О господи, как Он силен, я — змеи жалкие, а Он — Лаокоон!

Я сижу на полу в кабинете математики, никого уже нет, никто не войдет, и разбираю математические сказки в шкафу, тут ими забит целый шкаф, для развития математического воображения и просто для удовольствия эти сказки тут пишут все, с четвертого по седьмой класс, сперва Он дает задание — придумать сказку, например,— из жизни Дробей, простых и десятичных, или про Множества, пустые и непустые, а потом они входят во вкус, им самим удержу нету, заданий Он уже не дает, а они всё приносят и приносят сказки, некуда складывать, но к концу приблизительно седьмого класса они как-то теряют интерес к своим математическим сказкам и начинают писать сочинения для Маргариты, некоторые — с грифом «личное», такая в этой школе «мировая линия» развития личности, по Герману Минковскому и по жизни...

«В страшных горах Бырранга жил старый-старый Вондырь и его кроткая жена Непруха. «Непруха» это была не фамилия, а прозвище, потому что жена Непруха была как раз родом с речки Пру и вся деревня носила там — наоборот — фамилию «Пруха». И Непрухины предки — в том числе. Но Непрухиному деду по отцовской линии почему-то ужасно не везло в жизни, он вдруг утонул в речке Пру, где не тонут даже головастики, и тогда всю его семью стали в шутку именовать — Непрухи. Это слово к ним так и прилипло, как в деревнях бывает. Непрухин отец уже откликался на эту кличку, а маленькую Непруху так прямо и записали черным по белому в паспорте: «Непруха». А старый-старый Вондырь был по национальности — упырь. Но — в отличие от всех других упырей, которых, как известно, отличают длинные и прямые носы — Вондырь был курносый. Это рано состарило его и вообще — в отличие от всех других упырей — сделало его жизнь беспокойной, а характер — угрюмым. Ведь на носу у него вечно жили куры, они кудахтали и дрались, эти куры совершенно не давали Вондырю утром выспаться, так как начинали страшно орать с рассветом, а Вондырь был «сова», он ложился поздно. И вставать приходилось рано. Но кроткая жена Непруха всегда вставала вместе со своим Вондырём. Между собой они жили дружно.

Непруха пряла свою пряжу из нерпичьих волос, а Вондырь охотился в страшных горах Бырранга на промежуточных бозонов, которых пока было много. Из промежуточных бозонов Непруха делала на ужин котлеты с красивыми кварками. Их дети очень любили кварки, особенно — верхний и нижний. У Вондыря и Непрухи, кстати, было двое детей: трудный подросток Углан и дочка Биссектриса, красавица и умница. Углан был тупой и темный, он просто так — назло — гонял кур по всему Вондырю, путался ногами в непрухиной пряже и часто дразнил свою единственную сестру Биссектрису, красавицу и умницу. «Эй ты, пустое множество!» — так он ее дразнил. Но Биссектриса — кротостью она была в свою мать Непруху — никогда не обижалась. Она твердо знала, что по первой теореме Гёделя все равно в пределах любой системы, если она действительно — непротиворечива, невозможно предусмотреть и исключить нечто, что тоже входит в эту систему, но чего нельзя доказать внутри этой системы, если она действительно — непротиворечива. Так что Биссектриса была уверена, что Углан ничего не докажет.

Она гуляла себе по страшным горам Бырранга, плела венки из цветных глюонов, пела сама себе веселую песенку: «Вектор, вектор, где ты был?» или, например, напевала себе грустную: «Нейтрино ты, нейтрино, кто знает — кто она?» Но Биссектрисе все равно было весело. Она собирала нoли, которых много катается там в ущельях. В горах всегда ведь полным-полно нолей, потому что они — круглые и любят скатываться с крутых склонов, но почему-то их не принято собирать и заготовлять впрок. Биссектриса набрала целую связку нолей. Она решила подарить их на день рождения своему папе Вондырю и своей маме Непрухе. Да, забыла,— они же родились и умерли в один день. А ее брат Углан, достаточно темный и нравственно туповатый, выволок из сарая детский свой мультиплет со скрытой киральной симметрией и знай гонял себе на нем со скоростью света над бездной и перед крыльцом туда и обратно, как взбесившийся тахион. Про подарок даже и не подумал.

Вондырь и Непруха очень обрадовались нолям. Они были разноцветные, всех цветов спектра, и, если надуть их гелием через велосипедный насос, так красиво порхали над черными горами Бырранга. Но потом они все вернулись по законам гравитации. Большую часть нолей решено было выпустить на волю, а но три штуки взяли себе на память об этом счастливом дне Вондырь и Непруха, все-таки — день рождения. Только старый-старый Вондырь — без всякой задней мысли, чисто рефлекторно, он вообще был неграмотный,— поставил эти ноли впереди себя, а скромная жена его Непруха сунула ноли сзади, за собой. А Вондырь, повторяю, был один, то бишь единица, и Непруха тоже была — одна, то бишь единица, хотя вдвоем они были, конечно,— двое.

И получилось, что Вондырь сразу превратился в мелкую десятичную дробь — 0,001, а жена Непруха вдруг стала целой тысячей — 1000. Тупой Углан все гонял на своем мультиплете, ничего даже и не заметил. Скромная Непруха тоже не обратила на это внимания, а на курносом носу Вондыря сразу же злобно и завистливо закричали куры и Вондырь вдруг обиделся. Так старый-старый Вондырь и кроткая его жена Непруха впервые в жизни поссорились и ссора эта, если фундаментально разобраться, была прямым и непосредственным следствием благородного поступка их дочери Биссектрисы, красавицы и умницы, которая так по-детски необдуманно приволокла в дом ноли. Вот так даже очень хорошие дети порой ссорят, а иногда — даже доводят до развода, своих больных и добрых родителей».

Словарь терминов и непонятных выражений. «Непруха» *(вульгаризм)* — стойкая невезуха, несчастливость даже в мелочах, отсутствие удачи. «Кура» *(просторечие)* — см. *курица*. «Курица» — птица, встречается в сельской местности, неприхотлива, легко приручается, мясо — съедобно, яйца (тоже годятся в пищу) подразделяются на диетические и простые, первые — дороже, самец курицы (петух — см. *петух*) в воспитании потомства (цыплят — см. *цыплята*) участия не принимает, петух имеет шпоры, гребень и громкий голос: он поет. «Бырранга горы» — горы на полуострове Таймыр, высота — до шестисот метров. «Промежуточные бозоны» — промежуточные векторные бозоны, являющиеся переносчиками слабого взаимодействия. «Кротость» — незлобливость. «Первая теорема Гёделя» — см. *Гёделя теорема*. «Гёделя

теорема» — теорема о неполноте; австрийский логик и математик Курт Гёдель выступил с теоремой о неполноте в возрасте двадцати пяти лет, доказательство — простое, но длинное, ему предшествует сорок шесть определений и несколько вспомогательных теорем, режим экономии бумаги, к сожалению, не дает нам возможности здесь его воспроизвести. «Угла́п» — трудный подросток, верхнепечорский диалект. «Цветные глюоны» — см. *глюоны*. «Глюоны» — кванты поля или обменные частицы, переносящие цветное взаимодействие, которое связывает кварки, образующие адроны, и лежит в основе сильного взаимодействия. «Ноль» — см. *нуль*. «Нуль» — фундаментальное число, отправная точка любой системы отсчета, подробнее см. Абсолютный нуль, Нулевая энергия, Нулевая гипотеза, Нулевой звук, Нулевое отношение, Нулевой прибор, Нулевой класс, Нулевой метод измерения. «Ссора» — резкое повышение энтропии в замкнутой системе.

Этой сказки в шкафу еще нет, я ее только что придумала. Но вполне возможно, что ее — точь-в-точь и слово в слово — еще кто-нибудь придумает, поскольку по теореме возврата Пуанкаре, которая так дорога моему сердцу, вполне реально любое точное повторение и что угодно, то есть — любое чудо. Чтобы это произошло, нужно только немножко подождать — десять в десятой степени и все это еще в сорок седьмой степени секунд. Это совсем недолго. Ведь никто доподлинно не знает, когда Время началось, и — следовательно — уже через какую-нибудь секунду этот срок для некоего события, которое было немножечко, конечно, давно,— возможно, как раз истечет. И оно, это событие, себя явит. И в каждую — следующую — секунду опять же истечет срок другого события. Так: чудо может просто наскакивать на чудо и чудеса нас буквально одолеют. Мне ужасно нравится эта теорема, потому что она с хорошей степенью приближения гарантирует чудо на строго математической основе, спасибо Анри Пуанкаре. Сейчас в кабинете математики, к примеру, может открыться дверь, войдет Он, но не сделает отсутствующее и независимое лицо, не скажет: «А-а-а, это вы, Раиса Александровна? Все работаете? И вам — не лень?», а расцветет счастливой улыбкой, кинется мне на шею и закричит на всю школу: «Райка?! Я чувствовал, что ты здесь! Я так бежал!»

Но срок, по-видимому, еще не истек, даже шагов не слышно.

Этой сказки в шкафу еще нет, но зато я нашла, например, такую, ничуть не хуже. Сказка о неудобной фигуре: «Жила-была на свете одна фигура, и была она очень плохая на вид. А соседи ее были красивыми фигурами, стройными. И все соседи жалели ее. А соседи были параллелограмм, трапеция, треугольник и ромб. Ох, как она страдала, эта фигура, и плакала, и ходила к врачам. Ничего не помогало. И вот однажды мимо дома, где жила неудобная фигура, прошли два отрезка равной длины. Услышали они плач этой фигуры и спрашивают у соседей: «Что это она все плачет и плачет?» И ответил им ромб: «Очень уж она плохая на вид. От нее убегают даже на улице». Думали два отрезка равной длины, думали и вдруг придумали. Встали они между вершин этой фигуры крест-накрест, под прямым углом, и вдруг ее выпрямили. И отрезки этой фигуры стали параллельны и стала она красивой фигурой. Благодаря двум отрезкам равной длины, которые называются диагоналями, фигура превратилась в квадрат. И теперь она никогда не плачет».

Эту сказку придумал человек, который занимается в четвертом «А» классе, сидит на предпоследней парте, часто отвлекается в окно, пишет с ошибками, «плачь» он, к примеру, тут написал с мягким знаком, когда ему на уроке скучно, он прикусывает себе мизинец, на переменах катается по перилам, очень это любит и не раз был на этом пойман Геенной Огненной, но Геенна на него не кричала, он на вид очень симпатичен и располагает к себе, лохмат, никогда не причесывается. Я заметила, что Вам нравится — походя — коснуться перстами его лохматого загривка, не то — дружески ткнуть, не то — мимолетно погладить, он этот жест дружелюбия ценит, Вы вообще верите в касания как в педагогический стимул, на Ваших уроках он тянет руку вверх от плеча,

подпирает эту руку — другой, чтобы еще повыше, когда доволен собой, решил, предположим, пять примеров из пяти, припрыгивает за партой и громко притопывает ногами, сам того не замечая, Вы ему замечаний по этому поводу тоже не делаете.

Вы — я заметила — даже поощряете любые проявления эмоциональной активности, у Вас на уроках обязательно бывают минуты громкие, когда класс хохочет, вскрикивает и вертится кто как может, бурно переживает радость открытия — ну, скажем — центральной симметрии или чей-нибудь удачный ответ, или блистательно неудачный. Ведь в любом неудачном Вы все равно ухитритесь найти глубину и прелесть мысли, неправильной — в данном конкретном случае, но чем-то все равно ценной, ибо мысль — всегда ценна, поэтому ответить неправильно на Вашем уроке — не страшно, ошибиться — не унизительно, в поиске истины — неизбежны промахи и ошибки, якобы тупики и якобы провалы, тут непрестижно — безучастно молчать и не принимать никак эти поиски, только — это. А тишайшую тишину Вы в любой момент восстанавливаете мгновенно — легким движением руки, вдруг статичностью позы, выражением лица, сменой тона, особые слова весьма редко для этого даже требуются, класс у Вас управляем идеально и ни в одном — мне еще ни разу не удалось подметить радости от звонка на перемену, из чего я делаю смелый вывод, что процесс познания насладителен в любом возрасте, если он изобретательно, умно, насыщенно, не деспотически и не мрачно организован, а математика — легкая и увлекательная для всех наука...

Эту сказку я украла без ведома автора и надеюсь, что он этого никогда не узнает, а если узнает — великодушно меня простит. Судя по всему, он — человек великодушный, наделенный сочувствием и состраданием, способный вникнуть в чужие беды. Не кажется ли Вам, досточтимый сэр, что эта сказочка Вас в чем-то, глубинно-существенном, в какой-то мере определяет? Мне она представляется прямо-таки — пронзительной, почти — притчей. Во всяком случае, автор правильно ставит вопрос, а точно сформулированный вопрос, как Вы сами же учите,— уже полдела.

Не могу, правда, даже вообразить себе столь могущественных «отрезков», кто бы они ни были — обстоятельства, люди, фатум, каковые вдруг выправили бы Ваши неудобно-колючие углы и обратили бы Вас в аккуратно-гладкий квадрат, хоть квадрат — вполне достойная геометрическая фигура, не хуже других, он, что ли, виноват — что у него все стороны равны, а искусство несет в себе обязательную асимметрию, включает в себя асимметрию как фундаментальную константу, может — именно нарушение симметрии и делает нечто вдруг произведением искусства, ибо только в асимметричности — тайна для человеческой души, намек, недосказанность, волнение сердца и неоднозначность смысла. Полная же симметрия пресна, воображения не будоражит, не завлекает в себя, а как бы — даже просматривается до дна, как мелкая и ограниченная глубина, и потому — бедный квадрат так скучен.

Вас же я воспринимаю как явление художественного порядка и, хоть частенько и злюсь на Вас (Вы бы сказали: «гневаюсь», это красивей и както — выше) — исключительно на «неудобность» Вашу в миру и в быту,— абсолютно не заинтересована в Вашем превращении в квадрат или даже в круг. Круг, кстати, гораздо живее и многозначительнее квадрата. Несмотря — на полную симметричность окружности. Это ничуть не снижает ценности предыдущего рассуждения, а лишь расширяет оное в силу принципа дополнительности, о Великий Бор! Ибо круг есть волна, волна есть движение, круг — значит — моментальный снимок движения, мы не в силах его удержать даже в воображении, движение — неудержимо и исполненно неожиданности и тайны, радиус круга — вопреки нашей воле — растет, круг обращается в бесконечность, только кругом и можно заарканить бесконечность, других технических средств для этого я просто не знаю. Или радиус вдруг начинает падать, он стремительно падает, тащит за собой круг, круг сжимается в крошечную точку, это происходит так быстро, что безбрежная бесконечность, которая только что с трудом помещалась в бесконечном круге, никуда не успевает удрать и — в полной панике — прессуется в одну точку, представляю, какая там сейчас теснота, бесконечную бесконечность теперь можно

прикрыть кончиком пальца, я не знаю других технических средств, чтобы так ловко, экономично и просто изловить бесконечность. В круге есть, на мой взгляд, еще одна эмоциональная прелесть: он, такой простенький, гладкий и плавный на вид, всячески нам показывает, что — фигура он легкая, что линия, его ограничивающая, наивно бежит себе колесом, без углов, без разрывов и без усилий, не то, что — к примеру — какой-нибудь двенадцатиугольник, где каждую линию так и кидает, так и швыряет туда-сюда. А на самом-то деле, по сравнению с кругом, какой-нибудь двенадцатиугольник — дитя, ибо круг меняет направление в каждой точке своей окружности, в каждой — решительно — точке несет в себе кривизну и, следовательно, имеет такое количество скрытых углов, какое двенадцатиугольнику даже и не снилось. Да еще при этом ухитряется в каждой точке держать одинаковое расстояние от собственного центра. Нет, круг, если вдуматься, категория философская и, возможно, непостижимая в принципе. Недаром маленькие дети так рвутся всегда нарисовать именно круг, они знают, что делают, дети, пока взрослые их не успели испортить, интуитивно отдают предпочтение великому и влекутся к нему душою. До сих пор не знаю, досточтимый сэр, как Вы относитесь к кругу? Оказал ли он благотворное влияние на становление Вашей личности? Пытались ли Вы вырваться из него? Вы так утомительно скупы на подробности своей жизни вне конкретного урока и так утомительно выуживать эти сверкающие подробности из кипящей незначительными мелочами, относящимися ко всему остальному человечеству, проруби бытия. Но я не жалуюсь, нет.

Я думала, что Ты — бесстрашен, как пробивающий асфальт росток. Но кроток Ты — как гречневая каша, как сваренный желток.

На днях случайно удалось приподнять еще одну завесу над Вашей биографией. Так это было. Я опоздала к началу очередной Вашей лекции в Институте усовершенствования, кощунственно, но лгать и изворачиваться не буду: опоздала — нарочно. С Вами — на лекцию, чтобы Вам внимать, с Вами — бегом с лекции, чтобы Вы успели к уроку, рядом, у ноги,— чтоб не прозевать вдруг какое-то Ваше слово, давно уж у меня нет никакой личной жизни, кроме — Вашей. Опоздав, я обрадовалась, что можно постоять просто так в коридоре — без Вас, живя исключительно личной жизнью и легко озираясь на жизнь окружающую. У окна объемная женщина в длинных сережках кушала бутерброд и сережки, при каждом укусе, длинно раскачивались. Мужчина с ней рядом был так высок, что сперва я попала глазами ему в живот и лишь постепенно, возводя очи кверху, нашла в вышине его голову. Народу было порядочно. У кого-то, небось, лекцию отменили,— лениво подумалось мне.

Тут в коридорном пейзаже возникли интригующие перемены. Стабильные группки вдруг распались. Теперь все возбужденно и непонятно сновали по коридору, мгновенно объединяясь, разбегаясь снова и мгновенно создавая другие группки, которые, обменявшись на лету какими-то знаками, тут же опять распадались, чтобы через секунду дать свежую, столь же непонятную и хрупкую комбинацию. Объемная женщина с недоеденным бутербродом мелькала, как молния. Смысл начисто не просматривался. Я было решила, что наконец-то вижу настоящее, химически-чистое, броуновское движение. Но хаос вдруг разрушился и все — разом — обрело одностороннюю четкую направленность: бегом, мимо меня, на второй этаж. Как коллективист я рванулась следом. На втором этаже мы резво и молча пронеслись через пустой зал, дважды свернули вместе с коридором и, наконец, достигли — по-видимому — желанной цели, ибо объемная женщина страшным шепотом вскрикнула: «Здесь!» и все, сгрудившись, осадили возле какой-то двери.

Из-за двери отчетливо доносился Ваш уважаемый голос. Только-то и всего! Вам, значит, переменили аудиторию, а они Вас потеряли. Но жизнь богаче нашего скудного воображения, которое услужливо подсовывает нам свои скороспелые догадки. Я думала, мы сейчас гуськом войдем, чинно рассядемся по свободным местам, коль они есть, или втиснемся кое-как на краешек, что тоже бывает. И инцидент исчерпан. Но никто, судя по всему, входить и не

собирался! Все молча и сокровенно жались у двери. А объемная женщина (она уже была без бутерброда) объявила торжествующим шепотом: «Он! Я же говорила!» Значит, поклонники, так сказать, Вашего дарования, но из другого семинара: стесняются. «Можно войти,— подбодрила их я.— Он пускает».

Сорвали куш — единство душ, не удержали — тяжвсти...

Объемная женщина слегка даже шарахнулась от меня. А высокий мужчина вдруг изогнул голову, как фламинго, почти сравнялся с моим незначительным ростом и зашептал со страстной любезностью: «Извините, мы вам мешаем! Проходите, пожалуйста». Все расступились. Давно не видала такой слаженной и дружелюбной вежливости! «А вы?» — удивилась я. Тут все както странно затрясли шеями, за фламинго я даже испугалась, что он свою голову — вообще с шеи уронит, неуверенно заулыбались и невнятно запереминались, словно я предложила — голым пробежаться по коридору наперегонки. А объемная женщина испуганно воскликнула: «Нет, нет! Мы — тут!» Но сразу же осеклась и прижала пальцы к губам. И кто-то шикнул: «Тише, услышит!» «Я тоже, пожалуй, не пойду»,— отказалась я. Не могла уже их покинуть, не разгадав эту тайну. И совершенно напрасно проторчала целый час в коридоре, потому что никакой разгадки за этот час не последовало, слышен был только Ваш знакомый и четкий голос. Да сосредоточенное сопенье вокруг. Один раз кто-то сказал: «Хорошо выглядит...» Не заметила — кто, поскольку этого человека никто не поддержал и тема не получила развития. Звонок они, видимо, услышали раньше, как жуки — подземные толчки. Вдруг разом снялись с настоенных мест и рванули к выходу. Звонок взревел уже в спину. Я — как коллективист — кинулась следом. Мелькнула на повороте объемная шаровая молния, голова фламинго, лестница загудела, далеко внизу пропела и бухнула входная дверь.

До сих пор горжусь, что у меня хватило ума — ничего не спросить у Вас. Представляю, как дерзко Вы бы дернули носом: «Это не нужно обрабатывать, Раиса Александровна!» Я спросила у хорошего человека, методиста Института, она все знает. «Сто сорок седьмая школа»,— сразу догадалась она. Какой жизнеутверждающий номер, заметим в скобках вместе с пифагорейцами! 147 — единица, первопричина единства, четыре и семь — начала пропорциональности, символы здоровья, разумности и гармонии. Числа на редкость осмысленны вообще, поэтому они так легко и запоминаются, не то — что лица. «И чем она знаменита?» — «Ничем,—честно признала методист.— Ваш Васильев там когда-то работал, за зиму слова не сказал ни с кем из педагогического коллектива, даже в учительскую ни разу не зашел, журнал ему дети носили. Вы разве не слышали эту историю?» — «Очень смутно».— «Ну, это когда еще было»,— кивнула методист.

В сто сорок седьмой был тогда математик, очень сильный, Клименко. Я у него на уроках бывала, до сих пор помню. Ваш Васильев, по-моему, от него многое взял. А по характеру — полная противоположность. Клименко — ясный, открытый, вечно обвешан детьми со всех сторон, он от них, видно, никогда не уставал, девчонки в него влюблялись, мальчишки — липли, он и домой к себе всех таскал, походы — вечные, ни одного воскресенья в городе. Такой! И вдруг у него в походе мальчик погиб, кажется — восьмиклассник, уже не помню. Осенью было. Мальчишки нашли в лесу старый снаряд, такое, знаете, ржавое старье, что грех вроде уже и за снаряд-то считать, приволокли в лагерь. Клименко ничего не сказали. И этот снаряд у них взорвался в костре. У костра был, по счастью, только дежурный. Но этот мальчик — погиб. Трагическая случайность, все понимали. Клименко никто и не обвинял, ни родители мальчика, никто. А сам он — себя винил. И как человек эмоциональный всюду так и говорил — моя вина, я недосмотрел, я никогда себе не прощу. И в роно, небось, и в гороно, куда там еще вызывали для объяснений, не знаю. Случай этот наделал в городе шуму, пошли разговоры. И Клименко вдруг отстранили от работы. Думаю — сверху посоветовали директору: убрать на время учителя, пока схлынут слухи да пересуды, мол, школе это не нужно, вредит. А уж директор, небось, намекнул Клименко. Клименко ради своей

школы на что угодно бы согласился — сразу написал заявление по собственному желанию. А коллективу директор объяснил, что мера эта — временная, по взаимному согласию и месяца на два максимум, часы Клименко пока что распределили между другими учителями. Васильев, кстати, сразу был резко против и ни одного часа — не взял.

Ну, а дальше — как у нас бывает. Два месяца. Еще месяц. Уже декабрь. Будто Клименко и не было — в учительской вроде уже и не вспоминают. Сам он в школе перестал появляться. Математичка, которую взяли пока почасовиком, вдруг оказалось — уже в штате. Васильев случайно узнал, сделалось это тайком. Васильев-то на каждом педсовете — первым делом — ставил вопрос: когда же вернут в школу Клименко и куда мы, товарищи его, смотрим да чего ждем? Директор всякий раз уклончиво соглашался. И ни с места. Васильев решил наконец — хватит пустых разговоров. Он подготовил письмо, где все изложил подробно, требовательно и недвусмысленно. И пустил его по рядам на очередном педсовете, чтобы все подписались и дальше — действовать уже от имени всего педагогического коллектива. И спокойно ждал, когда это письмо к нему вернется. Письмо обошло педсовет и вернулось. Кроме подписи самого Васильева, под ним была только еще одна подпись: учителя по труду...

Васильев вскочил, хряснул об стол своим жутким портфелем. Вы когда-нибудь его портфель пробовали поднять? А вы попробуйте! Хряснул портфелем об стол и сказал им речь. Я в пересказе только слыхала, примерно — так. Что он наконец понял, кто они все такие: они — трусы. Им плевать, что рядом человек гибнет, коллега, настоящий учитель. Директор осторожно пытался его поправить, что, мол, не нужно преувеличивать, никто пока не гибнет, у Клименко есть часы на подготовительных курсах. Директор у них — мужчина, очень длинный, он и сейчас — директор, сегодня, кстати, был. «Фламинго»,— догадалась я. «Фламинго? Нет, скорее страус».— «Страус — отважная птица»,— зачем-то мне обязательно надо вылезти со своими куцыми знаниями. «Я в птицах не разбираюсь...» Васильев директора оборвал. Объявил, что говорит с педсоветом в последний раз, требует — выслушать. Сказал, что все они, по его глубокому убеждению, воспитывать детей после этого — не имеют права. Он их отныне — не уважает, ставит в известность, что ни с кем из них больше даже слова не скажет, даже не поздоровается и ничего общего никогда иметь не будет. Пусть они не рассчитывают, что он сейчас же уйдет из их школы. У него, как известно, выпускные классы, дети не виноваты, если им попались учителя, этого звания недостойные, и свои выпускные — он выпустит. Сам! «Сильная была речь, по слухам...»

«Ну, и?..» — «Да никакого — „и“! Как сказал, так и сделал. Сперва никто не верил. Думали, как водится,— погорячился, отойдет, мало ли что бывает. Заговаривать пытались, объясняться. Васильев на все молчал. Потом — обиделись. Подумаешь, ставит себя выше коллектива! Стали демонстративно не замечать. Но трудно демонстративно не замечать того, кто тебя — просто не видит. А Васильев их больше не видел. На педсоветы не ходил, директор пробовал пригласить для беседы наедине — не явился. Директор озлился. Дал Васильеву выговор — за неявку на педсовет. Потом — строгий выговор. На местком вызвали, уже письменно: не явился. А все время в школе — нагрузка огромная, кружок, факультатив, математическая олимпиада, туда-сюда, это все делает первоклассно, лицо — так сказать — школы. За журналом к его уроку ребята в учительскую, как мыши,— шмыг, схватили, и нету. Обстановочка! Директору, само собой, хочется — указать строптивцу на дверь. А никак! А без него — зарез! Директор даже прессу попробовал натравить. Пришел корреспондент, всех послушал, Васильев на урок его не пустил, разговаривать с ним не стал. Поговаривали — фельетон будет. Не было. Больше и рассказывать нечего. Классы свои Васильев выпустил, сам — ушел следом. И, знаете, устроиться в городе ему было тогда непросто, мало кто из директоров жаждал его принять...»

«Нормально»,— сказала я. Я от Вас другого и не ждала, я-то знаю, что Вы на все способны. «Вы считаете? — методист даже вскочила.— А вы себе представьте, каково ему-то было? Васильеву? Вы когда-нибудь встречали в наше время человека, который по принципиальным соображениям не здоровался бы со своим начальником? Отказав в уважении — с этими людьми действительно бы порвал? Семь месяцев ходил бы среди них молча? И при этом — не психанул, не впал и дело не бросил?» — «Не встречала»,— признала я честно. «Вот и я не встречала,— сразу как-то обмякла методист.— Я на Васильева смотрю — как на монстра. Хоть по возрасту — ну какой он монстр? На два года младше. Мы ведь как обычно привыкли? Вся наша порядочность, если честно, в том только и состоит, что мы — так не сделаем. „Так“ — в смысле: как-нибудь не так...» — «Да понимаю»,— кивнула я. Это она здо́рово определила. «А Васильев — именно делает. Но — не так. Его порядочность, как ни крути, выходит — на порядок выше».— «Терпеть не могу это выражение — „на порядок выше“»,— зачем-то сказала я, тоже мне — пурист. «Ну, неудачно, может, выразилась. Вот вы сейчас рассказывали, как они под дверью стояли, сто сорок седьмая школа, а там старых преподавателей очень мало осталось, кто бы это сам помнил. А стояли-то небось — все. Значит — переходит, значит Васильев там уже легенда».— «А что меняется от этой легенды? — осторожно заметила я.— Думаете, в другой раз кто-то из них поставит свою подпись?» — «Обязательно — меняется!» Тоже она — генетический оптимист, я-то уверена, что меняется и что поступок — зря не проходит...

Пронесся шквал. Кумир упал. И стало тихо. Валялся идол на траве. И по поверженной главе полз муравей. И следом — муравьиха. Еще курчавились власы былой красы. И смугловела шея. Но все бледнее. То теплый камень остывал, в закате млея. Финал взалкал. К виску брусничный лист прилип, он был пурпурен. Так входит пуля. Руки поверженной изгиб в траве — скульптурен. Моя утешилась душа. Кумир имел приличный вид, он был недурен. Дышали нежно небеса. И щелкал дятел — как выключатель. Лягушка пялила глаза. Лопух неслышно вылезал. Все соблюдало ритуал. И лес был статен. В природе был такой покой! Кумир я тронула ногой — он был немой, он был не мой. Его — не знала. Я приласкала муравья. И поискала муравьиху. Увы, она уже сбежала. Смешно вдруг стало. Ведь не умею я — чтоб тихо, сыщу еще какое лихо. Отныне вновь свободна я в прекрасном взваре бытия. Пусть идол прорастает мхом. Я напишу об нем. Потом.

Ночью читала мамины письма, сорок пятый, сорок шестой, сорок седьмой годы. Как жизнь меняется! Какие трогательные просьбы с раздумьями, с оговорками, с перечеркиваниями: «привези одни шелковые чулки, если сможешь», «если, Санечка, сможешь, купи Рае карандашей — простых, а если не очень дорого, то два цветных», какие чистые страсти вокруг сломанного кем-то велосипеда («так обращаться с дорогой вещью!»), какие скромные и явно признаваемые безмерными мечтания — диван бы купить или бы двуспальную кровать, опять же — коли не очень дорого, кофту хочется иметь — шерстяную («без этой роскоши можно вполне прожить, это, Санечка, просто — к слову»). И моих пара писем попалась, плохо писала девочка, скованно, Машка в этом возрасте писала куда свободнее и шустрее. Просила же я — байковый костюм, очень нежными словами, с подчеркиваниями, так — значит — хотелось. Да, надо все эти письма рассортировать, это бы — настоящее дело. А сколько же сил уходило тогда на копание картошки («тридцать три мешка накопали, а Кабазовы — пятьдесят»), на дрова («опять привезли одну осину, но ты, Санечка, не волнуйся, студенты обещали помочь распилить»), на уголь, на прикрепление карточек и стояние за керосином...

Папины письма — из детского дома, эти — легко разобрать, эти еще не шифровка. Но их так мало! Спасибо тете Але, хоть эти-то сохранила...

1919 год, второе декабря: «Здраствуй дорогая сестра Аля! Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю всего хорошево. Аля, я хочу послать вам посылку. Аля у вас отдают посылки которые присылают али нет напиши ответ. Потом если можно ты пришли денег и посылку. Аля нам одежу не выдавали, и валенков тоже не выдавали. Мы ходим в лаптях навяртываем портянки. Мы еще не учимся. Нам сшили шапки из кумгуровой шкуры только больно плохо. Аля, я хожу в своем пальте которое взял из дома верх у пальта уже изорвался я его снял, а в нижнем хожу. Аля, к нам приехала новая заведующая из

Москвы. Я жив и здоров, передай привет Любе Клашке и сестры Таисии с мужем остаюсь твой брат Саня».

1920 год, девятнадцатое сентября: «Дорогая сестра Аля, мы переехали на другую квартиру и у нас стал не распределитель, а детский дом третьего коммунистического Интернационала. Аля, я живу пока хорошо, дальше, что бог даст. Аля, нам в школе выдали валинки, шьют нам пальто. Хлеба нам дают по фунту, супу дают каши чевицы. Жить можно. Нас в приюти двадцать шесть человек со служащими, а одних детей двадцать три человека н учусь в школе первой ступени в четвертой группе Аля, я пока жив и здоров, твой брат Саня».

1923 год, третье января: «Здравствуй, дорогая сестра Аля! Если у меня будут деньги, то я приеду недели на две домой. Но это — едва ли сбыточно, так как дорога слишком дорогая. Вот если б у меня было миллионов двадцать, так я б мог сняться и тогда б мог прислать вам карточку. Если можешь, Аля — то пришли, но если можешь. Потом ты пишешь, что за тебя сватались. И хорошо сделала, что отказала. Аля, я думаю, что ты на меня не осердишься, если я тебе дам свой совет, хотя я и младший брат, но это извинительно, ведь мы одни и нам никакие боги не помогают! Если будут свататься и впредь, ты невыходи! еще рано, ведь тебе всего семнадцать лет. Еще много жизни впереди, а за мужем жить несладко, погляди на сестру Таисию. В крайнем случае выходи по взаимному согласию. Но по-моему погоди, ты еще довольно молодая. Этим летом исполнится четыре года, как судьба меня разлучила с вами. Много воды утекло за это время, много изменилось в нас самих. Ты наверное, стала совсем большая. Во мне многое тоже изменилось. Осталось только то, что я и сейчас такой же весельчак и озорник. Аля, мне больно нравится учиться! Но ничего, пройдут года, судьба нас вновь соединит и вновь обнимемся по братски, друг другу вновь руку дадим. Остаюсь тебя любящий брат твой Саня Горелов».

Еловую тайгу отжав к горам и реками раздвинув, на сотни верст черемуха цвела обвальным ливнем. Черемуха цвела с такою силой, как будто бы — она взбесилась, как будто бы — в последний раз цвела и по себе самой же голосила. Птичьи трели черемухой сверкали и звенели. Туман, сползавший с гор, был влажно напоён черемуховой прелью и пряностью ее пронзен, в нем — белом и немом — мохнатые цветы ее горели. Огромная вода — была как чаша черемуховых вод, и лодка наша шарахалась меж берегов часами или днями, ища пусть не фарватер, но хоть какой-нибудь проход в слепой черемуховой каше. А в местной лодке метров шесть длины и с носа — не видать кормы, возможно — кормы уж нет давно, лишь слабо ловит ухо, как где-то далеко и глухо мотор старается и бьется, и даже в выхлопе бензиновом его черемуховый запах отдается. Земных ориентиров уж не осталось в мире никаких, как будто мир — не только мы — вдруг подорвался на черемуховой мине. И сладко сгинул. «Попробуем, пожалуй, на шестах»,— сказал товарищ мой. И сигарету вынул, последнюю, и мне так ловко кинул, что я поймала. Рядом, за бортом, ударил хариус тугим хвостом в тугую воду...

Я отдала бы Владьке Шмагину пол-Союза, чтобы он содержал природу в сохранности и порядке, ну, если пол-Союза — нельзя, то хотя бы — Урал, если и это — нельзя, то — хоть заповедник. Только одно меня в нем смущает и, может бы, даже удержало: Владька беспощаден и совершенно не понимает слабостей людских. Он считает: хотеть — значит мочь. Если вдруг кто-то не может, к примеру, повалить в одиночку кедру, стащить в реку, сплавить, вытянуть на берег, разделать и воздвигнуть дворец одним топором и без единого гвоздя,— значит человек этот недостаточно хочет — свалить, сплавить, воздвигнуть. Каждое движение Владьки рассчитано не просто как мускульная энергия, а — обоснованно и четко — мозгами. Пожалуй, я не встречала в жизни своей человека, у которого интеллектуальная сила так стопроцентно, вопреки всем законам моей возлюбленной физики, без каких бы то ни было потерь на инерцию, трение и прочие обстоятельства, переходила бы в силу физическую. И этого же он искренне ждет от всех других людей, вот что ужасно. Я, главное, этим сама слегка грешу. Тоже всю жизнь чрезмерно уповаю на силу воли и тайно жалею сильных людей, работников, делателей, пахарей. Их, родимых, ведь никто не жалеет, только — давай, давай, пока в борозде не упал. А слабаков да нытиков как-то принято окружать товарищеской заботой, ставить вокруг них участливый тын, непрерывно сопереживать и искать для них необременительных для их хрупкого организма выходов и решений. Слабаки, по-моему, от этого лишь охотнее расслабляются, а нытье нытиков расцветает пышнее и безнадежнее для окружающих...

Но все-таки — всему должны быть пределы. Владька Шмагин слишком уж беспощаден в своих требованиях, так мне сдается. Я это с ним испытала на собственной шкуре, а своя шкура — лучший учитель. Может, я после Владьки даже стану мягка, как воск, из меня будут вить веревки, к этому идет. Ага. Машка, по-моему, уже вьет. Это — к слову. А беспощадность Владькину я ощутила в горах, куда мы надолго ушли вдвоем, сперва поднялись на лодках, насколько можно, потом — взвалили на плечи рюкзаки, хорошо — легкие, Владька жестко браковал и выкидывал при сборах каждую тряпку, потом — пешим ходом, через тайгу.

Был тогда август, еще начало августа. Тут в это время бывает тепло и ясно. Но, как обычно, мне с погодой не повезло. Уже ударили холода, ночью — до минуса с чем-то, лепил град вперемежку то с мокрым снегом, то с сухим дождем. В предгорьях, правда, повалило траву, иначе мы продирались бы по уши в сырье. Зато по склонам снег местами уже доходил до колена, где ветру было не сбить, камни осклизли, черника прихвачена морозом, брусничины — как ледышка на языке, но свежи, кое-где бесстрашно цвела даже гвоздика, несколько штук нам попалось. А наверху — лишайник, снеговые заряды, выступающие от горизонта блистательной и грозной процессией, я насчитала как-то двадцать четыре заряда, вполне различимых по цвету, а вместо приличного ветра, промывающего душу,— шквальные взрывы, которые норовят сорвать с тебя голову как лишний предмет.

Это все было как раз — прекрасно.

В другом была моя беда: в темпе, все же я целую зиму сижу за столом, надрываюсь в интеллектуальном процессе, на лыжах ни разу не выбралась. А Владька взял сразу такой темп, что я мечтала скончаться на первом же километре и рюкзак мне был — могильной плитой. Медленный подъем, как бы даже — еще только тенденция подъема, слабое предвестие оного, начался сразу от берега. Тенденция эта тоже меня не радовала. Я, правда, подозревала, что без подъема в горы не влезешь, не впервой. Но предпочла бы сперва привыкнуть к этой тайге на пологом месте. Подъем и тайга, навалившиеся вдвоем,— это было для меня чересчур. Я такой тайги сроду не видела, хоть бывала в других тайгах.

Эта — была мрачна, как смерть моя, без неба, никаких там тебе просветов, веселых проблесков или там мягкой травки, тяжелые метлы папоротника или борец — выше головы, хлесткие ветви елей в лицо, ели стояли тесно, свисали с них сизые бороды, даже лишайник тут угрюм и колюч, если вдруг куст — он в тебя вцепляется намертво, эта тайга веками в себе гнила, дышала гнилостной прелью, мухоморы блестели ядом, даже муравьи тут вроде не бегали, тайга туго переплелась павшими стволами и сама же хищно прорастала на них, упавших,— березой, кедрачом, елью, пройти трех шагов, не задрав ногу выше мозгов,— даже мечтать было нечего, а нога в сапоге до пупа весит — как штанга, из гниющих стволов торчат крепкие сучья, каждый сук норовит — точно в глаз, вроде ствол покладист и прочен с виду, ступишь сдуру на всю ступню — провалишься с треском, так и осядешь крупом, как в яму, а ежели он, лежачий, ласково и зазывно зарос зеленым мхом, значит — скользкий, как лед, мох под тобою съедет, ты же — летишь башкой в бурелом и врежешься в пень, который трухляв, но в нем сберeглась единственная острая щепка и она тебе вонзится в живот, чтоб уважал тайгу и знал свое место...

Владька летел впереди легко и недостижимо. Я теряла его из виду, он мне был не нужен, легкость его только унижала меня, подъем сам указывал путь, о Владьке я вообще забывала, так даже легче, все равно я была одна в этом мире, я и тайга, я вообще ни о чем уж не помнила из прошлой жизни, кто я, что, куда и зачем, кем я раньше была, это все — неважно. Важно лишь шевелить ногами, чтоб они двигались, дышать, чтобы ноги шли, перелезать, оседая

задом на мокрые сучья, брюки толстые, высохнут, перевалиться через, выцарапаться из болотины, обогнуть, раздвинуть, перескочить, согнуться почти ползком и подлезть, а потом подпрыгнуть и снова двигать ногами, двигать.

Владька вдруг возникал. Он небрежно сидел на балане, вид у него был скучающий, отдохнувший, он лениво кушал бруснику, от нечего делать он пока что выстругал ложку и показывал мне — какая ложка красивая. «Ничего»,— говорила я. И готовилась тут же рухнуть. И засунуть в себя горсть брусники, все во мне пересохло. Владька вскакивал легко, как гвоздик: «Потопали! Нам еще порядочно топать».— «Потопали»,— говорила я хрипло, по достаточно, по-моему, весело. Меня хватало лишь на повторы Владькиных слов. Не помню, чтоб в эти — первые — дни мне удалось в процессе движения изречь что-нибудь уж шибко свое, редкий случай, когда поиски слова и даже радость от слова меня совершенно не увлекали.

По-видимому, это был именно тот отдых, в котором я нуждалась, ибо отдых — это уход от себя, навязчивого, а мне редко удавалось так далеко и совершенно уйти от себя, как в то баснословное время, когда Владька Шмагин гнал меня за собой сквозь тайгу и все ближе и ближе к горам. На привалах я вполне к себе возвращалась. И опять вскипала моя пылкая любознательность, которую мог достойно удовлетворить только Владька. На привалах он все делал сам, от меня ничего не ждал. По сути — от меня и требовалось лишь только идти, я сама этого хотела, Шмагин меня сюда не тащил, он сам — из-за меня в это дело втравился. Передвигаться, кстати, с каждым днем становилось все легче, возникали какие-то навыки, я уже различала кругом предметы, ноги задирались уже почти без усилий, силы свои я научилась расходовать экономнее, перла не просто — напролом, а с умом. И не так уж я часто падала, по правде сказать, даже — редко. Владька и сам пару раз кувыркался, без этого в тайге не пройдешь. Но зачем же он, чертов сын, взял все-таки такой нестерпимый темп? Он же загонял меня, как лося! Выносливость мою он испытывал, черная душа? Гордыню мою? Редко чем я так горжусь в своей жизни, как тем — что ни разу в те дни не попросила передышки, остановки, привала. Или он — садист?

Я его, между нами, тогда ненавидела. Ух, какая кипучая ненависть мною овладевала, когда он летел в гору по камнепаду, а я тяжело ворочалась у начала подъема и легчайший рюкзак сдавливал мне остатки дыханья. Хорошо, что Владька был далеко впереди, мне бы даже слова без ненависти сейчас ему не сказать. Особенно четко помню бурный ее приступ, когда я грохнулась на очередном обвальном спуске — на спину в острые камни, черные в белом снегу, снега там было по щиколотку, но камни торчали, как шипы. Я подвернула руку. В затылок ударило тупой болью. Я лежала в камнях, низкое небо летело мне прямо в лицо, сыпало колким снегом, я ловила снежинки губами, снег был сухой, от него еще больше першило в горле. Мне вдруг сделалось спокойно и безразлично. Я и не думала подыматься. Я решила лежать тут вечно и, наконец, отдохнуть.

Это был как бы достойный итог несуразной жизни, я подумала с безразличным злорадством, что — так мне и надо, я вполне это заслужила, ибо добивалась сама. Лежа, неожиданно хорошо видно было окрест. Вершина, куда мы лезли, торчала еще недосягаемо далеко. Черным вихрем стоял над ней ветер. Мне было даже приятно, что я туда уже не попаду. Тут я увидела Владьку, о котором вполне забыла. Владька остановился в своих блестящих скачках, обернулся и взирал на мою поверженную беспомощность с безмятежным спокойствием терпеливого ожидания. Никакой готовности хотя бы дружеским криком — справиться, жива ли я и как цел мой хребёт,— в его безмятежности не было. Уж не говорю — рвануться на помощь. Вот когда я мощно ощутила живительный порыв ненависти! И от злости вдруг вскочила рывком.

Богатырская сила взыграла во мне от ярости. Я была живая, как никогда. Боль в руке тоже была живая, кисть — черная, подумаешь — рука, ноги целы. Я хищно глянула на вершину, поняла, что взлечу туда, как барс, и еще — на сто вершин. Владьку я догнала богатырскими скачками. Закричала: «Чего стоишь?» Понеслась вперед, увлекая камни, но ни один — не попал мне в спину...

Ух, денек был славный. Мы залезли потом в такое ущелье, в скалах бил водопад, все висело отвесно и на честном слове, Владька даже хватал меня за руку, сдерживая мою прыть, прыть из меня так и перла. Мы отрыли там золотой корень, позже, на привале, всю охапку забыли, но возвращаться не стали. При такой энергии золотой корень даже — пожалуй — вреден, на черта он нам? Главное было — отрыть. Руку мне к вечеру разнесло, она не гнулась и ныла. Но я плевала на эту руку, у меня есть другая. В никлых условиях города с такой рукой возиться бы месяц, чтобы она хоть как-то пришла в себя. Здесь же — она очухалась за два дня, только была потом черная. Меня — лично — ее цветовая гамма совершенно не интересовала. Владька про мою руку так ни разу и не спросил. А чего, собственно, спрашивать? Если бы ее оторвало, он бы, может, даже заметил.

На обратном пути, вроде — по времени — близко уже к реке, мы вдруг потеряли Печору, тайга не хотела нас выпускать, даже Владька потерял направление, мы петляли весь день, думали уже — ночевать, провалились в какую-то падь до пояса, небось — болото, встряхнулись, на бегу обсохли и снова вспотели, я от Владьки почти что не отставала, была как приклеена к легкой, прыгучей его спине, скакала след в след, во мне прорезалось двести пятьдесят второе дыханье, мне было даже легко, неостановимо, я летела за этой спиной уже механически, остановка могла бы меня убить, но даже не пахло — остановкой. Только тьма была впереди, мохнатая густота. Вдруг Владька из моих глаз исчез. Густота разверзлась. И ударила по глазам водяная ширь в белых — пенных — гребнях.

Помню, каким усилием я себя остановила. Вся моя могучая воля ушла в этот мгновенный «стоп». Ибо я не видела Владьки, думала он шагнул туда, в воду, и, невидимый мне по каким-то оптическим законам, пересекает сейчас эту воду. Значит — так надо. Я пошла бы за ним, не колеблясь секунды. Уверена, что легко прошла бы за ним по волнам, пересекла бы Печору, если это — Печора, и даже не зачерпнула бы в сапоги. Такая бешеная собралась внутри инерция и так я верила теперь во Владьку Шмагина, что мне нужно делать — только как он, в этом жизнь моя, радость, смысл и спасение...

В этот самый миг, очень — вовремя, я даже ногу уже занесла с обрыва в бездну, откуда-то снизу раздался картавый и властный голос: «Лодка! Правильно вышли!» Владька, оказывается, спрыгнул и уже возился внизу, на песке, с мотором. «Как? Уже?» — без радости удивилась я. И вдруг силы меня оставили. Я рухнула в траву навзничь, трава была мокрая, воздух был мокрый и свежий, но трава пахла солнцем и соками, совсем не так, как тайга, я дышала, как хариус, когда с силой выдернешь его на песок, тело сладко ныло, я лежала в мягкой траве и все во мне тосковало сейчас по черной тайге, по прели ее, напоенной вековой жизнью, непроглядности, колючести и буреломам, я уже хотела — туда, обратно, сознавала, что это — останется во мне навсегда, я вечно буду туда хотеть, там осталось счастье преодоления, свобода моя и воля, я вдруг сейчас поняла, что полюбила эту чертову тайгу здоровой и разделенной любовью...

С того дня мне стало в тайге легко и весело.

Мы много с Владькой потом ходили. Я совершенно перестала тайгу бояться, знала, что могу тут одна ночевать, когда захочу — выберусь, сперва — к какому-нибудь ручью, где бобровые плотины и погрызы на молодых березках, а уже по ручью — к Печоре. Приблизительно через месяц, после крепкого марш-броска по непролазу, Владька как-то бросил мне мимоходом: «Ничего, с тобой ходить можно. Ты получше моих лесников ходишь». Он к тому времени малость помягчел. Просто: мы друг к другу привыкли, а привычка — великая вещь. Конечно, это — с его стороны — было великодушное преувеличение, может — даже шутка. Но он так сказал! Я читала где-то: после Нобелевской премии интеллектуальная мощь у трети лауреатов ощутимо падает на несколько лет, а некоторые вообще сходят с круга. Такова сила славы. Сила общественного признания. Нобелевскую — думаю — я бы перенесла. Но Владькины слова меня подкосили. Интеллект меня начисто покинул, до сих пор не вернулся, а физические силы упали резко. Я едва заставила себя встать после того привала. И весь день так по-глупому спотыкалась, что

даже Владьку наконец проняло: «Ты чего? Заболела?» Пришлось — активизироваться. Разрушительнее, чем Владькины слова, на меня, пожалуй, могло бы подействовать только вдруг заявление Маргариты, что я, например, кое-что соображаю. Но до этого у меня нет надежды дожить. Да если я от нее когда-нибудь и услышу нечто вроде, так все равно — не поверю. Маргарита снисходительна к людям и великодушна к их слабым силам, она — не Шмагин...

Влюбляюсь в каждого героя, а разве знаешь — кто герой, кто послезавтра дверь откроет, и что-то сообщит такое, и что-то совершит такое, что покачнется шар земной, как лодка — под крутой волной, кто станет — безнадежно мой на краткий миг или навеки? Влюбляюсь в Хатанге и в Кушке, на Сахалине и в Литве, играю в детские игрушки, считаю медные полушки, слова смолисты, словно стружки, горит бессонная подушка, такая ясность в голове, что верится всегда — навеки. Но вдруг иссякнет интерес, как будто — бес внезапно выбьет табуретку из-под ноги. И снова я — в себе, как в клетке, и бьюсь в себе, как щука в сетке, и ясность в голове так редко, такие вялые мозги, как будто не было героя, он растворился, он исчез, хоть он еще, возможно, здесь. И только в хрупкости покоя, вдруг овладевшего душою, дрожит неясный, как намек, какой-то слабый огонек, так — в холодеющей золе костра, забытого во мгле, средь пепла тлеет уголек, готовый пламенем взорваться. И кто-то вновь откроет дверь. Откуда знать — кто он теперь, откуда знать — где он теперь и скоро ли отыщет дверь, чтоб шар земной качнулся вновь. Герой, любовь и хитрый бес, что вышибает табуретку рассчитанным движеньем метким,— все входит в творческий процесс и в нем — одном — имеет смысл, имеет вес.

Помню наше с Владькой прощание в центральном поселке заповедника. Народ диву давался, что мы со Шмагиным не осточертели еще друг другу. Таскались мы повсюду вдвоем. Ночевали в любых домах, но чтобы — под одной крышей. Я ждала его возле магазина, где он нагружался крупами, чаем и прочим дефицитом. Он ждал меня возле бани и пока я чинно, порядка ради, беседовала с директором. Он с директором успел уже поругаться, ему повесили выговор за плохое обращение с «гостями», которые едут вверха по отдых и по семгу, последнее — не фигурировало, Владька же написал очередную бумагу, что «гости» — главное зло заповедника, их надо под корень сечь и добиваться запрета через Москву. Директор — в ответ — ехидно осведомился, на какие шиши и с чьей помощью он будет строить тогда гараж, жилые дома и приводить в порядок кордоны, кордон Шмагина, в частности. Владька ответил, что на то и директор, чтоб думать, искать и находить честные пути. Директор посоветовал Владьке сесть на его место. Владька сказал, что он сел бы, но пока не предлагают. И расстались они — временно — без любви. Впрочем, говорят, они так всегда расстаются, что не мешает обоим друг друга ценить.

Потом Владька уплыл обратно на своей длинной лодке. Он казался на ней таким хрупким, таким одиноким, черточка — на корме. Мотор затрещал, лодка помчалась против течения, сама превратилась в черточку, быстро — в точку. Владька сидел на корме очень прямо, как я и думала — не обернулся, рукой мне не помахал, хоть ему наверняка — хотелось, Владька, дьявол, не сантиментален. Я все равно знаю, что ему теперь меня не хватает, долго — не будет хватать, ибо никто небось в жизни, ни жена, ни дети, сроду никто не взирал на него с такою всепоглощающей верой, с такой готовностью понимания и восторга, с такой беспощадной любовью, а этого вечно не хватает, даже самым сильным из нас. Я же после его отъезда сделалась безутешна, не хотела уходить с высокого берега, от Печоры, которая хоть как-то меня с Владькой все еще объединяла, хотела сидеть на этом берегу вечно и предаваться светлой, возвышающей душу, скорби разлуки. Сердобольные люди носили мне черный кофий прямо не берег. Я не брала. Сердобольные люди звали меня с собой на охоту. Но я не хотела. Сердобольные люди говорили: «Да чего в нем хорошего? Он — изверг! Погляди, как он тебя загонял! С ним мужики и то не выдерживают!» Я даже не отвечала. На глупость чего ответишь? Владька дал мне полную выкладку, это счастье и есть. Если кто понимает. Я потом в городе месяца полтора даже на второй этаж не могла залезть без одышки. Но купила штангу, это любому доступно, покидала с недельку к потолку, все мигом прошло. Стала опять легко взбегать по эскалатору на станции метро «Чернышевская», там эскалатор длинный, я на нем всегда себя проверяю, любой может проверить, только ночью закрыто...

Ко мне на высокий берег пришла даже Амина Шакирова, это все в поселке особо отметили, Амина к кому попало не выйдет, она с Владькой дружит, имеет право разделить мои чувства. С ней пришла лебедь Ариадна, которую Амина в свое время отбила на том берегу у леспромхозовских мальчишек, у Ариадны крыло было сломано, она от своих отстала на перелете, теперь сама улетать не хочет, плавает в маленьком прудике у Амины Шакировой перед окнами, а к Печоре ходит только вместе с Аминой, опасается люда людского, но и с Аминой лебедь Ариадна самолюбива, держит Амину Шакирову в рамках приличия, Ариадна — обидчива, стоит Амине позволить себе — прикрикнуть на Ариадну, Ариадна сразу ей даст понять, что Амина Шакирова забывается, все же имеет дело с лебедем, а не с какой-нибудь уткой, Ариадна тогда прекращает с Аминой всякие душевные отношения, исправно ест, спит и даже ходит по комнатам, но вдруг — близости нету, это чувствуется, Амине приходится заискивать и юлить, что совсем ей не по характеру, но ведь — лебедь, настоящая душевная близость дороже мелкого самолюбия, Амина Шакирова идет на все, чтобы эту близость вернуть, и тогда уж, постепенно, не теряя достоинства, лебедь Ариадна ее прощает. И пришла вместе с ними на берег сука Амины Шакировой. Я погладила лебедя Ариадну по шее, по голове-то, я знаю, она не любит, Владька гладил по шее. Но Ариадна пригнула голову и на меня зашипела. Значит — я много себе позволяю, она — лебедь, а я — что такое? Без Владьки Шмагина я сама не знаю, что я такое. Поскорее убрала руку. Зато сука Амины Шакировой меня пожалела, как все слабое и живое. Она лизнула меня в щеку, и я с благодарностью приняла эту ласку, поскольку ласка была от чистого сердца и в ней не было снисходительности, а главное — не было никакого осуждения Владьки Шмагина, чем меня до того отталкивали сердобольные люди, приносившие кофий и звавшие на охоту.

Сама Амина — как понимающий человек — молчала себе.

Уезжая в отпуск, Амина оставляет свою собаку близким друзьям, соседям. Амина знает, что собака будет накормлена и присмотрена, что с ней ничего не случится. Но сука Амины Шакировой, хоть Амина всякий раз ей подробно рассказывает о будущем отпуске, объясняет, куда она едет, на сколько и когда она возвратится, даже показывает на календаре число, никак не может привыкнуть к этим отъездам. Более того — сколько Амина ей ни толкуй, сука Амины Шакировой никогда не верит, что ее драгоценная Амина все-таки возьмет и уедет, вернее — улетит, иначе отсюда недалеко уедешь. Стоит Амине, наконец, в свой отпуск отбыть, как это неверие расцветает пышным цветом. Все уж в поселке знают и ждут. Со следующего утра сука Амины Шакировой начинает тщательный обход всех домов, где Амина хоть однажды в жизни была, причем заглядывает она во все углы, сует свой нос в шкаф, смотрит под диваном, шарит за занавесками. Ей всё открывают, уговаривают ее: «Да нету ее, гляди! Она в отпуск уехала, ты же знаешь!» Но сука Амины Шакировой все равно не верит. Она обходит все кабинеты в конторе заповедника, тщательно осматривает кабинет директора, ждет перед дверью научного совета заповедника, чтобы проверить конференц-зал, особо — ее волнует трибуна, она даже становится за трибуной на задние лапы, но доклада почему-то не делает. Для суки Амины Шакировой приходится специально отпирать местный музей, иначе она будет сутками сидеть возле, а музей без приезжих — обычно закрыт, что ей — подозрительно. В библиотеке она шарит за книжными полками и вынюхивает специальную литературу по белкам, которой Амина обычно пользуется. Затем она следует в магазин, где продавщица отмыкает ей подсобные помещения и норовит покормить. Но сука Амины Шакировой никакой еды не берет, не за тем пришла. Еще она исправно заглядывает в гараж, на материальный склад, в ясли и в детский садик, это уж — для порядка, и — естественно — по пятницам в баню, в мужское отделение никогда не ходит, она не дура. Но на женской половине бывает подолгу, это

место — видимо — представляется ей здорово перспективным в смысле Амининого явления.

Я, например, впервые ее увидела именно в бане. Вдруг беззвучно распахнулась дверь, наружу рванул горячий пар, никто вроде бы не вошел, мне так тогда показалось, поскольку глядела я на уровне человечьего роста, а не ниже, все разом перестали греметь тазами, страсти кордона «Выдра плачет» внезапно утихли и обсуждение тяжелого характера верхнепечорского лесничего Шмагина, Владислава Васильевича, к которому я, по наивности, собиралась отбыть, вдруг временно прекратились. И кто-то радостно объявил в клубах пара: «О, сука-Амины-Шакировой пожаловала!» Тут я разглядела: деловито ходит по мокрому полу черная собака смутных кровей и неспешно заглядывает под лавки. Все поджимают ноги, чтобы ей удобней заглядывать, и дружно кричат: «Да нету ее, гляди! Она в отпуске, ты же знаешь!» Я сперва удивилась, как длинно и необычно эту странную собаку зовут: «Сука-Амины-Шакировой», в одно слово. А настоящего ее имени я не знаю и до сих пор и это, пожалуй, единственный случай — когда отсутствие имени не мешает мне воспринимать живое существо во всей его полноте и сложности жизни...

Печора блестела. День стоял, будто летом, нам бы такой в горах. Владькина лодка давным-давно уже скрылась, след ее истаял, много воды унеслось и продолжало нестись. Дурацкая натура! Любую разлуку, сиречь — расставание с кем-то, переживаю — как чрезвычайность. Никогда не верю, что что-то кончилось. За углом — начнется другое. Может — лучше. Знаю же, всегда начинается. Нет, не верю. Впору тоже затеять обход, где мы с Владькой были, заглянуть в библиотеку, поискать в магазине, на складе и в кабинете директора. Отчего так, господи, вечно хочется во Времени хоть чуть-чуть поворотить обратно, на неделю назад — да вернуться, потрогать себя, вчерашнего, словно лучше от этого станешь, иначе вдруг заживешь, и чего это в прошлом так всегда притягательно, мило и кажется лучше, чем сегодня?

Я буду вечно ждать тебя. Откуда ждать — с войны? с охоты? А неохота уточнять, я просто вечно буду ждать, не все ль равно — откуда ждать, ну с педсовета, ну с уроков. С мороза, например, зимой, чтоб пóбыл пять минут со мной, из турпохода — в летний зной, где ты — герой и так свободен сам с собой. Да отовсюду буду ждать, да ниоткуда буду ждать, откуда же могу я знать — мне ждать тебя откуда, я просто вечно буду ждать и вечно ждать я буду. Подумаешь! — ты не придешь, как будто — что изменишь! Как будто нож, коль в ножны ты его воткнешь, коль ты в сундук его запрешь, коль ты во тьму его швырнешь — нож мéне. Ну не зарежет — так проколет, ну не до смерти — так до боли, в постели ночью или в школе, на людях или в чистом поле.

Заклятие — видимо. Ну, жди, на доброе здоровье...

Не письмо даже, а неизвестно — что, само собой — не отправлено: «Достохвальный сэр! Я вдруг подумала — любопытно бы проанализировать хоть „Воскресение" или „Братьев Карамазовых" с точки зрения уровня научных прозрений того времени. Я бы такую работу с наслаждением почитала. Убеждена, что этот анализ выявил бы коренные взаимопроникновения в чисто художественную ткань фундаментальных представлений и открытий, каковые в те годы определяли уровень человечества вообще, большие художники ощущают это как бы — напрямую, талантом, в текстах это чувствуется, поглядите на досуге, в смысле движения и радостей чистой мысли человечество, по-моему, тогда было более едино, информация будто шла более через сердце, чем — через телевизор, может — поэтому. Литературоведение сделать этот волнующий меня анализ только в рамках своей науки, видимо, не может. Мешает вторая теорема Гёделя. Для этого нужен метаязык более широкий, мета-мета-язык, который для искусства, по-видимому, еще не осознан как необходимость. Не хотите ли стать пионером на этой тропе? Попробовать себя на такой безусловной сложности?

Наткнулась у Германа Вейля: „Выразительность и форма имеют для меня, может быть, большее значение, чем само знание". И еще: „В своей работе я всегда пытался объединить истину с прекрасным, и когда мне приходилось выбирать одно из двух, я, как правило, выбирал прекрасное". Это опять к тому же, что истине, по-видимому, внутренне органично присуще совершенство формы, сиречь — красота. Хорошо этим ученым, отметим попутно, никто их не обвинит в формализме по одному лишь к форме пристрастию, на языковые их высказывания смотрят, правда, без должной внимательности, скорее — как на шалости гениев. Меж тем — именно они, тот же Вейль, де Бройль, Лобачевский, Вернадский, Циолковский, именно они, которым пришлось абсолютно новые понятия выражать на старом нашем, привычном таком, языке, умели его чувствовать свежо и остро, говорить о нем с максимальной серьезностью, откровенностью и точностью.

Язык науки, по определению, наиболее метафоричен — в сравнении с обыденным, даже — с литературным, только поэзия, на мой взгляд, содержит себя на таком же высоком уровне языка, он даже вынужденно — приговоренно — метафоричен, так как новое научное понятие смыслово не задано в общераспространенном — уже существующем и привычном — поле распределения смысловой функции слова и — скорее всего — поэтому прорезывается ближе к размытому краю поля, где как раз область метафор, к краю наименее вероятностных значений, отсюда кварки — „странные", „очарованные", „красивые". Что Вы на этот счет думаете, дорогой сэр?

И нет ли в Вас ощущения, что мои глубоко научные изыски, столь изящно выраженные, отдают Козьмой Прутковым? Во мне — есть. Но это, спешу заверить, ничуть меня не смущает. Пародийная установка Козьмы, всем с детства ведомая, делает его афоризмы легкими для восприятия, философская установка, к примеру, Витгенштейна — имею в виду его знаменитый „Логико-философский трактат", Вам, конечно, известный, — делает его парадоксы якобы сложными. На самом же деле — что в том, что в другом случае мы наблюдаем лишь четко и точно сформулированную мысль анализирующего себя интеллекта в динамике мысли как таковой. Поэтому качественной разницы между афоризмами Козьмы Пруткова и „Логико-философским трактатом" Витгенштейна, хоть Вы меня убейте, — не вижу. Мысль же в развитии обязательно парадоксальна, с чем Вы не можете не согласиться, уважаемый сэр! Парадоксальна — в том смысле, что продвигаясь по ней, ежели она действительно — мысль, а не болтовня, поневоле делаешь скачки понимания. Скакнул — понял. Этот скачок и есть парадокс...

Если Вам не скучно — скучно, так пропустите, я не обижусь, — можем вместе открыть Витгенштейна, ну, хоть вот это, парадокс 6.54: „Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью — на них — выше их (он должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как он взберется по ней наверх)". Вдумайтесь, сэр! Это мудро и простенько. И где же тут парадокс? Это и есть голый процесс усвоения нового, то, что я для себя определяю как — „книги глупеют", понял, переварил, поняв — понял, что и понимать было нечего, а на самом деле — это-то и означает — воистину понял, вошло в тебя и стало — вроде — сразу обычным, сделал сам для себя внутренний скачок, поднявшись — с помощью понятого — сам же в себе, тогда — книжка поглупела, ее можно, даже надо — забыть, и карабкаться опять дальше, вверх. Все так и написано у Витгенштейна, весьма четкое осмысление с минимальными даже, как сами видите, образами.

Беда тут, наверное, в другом. Боюсь, что на каком-то внутреннем уровне число насладительных парадоксов начинает катастрофически падать для индивида, боюсь — парадоксы могут вовсе исчезнуть из его поля зрения. То, что вчера еще казалось парадоксом, вдруг начинаешь понимать без всяких скачков, словно тебе предлагают хорошо выверенную логически лесенку внутренних смыслов, лишь бы — не штампов. Карабкаться по ней все равно интересно, она захватывающе бесконечна и таит в себе прекрасные неожиданности, которые предвкушаешь — как бы предвкушением поворота. И дух тут захватывает уже не шоковой неожиданностью, а — наоборот — радостным, осознанно-ожидаемым и непреходящим ощущением бесконечности

самой мысли, свежей плоти ее, бесконечным высотам, куда можно лезть и лезть всю жизнь. Оскар Уайльд, между нами, ведь просто скучен — парадоксы его способны поразить только подростков, у которых черное резко отделено от белого, непроходимо отделено, он работал по единственному принципу — наоборот. Впрочем, я даже и этого не знаю, почитаемый сэр: как Вы относитесь к Оскару Уайльду, я же знаю только про сказки Киплинга!

Парадоксы гнездятся там же, где и метафоры. В них чуть-чуть, порою — неуловимо, расширено поле смыслов слова и уже эта небольшая размытость вероятностных краев дает большинству наслаждение неожиданностью и радость внезапности. Чем выше уровень воспринимающего, тем меньше для него, увы, парадоксов. Думаю, у Шоу их вовсе для себя не было, его парадоксы — усталое отмахивание от надоевших мух. Я, дорогой сэр, как натура чувствительная заболеваю от его парадоксов: мне сразу так жалко Бернарда Шоу, мне сразу кажется, что ему так одиноко, так плохо, что рядом — никого нет и мне нужно скорее к нему нестись, чтобы хоть я бы рядом была, на таком-то безрыбьи. Бернарду Шоу просто невезло, что мы с ним слегка разминулись во времени, он бы, наверное, со мной намучился, с этим моим идиотским пониманием и заботами, чтоб ему — непременно бы — было весело и чтобы это веселье явило бы себя в его парадоксах. Вечно суюсь не в свое дело!

В принципе — нестандартное мышление для стандартного всегда, наверное, состоит из сплошных парадоксов, вот, пожалуй, самый легкий критерий различия. Отсюда столь любимые: „Не понимаю, когда в шутку говоришь, когда — всерьез" (я о Вас, между прочим, это слышала неоднократно!), зачастую отсюда же и обидчиво-нелестное восприятие: „Опять он выпендривается!" (тоже, кстати, слышала!). А для натуры незаурядной (каковой Вы, несомненно, являетесь, милейший сэр!) быть стандартным, по-видимому, как раз — самое сложное, даже — недостижимое. Отсюда пожизненное томление Льва Толстого — „быть как все" (я все же не утверждаю, что Вы — Лев Толстой, так далеко я не захожу, это — пример!). На элементарном этом непонимании основаны, на мой взгляд, многие легенды о „великих людях", те-то, бедные, я уверена, ничего такого и в мыслях не держали, делали — как им проще, естественнее, легче — наконец. И даже подумать жутко, чего на них потом понавешали любознательные потомки, счастье для великих людей, что они этого, бог даст, не узнают...

С парадоксами, сэр, надо поосторожней. Если что-нибудь подозрительное заметите, что их стало вдруг — меньше, срочно прекращайте свое неистовое саморазвитие, суйте в портфель кирпичи, а не тетрадки с контрольными, знаю я эти Ваши контрольные, они предельно опасны, они — развивают, переходите на книжки, каковые превыше всего ценятся на подпольной барахолке, что за́ городом вдоль заросшей канавы, ищите банальных собеседников, в нашей школе с этим немножко туго, но все же — есть, ориентируйтесь в классе только на тех, кто хоть несколько отстает в своем уровне, и упаси Вас — таких учеников куда-то тянуть, выводить на городские олимпиады по геометрии и вообще мешать им жить. Не забывайте, что — коли не будете умеренны и осторожны — парадоксы вовсе могут для Вас исчезнуть. Мне это, естественно, не грозит, но я постигаю абстрактным воображением, что без парадоксов, наверное,— скука смертная, а я так не хочу для Вас скуки, высокочтимый сэр!..»

А судьба — как тропочка — тянется до берега, а судьбы — вот столечко только и отмерено.

Маргарита мне как-то дала прочитать Машкино сочинение. Это акт большого доверия, обычно сочинений Маргарита читать никому не дает, ни коллегам, которым вдруг хочется таким путем вникнуть в душевную жизнь своих подданных, ни тем паче — родителям или там друзьям, просто — из интереса. Считает сочинения делом интимным, в принципе — непубличным, касающимся лишь автора и того, кому писано. Впрочем, ей-то действительно сдают порой исповеди на тетрадных листках, шире и помимо темы. На меня запрет этот — с понятным условием тайны — не распространен, иначе чего бы мне в школе делать, тут это понимают, поэтому мне в нашей школе и легко.

А Машкиных работ я сама никогда не читаю: не хочу подглядывать за собственной дочерью, для меня, как и для Маргариты, писание — интимный процесс, сочинение — как письмо, не полезу же я к Машке в стол знакомиться с ее письмами. Сама она своих опусов по литературе сроду мне не показывала, в отличие — от математических, где гордость свидетеля даже ищет. И правильно делает! Я где-нибудь вдруг хмыкну или задеру бровь, а Машка слишком еще в суждениях некрепка, обидится, застесняется своей же мысли, другой раз поостережется сказать, как думает, нет, это нам ни к чему. А тут Маргарита вдруг сама предложила, даже как-то — с настойчивостью. И я взяла. Тему точно не помню, что-то про смысл и суть детской литературы, на неведомых мне прозаиках, сплошь — Прибалтика, я постыдно плохо их знаю, мало читала, а Машка — очень любит. В сочинении Машка писала, что смысл и суть детской литературы, на ее взгляд, в спасении ребенка от одиночества. Я даже охнула — от неожиданности. Неожиданно — что Машка нашла эти слова, я, например, не нашла, хоть что-то такое чувствовала. И от печали охнула я внутри — значит и мой ребенок спасался, небось и сейчас спасается таким образом. Одиночество — правда — в любом возрасте необходимо, без него — развития нет. Вопрос: в дозе. Но если человек так осознанно формулирует внутреннюю цель, то у него самого этого одиночества, видимо, перебор? А я-то считала, что Машка у меня обеспечена пониманием и общением, с такой-то золоченой матерью!..

Нет, детские книжки надо писать, детские, это — святое.

У меня где-то в начале с «парадоксом близнецов» — лажа, рассуждение весьма мутное. Так. Проверим. Когда человек врезается в дело и летит в нем, прежде всего возникает скорость, движение — со сверхзвуковой, время над ним не властно, время остановилось, хоть на часах — то же, что у всех, ощущение для него самого суперлета времени — субъективное, от внутренней скорости. Плюс: он меняет систему координат, его система отсчета — дело, от этой — другой — системы он потом возвращается в мир, где все сиднем сидели, ни для кого ничего не изменилось, только он, этот вернувшийся со своей планеты, ошарашенно озирается, ничего не узнает, видит все будто уменьшившимся и постаревшим в своей статичности. Нет, все правильно. Бездельник стареет быстрее...

Как кто-то правильно подметил, у нас еще — совсем не вечер, хоть пахнет почему-то зверем и слабо тянет на восход, а мы — неисцелимо верим, а мы спешим к высоким целям, мы так бежим к заветным целям, что нас пещерный бьет озноб.

Что же Рыжик тогда этому парню сказал? Парень влетел в комитет, швырнул на пол комсомольский билет, заорал, ни во что не верил, потом билет этот поднял, остался на комбинате, к маме в Астрахань не уехал. Чем Володька его тогда удержал? Какие сыскал в тот момент слова? Почему они выпали? Что были за слова? Нет, выруб. Мне б вспомнить — я бы, может, пьесу про Рыжего написала, о честном и вдохновенном коллективисте, о вожаке. Володька ведь был, воистину,— вожак...

К себе надо относиться проще: как к тюбику, нажмешь посильнее — полезет, если есть что-то путное — полезет путное, если начинка некачественная — оно и полезет. А то — принцип причинности, принцип свертывания, принцип максимального правдоподобия, принцип запрета, принцип дополнительности, принцип адъюнкции, принцип исключенного третьего, принцип соотношения неопределенностей, принцип объемности, суперпозиции — опять же — принцип, к тому же эффект Зеемана, причем — аномальный, ультрафиолетовая катастрофа, сразу уж — катастрофа, обошлось же, излучение абсолютно черного тела, уже — очернение, туннельная эмиссия, число Авогадро, сверхтекучесть, суперсимметрии принцип, включая и калибровочную, и вообще — Карно цикл, да, главное-то чуть не забыла:

принцип относительности. Не слишком ли много принципов? Скромнее надо, скромнее. Презумпция невиновности — вот и все, это действительно важно. Принципиальная какая выискалась!

Совсем другое письмо, это письмо даже было послано, но его не востребовали, оно вернулось, подозреваю, что адресата вообще не существует в природе: «Здравствуй, миленький дружочек! Ничего нового, со вчерашнего моего же послания, естественно — не произошло. Город все так же пуст, тебя — нету. Совершенно напрасно ты, на мой взгляд, уезжаешь. Все равно ведь потом ничего толкового не можешь рассказать, зачем тогда и мотаться. Я, например, сижу сиднем. Сегодня вылезло солнце, раскочегарилось и теперь мне иссушивает ленту в машинке, лента, сам знаешь, дефицит. Погляди в райцентрах. Хочется чего-то тебе сказать — пронзительно и просто. А не умею. Маргарита говорит, что „мир погубят цитаты". Ее мир — возможно, хотя — как понимаешь — его ничто не погубит, он самодостаточен. Просто у нее так много цитат, что — допускаю — порой они ей мешают продираться к новому оформлению собственной мысли, а этими мыслями-то она нашпигована. Ей, может, лень выражать их собственными словами, она всегда знает сто подходящих цитат. Но я мало знаю, цитат — в том числе. И потому — мне проще найти свои слова для любой самой незатейливой своей мысли. Опять тот же принцип экономии при формировании понятий, все тот же Мах, мы перед твоим отъездом говорили: кому что проще, тот то поскорее и выбирает. Нет, мой мир не цитаты погубят! Принужденная собственным же невежеством искать для всего собственные слова, я в этих словах утомительно изощрилась, мне без сравнения, метафоры, эпитета — уже не дохнуть. Они во мне наскакивают друг на дружку и мою же нежнейшую мысль душат. Так что, по-моему, мир погубит образность. Я от своей устала, даже для тебя не найти мне простых — первозданных — слов. Ты, небось, от меня устал? Очень правильно делаешь, что молчишь: молчаливый всегда выигрывает. А еще я читаю сейчас зачем-то статью про фоновое, это которое реликтовое, излучение и так мне почему-то приятно, заглатываю как наживку интеллекта. Как всегда — ухитряюсь перевести на себя да на тебя. Мне, миленький, сейчас, к примеру, сдается, что мое — к тебе отношение это как раз и есть фоновое излучение некогда отпущенного на мою долю Большого чувства, то бишь каждому, видно, от Природы отпущен — изначально — свой Большой взрыв. А потом он постепенно все больше и больше смазывается течением сложившейся жизни и имеем только трехградусное излучение в микроволновом диапазоне 10 ГГц тире 33 ГГц. Гэгэцэ, кстати, это что такое, это витаминизированные гуси так кричат? Как ты считаешь, миленький дружок?..»

Ты много лет мне снился без лица, был некто в снах, кого я защищала, он умирал, а я лица не знала, спасался — я не видела лица, безликого — его во снах искала, безликого — в ночи его ждала. Он был очертан резко — на зеленом, как тушью был он черным обведен. Единственнен. Весь мир был — только фоном, где — без лица — царил лишь он. Как я во снах его подстерегала, чтобы врасплох застать его черты, откуда же я знала, что это — Ты.

Идет нормальное стягивание линий, ведь их — постепенно, незаметно и нерасторжимо — надо стянуть, с этим-то как раз еще и намаешься. А думать вперед не надо, это, Раиса Александровна,— лишнее, помаленечку надо, шажком, по долькам, ну, как в горах со Шмагиным,— вот только до этой еще вершинки, вон до той елки, хотя это, кажется, кедра, все равно — нам только бы до привала, отдохнем, соберемся с силами, тогда — дальше. Не надо себя пугать — далеко вперед. И не так уж все скверно, не так уж, Раиса Александровна, я в вас иногда даже немножечко верю, но — редко, извините...

В школе у нас возникла новая фигура: Леша Плавильщиков, второй «А». Он тут и раньше, наверно, был, неотличимый для всех нас в ребячьей толпе, для всех, кроме своей учительницы Аллы Демидовны. Тихо сидел на уроках,

ЖИВЫЕ КРАСКИ МИРА

СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСТВА О. Б. БОГАЕВСКОЙ



КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК



ПОРТРЕТ НАТАШИ



КРАСНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ

ЮНОША С МЯЧОМ



НАТЮРМОРТ НА СОЛНЦЕ



ИГРУШКИ

частенько даже — зевал, она замечала, недосыпает, что ли, отвечал еле слышно, речь недостаточно развита, запас слов невелик, в восемь с половиной лет хотелось бы и побольше, плоховато читал, про дом свой говорил неохотно, мама только всегда фигурировала, как она его любит, что она ему купит, ни на одно родительское собрание мама не приходила, Леша хорошо кушал в школьной столовой, есть дети — и не заставишь, а Лешу в столовой всегда хвалили и ставили всем в пример, даже ребятам постарше. На переменах Леша Плавильщиков держался поближе к Алле Демидовне, был с другими детьми небойкий, иногда она с ним переглядывалась, чтобы посмелее себя держал, знал за собою поддержку. И вдруг у Аллы Демидовны пропали со стола деньги, которые она собрала со всего класса на завтраки,— десять рублей, это было вчера, она не сразу хватилась, почти все уже разошлись по домам...

Случай этот вылез на большой перемене, я при этом была, все — были, полна учительская. Вошла взъерошенная Геенна, бросила кому-то: «Срочно, Плавильщикова, второй „А"». Кто-то из молодых учительниц кинулся, по тону уж видно, что произошло *нечто*. Но Нина Генпадиевна вскрикнула: «Да что это я? Не надо мальчика! Остановите, кто ближе! Надо Аллу Демидовну, ее класс!» Кто-то опять побежал, остановили, вернули, передали учительнице, чтоб поднялась.

Алла Демидовна вошла и потупилась. Она сама похожа еще на толстую девочку, косички забраны зачем-то узлом, что ее смешно старит, лицо пухлое, первый год работает после педучилища и директора, сразу видно, сама побаивается, глаза вскидывает ненадолго и неохотно, вскинет и сразу опять потупится. Очень она этим отличается от двух других выпускниц того же училища, которые, на мой взгляд, более чем развязны, а — главное — довольно активно покрикивают на детей, кое-кто уже слышал: покрикивают зло, дети — Он уже ставил об этом вопрос на педсовете — у этих учительниц какие-то невеселые.

На педсоветах третий год постоянно всплывает: что делать с начальной школой, с начальной школой у нас в школе неблагополучно, уровень ее падает, старые учителя ушли, уходят, скоро уйдут, а новые, нет, их пока и учителями-то не назовешь, со звонком придут — со звонком убегают, на урок к кому-нибудь, чтобы хоть поглядели, как на уроках бывает, силком не затянешь, им некогда, они спешат, зарплату — вроде — изрядно повысили, но разговоры, что платят мало, в учительской, кроме них, никто никогда о деньгах не говорит, я ни разу не слышала, говорят — о детях, новое же пополнение,— что Он особо на педсовете отметил,— от разговора о детях кривится, морщится и переглядывается промеж собой, так зачем, спрашивается, такое пополнение? Ему бы хотелось услышать от руководства школы, почему людей, которые — явно — детей не любят, берут в школу этих детей учить и воспитывать? И как потом, интересно, мы будем работать с этими классами, когда они под таким руководством подрастут до четвертого? Нина Геннадиевна сказала, что она, к сожалению, не выбирает, ей — прислали, а выбирать вообще не из кого, если Он знает — где можно выбрать, она с удовольствием Его совету последует. Но Он тоже не знал, Он поднимал вопрос...

Алла Демидовна стояла, потупясь. «Алла Демидовна, у вас в классе — говорят — деньги вчера пропали?» — строго спросила Геенна. «Да, у меня деньги вчера пропали...» Она отвечала директору полным ответом, как на уроке. Глаз не подняла. «А почему они у вас на столе валялись?» —осведомилась Геенна. Все же ее въедливая осведомленность вызывает у меня уважение, хотя кто-то, так сказать, значит ее информирует. Хорошо ли это? Но, с другой стороны, должен же директор знать, что в его школе делается. Никакой «Леша Плавильщиков» еще для всех и в тумане не маячил, а Геенна вполне уже была в курсе. «Вы провели расследование?» — «Да, я провела расследование...» Опять же — полным ответом. И даже бесстрашно глянула. «Как провели?» — с некоторым сарказмом полюбопытствовала Геенна. «Я так провела расследование. Я ребят спросила, кто оставался. Я спросила: „Ребята, вы не видали, кто-нибудь деньги брал у меня со стола?"» — «Сколько?» Наверняка же знает! «Десять рублей»,— уточнила Алла Демидовна, по-девчачьи вздохнув, сумма ей, видно, казалась нешуточной. Ну да, она же с бабушкой живет, ее зарплата да бабушкина пенсия — весь доход, однако никаких рассуждений насчет

оклада я от Аллы Демидовны не слышала, она при таких разговорах своих молодых коллег упорно помалкивала. «Так. Дальше!» — «Дальше ребята сказали — Плавильщиков брал. Я сегодня спросила Плавильщикова — ты, Леша, брал деньги со стола? Он сказал — не брал...» — «И все?» — возвысила голос Геенна. «Все...»

Геенна моргнула, на секунду задумалась, серый слом в ее волосах — где крашеные смыкаются с отрастающими — тускло сверкнул. «Плавильщикова, срочно!» Возле учительской торчал кто-то из десятого «А», они, по-моему, несут тут почетную и тайную вахту,— вдруг да потребуются за чем Маргарите Алексеевне, это класс Маргариты. Так что Плавильщикова быстро доставили в учительскую. Его между десятиклассниками и не видно совсем. Щупл. Малоросл. Хил. Щека в мелу и курточка застегнута наперекосяк, видать — наспех. Алла Демидовна сразу бросилась оттирать ему щеку, перестегивать пуговицы и всего его оправлять. И рядом с ним сразу встала — вот мы, вместе, вместе нас и судите и отвечать будем вместе. «Плавильщиков, брал деньги?» — довольно мягко вопросила Геенна. «Не брал...» Видно было, как Алла Демидовна тихонько взяла его за руку и незаметно теперь держала. «Так»,— моргнула Геенна. Директор-то у нас опытный. Мигом схватилась за телефон, уже и трубку сняла. Тон теперь другой, граненый алмаз. «Плавильщиков, я сейчас же звоню в милицию, вызываю милиционера с собакой и они все сразу найдут. Ты меня понял?» Мальчишка сглотнул и кивнул завороженно. «Видишь, уже набираю номер. Ну, брал деньги?» — «Брал...» Сам не отрывает от телефона завороженного взора. И видно, как Алла Демидовна стиснула ему руку. И вся, как струнка, возле Плавильщикова напряглась. Смело теперь глядит на директора: вместе сделали, нам терять уже нечего, и отвечать вместе будем. Глаза же Нины Геннадиевны как бы обходят учительницу, сама не могла разобраться, теперь уж без тебя обойдемся.

«Давай обратно десять рублей!» — «У меня нету...»

У всех у нас, кто при этом присутствовал, мелькнула, небось, приблизительно одна и та же мысль — что значит трафарет теперешнего благополучия. У меня она точно мелькнула, за других не ручаюсь, но — похоже: неужто проел на мороженом? сколько же он, бедолага, слопал мороженого за один день? Ну, что-нибудь — в этом роде.

«А где же они, Плавильщиков?» — осторожно спросила Нина Геннадиевна. «Я маме их вчера отдал...» — раздался тонкий и отчетливый голос. Мы онемели. Представители десятого «А», которые за спиною директора торчали в полуоткрытой двери учительской — онемели тоже. «И что же мама?..» Если бы Леша Плавильщиков хоть немного знал своего директора школы, он бы сразу понял, что директор — растеряна. Но Леша не знал. «Мама мяса купила, маргарин, булку, молоко, конфеты еще,— он все постарался честно припомнить.— Суп сварила. Я ел, вкусно было». По лицу его скользнул отблеск вчерашнего: когда — было вкусно. Если можно онеметь еще больше — все онемели. Геенна Огненная поперхнулась. Откашлялась. «Ну, а маме...— продолжила она с явной заминкой,— маме ты, Леша, сказал, где эти деньги взял?» — «Сказал, что у учительницы со стола».— «А она что сказала?» — «Сказала, чтобы в последний раз было...» Настала вовсе пронзительная тишина. Стоит щуплый мальчик. Стоят вокруг взрослые люди. Учителя. Стоят в дверях почти взрослые. Десятиклассники. Все молчат. Никто даже движения ни одного сделать не может. Только Алла Демидовна вцепилась Плавильщикову в руку. «Иди, Леша»,— сказала директор. Вышел. В коридоре его схватили представители десятого «А» и повели прямо в школьный буфет — кормить.

Теперь они каждый день кормят Лешу Плавильщикова, и из дома носят ему бутерброды, натащили игрушек, кто-то уже приволок подростковый велосипед, десятый «А» учит Плавильщикова кататься, хвалится, что Лешка — способный, сел и сразу поехал. Он, проходя, треплет Плавильщикова по затылку: «На кружок в пять часов придешь? Я тебе задачку потрясающую покажу! Специально тебе придумал!» Маргарита с ним занимается чтением. Плавильщиков теперь на «продленке», и пока школа открыта — Леша в школе. А потом? Разве это выход? Но никто не знает, где для Леши — выход. Леша Плавильщиков очень любит свою маму, говорит, что она — лучше всех, добрая, она ему обещала купить ботинки, об интернате Леша даже слышать не хочет, объясняет, что мама без него пропадет, она все забывает, без Леши она утром ни за что не проснется, на работу проспит до самого вечера, и еще — кто же, если Леши дома не будет, сходит к сестренке, сестренка болеет, признает только Лешу и он ей носит игрушки, которые поставляет десятый «А».

Мама-Плавильщикова в своем доме всем хорошо известна, округе — тоже, младшую девочку, ей полтора года, сдала в Дом малютки, хоть, по слухам, не отказалась пока от нее, никто не сможет удочерить, мама работает — где придется, специальности нету, Леша до двенадцати ночи, бывает и позже, бродит по улицам, в квартиру не попадешь, хоть она и отдельная, соседи подкармливают, пускают иногда посидеть, спит он в кухне, случается — и на улице, недавно на лестнице ночевал, возле батареи, сосед шел ночью со смены, уже три часа было, увидел, подобрал к себе и мальчишка выспался...

Мама эта потом приходила в школу, я ее видела. У девочек в восьмом классе попадаются такие лица, слава богу — редко. Такие вдруг уже запущенные, что им все бесполезно: кричи, надорвись, умри перед ними или за них, они тебя уже не услышат. Мама-Плавильщикова так и смотрела. Пусто. В лицо директору. В пустоту. И глаза у нее были спокойные, незамутненные и без раздражения.

Над плоским озером Тенгиз, безбрежным, мелким и от жара будто — пыльным, где птицы эти не перевелись, летят, летят фламинго...

Подошел Макс, волосатый, потный, облепленный подёнкой, вроде — сю избитый, отдулся, вытряс у себя из ушей килограмма по три этой подёнки, огромной лапой смел с мокрого лица тысяч десять и сообщил громогласно: «Завещание Пржевальского помнишь? Козырный парень! Завещал себя похоронить на самом высоком берегу Иссык-Куля. Я все баш ломал — где бы себя захоронить? Понял! Я себя тут велю захоронить, на Тенгизе. Козырное место! Для мужчины — лучше не сыщешь!»

Попытка автобиографии.

Я, Горелова Раиса Александровна, родилась в Ленинграде 13 января 1938 года. Наш дом на улице Бармалеева уцелел, в нем и сейчас булочная. И тогда, и теперь я верю, что улица названа в честь Бармалея, это страшновато, но сладко, как в детстве — затаиться под новогодней елкой, когда еще нет игрушек, и представить, будто ты одна в лесу. Я все боюсь, что эту улицу переименуют. Очень не люблю — когда переименовывают, и сроду не встречала таких, кто это любит. Однажды, уже давно, я заходила в нашу квартиру на шестом этаже, она и сейчас коммунальная. Но теперь есть лифт, стеклянный его пенал небрежно приставлен снаружи к лестнице. Старый дом со двора мрачноват, но это ему идет, как идет порой угрюмому человеку его угрюмость. Голая блескучесть лифта непонятно чем нарушает его надежную значительность и даже печаль. Я ничего не почувствовала в этой квартире, когда вошла. В прихожей было просторно и слегка даже театрально, потрескивали лампы дневного света, видно — был недавно ремонт. На темно-коричневом столике стоял бледно-зеленый телефон и трубка его, чуть приплющенная и похожая на лопасть, новой какой-то марки, напоминала привядший лист ревеня. Длинный коридор уходил в темноту и терялся там. Кто-то уже потянулся там к выключателю, и в этот миг — между немой, как обморок, чернотой, уходящей в никуда, и сухим щелчком, сделавшим коридор — просто коридором, я его узнала.

Я услышала вдруг пыльный запах старых вещей, звяканье таза в ванной, длинный бульк спускаемой воды, терпкий запах мокрых резиновых калош, взблескивающих возле входной двери, шарканье сухого веника по старому, в облупившейся краске, полу и парной — банный — запах белья откуда-то впереди. Я узнала узкую нишу слева, задернутую когда-то ситцевой занавеской, и краешек коричневого драпового пальто, выглядывающий из-под ситца.

Узнала черный и глухой угол, потом резкий поворот коридора, за которым, как спасенье,— ровный и сумеречный свет широкой кухни. Черного угла я тогда боялась. Каждый раз пройти мимо него — было преодоление себя и кухня была — награда. В кухне стояла мама и деревянной мешалкой медленно ворошила закипающее в тусклом сером баке белье. Я не видела ее лица, но знала, что она молода, большеглаза, светлые ее волосы стянуты красной косынкой, руки до локтей голы и они загорелые. И что она — моя мама. Горячий и влажный пар от белья лениво ползет через кухню к раскрытому окну. Там, на подоконнике, сидит папа. У папы веселая круглая голова без шеи. Он брит наголо, но волосы уже чуть-чуть отросли, их много, они стоят на папиной голове густо и жестко, словно стерня, и голова от этого кажется еще больше. Лица его я не видела. Он улыбался. Папиной улыбки я тоже не видела, но почему-то точно, как бывает во сне, знала, что он тогда улыбался и что эта улыбка обращена ко мне.

Не знаю даже, воспоминание ли это. Раньше его во мне не было. Зато теперь есть. В конце концов какая мне разница? Теперь оно есть. Идиллическая картинка детства, которую я, может быть, присвоила — коммунальная кухня, девочка, вбегающая на нетвердых еще ногах и со счастливым стеснением в груди после страха, мама, папа, небо за ним в проеме окна и оскольчатый край брандмауэра. Теперь можно обжиться в нем, расцветить подробностями или оставить неприкосновенным, как фотографию. В отличие от фотографии, воспоминанье уже не потрескается и не поблекнет с годами, я себя знаю. Можно думать о нем. Почему мама в красной косынке? Это что — Петров-Водкин или первые стахановки в фильмах? Мама была тогда, кажется, в аспирантуре. Она никогда не любила ярких цветов, я помню ее только в серо-коричневых тонах. Но красный — мой самый любимый цвет. Может, у мамы потом изменились вкусы? Папа, мне кажется,— в голубой сатиновой косоворотке с распахнутым воротом. Ворот вышит старательным крестиком, мама иначе вышивать не умела. У нас сохранилось от тех времен детское полотенце, на нем такой крестик. И почему они в кухне? Это воскресенье?

Папа тогда уже писал докторскую. Рукопись погибла вместе со всей лабораторией в Пушкине. В ночь, когда наши оставили Пушкин, а немцы еще не вошли туда, папа был дежурным по лаборатории. Он закончил опыт, это была у них какая-то длинная серия опытов и только-только проклюнулся — вроде — результат, запечатал входную дверь и уехал на велосипеде домой, в Ленинград. Папин лаборант только что получил квартиру в Пушкине, в начале июня сдали наконец институтский дом для сотрудников, лаборант остался и пропал потом без вести. Папин товарищ из соседней лаборатории — он тоже в ту ночь дежурил — побоялся ехать и был потом повешен, отказался работать с немцами. Заведующий их сектором тоже остался в Пушкине и погиб потом, много позже, уже в нашем лагере, кажется — от пневмонии. Портрет его всегда висел у папы над письменным столом. Папу в дороге два раза останавливали, но выстрелов он не слышал. Когда на рассвете он открыл дверь своим ключом, мама, всю эту ночь просидевшая в прихожей на сундуке, сказала: «Как же ты это так новый костюм уляпал...» Они часто потом эту фразу вспоминали.

Оказывается, кое-что я все-таки знаю...

А может, мама и папа тогда были в кухне, потому что в комнате спал мой младший брат Витя? Он умер совсем маленький, от дифтерита, незадолго перед войной. Я не успела даже привыкнуть к Вите, не только что — полюбить, совсем не помню его.

Мы занимали одну комнату, ближайшую к кухне. По длинному коридору я, значит, бегала просто так, из жути и интереса. Это была совершенно незнакомая комната, забитая полировкой. Жидкий блеск полированной мебели вообще утомителен глазу. По-моему, если длительно и со всех сторон подвергаться вибрирующему и никчёмному ее облучению — организм расшатывается: подвернув ногу, услышишь бессильный хруст ольхи, а не упругое тело. Не понимаю, как люди по своей охоте могут окружать себя столь опасными предметами, как современная полированная мебель. Комната оказалась высокой, не такой уж маленькой, метров семнадцать и с загогулиной, которую

нужно, наверное, именовать «лоджия». Я знала, что хочу найти в этой комнате. Но я его не нашла. Его давно нет нигде, кроме моей памяти. Никто не помнит, когда и куда оно делось, даже тетя Аля уже не помнила. Это было — огромное кресло, обитое черной потрескавшейся кожей. Кожи на кресле так щедро много, что она под рукой сборится, как бульдожий загривок. В него можно залезть с головой и сидеть поперек. Пахло оно почему-то растревоженным лошажьим духом. Когда, уже совсем взрослой, я впервые села на лошадь, я вдруг ощутила забытый запах старого кресла.

Я не нашла его в комнате, но почувствовала то место, где оно когда-то стояло. Это была — загогулина. Только тут оно никому не мешало и могло, пожалуй, вместиться. Чтобы засунуть его в загогулину — ее, впрочем, надо бы величать «лоджия»,— мне пришлось слегка уменьшить кресло в размерах, но все равно оно осталось огромным. В этом кресле я провела свою первую сознательно бессонную ночь. Я в тот день узнала, что земля наша вертится, и решила дождаться этого поворота. Я была уверена, что земля переворачивается один раз в сутки, и не сомневалась, что она делает это ночью, когда все спят. Чтобы на резком этом витке не вылететь из кресла, я пристегнула себя папиным ремнем к спинке. Сделать это бесшумно и в темноте было трудно. Я ждала очень долго. Ходики на стене, неслышные днем, слишком громко тикали и еще, грохоча, передергивали гирями. Я опасалась, что их грохот спугнет осторожную землю. Утром меня нашли в кресле спящей. Я проспала поворот. Расстроенная нечистотой эксперимента, я никому ничего не объяснила, иначе хоть раз кто-нибудь из родных мне бы про этот случай рассказал. Значит — думаю я теперь: уже тогда была себе на уме. Опыт я решила повторить. Кажется, не повторила, не помню — что помешало. Во всяком случае, и по сей день я потаенно верю, что земля поворачивается вокруг себя самой только один раз в сутки и именно — ночью. Много раз я пыталась подстеречь этот единственный миг, но еще ни разу мне не удалось застать нашу многоопытную землю врасплох.

Это мое самое яркое довоенное воспоминание.

Когда Машка приблизительно в таком же возрасте однажды вечером, уже лежа в постели и возбужденно блестя глазами, сообщила мне, что земля летит в пустоте с бешеной скоростью и в любой момент может треснуться, неизвестно еще — обо что, может — даже сегодня ночью, и тогда сразу будет конец света, она нашла во мне понимающего собеседника. Доверие Машкино я весьма оценила. И несколько ночей сидела с ней рядом, пока она заснет. Потом Машка увлеклась режиссурой среди игрушек и забормотала только стихами. Я успокоилась. Стихи утишают душу, по крайней мере — мою и Машкину.

У моего первого друга — Гарика — была голубая пульсирующая жилка на переносице. Соседка все намекала его матери, что с такой жилкой Гарик долго не проживет. То же самое как-то сказала ей старая цыганка в трамвае. Мать Гарика курила, что тогда было достаточно редко среди молодых женщин, жила без мужа, что тоже повальным явлением еще не было, звонко смеялась и своего Гарика иногда лупила ремнем. Он ревел при этом как-то весело, наверное — она несильно лупила. Гарик — фамилии и полного имени его я уже никогда не узнаю — погиб в самом начале войны. Его вывезли вместе с детским садом куда-то за город и весь детский сад вскоре погиб. Никто никогда не рассказывал мне, как это было. Но я почему-то всегда знала, что Гарик бежал босиком по траве и его застрелили из самолета. Позже, в кино, я видела, как это бывает. Но это было не так. Гарика застрелили из самолета, из ружья, я даже будто помню лицо стрелявшего, огромные очки, темные, задраны на лоб. И с тех пор я боюсь, если маленький самолет, какой-нибудь «кукурузник» — вдруг резко снижается надо мною где-нибудь в поле, а я одна. Летать я могу — на любом, это другое дело, полеты — наоборот — даже люблю. Мой первый друг — Гарик — хотел быть Чкаловым, когда вырастет. Он об этом мне сам рассказывал на черной лестнице, куда родители загоняли нас во время первых бомбежек, потому что стены там капитальные, и считалось — мы останемся целы, если попадание непрямое. Я тоже хотела быть Чкаловым. Гарик не возражал, он не сказал, как мама, что я девчонка. Это был человек надежный, несуетный и совершенно свободный от шаблонов. Мне до сих пор его не хватает.

Гм... Вряд ли Гарик мог мне что-нибудь говорить на черной лестнице, раз уже вовсю шли бомбежки. Его должны были раньше — вывезти с детским садом. Однако — я помню именно так. Видимо, аберрация памяти...

Моя первая подруга Лариса, из двадцать шестой квартиры, этажом — ниже, умерла в декабре сорок первого года от дистрофии. Я ее не помню. Я бы, наверное, даже не знала, что она — была, если бы мама периодически не говорила папе: «Санечка, сегодня что-то случится!» Мама была мнительная, ее часто мучили дурные предчувствия. Позднее, разбирая мамины письма, я убедилась, как глубоко это в ней сидело. Небо над мамой всегда было низкое, в тяжелых тучах, шел вечный — неостановимый — дождь, даже если это был Крым в июле, на земле отвратительно подрагивали черные лужи, мама в них падала. Я вдруг по-новому подумала тогда о папе. Сердце мое вдруг сжалось за него, ведь папа неизменно все годы был рядом с мамой и не мог, конечно, этого не ощущать, не страдать от этого тонуса рядом. Но, значит, было в нем какое-то неиссякаемое и стойкое противоядие. Думаю, это и есть любовь.

Папа всегда был ровен, неизменно жизнерадостен и тверд в поступках, речь его, пожалуй, была суховата, всегда — доброжелательна, тяга же моя к красочности слова — несомненно от мамы, хоть как раз мама потом, когда я что-то там стала писать, словом моим была неизменно и особенно недовольна, подчеркивала, на ее строгий взгляд, несообразности, логические ошибки и нарушения привычных конструкций, каковые для мамы святы, она пурист.

В предчувствия папа не верил. Только месяца за полтора до последнего инфаркта, второго, папина лаборантка — она мне потом уже рассказала — вдруг застала его рано утром в лаборатории в необычно подавленном состоянии. Сам, без всяких вопросов, что тоже было папе абсолютно несвойственно, он вдруг сказал лаборантке, что видел только что странный и яркий сон. Цветной, папа цветных вообще не видел. Будто ему вдруг дают новую квартиру — три метра на два. Папа смеется, что даже при его скромных жизненных потребностях, пожалуй — маловато. А кто-то, кого он не видит, отвечает спокойно: «Нет, вам хватит». И потом чьи-то шаги, папа не видит — чьи, размашисто и жестко отмеряют на очень черной и даже яркой чернотой этой земле: три, поворот и два. Никому больше про этот сон папа не рассказал. А к маминым разнообразным предчувствиям всегда относился с бережным пониманием.

«Сегодня что-то непременно случится,— зябко говорила мама.— Я, Санечка, в подъезде столкнулась с женщиной — с глазами Лемешко».— «В каком смысле, дорогая?» — папа будто не понимал. «В том самом, что у нее были глаза, как у Лемешко в то утро, когда умерла Лариса».— «Возможно, у человека — горе?» — осторожно предполагал папа. «Нет,— мама вздрагивала, она всегда мерзла в такие минуты.— Нет. Она на меня посмотрела».— «Но, Мусенька, как же ей было на тебя не посмотреть, если ты, как ты сама только что сказала, буквально столкнулась с этой женщиной в подъезде?» — «Ты думаешь — просто так?» — напряженно уточняла мама. «Вне всякого сомнения. Выкинь это из головы». Он произносил это с такой властной и оберегающей ласковостью, что мама светлела. Но еще не сдавалась. «Ты помнишь, какие у Лемешко в то утро были глаза?» — «Помню, дорогая».— «Когда умирала Ляля, у нее таких глаз уже не было».— «Да, тогда уже не было».— «И когда потом — Люся, тоже не было».— «Да. Она тогда совсем уже была плоха».— «На следующий день она, по-моему, и не вернулась?» — «На следующий я им с Лерочкой еще отнес суп из хряпы...» — «Верно. Как это я забыла! Санечка, ужасно, что это можно, оказывается, даже забыть!» — «Ты не забыла, Мусенька. Просто — перепутала. Она не вернулась позже, по-моему,— в среду...»

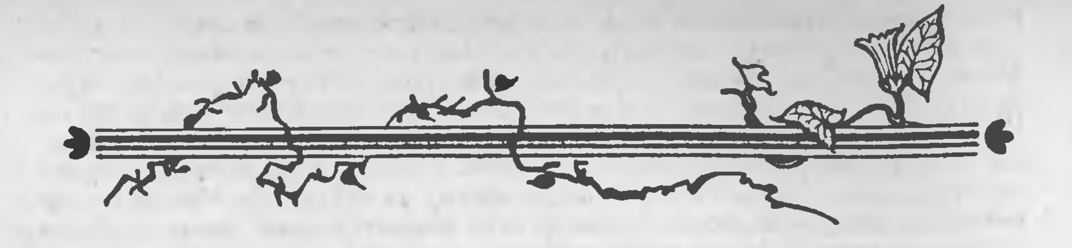
Этот диалог все повторялся в небольших вариациях, с упорством пожизненной неотвязности. Я долго слушала его вполуха, как давно знакомое, значит — понятное. Но, наконец, настал день, когда я спросила: «Сколько же их было?» — «Сама Лемешко и четыре девочки».— «И все умерли?» — «Лариса, Ляля и Люся умерли от дистрофии (Папа предпочитал это слово в разговорах со мной, «от голода», ему, по-моему, было до сих пор трудно выговорить, в «дистрофии» есть все же элемент научной абстракции.), а Лерочку, когда Лемешко ушла отоваривать карточки и не вернулась, я отвез на санках в стационар. Может, она и выжила, будем надеяться, стационар должны были эвакуировать».— «Выжила?» — настойчиво добивалась я. Мне было тогда уж лет двенадцать-тринадцать, я не могла, чтоб никто не выжил. «Не знаю, Раюша»,— папа никогда не умел солгать. «Мы с мамой после войны пытались наводить справки. Ничего узнать не удалось».— «А Лариса?» У меня к тому времени уже отложилось в сознании, что именно Лариса как-то особенно связана со мной. «Лариса погибла первой. Она слабенькая была, перенесла тяжелое заболевание, поздно стала ходить. Вы с ней под столом все сидели, шептались. Не помнишь? Совсем? Лариса первая твоя подруга была...»

Еще до войны у меня были двоюродные братья — Эдик и Котя. Они были старше меня. Эдик закончил третий класс. Я помню, что всегда забиралась у них в комнате под рояль и видела его узкую ногу в желтом негнущемся сандалии, упрямо нажимавшую и нажимавшую на педаль. Брюхо рояля протяжно гудело. Звук этот я до сих пор ощущаю как плотный стелющийся туман, в котором отчетливо различим и упорно подвижен только один предмет — сандалий на педали. Почему-то я всегда помню только одну ногу. Эдик хотел стать пианистом и погиб в январе сорок второго года при артобстреле. Котя, которому было шесть лет, мечтал стать пожарником, он постоянно что-нибудь поджигал и тушил, однажды чуть не спалил квартиру. Котя вставил свечу в целлулоидного утенка, свечу зажег, сам занялся другими делами, утенок от свечи вспыхнул, Котя испугался, но не убежал, а швырнул горящего утенка и попал в радиоприемник, загорелась проводка. Тогда уже Котя с воплем вылетел в кухню. Машина, на которой был Котя, ушла под лед Ладожского озера, кажется, в начале марта сорок второго года.

Своих дядьев, погибших уже в конце войны, дядю Петю и дядю Федора, я не помню совсем — один, вроде бы — очень смутно, был колюче усатый, а другой — веселый моряк, подбрасывал меня высоко. Вдовы их — живы. Тетя Лиза звонила сегодня утром, двенадцать минут шестого, беспокоилась, чтобы я не потеряла карточки и заняла очередь за хлебом, она чувствует себя хорошо, небольшая слабость, спрашивала, не звонил ли мне Эдик, от него давно нету писем, не простудился бы, он же уехал в командировку куда-то на Север, тетя Лиза опять забыла название города, куда он уехал, пусть я ей этот город поскорей назову. Она не помнит, что Эдик умер. С матерью Коти, Зинаидой Петровной, мы достаточно далеки, видимся редко, у тети Зины есть вторая семья, взрослая дочь, там я — вроде — пока не требуюсь, разве что — для интеллектуальных бесед, вчера, к примеру, они с мужем были в театре, им не понравилось, пьеса совершенно бессодержательная, раньше таких не ставили, теперь — ставят, мне это не должно быть безразлично, пусть я объясню — почему...

О моя актуальная бесконечность, не надоело тебе самораскручиваться через меня, слабосильную? «Нет, не надоело пока»,— ответила она тоненько. Какой у бесконечности голос, толстый, тонкий? Ей — небось — все равно, она ж безразмерная. А касательно времени как физической категории надо бы анализировать любой рассказ Чехова. Удивительно он этим владеет — из мига вытащить вечность, ощутить плотность вечности и концентрацию мига.

Окончание следует



Игорь МИХАЙЛОВ

□ □ □

То тяжкое, что было на веку,
пожизненно гнетет воображенье,
и снятся до сих пор фронтовику
окоп, атака, ужас окруженья;

блокаднику — бомбежка, и скольженье
с ведром к воде, где труп вмурован в лед,
и метронома мерное движенье,
ведущее минутам жизни счет...

А мне — бредущий сквозь пургу этап
и гибель тех, кто болен или слаб,
и хлюпанье болота под лежневкой,

стрелок на вышке, бдительный конвой,
и шмон, и вставший на поверку строй,
и автомат, что взят наизготовку...

ПИСЬМО СТАЛИНУ

Зажатые железными тисками,
боясь вглядеться в предстоящий мрак,
да, мы писали Сталину из камер.
Свидетельствую: это было так.

Писали и за совесть, и за страх,
кто движим верой, кто томим сомненьем...
Я лично написал письмо в стихах,
именовавшееся заявленьем.

Быть может, веря страшной силе строк,
надеялся я словом сдвинуть горы,
иль просто ухватился за предлог
облечь в стихи моленья и укоры...

О чем писал я? Что, наверно, он
не ведает, заваленный делами,
о тех, кто нагло растоптал закон
тяжелыми тупыми сапогами;

что у меня поэма на уме,
в я на глупости теряю время;
что дико в собственной сидеть тюрьме,
уж пусть в фашистской —
грешен перед теми;

что, понеся подобные убытки,
не сможет вновь разбогатеть душа;
что для поэта нет больнее пытки
жить без бумаги и карандаша...

Пусть он прикажет.
Пусть без промедленья
мои попавшие в капкан года
отпустят...
Смехотворней заяаленья
Лубянка не читала никогда.

И следователь мой, суров весьма,
сказал с наигранным негодованьем,
что, мол, разит от этого письма
антисоветчиной на расстояньи.

И, брови рыжеватые нахмуря,
добавил, в папку положив письмо:
— Дать лучший материал прокуратуре
ваш самый злейший враг — и то б не смог.

Наверно, и сейчас в моем досье
оно хранится — вроде анекдота —
как старенькое выцаетшее фото
моей наивности во всей ее красе.

ЗА ПЕЧОРОЙ

За Печорой, ва Печорой,
за студеною рекой,
на решенье слишком скорый,
паренек бежал домой.

Услыхал он, что в России
оголтелая война,
что с трудом от войск фашистских
отбиаается страна.

Нет, страну мою не троньте!
Разве можно жизнь убить?
Все друзья его на фронте,
он обязан там же быть!
Написал он заяаленье,
что ни в чем невинен он,
что по недоразуменью
был он взят и осужден...
Гнять в тюрьме—разумно ль это,
коль сошелся клином свет?
...Месяц минул—нет ответа,
два прошло — ответа нет!

За Печорой, за Печорой,
за отверженной рекой,
на решенья слвшком скорый,
паренек бежал домой.
Обошел он все заставы,
все посты он миновал,
уж даано хребет Уральский
взгляд упрямый приковал.
Но о нем дурная слава,
знать, недаром разнеслась —
что жестокий, что лукавый,
что хлебнул он крови всласть,
что заманит вас — радушный,
обнадежит, даст вам сил —
и погубит равнодушно —
так, как многих погубил...
Парень шел. Еда кончалась.
Не дойдет он никогда.
Бесконечно раздвигалась
неприютная гряда.
Он питался мхом болотным,
запиаал гнилой водой,

но вставали сопки плотной,
нескончаемой стеной.
Сопки — беа конца и края...
Дождь хлестал да ветер дул...
И, сознание теряя,
он обратно повернул.

За Печорой, за Печорой,
где ни жизни, ни дорог,
в заколдованиых просторах
был застрелен паренек.
Как свершилось это дело,
видел пасмурный рассвет.
Обескровленное тело
притащили в лазарет.
В лазарете разрезали
тело двое докторов,
про убитого сказали,
что на редкость был здоров,
что с таким телосложеньем
надо б только жить да жить,
и что этакого сердца
на двоих могло б хватить...

За Печорой, за Печорой,
там, где тундра широка,
под кладбищенским забором
схоронили паренька.
Только бирка на ограде
сообщит о нем тебе,
что родился в Ленинграде,
осужден был как СОЭ [1],
что до окончанья срока
он три года не дожил
что зарыт в земле — далёко
от всего, чем дорожил.

АНГЕЛЫ

Кто утверждает, будто в наши дни
нет ангелов? Есть ангелы. Но чаще
не в райской куще, а в дремучей чаще,
в аду кромешном водятся они.

Я знал их за Печорой, в лагерях,
в обители пропащих и увечных.
Легки, светлы, крылаты, человечны —
отбрасывали всё: брезглиаость, страх...

Их заклеймили дикой кличкой ЧСИР [2],
семьи лишили и надежды всякой...
Их выаезли из городских квартир,
чтоб поселить среди болот в бараках...

Любую боль умея понимать,
они ходили за чужими нами,
как за мужьями или сыноаьями
жена не всякая и не любая мать.

Здесь жизнь была ничтожна и убога,
а смерть разнообразна и щедра.
Спасенья не молила нам у Бога
ниспосланная Берией сестра.

Она сама спасала нас. А если
в десятый раз уже мы не воскресли,
на сердце полумертвое живая
рука ложилась, как ответ на SOS,
и слышала щека, охладевая,
горячий дождь ее горючих слёз...

А у воскресших воскресала вера
в людей и в жизнь:
казалось — близок дом...
Кто говорил, что ангелы — химера?
Я сам их аидел.
Лично был знаком!

---

[1] СОЭ (социально опасный элемент) — одна из «литерных» статей, по которым приговор выносился заочно, только на основании агентурных данных.

[2] «Член Семьи Изменника Родины» — одна из «литерных» статей, по которой во времена Берии осуждались жены и дети «врагов народа». В военные годы чаще всего это были жены военнослужащих, попавших в плен.

В ПУБЛИЧКЕ

О, книги со следами давних бед —
вы, как дома с разрушенным фасадом!
С клеймом библиотски —
тут же, рядом —
на вас клеймо постыдных рабских лет.

Кто в гордом и книголюбивом аданин
уродовал сто книг в один момент?
Библиотекарь? Бдительный студент?
Иль некто, выполнявший спецзадание?

Кто, взяв очередной «опасный» том,
с оглядкой вороватой недоверия
вымарывал того, кого замучил Берия,
чтоб Берию вымарывать потом?

А ведь гражданственность убить
не так уж просто,
в год, в два и в три ее не задушить...
Не вдруг, не сразу нарастет короста
на место кожи, содрвнной с души...

◻ ◻ ◻

Я был в Москве
во время двадцать второго съезда.
Я видел, как плакали женщины,
обнявшись и слёз не таи:
«Дожили, господи, дожили...
Пусть не придут, не воскреснут,
но будут хоть спать спокойно
в могилах своих мужья...»

И в сердце все стало на место:
воздано мерой за меру,
все до конца договорено,
проклятые те годы...
Припомни, душа: ты болела,
но ты не терила веру,

ты питиа на солнце
с солнцем
не путала никогда!

За личной твоей бедою
стояла беда народа,
ты с ним, словно хлеб пайковый,
делила черные дни...
...Встань во весь рост,
«Баллада тридцать седьмого года»,
проснувшись от летаргии,
полной грудью вздохни!

Сергей ВОРОНИН

ТРИ РАССКАЗА

Бедный Витя

1

Кате Севастьяновой было девятнадцать лет, когда она, как говорится, сходу влюбилась в Егора Парахина, высокого, синеглазого, отчаянного мотогонщика. Он ее покорил также стремительно, как покорял на своем мотоцикле любые расстояния и препятствия, завоевывая звание чемпиона. И также быстро охладел к ней, как к перекрытому, им же самим, рекорду. Но связи не прерывал, и когда Катя родила сына, не отшатнулся от нее, хотя и помалкивал о женитьбе. Больше того, даже разрешил записать сына на свое имя. Но случилось так, что вскоре Егор Парахин погиб. Он разбился насмерть на международных соревнованиях по мотокроссу. Таким образом Катя стала матерью-одиночкой. И если с этим можно было как-то примириться, то уж никак не могла она согласиться с тем, чтобы у ее сына не было отца. И стала добиваться, чтобы Витя, она так назвала его, так хотел и Егор Парахин, получил фамилию отца. Это было необходимо, во-первых, чтобы оградить сына от издевок, которые могут быть, и, во-вторых, чтобы сын не мог ее упрекнуть в безотцовщине. Тем более отец известный спортсмен, к несчастью, разбившийся на международном мотокроссе, что должно непременно вызывать у мальчишек, с которыми он будет общаться, уважительное отношение к отцу, а от него — прямым лучом — к его сыну, Вите Парахину.

Вот почему Витя стал Парахиным. И хотя мать его, Катя Севастьянова, была матерью-одиночкой (что звучит, к сожалению, как-то не очень, то есть как бы прижившей ребенка незаконным путем), то сам-то Витя имел отца, и если, случалось, заходил разговор, то он с гордостью отвечал, что его отец, Егор Парахин, был мастером спорта высокого класса, мотогонщиком, разбившимся насмерть. И этого было достаточно, чтобы над головой Вити возникал венчик славы, хотя и отраженным светом.

Кате было двадцать лет, когда все это навалилось на нее. И тем большим утешением для нее стал сын. В нем она видела черты покойного Егора Парахина, с ростом Вити стала замечать схожесть в бесстрашии, которым отличался отец, и уже не было обиды на Егора, и все больше заполняла сердце ласковая память о том, когда Егор любил ее, и была уже уверенность: не погиб бы — женился.

Конечно, плохо, когда в семье нет мужчины и есть мальчик. В обществе женщин — одинокая мама, добрая бабушка — он неизбежно становится либо изнеженным, либо избалованным. А то и тем и другим одновременно. И хотя Витю не очень-то баловали — жили трудно, еле-еле сводили концы с концами, Катя одна работала,— но разрешали многое, что шло во вред его воспитанию. «Хочу!», «Дай!» — звучало сплошь и рядом. Бабка безропотно выполняла все

его прихоти. Не отказывала и Катя. Она работала проводницей в поездах дальнего следования и всякий раз, возвращаясь с юга или востока, бог знает что передумавшая о сыне,— все боялась: «А ну-ка что с ним?», никак не могла быть строгой к нему, тем более, что через два-три дня снова уходила в очередной рейс. Поэтому Витя был несколько капризным, несколько эгоистичным, подчас непослушным. Таким он пришел в школу. Но так как он все же унаследовал какие-то волевые черты характера от отца, к тому же был довольно крепким пареньком физически, то не только не давал себя в обиду, но стал помыкать, командовать в классе. На всякие проказы он был мастер. Учился же средне, хотя определенные способности были налицо.

— Способный, но лентяй! — категорично охарактеризовала его учительница.

— Что ж это ты, сынок? Надо стараться. Зинаида Михайловна говорит, что ты можешь хорошо учиться. Надо быть внимательней в классе и дома делать уроки,— говорила ему Катя.— А ты, мама, будь построже с ним.

— Да уж и так строгая, куда уж строже-то...— добродушно улыбалась бабушка.

— Другие-то на пятерки учатся, сынок,— говорила Катя.

— А что, за пятерки платят, что ли? — дерзко отвечал Витя.

— При чем же здесь платят?

— А у меня двоек нет. А пятерки пускай зубрилка Люська Виноградова получает. Зато она и зеленая, как кишка!

— При чем тут «кишка»?

— А при том!

И все бы ничего, с годами бы выправился. Но на десятом году Витиной жизни грянула беда. Он заболел менингитом — воспалением мозга. Много было страхов, опасений, бессонных ночей, и не напрасно — Витя выжил. Но что-то изменилось в нем, и его поставили на учет в психоневрологический диспансер. Конечно, ни Катя, ни тем более Витя, не могли тогда знать, какое мрачное пятно ложится на Витину жизнь, на его судьбу.

Из-за болезни Витя остался на второй год в третьем классе. Его сверстники ушли вперед, и он оказался среди тех, кто его не знал. Если бы он был прежним Витей, то легко бы обрел свой авторитет шаловливого, но доброго, сильного и не обижающего других мальчугана. Теперь же он был тих, не к месту задумчив. И что особенно огорчительно, утратил способности к быстрому усвоению проходимых предметов.

Дети как никто быстро распознают недостатки друг у друга. Отметили они странные недостатки и у Вити Парахина. И стали щипать его, заталкивать, дразнить, а увидев, что он молча стоит, не отвечая ни на один вопрос учительницы, начали вертеть у виска пальцем, показывая, что «новичок» — дурачок! А потом уже и дурак! И кретин! И самое страшное — откуда-то дознались, что он на учете в специальном диспансере, и посыпалось «псих! псих!», и дергали его, и отнимали портфель, и выбрасывали учебники и тетради. И тем в больший приходили восторг, видя, как он медлительно, словно медведь, тяжело оборачивается, и на лице у него были растерянность и совершенно никчемушная добрая улыбка.

Но дома он плакал. Мать, бабушка спрашивали, что с ним? Почему он плачет? Кто обидел? Не отвечал, только глубже зарывался в подушку, цепче впивался пальцами в железные ободья кровати, чтобы не отрывали, не заставляли поднимать лицо. И так день за днем.

— Он каждый день плачет. Что здесь происходит? Кто обижает его? — комкая платок, спросила учительницу Екатерина Николаевна.

— Он не умеет дружить,— ответила Зинаида Михайловна.— Замкнут. А этого дети не любят. А что он вам говорит?

— Ничего, только плачет.

— К сожалению, он плохо учится.

— Но вы же знаете, он болел менингитом.

— Знаю и сожалею. Но и вы поймите меня. Витя тянет класс назад по среднегодовым отметкам. А ведь вы же знаете, как это сказывается на авторитете того, кто отвечает за весь класс.

— Но вы все же поговорите с детьми, чтобы они не обижали Витю.

— Не знаю, следует ли это делать...

— Почему?

— Дети могут понять, что и я считаю Витю умственно отсталым...

— Ну почему же, так уж «умственно отсталым»? — с болью сказала Екатерина Николаевна.

И всю дорогу до дома и дома звучали эти слова: «умственно отсталый», и вглядывалась в сына, пристально, с печалью и состраданием. А он сидел на диване, уставившись в одну точку. Так он мог сидеть долго, пока его что-либо не выводило из этого состояния.

Пребывать в школе ему становилось все труднее. И уже не только потому, что с одноклассниками не было контакта, но еще и потому, что Витю стали отторгать от тех игр и занятий, которые влекут ребят и объединяют их. Как-то пришел в их класс тренер по плаванию и стал записывать желающих в плавательный бассейн,— естественно, с согласия родителей. Захотел записаться и Витя, но его не допустили. Точнее, тренер сначала записал его, но узнав, что Витя стоит на учете в психодиспансере, вычеркнул. В этот день Витя кричал дома, истекая слезами: «Хочу в бассейн! Хочу плавать!»

— Но почему нельзя? — спрашивала Катя тренера.

Тренер, здоровый, веселый, молодой, усмешливо ответил:

— А если утонет? Кто отвечать будет?

— Но ведь и другие могут утонуть!

— Нормальные у меня не тонут. А ваш может.

И все. И весь разговор тут. Тогда она пошла в психодиспансер на Фермское шоссе и стала просить врача, наблюдавшего Витю, чтобы он снял его с учета, что это мешает ему нормально жить. Рассказала, как трудно ему в школе.

— Ну вот, видите, вы же сами говорите, что ему в школе трудно. Это естественно. Как ни огорчительно для вас, но он умственно отсталый. И никак мы не можем оставить его без наблюдения.

— И это что же, на всю жизнь?

— До тех пор, пока будем находить нужным. Скажите, кто будет отвечать, если он что натворит?

— Ничего он не натворит. Он не злой, добрый. Только очень обидчивый.

— Идите домой, и не волнуйтесь, все будет хорошо.

Но ничего хорошего не было. Каждый новый день приносил новые огорчения. Его отталкивали ребята, но он к ним тянулся. Где-то, видимо, в подсознании запечатлелось то время, когда его принимали, уважали, когда он был авторитетен. И тем больнее переживал, сознавая что-то неладное, происходящее теперь.

— У меня отец был мотогонщик,— как-то сказал он на перемене ребятам.— Мастер спорта. Он разбился насмерть.

— А ты вывалился из коляски,— тут же засмеялся один из них,— и стал чокнутым?

И засмеялись остальные. Ему бы уйти, но он стоял, словно парализованный, и этим еще больше вызывал смех. И получилось так, что все чаще стал замыкаться сам в себе Витя, все больше уединялся и замирал, уставившись взглядом в одну точку. Что было в его голове, какие мысли ворочались там, какие вопросы вставали перед ним, нам неведомо. Но какая-то определенная, тяжелая, мучительная и, похоже, беспросветная работа шла в его сознании. Конечно же, он понимал, что его обижали, иначе бы не стал отдаляться от ребят. Видимо, убедился, понял, что никакого общения с ними быть не может. И уже держался от них в стороне. Но все равно это его не спасало от насмешек. Слово «псих» — приводило его в состояние чуть ли не ужаса. Он убегал, если так его обзывали. Почему-то связывал это с тем, что его могут отправить в больницу.

У ребят уже считалось обычным делом задеть его, толкнуть, вырвать портфель. Однажды сорвали шапку и стали бить по ней ногами, как по футбольному мячу. Им подумалось, что «псих» будет отнимать ее, но Витя, даже не обернувшись, стал уходить.

— Эй, возьми шапку! — закричали ему.

Но он не вернулся. Был мороз, был ветер. Он шел без шапки, не чувствуя, как у него начинает леденеть голова, замерзать уши. Все же кто-то из ребят догнал его и напялил на него шапку. Но он словно бы и не почувствовал. Правда, потом оглянулся, но уже никого не увидал.

Как-то смотрел фильм «Фанфан Тюльпан». Там сражались на шпагах настоящие мужчины, и сам захотел стать таким. Узнал, что в спортивном зале учат фехтованию. Попросил записать в кружок. Но ему отказали. «Еще заколешь кого».

— Нет,— сказал он.

— Тебе нельзя. Иди. Иди.

Но он не ушел. Стоял в дверях и смотрел, как ребята ловко бьются на шпагах. И все больше обида охватывала его.

— Я бы никого не заколол,— сказал он дома,— он зря так сказал.

Кате бы надо было пойти к тому человеку, но знала — проку не будет. Успокоить бы сына, утешить. Но чем? Какими словами? В школе считали его здоровым, требования по учебе предъявляли как к здоровому, никаких скидок, а вот тут нельзя. И в секцию борьбы нельзя. «А вдруг ударит?»

— Да почему же ударит? — с болью спросила Катя.

— Да потому и ударит, что как найдет на него.

— Не ударит он.

— Обратите внимание, никто из ребят не хочет с ним дружить.

— Потому что он ничего не умеет. Ничему не учат его.

— Нет-нет, бороться ему нельзя.

Но что удивительно, он переходил из класса в класс. Если в начале года были двойки, то к концу все чаще появлялись тройки. Хотя и со скрипом, он переходил в следующий класс. Вначале Катя радовалась и таким скромным, но все же успехам сына. Но когда это стало повторяться из года в год, и когда он уже перешел в седьмой класс, поняла, что его перетаскивали из класса в класс только потому, чтобы не быть отстающей школой в районе. Так же поступали и в других школах с неуспевающими учениками. Поэтому второгодников не было. И с тем большим пренебрежением к нему относились ребята, все больше убеждаясь в том, что Виктор Парахин и на самом деле парень не только недалекий, но и странноватый, если не больше.

Они уходили в походы по местам боевой славы, но его не брали с собой, хотя он был парень рослый и сильный. Но и на этот счет у наиболее пренебрежительных к нему находилось: «Велика фигура, да дура!»

Здесь, может, следовало бы назвать имена тех, кто особенно изощрялся в прозвищах и всяких выпадах по отношению к Вите, но, зачем? Дело не только в них, а в той сложившейся и даже, можно сказать, узаконенной обстановке, какая окружала ребят, подобных Вите Парахину. Это, конечно, было тягостно для Вити и для тех учителей, которые перетаскивали его из класса в класс.

Так дожил Витя до шестнадцати лет. И вдруг повестка из военкомата. Чтобы явился. Там ему поручили разносить повестки призывникам. Радости Витиной не было предела.

— Мама, я как все! Вот, видишь? Меня тоже возьмут в армию! — потрясая пачкой повесток, кричал он.

И радовалась Екатерина Николаевна, и радовалась бабка. Это был первый просвет в их печальной жизни. «Быть как все! не отличаться от других. Оказывается — это счастье!» И все бы хорошо, но школа, школа... Все чаще вызывали на родительские собрания, и там Катя не знала, куда деваться от стыда, когда ей выговаривали, причем, не просто, не то, чтобы спокойно, а раздраженно, потому что Витя висел грузом, который не отбросишь, не снимешь.

— Вы совершенно не занимаетесь с вашим сыном! Нанимайте, в конце концов, репетитора, но нельзя же, чтобы он постоянно тянул весь класс назад!

И эти косые взгляды родителей успевающих учеников на нее, чуть ли не враждебные. И не скажешь сло́ва в оправдание. Не объяснишь... Молчать. Молча все выслушивать, и молчать... Сколько же еще такое терпеть? И разве Витина вина в том, что заболел менингитом? Такое же несчастье могло случиться и с их детьми. Так почему же такое жестокосердие? Почему нет сочувствия? Не спросишь. Не скажешь. А и скажешь, так поймут ли...

И однажды дома не сдержалась, накинулась на сына. И все, все, что накопилось от обиды, от унижения, от косых несправедливых взглядов, от бесконечных упреков, все это вылилось в крик, в слезы, в дикие, безрассудные попреки, обвинения, в которых совершенно не был повинен сын.

— Ты измучил меня, отравил мне жизнь. Я еще не старая, а смотри, уже седая! Я вся высохла! Это все из-за тебя, из-за тебя!

Кричала, плакала и не видела, как он все больше сжимался, бледнел и вдруг с криком «Мама, мама!» кинулся к ней.

Потом Катя долго его успокаивала и плакала вместе с ним и с матерью.

И тем неожиданнее радость — поручили разносить повестки призывникам. Значит, и его возьмут в армию! Витя ожил, прямо воскрес. Перестал сутулиться, ходит прямой, и лицом посветлел. Стал громко смеяться. Вот что может сделать радость! И в школе себя вел по-иному, не так замкнуто. Хотя отношение ребят к нему не изменилось. По-прежнему не включали в свой круг. Больше того, после уроков, на улице отняли магнитофон — подарок матери к семнадцатилетию. Конечно, жаль было магнитофона, но он даже не сказал матери. Бог с ним, с магнитофоном, если впереди мерцает звездочка светлой надежды. Тем более, если соседний мальчуган по лестничной площадке, одного года рождения с Витей, получил в военкомате приписное свидетельство. Об этом случайно узнала Катя, и, опасаясь, что вызовут и Витю за получением документов, пошла в военкомат, чтобы узнать, как у него обстоят дела. Она все время была настороже, все время боялась чего-то. И не ошиблась — в приписном свидетельстве сына было написано: «Не годен к военной службе по ст. 1, гр. 1» — это означало «слабоумие».

Встревоженная, с трясущимися руками, она вошла в кабинет военкома. Она хотела сказать, что до службы в армии еще около двух лет и не надо выдавать ему сейчас приписное свидетельство. И начала с того, что некоторые ребята не хотят служить в армии...

— Да за такие слова, знаете что? — закричал военком.— Кто это у нас не хочет служить в армии?

— Вы не так меня поняли... Я...

Но он не стал ее слушать.

На другой же день Витю вызвали в военкомат и вручили ему белую книжечку.

На несколько часов от потрясения он ослеп. Хорошо, что она пришла с ним. За руку привела домой. Он был в таком подавленном состоянии, что родные даже боялись за его жизнь. И не напрасно. Ночью он пытался выброситься из окна. Началась борьба. Он вырывался, кричал, что так жить он больше не может! Катя его удерживала, бабка звала на помощь. На шум сбежались соседи. Кто-то из «сердобольных» вызвал «неотложку», и Витю увезли в психиатрическую больницу.

Там он пробыл полгода. Конечно, о школе не могло быть и речи. Надо бы ему устроиться на какую-нибудь работу. Но как только узнавали в отделе кадров, что он на учете в психодиспансере, тут же отказывали. Работу могли дать только в специальных мастерских для психбольных. Но таких отклонений у Вити не было — это признавали врачи их диспансера.

Он сидел дома. Какое это было тяжелое, угнетающее время для Кати. Даже рейсовые поездки не облегчали ей жизнь. Все время думы о нем: как он, что с ним? А он то молча сидел, затаившись, то так же молча, часами, стоял у окна, смотрел на улицу. Ничего не просил, ни о чем не говорил.

— Ну что он, что, мама? — встревоженно спрашивала Катя, приезжая из рейса.

— Да ничего, что прошу — все сделает. Только молчит. Смотрит телевизор. Стал выходить на улицу.

Да, после долгого затворничества стал выходить на улицу. Случалось, проводил там по нескольку часов. Возвращался тихий, молчаливый. Однажды — весь испачканный, с оторванным рукавом. Спрашивать, кто это так с ним, было бесполезно. Не ответил бы. Молча проходил в свой угол, между буфетом и окном, и уставившись в одну точку, долго сидел неподвижно. И тем удивительней было, когда среди зимы он пришел домой радостный.

— Что случилось? — спросила Катя.
— Я познакомился с ребятами. Они-то теперь меня в обиду не дадут.
— Что же это за ребята? — спросила Катя.
— Они хорошие. Коля Сорокин сказал, что всегда будет меня защищать. Он учится в девятом классе.
— Познакомь меня с ним.
— Хорошо, мама.
И Витя привел его. Это был скромный, вежливый мальчик. Он рассказал о своей семье. Отец у него инженер, мать врач, старший брат учится в институте.
— Кем он хочет стать? — спросила Катя.
— Горным инженером.
— Это, наверно, очень трудно?
— Он хорошо учится.
Надо было видеть, какие были сияющие глаза у Вити, когда он глядел на своего нового товарища! Впервые в жизни у него появились друзья.
— Занимайтесь, я не буду вам мешать,— сказала Катя и увела с собой мать. Жили они в одной маленькой комнате.
— Ну, вот есть же хорошие люди,— сказала Катя.
— Дай бог, дай бог,— перекрестилась старая.
И казалось все хорошо. Витя ожил. Стал энергичнее. И вдруг пропал. Ушел на улицу и не явился домой.
Когда наступила ночь, стало совершенно ясно,— с ним что-то случилось. И, конечно, недоброе. Не было его и утром. Катя заявила в милицию об его исчезновении. Ей посоветовали на всякий случай проверить больницы и морги. В больницах его не было. В моргах... Чего она там только не насмотрелась. Молодые, старые, умершие от болезней, в то искалеченные, изуродованные, убитые, а то и убившие сами себя... Какое сердце надо было иметь, чтобы перенести все то кошмарное при осмотре каждого трупа и, страшась найти сына, облегченно вздохнуть, покидая морг — «Его здесь нет!». Но от этого почти и не легче — а где же?
Так, в постоянном, все возрастающем беспокойстве прошли две недели. В начале третьей пришла повестка. Явиться к следователю.

2

Ее встретила молодая женщина. Пригласила сесть и, вздохнув, стала листать «дело». После некоторого молчания, сказала:
— Ваш сын состоял в группе преступников...
— Этого не может быть! — тут же воскликнула Катя, мгновенно осознавшая, что сын ее жив, что самое страшное не произошло, и тут же испугавшаяся, что над ним нависла новая беда.
— Он принимал участие в грабежах,— ровным голосом продолжала следователь.
— Этого не может быть,— уже тише сказала Катя, понимая, что произошло какое-то ужасное недоразумение.
— Ну как же не может быть, если он сам сознался. Вот его показания. Я специально вас пригласила, чтобы вы были в курсе. Ему вменяется обвинение в четырех конкретных действиях. В первом случае он сам требовал деньги у потерпевшего Борзунова, обыскал карманы его одежды, наносил удары руками и ногами, отобрал деньги в сумме два рубля сорок копеек...
— О, господи...— задрожав, произнесла Катя.
— В тот же вечер лично сам требовал деньги у Зенкевича и Суворова, обыскал карманы их одежды. В третьем эпизоде, лично сам обманным путем завел Завьялова и Птичкина в бомбоубежище, требовал у них деньги, обыскал карманы их одежды, наносил Завьялову и Птичкину удары по лицу и другим частям тела.
— Что же они не могли с ним справиться? — все еще не веря в то чудовищное, в чем обвиняли сына, спросила Катя.

— Там были участники из его группы. И вот четвертое действие обвиняемого Парахина,— пробегая взглядом протокол допроса, сказала следователь,— двадцатого февраля, он лично сам окружил потерпевшего Клычкова...
— Как он мог его окружить?
— Что? — следователь всмотрелась в текст обвинения, видимо, обнаружила нелепость слова «окружил» и, не придав значения, сказала: — О дне суда вас известят.
Потрясенная вышла Катя от следователя. В ее сознании никак не укладывалось, чтобы ее сын, Витя, добрый, тихий, мог совершать такие преступления. Она, конечно, пришла бы в отчаянье, если бы одновременно с этим невероятным, не было другого — он жив! И это было главным, а то, что Витя оказался в какой-то шайке, так это просто недоразумение. Он не способен на такое злодейство!
— Мама, он жив! — сказала она, как только переступила порог своей комнаты.
— Услышал бог мои молитвы,— сказала бабушка и перекрестилась.
Опытные люди посоветовали Кате найти адвоката, чтобы он на суде вступился за ее сына. Такой адвокат нашелся. Ему ничего не стоило усмотреть из материалов дела особое положение Виктора Парахина.
Из показаний Сорокина: «Парахин из вещей ничего не получал и никакой роли он у нас не играл. Парахин ни разу никого не ударил», «Парахин вообще никакой роли не играл».
И адвокат успокоил Катю, сказав, что он добьется, чтобы все обвинения, предъявленные ее сыну, были отклонены. И так оно и было. И уж тут-то, казалось бы, Витю должны были освободить, но суд определил ему новую роль: «стоял на карауле». Этому дало повод заявление подсудимого Сорокина. Полагая, что облегчит судьбу Вите, он придумал ему роль «стоящего на страже». Но при первом же вопросе защиты, выяснилось, что никто из группы ему «стоять на стреме» не поручал. Больше того, выяснилось в судебном разбирательстве по эпизоду ограбления Борзунова и Зенкевича, на чердаке неожиданно появились работники милиции, что само по себе исключало нахождение Вити «на страже». Выяснилось и другое. Когда Ротан стал обыскивать Клычкова, тот закричал. Витя испугался и побежал. Клычков вырвался, догнал Витю и побил его.
Казалось бы ясно. Парахин из-за боязни, объятый страхом, находился поближе к выходу, а никак не из-за выполнения каких-то заданий группы.
Но суд не посчитался с новыми доводами и определил Вите Парахину обвинение: «стоял на карауле».
Это сразу осложнило его положение, так как не являлось «предметом исследования и не вменялось в вину на следствии» (из кассационной жалобы). Тут надо бы суду дорасследовать дело, провести очные ставки с членами группы, но этого сделано не было. «При таком положении адвокат лишался возможности оспорить обвинение по существу» (из кассационной жалобы).
И Витя Парахин был осужден на два года лишения свободы.

3

Кате после вынесения приговора стало худо. Бабушка, узнав о том, что Витя осужден, будет сидеть в тюрьме, потеряла сознание и, не приходя в себя, скончалась от кровоизлияния в мозг.

4

В кассационной жалобе в судебную коллегию по уголовным делам городского суда было сказано, что «при таком положении осуждение Парахина за действия невмененные следственной властью являются неосновательным. (Обоснованность квалификации по статье 145 УК РСФСР.) Грабеж — с судебной стороны — преступление умышленное, совершаемое с прямым умыслом и с корыстной целью. („Открытое изъятие имущества без корыстной

цели, а из каких-либо иных побуждений, не является грабежом". Советское Уголовное право. Издательство Московского университета. 1971, стр. 255)».

Дальше шли доказательства непричастности Вити Парахина к «грабежу с прямым умыслом и с корыстной целью». Отсюда следует, что, находясь в составе группы в течение семи дней, Парахин никакой роли не выполнял. Чем же объяснить, что Парахин оказался в группе, совершающей грабеж? Далее адвокат приводил доказательства Витиной невиновности:

«а) Парахин Витя с 1966 г. находится на учете в психодиспансере. Диагноз: „Олигофрения в степени дебильности с судорожным синдромом в анамнезе";

б) в 1970 г. находился на излечении в больнице им. Скворцова-Степанова;

в) в детстве перенес менингит, воспаление головного мозга;

г) по состоянию здоровья он снят с военного учета, работать в нормальных условиях не может, направлению в оздоровительный лагерь не подлежит (л. д. 223—225);

д) установлено, что будучи психически неполноценным, он не имел товарищей, подвергался гонению со стороны своих сверстников, его обижали, отнимали личные вещи: шапки, шарф, перчатки, магнитофон (л. д. 270, показание матери).

Парахин Витя ищет защиты у товарищей, так как общества матери для него уже недостаточно. И его нашли „товарищи".

Показания матери (л. д. 270, протокол судебного заседания): „Витя мне сказал, что познакомился с мальчиком, и этот мальчик будет его защищать" („Мальчик" — это Сорокин).

Таким образом, Парахин не вступил в группу с умыслом на совершение грабежей, что нашло свое подтверждение в судебном следствии, он примкнул к ребятам в поисках защиты и был доволен тем, что его не прогоняют.

На протяжении всего предварительного и судебного следствия Парахин утверждал, что он не хотел и никого не грабил, никого не бил. Он, в силу указанных причин, присутствовал при этом, не принимая никакого участия в действиях группы.

„Ответственность за грабеж наступает лишь при установлении умысла на завладение чужим имуществом" (дело Милешкина А. Н. Пост. Плен. ВС СССР от 6.12.72 г. Бюллетень Верховного суда СССР, № 5, 1972, стр. 27).

В действиях Парахина не установлено подобного умысла и корыстной цели, в связи с чем отсутствует субъективная сторона состава преступления.

В соответствии с изложенным и на основании 349 УПК РСФСР прошу судебную коллегию приговор Н-ского народного суда от 28 июня 1974 г. в отношении Парахина Виктора Егоровича отменить и дело производством прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления. Адвокат Гринберг С. С.»

5

Случилось так, что однажды, опустошенная всем навалившимся на нее, сидела Катя дома и слушала и не слушала радио, но вдруг ее внимание привлекли слова говорившего, судя по голосу, пожилого человека. Он говорил о добре, о том, чтобы люди уважали друг друга, чтобы не были безучастными к ближнему. И она стала слушать. И когда он кончил и диктор объявил, что выступал писатель и назвал его имя, то Катя тут же решила обратиться к нему, в надежде, что он может помочь ее бедному Вите. И написала письмо.

«Вчера я слушала Вашу передачу. Из Ваших слов можно понять, что Вы остались человеком, который может понять горе другого человека. Я не верю людям, они жестоки и думают каждый только о себе. Если придешь к кому-то, то стараются отослать к другому, почти не выслушав, а другой к третьему. А что человек гибнет, кому до этого дело. Хотя много пишут о человечности, о гуманности. Это ложь все! Люди злые. Делают по-звериному. Хочется уйти куда-то, не видеть никого. Были бы монастыри, можно было бы туда скрыться. Из жизни уйти, это можно, но я нужна еще сыну, о котором Вам пишу. Очень прошу, прочитайте до конца мое письмо. Вы вчера говорили: „Безучастен не бываю", еще Вы говорили: „Иногда пишу, а на глазах слезы. Жалею человека". Вот у меня никогда не просыхают слезы. Но что я сделаю? Мне просто не доказать. Бессильна я. А знаю, что не так все. Что делать?»

И дальше в письме она рассказала всю трагическую судьбу бедного Вити. Писала и плакала. И когда писатель получил ее письмо, то увидел на бумаге следы слез и расплывшиеся буквы.

Дальше он читал:

«Если бы кого заинтересовала судьба моего сына, выслушали бы меня, спросили бы адвоката, защищавшего Витю, то поняли бы: нельзя судить такого человека. Господи, должна же существовать человеческая справедливость. Так же можно сделать из человека зверя. С десяти лет считать больным, закрывать дорогу до девятнадцати лет, а в девятнадцать судить как здорового. Непостижимо! Как-то дали мне путевку на работе в оздоровительный лагерь для подростков. Я пошла к врачу, нужна была медицинская карта. А врач мне говорит: „Вы что? Нельзя ему с ребятами быть". И отказала. Эта справка цела. Как же так? Значит, в оздоровительный лагерь по состоянию здоровья не может, а в тюрьме — здоров?

Вы вчера говорили: „Безучастен не бываю". Неужели и Вы пройдете мимо? Тогда я буду кричать: „Звери люди!" А кому кричать? Меня никто не слушает. Мать умерла, как узнала, что Вите дали тюрьму. Теперь я одна. Ложусь на пол, бьюсь головой.

На днях пришла повестка из психодиспансера. Ходила туда, рассказала все врачу. Он мне ответил: „Выйдет из тюрьмы, лечить будем, устроим в мастерские работать. И проживет". Я просила, снимите с учета, ведь он в тюрьме. А он мне ответил: „Нет, так не делается, будет стоять у нас на учете".

Если Вы действительно пишете о ком-то со слезами на глазах, то как Вы смотрите на этого несчастного человека? Я о Вите. Это же несправедливо, что Витя в тюрьме. Кассационную жалобу прилагаю. Судебная коллегия городского суда просьбу отменить приговор отклонила. Витя осужден на два года тюрьмы. Спасите его! Очень прошу Вас!

Ответьте мне, пожалуйста. Севастьянова Екатерина Николаевна».

6

Мягкий по своей натуре, жалостливый, и действительно добрый, Виктор Игнатьевич, так звали писателя, был потрясен этим письмом и, читая его, несколько раз прослезился. «Чем же помочь этому бедному парню?» Он был готов куда угодно идти и доказывать невиновность Вити Парахина, но прекрасно понимал, что ничего таким путем не добьется. Нужен пересмотр дела, а для этого надо, прежде всего, обзавестись юридическими документами. Он позвонил адвокату. «Чтобы помочь Парахину,— ответил адвокат,— остается просить только о помиловании. Напишите, возможно, к Вашему голосу прислушаются».

В разговоре с Гринбергом, Виктор Игнатьевич узнал кое-какие подробности, в частности, как себя вел на суде Витя Парахин. Когда его вызвали и стали спрашивать об его участии в грабежах, то он всю вину брал на себя и при этом победно поглядывал на Николая Сорокина, как бы говоря ему, что вот, видишь, какой я верный тебе. Но все из подростковой шайки в один голос свидетельствовали, что Парахин никого не грабил, а стоял в стороне, и не столько «на стреме», сколько из страха. Выгораживать им его из какого-то своего интереса было ни к чему.

В этот же день Виктор Игнатьевич написал письмо в Президиум Верховного Совета РСФСР с просьбой о помиловании Виктора Парахина. Он перечитал письмо Кати Севастьяновой и копию кассационной жалобы.

«Из двух этих документов,— писал он,— дело несчастного Виктора Парахина настолько очевидно, что, кроме сочувствия и жалости к нему, иных чувств вызвать не может.

Убедительно прошу Президиум Верховного Совета РСФСР совершить человеческий акт — помиловать психически больного Парахина В. Е. (Он

уже отбыл год заключения.) Этим будет восстановлена справедливость и утверждена вера в высокий гуманизм нашего общества».

Одновременно послал письмо и Кате Севастьяновой.

7

«Здравствуйте, уважаемый Виктор Игнатьевич! Ваше письмо получила. Огромное спасибо за все, что Вы сделали для Вити. За хорошие слова, то есть вот за эти: „Этим будет восстановлена справедливость".

В марте я ездила в Москву, подала в Президиум заявление о помиловании. Думала, разберутся. Но вот сегодня получила ответ. Увы, нет дела никому до него. Ведь он уже второй год в заключении. Была я с ним на свидании. Если бы Вы его видели! Голова вся в лишаях. Огромный нос, впалые щеки. Руки в болячках. Губы запекши, какие-то черные. Глаза бегают. Первый вопрос был: „Мама, ты поесть ничего не принесла?". Вот так, уважаемый Виктор Игнатьевич. Я понимаю, Вы не сталкивались вплотную с действительностью. Поэтому верите в доброту. А я очень рано познала всю „доброту", какая она есть. В наследство и сыну моему досталась. Теперь мне самой хочется быть злой, грубой, не слышать чужого горя. Но не получается. Я родилась в доброй семье. Дедушка был военный врач, папа — инженер. А что будет теперь с Витей? Гнали отовсюду, как чумного, а в тюрьме прижился. Да еще и хвалят его. Гринберг Самуил Семенович говорит, если вмешается пресса, то Витю освободят, но будут неприятности тем, кто его осудил. А кто этого хочет? Так пусть лучше Витя отсидит в тюрьме. И никто не пострадает. Вот поэтому, куда бы я ни обращалась, посылают дальше. Это же гораздо легче, чем вмешаться в дело.

А теперь извините меня. Я написала Вам, и легче стало, вроде поговорила. Пишу я Вам — Вы, по Вашим ответам, не очерствели. Наверно, фронтовик? Кто пережил войну, тот гораздо добрее.

Пишу плохо, все время плачу. Из-за слез не вижу строчки. Я не нахожу места. Простите, пожалуйста. Севастьянова»

Через три месяца.

«Здравствуйте, уважаемый Виктор Игнатьевич! Беспокоит Вас опять та же Севастьянова Е. Н. Вы простите меня, ради бога. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Правда, Вы написали в Верховный Совет? Можно ли ждать чего-нибудь? Или, может, Вы просто из жалости успокоили меня? Не беспокойтесь, пожалуйста, если даже нет никакой надежды, то есть не будет ее у меня, я не сойду с ума и руки на себя не наложу. Я не имею права это сделать. Очень хочу знать правду. Можно ли еще на что-то надеяться? Мне больше писать и обращаться некуда. Везде один ответ.

Витю отправили в Архангельскую область. Куда, не знаю. Даже не знаю, у кого узнать точный адрес.

Виктор Игнатьевич, пожалуйста, простите меня. Я знаю, надоела Вам. Но, поверьте, мне нужен Ваш ответ. И тогда я опять буду жить, ждать чего-то.

Простите меня, ради бога, простите!

9 июня Севастьянова».

«Уважаемая Екатерина Николаевна!

Посылаю Вам квитанцию на заказное письмо в Президиум Верховного Совета. Не потеряйте ее. Одновременно с этим письмом к Вам послал запрос в Москву. Как только что будет известно, сразу же сообщу.

Желаю Вам всего самого доброго!

12 июня В. Чистяков».

«Уважаемый Виктор Игнатьевич!

Здравствуйте! Пишет Вам все та же Севастьянова Е. Н. Прошу у Вас прощения. (А в ушах слышу, что Вы от меня хотите, но так или не так, но Вы единственный, кого заинтересовала судьба Вити.)

Вот уже прошло четыре месяца, неужели Вам не ответили? Разве так

бывает, что не отвечают на письма? Напишите, пожалуйста. Вы что, получили отказ, да?

Я узнала адрес Вити. Написала ему, и мне сообщили: Витя упал с машины. Получил сотрясение мозга. И с глазами опять стало плохо. Но вот уже месяц, как письма, которые я пишу ему, идут мне обратно. „Выбыл". Прошу сообщить, что случилось? Куда выбыл? Мне не отвечают. Не нахожу себе места. Пусть меня бьют, режут, я под любой пыткой скажу: не виноват Витя! Я-то, мать, знаю. Так жизнь сложилась у него. Несчастный мальчик, не видевший жизни и ласкового слова от людей. Лишь толкали и называли „больной", „псих", „дурак". А может, помогли бы Витю на работу устроить, и он был бы человеком, да еще каким! Он добрый, вежливый. Не такой больной, как врачи писали.

23 августа До свидания. Севастьянова».

«Уважаемая Екатерина Николаевна!

Простите, что не сразу ответил на Ваше письмо. Только что после долгого отсутствия, вернулся в город. Я и сам возмущен тем, что на мое письмо в Президиум Верховного Совета до сих пор нет ответа. Сегодня послал запрос. Как только получу ответ, сразу же сообщу Вам. Желаю терпения и мужества. В. Чистяков».

«Уважаемая Екатерина Николаевна!

Очень тяжело мне сообщать Вам неприятную весть, но и утаивать ее от Вас нельзя. Вот текст ответа из отдела по подготовке к рассмотрению ходатайства о помиловании: „В связи с Вашим запросом сообщаем, что одновременно с Вашим письмом от 10 апреля в Президиум Верховного Совета РСФСР поступило ходатайство о помиловании Парахина В. Е. от его матери Севастьяновой Е. Н.

29 апреля мы послали Севастьяновой Е. Н. разъяснение о том, чтобы осужденный с соблюдением установленного порядка подал личное ходатайство.

Личное ходатайство от него не поступило, поэтому вопрос о помиловании его не рассматривается.

Заведующий отделом (подпись)".

Вот такой ответ. Я не знал, что Вы получили его еще в апреле. Ну, а что же Витя? Написал он или нет? Где он?

Искренне разделяю Вашу боль. В. Чистяков».

«Уважаемый Виктор Игнатьевич!

Простите меня. Я, наверно, плохо написала, но сообщала Вам, что получила ответ из Президиума Верховного Совета. Вот он дословно: „В связи с Вашей просьбой о помиловании Парахина В. Е. сообщаем, что вопрос о помиловании осужденного может быть рассмотрен по получении его личного ходатайства.

Личное ходатайство осужденный должен передать администрации исправительно-трудового учреждения, которая приложит к ходатайству характеристику и другие необходимые документы и направит весь этот материал в Президиум Верховного Совета РСФСР.

Заведующий отделом (подпись)".

Витя не написал. Да и как он напишет? А меня не пускали к нему. А потом его увезли на Север. Прямо какой-то заколдованный круг.

Простите за беспокойство. Севастьянова».

8

«Уважаемый Виктор Игнатьевич!

Пишет Вам Севастьянова Е. Н. Может, еще не забыли? Вот Витя уже шесть месяцев дома. Я привезла его с Севера. Кончился срок. Вы писали мне, чтобы он не испортился в заключении и остался добрым человеком. Ваши молитвы

сбылись. Он вернулся добрым, честным. Но жизни ему нет. Выдали ему паспорт и военный билет, тот же, что и был у него до тюрьмы. А в билете написано: „Не годен к военной службе по ст. I, гр. I". Здесь на работу не берут, а в тюрьме работал, как здоровый. На Севере, на стройке, никаких скидок не было. Судили, как здорового, а вышел — опять та же картина: „болен". На всю жизнь клеймо. Шесть месяцев не работает. Ходит, анализы сдает, а как доходит до невропатолога, тот бракует. Куда только я не ходила! Была у психиатра города. Все сочувствуют, но помочь не могут.

Вы спросите, зачем я Вам пишу сейчас? Вы все-таки участвовали в моем горе, знаете все.

Витя хочет опять идти в тюрьму, говорит, там с ним обращались, как со здоровым человеком, и никто не говорил „ненормальный", и работал, как все, и ходил, как все.

Простите, пожалуйста, что я побеспокоила Вас.

Вы добрый человек. Севастьянова Е. Н.»

9

«„Добрый", а что проку, если я бессилен»,— с горечью подумал Виктор Игнатьевич.

Осенняя мелодия

За окном темно. Настолько, что нельзя определить: все еще ночь или уже утро. Летом я привык вставать рано. Рано просыпаюсь и теперь, хотя уже конец октября и светает поздно.

На часах светящийся циферблат, и я отчетливо вижу стрелки. Они показывают шесть. Летом в такое время просыпался. Но тогда было светло. Солнце уже отрывалось от горбушки далекого холма, и, хотя было прохладно, на сердце становилось с каждой минутой все радостнее. Пробуждалось живое: птицы, цветы, бабочки. Уже совсем по-другому лаяли собаки. Не так, как ночью, когда сами чего-то боялись, а уверенно, даже радостно, потому что светло. Теперь же они лежат в своих будках, уткнув носы в теплый хвост, и не хотят вылезать.

Вокруг сыро, темно. Начинает моросить дождь. Его даже и не слышно, так тихо он осыпает крышу, и только догадываешься по редкому, глухому стуку о деревянный слив. Это — когда набрякнет капля и тяжело сорвется с края шифера, и ударит в сырое дерево.

Лежать просто так, с открытыми глазами, в темноте нудно. Но и вставать не хочется. Что ждет меня в пустой даче? Тишина. Но не просто тишина, а что-то от забвения. Создается такое ощущение, будто я один в темном глухом пространстве. А если и есть люди, то они где-то далеко и до них не докричаться, даже если бы и случилась беда.

Изолированность людей я особенно чувствую в ночное время. Они, как суслики, затаились в своих норках, и то тревожно вскрикивают во сне, то беспокойно ворочаются с бока на бок или храпят, и от собственного храпа в страхе просыпаются, не поняв сразу, что с ними и где они.

Зато как радостно утром! Утро объединяет людей. Все спешат, торопятся, бегут, оживленные, пусть даже и озабоченные. Ночь позади, с ее бессонницей, тревожными снами,— теперь все хорошо! Они будут заняты, увидят своих товарищей, соседей и это принесет им хорошее настроение.

Но сейчас темно. Между землей и небом нет границы — все во мраке. Ни звезд, ни луны. Только кое-где, вдоль дороги, светят одинокие тусклые фонари. Но мне их не видно. И поэтому кажется все в поселке оцепеневшим в этой сплошной тьме. Думается, крикни — и звук тут же упадет к твоим ногам.

Чаще застучали тяжелые капли о набухший от сырости слив. Поднялся ветер. Шумит, качает старые яблони. Они влажно стучат ветвями... Надо вставать, включить свет. Затопить печь.

На даче я — почти неожиданно для себя. Не думал ехать, но почему-то представилось, что здесь мне будет лучше, чем в городе. Никакой суматохи, телефонных звонков, треска и грохота трамваев, содрогания стекол в книжных шкафах. Было, не замечал, но давно уже миновало то время, когда влекли беспечные поездки в гости, бездумная болтовня с друзьями. Теперь хочется уединения, покоя. Нет, не бездеятельности и не тихого отмирания, до этого еще далеко, а мирного наслаждения тем, что принес зрелый возраст. Старости я не ощущаю, той самой, когда по земле бредет согбенный годами старец, слабо опираясь на суковатый посох. У меня нет посоха, нет и согбенной старческой походки, хотя давно уже перевалило за шестьдесят. Но есть неотступное желание сосредоточиться, оглядеть прошлое, подумать о настоящем и не особенно вглядываться в будущее.

Это, пожалуй, оттого, что я стал больше читать. Я и раньше читал, но как-то торопливо, теперь же задерживаюсь на каждой интересной мысли автора, наслаждаюсь каждой удачной фразой. Бывает, откладываю книгу и задумываюсь над тем, о чем рассказывает писатель, и невольно в памяти возникают какие-то ассоциации, что и я когда-то это же испытал, что и это было со мной.

Книги — это волшебники! Они переносят меня в совершенно иной мир, которого я не знаю. Знакомят с людьми, которых я никогда не встречал. И я все больше проникаюсь чувством благодарности к тем писателям, которые открывают мне неведомое, если даже оно и находится рядом со мной. Потому что, хотя мы и живем бок о бок, но, по существу, мало что знаем друг о друге. Тут же мне предоставляется возможность быть свидетелем чужих жизней, разных судеб. И я сострадаю тем, кто несчастен, и радуюсь справедливости, если она побеждает, и думаю о плохих людях, которых еще более чем достаточно на земле.

Они жестоки, коварны, грубы, лживы. Говорят, такими они не родятся. Такими их воспитывает среда. Может, и так. Но ведь в этой же среде воспитываются и добрые, честные, прямодушные. Так что тут дело в другом — гены. Да-да, та самая наследственность, от которой никто не гарантирован. Такая же, как и унаследованная внешность.

Может, потому, что я долго читал, раздумывал, не мог быстро уснуть. Все ворочался, укладывался поудобнее, но не находил удобного места. Лезли какие-то мысли, я отгонял их, но все равно уснуть не мог. Пробовал считать. Не помогло. Внушал себе: «Спать, спать...» и не засыпал. Слышал какие-то посторонние звуки, то скрипнет, то стукнет, то пискнет. И как уснул, уже не помню. Проснулся в надежде, что уже светает, но за окном была еще тьма. Такая, что даже в комнате не было отсвета от зеркала. Стал снова засыпать, как неведомо почему вспомнил давнюю поездку в Лосево, где были с женой тридцать лет назад. Тогда мы провели замечательное лето, и подумалось, почему бы не съездить теперь в те же места. Об этом я сказал жене.

— Неужели ты думаешь, там все так же, как было? — ответила она.

— А почему бы и нет? По крайней мере, озеро наверняка на том же месте, как и лес. Я так и вижу все, и пологий холм, по которому спускался к лодке. Сколько было тогда грибов!

— Да... Но зачем они теперь, мы их не едим?

— Это верно, но земляника?

— Земляники было много. Землянику нам можно. Даже нужно.

— Ну, вот видишь.

— Ты думаешь и теперь ее много?

— А почему бы и нет? Самая пора. Поедем?

— Даже не знаю... Зачем?

— Ну что нам стоит съездить...

И мы поехали.

Станция находилась на перешейке, меж двух больших озер, соединенных бурным протоком. Мы перешли через него по деревянному мосту, отыскали лесную дорогу и зашагали по ней. Тогда она казалась мне ровной, теперь же подымалась с холма на холм, и порой думалось — та ли это дорога? И чего раньше не было — теперь одолевала усталость, и приходилось время от времени останавливаться, отдыхать. Тогда беззаботно курил и не было одышки, но

вот уже лет пятнадцать не курю, а поднялся на взлобок и дышу ртом. Конечно, сказываются годы. Но, если там все по-старому, так же, как было, тогда можно что-то и вернуть. Допустим, встать рано утром, как тогда, выйти на крыльцо и посмотреть на озеро. Если утро ясное, солнечное, то по всему озеру ласковые золотистые блики и над ними белыми платками — чайки... Таким же оно может и теперь быть, и тогда на какое-то время появится то же состояние, когда на сердце легко и не задумываешься о том, что омрачает душу.

Дом стоял чуть в стороне от деревни. Видно, в нем жил хозяйственный хуторянин. При доме был амбар, хлев, конюшня, свинарник, птичник, сад с яблонями и кустами черной смородины. Все это я за бесценок, со всем пристроем, арендовал на лето у колхоза. Нас было трое — я, жена, дочь девяти лет. И еще щенок Находка. Удивительно восторженный щен. Встречая меня с рыбалки, он опрокидывался на спину, дергал лапами и сам себя орошал от избытка чувств.

Утро начиналось так. В угол окна проникал солнечный луч. Он ширился, медленно опускался по стене и ложился на пол светлой розовой полосой. Откуда-то прилетала муха, садилась на эту широкую полосу и замирала, наслаждаясь теплом. Было так тихо, как бывает только в безветрие, в раннее утро.

Я выходил на крыльцо. Бодрящая свежесть охватывала меня. Дышалось легко. Солнце еще только-только всходило в небесный купол. На озере, в низине лежал густой туман, скрывая другой берег, и взору представлялся бескрайний разлив, и в этом виделось что-то фантастическое, неземное.

Травы из зеленых стали матовыми от росы, и пока я спускался к лодке, ноги до колен намокли. Последние метры я сбегал, такое охватывало нетерпение при виде тихой, еще не проснувшейся воды, и от громких всплесков, гоняющейся за мошкарой рыбы.

У меня была своя лодка. Я нашел ее затопленной у берега в маленькой бухте. Не знаю, сознательно ли притопил ее, от наступающих боев, мирный хуторянин или бросил, и ее замыло, но сохранилась, хотя шел уже третий послевоенный год. Небольшая, легкая на ходу, устойчивая. Теперь она стояла на моем причале, привязанная к колу простой веревкой. Этого было вполне достаточно, чтобы ее никто не тронул. После войны, в таких вот малозаселенных местах, люди к чужой собственности относились уважительно. Поэтому я лодку не прятал, держал на виду. Твоя? Возьми. Но никто не приходил...

Далеко от берега я не уезжал. Ловил тут же в камышах. Клевало беспрестанно. Окунь, плотва, подлещики и ерши. Ох, уж эти ерши! От них не было отбою. Еще спала жена, когда я уже возвращался с уловом. Чистил рыбу, ставил на плиту кастрюлю, и в кипящую воду опускал окуней и подлещиков, сдабривая навар ершами. Вставала жена, ахала, глядя на кучу плотвы, и принималась ее жарить. Мы радовались такой доступной возможности сытно жить. В войну мы крепко поголодали.

И лето выдалось на удивление. Затяжных дождей не было, были грозы, короткие, с ливнями, и снова солнце. Оно приходило к нам ранним утром и покидало поздним вечером, оставляя на небе алую зорю.

Тогда для меня открылся неведомый мне мир. Я и не знал, живя постоянно в городе, что есть такая прекрасная страна Природа. С ее озерами, лесами, полянами, птицами. И наслаждался, открывая все новое и новое для себя. Мне нравилось идти вдоль берега, уходя все дальше и дальше от дома. Он был пустынный, этот берег, с небольшими бухтами, поросшими тростником и кугой. В воде у берега чернели корневища деревьев и в них стайки мелкой рыбешки, отблескивающей серебром. И вдруг — притопленная лодка! Я и не думал, что крепка, готов был возиться с ней, конопатить, смолить. Влез в воду, больше часа выгребал из нее руками ил и песок, а потом окапывал, выбирая из-подо дна, и вытаскивал, волоча то кормой, то носом, к берегу.

Пока я сидел и курил, она успела обсохнуть. Теперь уже ничего не стоило столкнуть ее в воду. Легко покачиваясь на волне, она была так хороша, что я невольно засмеялся, дивясь тому, что она *моя* и что с этого дня у меня пойдет жизнь еще интереснее. Нужны были весла, но можно отталкиваться и шестом.

Я выломал сухую хворостину и, как на пироге, поплыл к своей Тихой бухте.

Чудесное тогда было лето! Все вспомнилось, и мне подумалось, если поехать туда, то, пожалуй, все может и вернуться...

И мы приехали. Все было так же, как и тогда: и озеро, и Тихая бухта, и наш дом — он стоял заколоченный, и лес на другом берегу, и даже земляника. Ее было много. Все было то же, но не было той светлой радости, какая заполняла нас тогда. Теперь была грусть, это, наверно, потому, что тут не было нас, тех, молодых. Вместо них стояли два пожилых человека... Молчал я, молчала жена, но, наверно, думали мы об одном и том же: «Никому еще никогда попытка вернуться в прошлое не приносила радости...»

Но когда же рассветет? Все сильнее дождь. Уже потоки срываются с желоба и во всю барабанят по сливу. И все та же тьма...

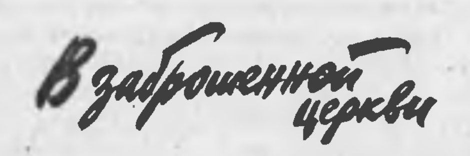
Надо вставать. Сделать зарядку. Затопить печь. Все равно не уснуть, хотя голова и тяжелая. Но это пройдет. Выпью крепкого чая, и пройдет. А там и настанет рассвет.

И я встаю. Делаю зарядку. Топлю печь. О, как благодатно горят дрова, излучая тепло. Как весело перебегает пламя с полена на полено...

И незаметно за окном начинает бледнеть тьма. Наступает рассвет. И вместе с ним перестает дождь, и уже видны проносящиеся по небу мглистые облака. Они скатываются к западу. И вот уже их нет. И восходит солнце. Оно освещает мокрый, почерневший сад.

Утро. Я стою у окна, гляжу на пробуждающуюся жизнь и тихая радость наполняет мне сердце.

1987 г.



И снова была непогода. На этот раз дул восточный ветер. А он хоть и не приносит дождя, но зато от него душевная вялость и невеселые мысли обо всем бренном. Я знал это и все же не мог освободиться от его угнетающей силы. К ночи восточный сменил северный. Этот уже не один день будет гнать и гнать вдоль всего Чудского взъерошенные волны, набросает на отмели перепутанные, осклизлые, зеленые шелка донных водорослей, укачанных волнобоем старых окуней, поплавки от рыбацких мереж, тяжелые намокшие бревна. Он свиреп. Но тем хорош, что начисто освежает воздух, и тогда появляется желание куда-то идти, хотя бы и просто так, шагать и шагать бесцельно вдоль воды, ее пенистой каймы. И я иду. Иду пустынным берегом. Здесь ни души — ни человека, ни зверя. Только вдали чайки. Даже не верится, что в наш зашумленный всякими гудами, грохотом, скрипами, звонами, стуками двадцатый век, когда над каждым большим городом висит смоговая шапка, и под ней задыхаются астматики и сердечники и умирают гипертоники,— здесь такая же нетронутая тишина, какой она была сотни лет назад.

Путь не утомителен, тем более, что ветер дует в спину. Разбитые отмелью крутые волны, бессильно набегают на прибрежный песок, ластятся к его кромке, набивая пышную пену. Даль чиста. Небо высоко. И вся эта первозданность действует умиротворяюще, и все представляется ясным и простым.

Если идти час-другой, то можно прийти к церкви. Я не раз ее видел из своей деревни, в которой провожу не первое лето. Она белеет в отдалении, как свеча. До нее километров семь. Каждый раз, глядя на нее, хотелось там побывать, но мешала лень. Туда семь, да обратно семь,— пожалуй, многовато по бездорожью. Но на этот раз почему-то ничто не смущает. Можно ведь в пути и отдохнуть, если устану.

Но идти легко, и я шагаю и шагаю. Северный жмет ровно и прохладно. Дышится всей грудью, и воздух настолько чист и прозрачен, что церковь кажется совсем близко.

Но до нее я еще немало отшагал, пока не пришел в тихую деревеньку. Когда-то на ее месте было большое село, потому и церковь построили. Но с тех

пор, как образовался колхоз, село год от года стало, по разным причинам, уменьшаться и превратилось вот в такую тихую деревеньку из нескольких старых домов, хозяева которых составляют одну из колхозных бригад.

Эта деревенька стоит на левом берегу узкой речушки, обросшей никлыми кустами ивы. На другом берегу, высоком, за кирпичной оградой белая церковь. На ней покосившийся крест и проржавевший голубой купол.

На ту сторону я переправился на старой лодке, отгребаясь деревянной лопатой. Поднялся по крутому склону, доверившись узкой тропинке, протоpенной местными старухами. И, передохнув, вошел в каменный проем ворот.

Вблизи стены церкви оказались выщербленными, с отпавшей штукатуркой. В изъянах темно краснели столетние кирпичи. Неподалеку от входа стоял громадный дуб с большим дуплом, в котором мог свободно поместиться человек во весь рост. В нем и жил одно время человек — монашка, после того, как церковная сторожка стала непригодна к жилью. В сторожке же монашка прожила несколько лет с другой монашкой. В их добровольную обязанность входило следить за порядком в церкви и во дворе. За свою работу они ничего не просили, но местные и без этого ясно понимали, что монашек надо кормить. И кормили. Зимой одна из них померла. А к весне в сторожке провалилась крыша, после чего оставшаяся монашка переселилась в дупло. Но к осени, никому ничего не сказав, ушла неведомо куда, притворив вход в церковь суковатым колом. С того дня церковь стала беспризорной. Об этом быстро узнали туристы, и все, что могли, из остатков унесли, чего не могли — испортили. Местные старухи охали, плакали, кляли богохульников, после их нашествия прибирали, вешали чистые белые полотенца, с вышивкой красным по их концам, вдоль облупившейся фрески, на которой была изображена богоматерь с младенцем. Такие же расшитые полотенца лежали на плащанице, где был изображен лежащий Христос, с кровоточащими ранами от гвоздей. Тело его было глубоко исцарапано гвоздем. Не тем, конечно, а современным.

В церкви было пусто и тихо. Лишь из-под купола доносилось голубиное воркованье. Там, в вышине, жили десятки голубей, усыпая пометом каменный, из квадратных плит, церковный пол. Врат не было. Да, собственно, и ничего уже не было. Что можно было вынести, как я уже сказал,— вынесли. Что можно было сломать — сломали. Я походил по пустой церкви, оглядывая обшарпанные стены, вошел в провал, где должны быть врата и поднялся по лестнице. Там, в темном закоулке, возвышалась куча из деревянных дощечек. Я поднял одну из них и догадался по форме, что когда-то это была икона. Взял еще одну, еще. У некоторых на лицевой стороне кое-где белели кусочки шпаклевки. Стал перебирать их, одну за другой, в надежде, что какая-нибудь сохранилась, но нет, все были черные, многие заплесневелые. Иные из них были скреплены с тыльной стороны деревянными клиньями, чтобы не покоробились от времени. Это говорило о том, что в этой куче могли быть и старинные иконы, за которыми ныне такой поиск. Не ради, конечно, религиозного чувства, а ради интереса к иконописной живописи.

Печальное зрелище представляла из себя эта куча заплесневелых дощечек. Но не только это вызвало сожаление об утраченном, исковерканном, уничтоженном, а все, все, на что бы ни падал взгляд. Всюду, на всем, виднелись следы разрушения и запустения. И невольно подумалось: «Почему у нас такое небрежение к тому, что было создано трудами наших предков? Как могло получиться, что вот мы — наследники, стали равнодушны к тому, что свидетельствует о славном прошлом нашего народа?» И еще подумалось: «Церковь. Культовый храм. Но заброшенная церковь, опоганенный памятник прошлого, никакого уже отношения не имеет к „опиуму для народа“. Она свидетельствует только о том, как преступно безразличны мы к творениям наших дедов и прадедов. И вряд ли простят нас за это наши потомки. Или же и они будут также преступно безразличны к тому, что мы создаем сегодня?»

Медленно переходил я с места на место, обводя взглядом облупившиеся фрески, разбитые окна, выломанные витражи, проросшую в трещинах напольных плит бледную траву. И тревожное чувство томило меня. Словно и я был виноват в этом осквернении.

1979 г.

Когда я думаю о тех людях, кто сыграл наиболее существенную роль в моей литературной судьбе, а следовательно, и в судьбе вообще, я первым называю Глеба Сергеевича Семенова. Знаю, что то же самое о нем могут сказать и Глеб Горбовский, и Александр Кушнер, и Владимир Британишский, и Лев Куклин, и Олег Тарутин, и Александр Городницкий... Однако, если бы я сейчас попытался ответить, какими же особыми секретами обладал этот человек для того, чтобы оставить столь значительный след в душе каждого из нас, я вряд ли сумел бы это сделать. Потому что духовное влияние — вещь настолько тонкая, порой неуловимая, что определить точно, сформулировать словами, в чем именно оно выражалось, необычайно сложно. Да и надо ли? Важно, что оно было, что оно ощутимо и до сих пор, когда Глеба Семенова уже нет в живых.

Впервые я увидел Глеба Сергеевича много лет назад, когда пятнадцатилетним подростком пришел в литературную студию Дворца пионеров. И хотя к тому времени я был уже достаточно начитан, все-таки именно Глеб Сергеевич Семенов стал тем первым человеком, кто разрушил в моем сознании школьные стереотипы восприятия литературы, кто вдруг словно бы раскрыл мне глаза на неведомые прежде богатства и ценности.

Как всякий подлинно интеллигентный человек, Глеб Сергеевич соединял в себе скромность и чувство глубокого достоинства. Разумеется, он никогда и ни в чем не ставил себя в пример, об этом и подумать было невозможно, но тем не менее нравственное влияние его личности, его отношение к литературе, отношение, удивительно преданное, чистое, честное, было, как я понимаю теперь, может быть, самым главным из того, что вынесли мы из общения с этим человеком.

Сейчас у меня нет возможности говорить о Глебе Семенове более подробно, но, я думаю, когда-нибудь обязательно должна появиться книга, в которой были бы собраны воедино и лучшие стихи поэта (к ним, к лучшим его стихам, думаю, относятся и те, которые мы публикуем сегодня), и воспоминания о нем тех, в чьей жизни он сыграл такую важную роль. Убежден, что такая книга была бы не только данью благодарности и признательности Глебу Семенову, которому в этом году исполнилось бы семьдесят лет, но и живым свидетельством становления целого поколения ленинградских литераторов и — что, может быть, самое главное — своего рода нравственным уроком.

Борис НИКОЛЬСКИЙ

Глеб СЕМЕНОВ

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

Владимиру Британишскому

Вечер встречи. Довольно весело,
радиола и полный свет.
Школа даже кумач повесила —
мол, воспитанникам привет.
Наши отчества — вместе с шубами
в раздевалке под номерком.
Разговорчиками беззубыми
пробавляемся, как кваском.
Обнимаем друзей за талию,
к педагогам подходим вежливо —
дескать, помните?
И так далее...
Как же можно не помнить прежнего!
Ведь не так уж и много минуло:
узнаем ее со спины,
ту, в которую до единого
были в классе мы влюблены.
Усмехается ртом накрашенным —
и девчонка, и не девчонка.
Ни о чем ее не расспрашиваем,
виноватые сами в чем-то.
Сами в чем-то не виноватые,
мы в буфете берем коньяк.
Франтоватые, лысоватые,
пьем за встречу и просто так.
Не беда, что на школьном празднике
кто-то будет навеселе,—
наши тихие одноклассники
с громкой славой лежат в земле.
Только нас еще пуще славили,
отстраняли от жизни заживо.
Вот сидим с кулаками слабыми
тесно-тесно, плечо с плечом.
Ни о чем таком не спрошены,
все считаем себя хорошими:
отсидевшие, отсажавшие —
все едины под кумачом!
И не то, чтобы верить не во что,—
верим:
лучшее впереди.
Эта женщина, эта девочка
дразнит вырезом на груди.
Дочерям поднесем в июне мы
те цветы, что и ей когда-то...
Ах, какими мы были юными
в середине годов тридцатых!
1956

КОГДА ПОГРЕБАЮТ ЭПОХУ

О, как вам дышится средь комаровских сосен?
Кладбищенский предел отраден и несносен.
Оградки тесные, как дачные заборы,
и пусть вполголоса, но те же разговоры.

Единственность свою опасно знать заране.
Над бегом времени, как Федра в балагане,
вы, так и видится, стоите без оглядки,
и стынут на ветру классические складки.

Уже успели всех угробить и заямить.
Ваш черно-белый стих шифрованней, чем память.
Дивились недруги надменнейшей вашей силе.
Четыре мальчика чугунный шлейф носили.

Великая вдова, наследница по праву
зарытых без вести, свою зарывших славу,
когда самой себе вы памятником стали,
не пусто ль было вам одной на пьедестале?

Где Осип? Где Борис? Где странница Марина?
Беспамятство трудней открытого помина.
Вас восхваляют те, кто их хулит доселе.
Перед разлукою вы даже не присели.

И понимаются глухие ваши речи.
И занимаются сухие наши свечи.
Мы отпеваем вас, мы яму вам копаем,
мы на казенный счет эпоху погребаем.

И вырастает крест на молодом погосте.
И топчутся вокруг непрошеные гости.
Но — согласились бы вы разве под ракитой,
в глуши какой-нибудь, быть без вести зарытой?!

1978

АДАМ

Когда синкопирует сердце, когда
все жареной рыбой до звезд провоняло,—
о как ты нужна мне! —
хоть ломтиком льда,
завешенной лампой ли, грелкой линялой.

Не бойся, сегодня еще не умру.
Еще пригодится и шапка в прихожей —
спуститься по лестнице, встать на ветру,
поверить в незыблемый замысел божий.

Опять, понимаю, не хватит души
вдохнуть это звездное благословенье...
Обступят, оцепят меня этажи,
качнутся в зрачках, распадаясь на звенья.

Играй же свою полуправду, играй,
и денно, и нощно терзаемый ими!
Забудь в первом акте потерянный рай,
похерь во втором — тебе данное имя.

В копилку стола опускай по грошу,
по камню, по реплике...
То-то потеха,

что насмерть с бездонным колодцем дружу,
и тешит меня его тесное эхо!

Подохнуть от смеха, что есть у меня
и горькие слезы, и гордые губы!..
Ты, родина, завтра не дашь мне огня,
не дашь мне воды,— только медные трубы.

Ославишь — и свалишь меня в уголок
неизданным хламом, и локоть мой драный
счастливой деталью войдет в эпилог
со дня сотворенья задуманной драмы.

И, Гамлет — не Гамлет, тогда и вплыву
в стерильнейший ужас второй хирургии.
Вдоль койки, рыдая почти наяву,
двоятся-троятся мои дорогие.

Ты где тут, жена моя?!
Вместе бы в сад
и яблоки рвать бы, как все человеки,
но некто — беспамятен и волосат —
впотьмах наши руки разводит, как реки.

И ты мне ребро возвращаешь... И мгла
над завтрашним миром. И душу, живую
(она только чуточку занемогла)
свергаю — о господи! — в бездну стола...
И плачу... и бедствую... и торжествую...

ПАМЯТИ САМИХ СЕБЯ

Живем себе, кропаем и корпим.
Треск духовых оркестров нестерпим.
Ни полстроки в угоду не изменим;
мы будем воду пить за неименьем
вина, есть голый хлеб, вдыхать густой,
благословенный смрад воспоминаний.
Всегда кому-то столбик со звездой,
а десятеро — камня безымянней.

Зарытые, да есть ли нам число!
И нас в порыве доблести несло
топтать поля истории — мы тоже,
наверное, могли!.. Но подытожа
нули успехов и нули потерь,
мы, видит бог, себя не омрачали
нехваткой славы — присно и теперь
у нас совсем другой вариант печали.

Свидетельствовать — тоже ремесло!
Чтоб бывшее — быльем не поросло,
не обросло легендой или сплетней,
скрипи наш горб! На улице соседней —
то в память, то по случаю, то в честь —
при всем народе выцветают флаги.
И все-таки по пальцам перечесть
нас, лишних в триумфальной колымаге!

Зато хоть удается честно спать.
А примерещит ежели опять
казенный дом и позднюю дорогу,—
из-под простынь выпрастываем ногу
и тешим лицемерным холодком...
Ах! жить бы всем на берегу высоком,
не лязгать ни затвором, ни замком
и неба не выламывать из окон!

БОЛЕРО

Ах, болеро — от слова «роль»:
разыгрыванье роли!
Все короли, и я король —
на то не болеро ли?

Ах, болеро — от слова «бал»:
разнуздыванье бала!
Не подтундыкнешь — и пропал,
и все, пиши, пропало.

Ах, болеро — от слова «боль»:
преодоленье боли!
Ты кружишься — и я с тобой,
партнер твой поневоле.

Тебя направо повело...
Толпой меня размыло...
Бурленье слова «болеро»,
безумный образ мира!

Василий ЛИВАНОВ

Рис. Г. Ковенчука



Иван, себя не помнящий, или 15 НЕБЫВАЛЫХ СЛУЧАЕВ ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО КИНОЛЮБА

Жил-был на свете дурак Иван Иванович.

А. Чехонте

Случай первый

Как объяснял потом Иван Иванович, все произошло оттого, что телефон-автомат ненасытно глотал монетки и не то чтобы вообще не давал соединения, а соединял его не с тем, кого бы Иван Иванович хотел услышать.

И поэтому Ивану Ивановичу поневоле приходилось слушать обрывки

чужих и совсем ненужных ему разговоров. Сначала о двух неотгруженных вагонах картошки, исчезнувших в неизвестном направлении со станции Сызрань, потом детский голос уверял, что спать после обеда все равно не будет, потом две подружки говорили... мало ли о чем говорят две подружки, когда они даже не подозревают, что их может подслушать совсем посторонний мужчина.

Между этими разговорами автомат ненасытно глотал монетки, и Ивану Ивановичу пришлось то и дело выбегать на улицу, чтобы попросить прохожих разменять мелочь.

Дорогой читатель! Если к тебе на улице подойдет человек, все равно какой: пусть это будет мужчина средних лет, среднего роста и средней упитанности, в распахнутом плаще немодного покроя и в кепке, надетой козырьком несколько вбок и сдвинутой к затылку (а именно так выглядел тогда Иван Иванович, и точно так была надета на его голову кепка),— то не проходи мимо, читатель!

И вы, уважаемая читательница! Даже если вы вообразите, что это пристает к вам какой-то нахал, то все равно не спешите убегать или звать на помощь милиционера. Прошу вас, приостановитесь и выслушайте хотя бы первую фразу, которую выговорит этот глуповато улыбающийся (а именно такое выражение принимало тогда лицо Ивана Ивановича) и, весьма возможно, с утра нетрезвый мужчина.

И если вы услышите вдруг:

— У вас не найдется монетки, позвонить? — то обязательно остановитесь, умоляю вас, остановитесь и старательно пошарьте в сумочке, в карманах, в портфеле и еще где придется, чтобы непременно отыскать нужную монетку, все равно в какой комбинации: одна двухкопеечная или две по копейке. Ведь и с вами может произойти — не дай бог, конечно,— то самое, что произошло с Иваном Ивановичем.

Ивану Ивановичу, как он потом рассказывал, пришлось бежать не спеша, как от инфаркта, в магазин, за целый квартал от автомата, чтобы разменять мелочь.

А в магазине в этот момент как раз прозвонило одиннадцать часов, так что Ивана Ивановича, сами понимаете, не подпустили к кассе, и даже обещали «фотографию начистить». А очередь двигалась мучительно-медленно потому, что кассирша внимательно пересчитывала горы той самой мелочи, которая так нужна была Ивану Ивановичу. Когда же, наконец, Иван Иванович набрал нужных ему монеток и, отдуваясь, дотрусил до телефонной будки, то обнаружил... то есть не обнаружил... вернее, обнаружил, что не обнаружил... Телефон-автомат был на месте, крючок для временного подвешивания ручной клади тоже был на месте, а вот желтого портфеля с чернильным пятном около застежки, его, Иван-Ивановичева портфеля — не было.

Не было, черт его подери, а вместе с портфелем исчезла и рукопись, в нем замкнутая.

Его рукопись, Ивана Ивановича.

Тут, как объяснял потом Иван Иванович, «это самое удивительное и случилось».

А случилось то, что Иван Иванович, стоя у края тротуара, майским весенним утром в Столице, в наши дни, начисто запамятовал, что было написано в его рукописи, которая исчезла вместе с желтым портфелем с чернильным пятном около застежки. Запамятовал, и все тут. Забыл напрочь.

Иван Иванович сначала очень удивился этому неожиданному обстоятельству, отнеся такую мгновенную потерю памяти за счет нервного волнения.

Он даже закурил сперва, уверенный, что память сыграла с ним глупую шутку и сейчас вернется. И что вообще так не бывает: сам писал рукопись и сам вдруг ничего не помнит. Но шутка из глупой уже становилась скверной: Иван Иванович действительно не мог вспомнить ни слова из своей рукописи. Как он ни напрягался, как ни затягивался табачным дымом, как ни зажмуривался — ничего рукописного вспомнить не мог.

Помнил формат писчей бумаги — обыкновенный, помнил ее качество —

плохое, даже узнал бы листы на ощупь, а вот что писал на этих листах, хоть убей, не мог вспомнить.

Помнил отчетливо, что сама тема была выбрана очень верно, очень нужная нашему широкому зрителю была тема, а вот как он эту тему выразил художественными средствами — это как отшибло.

«Ерунда какая-то,— подумалось Ивану Ивановичу,— придется позвонить Райке, пусть напомнит. Глупо, конечно, но что поделаешь...»

Райка эта, по прозвищу Райка-Попрошайка, была хорошо известной в кинематографических кругах машинисткой. От нее-то и шел в это майское утро Иван Иванович и нес в желтом портфеле с чернильным пятном около застежки рукопись своего сценария, перепечатанную.

Простите, строгие мои читатели, что за переживаниями Ивана Ивановича ничего путного вам о нем еще не рассказал.

Пока Иван Иванович в том же невезучем автомате с помощью с таким трудом добытой мелочи пытается дозвониться до машинистки, у нас есть время спокойно просмотреть его анкету.

Эта подробная анкета заполнялась Иваном Ивановичем в течение последних лет ежегодно. Ивана Ивановича прямо-таки раздирало необъяснимое желание зачем-то повидать жемчужину Адриатического моря, город на воде Венецию. И ему в этом ежегодно отказывали в зарубежном отделе Общества кинолюбов, терпеливо разъясняя, что желающих посмотреть город на воде много, а путевок мало. К тому же Иван Иванович уже дважды был в Болгарии, и поэтому должен набраться терпения и ждать...

Но мы отвлеклись. По анкете значилось, что фамилия Ивана Ивановича — Распятин, рождения 1926 года, беспартийный, судим не был, родственников за границей не имеет, профессия — сценарист, член Общества кинолюбов.

В графе боевых наград перечислялись медали с названиями освобожденных молодым Иваном Ивановичем европейских городов, среди которых город на воде, естественно, не значился.

В последней, шестой по счету, графе стояло, что Иван Иванович в настоящее время работает над сценарием под названием... Вот под каким названием он сработал сценарий, Иван Иванович как раз и желал сейчас выведать у Райки-Попрошайки, которой он, наконец, дозвонился.

— Раиса Михайловна, это я, Распятин,— трескуче закричал он в трубку, как кричал когда-то в трубку полевого телефона, боясь, что связь отрежут,— я хочу узнать ваше мнение о моем сценарии. Как вам понравилось название? — схитрил Иван Иванович, сам стараясь вспомнить раньше Райки-Попрошайки и с леденящим душу ужасом убеждаясь, что сам вспомнить названия не может.

— Я, извините, Ван Ваныч, вашего названия не помню,— отстучало в ответ. И только Иван Иванович с некоторым даже облегчением подумал: «Что, и она тоже?», как услышал: — Я вообще ваших рукописей не читаю, а перепечатываю. Если у вас ко мне какие-нибудь претензии по машинке — приносите, исправлю. И конфеты обещанные захватите. А читать, извините, времени нет. Вот сейчас Макар Аполлонович срочную статью прислал на сорок страниц, так что же, по-вашему, читать мне ее прикажете? Я еще с ума не сошла. Про конфеты не забудьте.

И загудело в трубке.

Случай второй

Иван Иванович нацепил трубку на рычаг и ошалело уставился на крючок для подвешивания ручной клади, словно надеялся, что желтый портфель с чернильным пятном около застежки каким-то образом вдруг объявится на крючке.

Но портфель не объявился. Крючок торчал из стены бесстыдно голенький. Иван Иванович в сердцах хватил по нему кулаком и пребольно зашиб руку.

«Дурак я, дурак! — мысленно осудил себя Иван Иванович, усердно дуя на сбитые в кровь костяшки пальцев.— И с чего я так распсиховался, спрашивается? Будто никто, кроме меня и машинистки, моего сценария в глаза не видел. А редакторша моя? Да она этот сценарий должна лучше меня самого знать, досконально помнить, что я там такое сочинил. Ну-ка, который час?»

И только Иван Иванович намерился взглянуть на часы, как дверь автоматной будки распахнулась, горячо пахнуло кислым духом суточных щей и глухой бас прогремел над Иваном Ивановичем следующие справедливые слова:

— Ты что, здесь прописался, козел?

И одновременно с этими словами на огромной волосатой руке сунулся под нос Ивану Ивановичу циферблат ручных часов, стрелки которого обозначали около четверти двенадцатого.

Пока обладатель глухого баса заполнял будку, Иван Иванович быстро вычислил в уме, как ему выйти на свою студийную редакторшу Маргариту Аркадьевну Болт.

«На студию ехать не стоит,— прикинул Иван Иванович.— С десяти до двенадцати она скорее всего на каком-нибудь совещании. А если никаких совещаний нет, то и ее нет. А после двенадцати...» — тут Иван Иванович даже присвистнул, представив себе, как он разыскивает редакторшу по киностудии. «Только что тут проходила»,— удивляются люди, снующие по бесконечно длинным коридорам. Придется периодически возвращаться в кабинет редакторши и там слышать от неизвестно чем занятых в редакторском кабинете незнакомых мужчин: «Она только что вышла». А если попробовать передать, что он, Распятин, ее разыскивает, незнакомцы тут же ответят, что сами собираются уходить.

«Самое верное — домой ей сейчас позвонить,— подытожил Иван Иванович свои вычисления,— все-таки больше вероятности застать».

И через некоторое время он снова водворился в будке. Трубка попахивала кислой капустой, но телефон, словно устыдившись прошлого своего безобразия, заработал исправно. Иван Иванович терпеливо слушал долгие гудки и был вознагражден:

— Да?

— Маргарита Аркадьевна?

— Ну я. Кто это?

— Это Распятин. Здравствуйте.

— А-а... Вы по поводу аванса? Я уже убегаю на студию,— привычно соврала Маргарита Аркадьевна непослушным со сна голосом.

— Нет-нет. Аванс я давно получил. Маргарита Аркадьевна, у меня тут вышла неприятность.

— Что такое? Пустомясов отклонил?

— Нет. У Пустомясова я еще не был.

— Все ясно.

«Что ей там такое ясно?» — удивился Иван Иванович.

— Алло!

— Ну?

— Маргарита Аркадьевна, у меня здесь, в автомате, пропал портфель с рукописью сценария.— Иван Иванович теперь и не пытался вспомнить название.— Украли, пока я за мелочью бегал.

— Украли? — трубка хмыкнула.— Кому он... Странно. Вы шутите?

— Не шучу! Алло!

— Я слушаю,— сказала Маргарита Аркадьевна.

— Это еще не самое странное. Я вам сейчас скажу, только вы не вешайте трубку и учтите, что я вообще непьющий. Честное слово. Алло?

— Я слушаю,— сказала Маргарита Аркадьевна.

Иван Иванович шумно втянул воздух и произнес на одном дыхании:

— Самое странное, что я начисто забыл, о чем писал в сценарии, и название забыл.

В трубке зашелестело.

— Маргарита Аркадьевна, напомните, умоляю!

В ответ раздались всхлипывания и:

— Я вообще не хотела с вами работать. Теперь я понимаю, почему вы не

нашли общего языка с Саквояжевым... зачем вы меня не предупредили заранее?

— Как не предупредил? О чем?

Но, видно, у Маргариты Аркадьевны Болт уже сложилась своя, редакторская точка зрения на только что предложенный Иваном Ивановичем оригинальный сюжет.

— Сколько раз я вам говорила... я просила... все вы так... никогда... ничего... я так и знала!

Маргарита Аркадьевна еще что-то проговаривала сквозь насморочные всхлипывания, а Ивану Ивановичу живо представлялось, что сейчас его редакторша должна быть похожа на заплаканную лошадь.

— Маргариточка Аркадьевна...

— Сами разбирайтесь с Пустомясовым, с Саквояжевым, с кем хотите... Я всегда говорила, что проблема в вашем сценарии...

— Стойте! — отчаянно ухватился Иван Иванович за мелькнувшую в потоке слез соломинку.— Какая проблема?

И услышал в ответ:

— Не надо... не надо так... Я тоже человек... Я — женщина... Меня все знают.

Так Маргарита Аркадьевна Болт, сценарный редактор Ивана Ивановича, сочла нужным закончить этот телефонный разговор.

Случай третий

Иван Иванович выкурил одну за другой три сигареты и решил в ожидании возврата зашалившей своей памяти отвлечься каким ни на есть действием.

Он побрел вдоль края мокрого тротуара, перешагивая через лужи и загадывая про себя:

— Вот если сейчас в туфлю не зачерпну — обязательно вспомню.

Но скоро промочил ноги и ничего не вспомнил.

И тут Иван Иванович ощутил себя на перекрестке и бессмысленный взгляд его остановился на постовом милиционере, который бойко регулировал движение в этом квадратике Столицы.

— Может, я о милиции писал? — робко спросил себя Иван Иванович, в котором бойкая распорядительность милиционера отозвалась ободряюще.

Уверенные действия постового связали мысль о забытом сценарии с предположением, что хорошо бы ему, Ивану Ивановичу, срочно пойти в ближайшее отделение и заявить о пропаже желтого портфеля с чернильным пятном около застежки. Иван Иванович целиком подчинил себя воле регулировщика и, улучив момент, сблизился с ним для расспросов. После необходимых разъяснений: «Прямо, первый направо, налево, направо во двор, там увидите» Иван Иванович направился в указанном ему направлении.

Дежурный по отделению сидел за столом боком к посетителям и жевал яблоко.

После слов «Здрасьте, приятного аппетита» дежурный выдвинул ящик стола, опустил туда искусанное яблоко и только тогда глянул в сторону Ивана Ивановича так, будто Иван Иванович был не что другое, как какой-нибудь сквозняк, неизвестно зачем залетевший в дверь и без нужды всколыхнувший спокойный воздух помещения.

— Мне нужно насчет пропажи,— сказал Иван Иванович и уже полез в карман за удостоверением члена Общества кинолюбов, но тут дежурный проговорил:

— Второй этаж, одиннадцатая комната.

И Иван Иванович, поблагодарив, отошел искать лестницу на второй этаж.

Он не видел, как дежурный достал яблоко, придирчиво осмотрел его обкусанные бока и только после этого стал с удовольствием доедать.

В одиннадцатой комнате очень вежливый молодой человек усадил Ивана Ивановича на стул, внимательно выслушал историю пропажи желтого портфеля с чернильным пятном около застежки, в котором лежал сценарий. Иван Иванович и здесь не мог вспомнить ничего из содержания, начиная с самого названия, и это обстоятельство обошел молчанием.

Молодой человек немножко подумал, сказал «бывает» и пододвинул Ивану Ивановичу листок бумаги уверенной рукой, безымянный палец которой охватывало толстое и широкое обручальное кольцо.

— Вот женился в пятницу,— сообщил молодой человек, счастливо улыбаясь,— жена немножко из нашего ведомства, так что, думаю, найдем общий язык.

И, посвятив так неожиданно Ивана Ивановича в свою личную жизнь, тем же радостным голосом, которым говорил о женитьбе, продиктовал заявление о пропаже.

— Можно надеяться? — спросил Иван Иванович, поднимаясь со стула и пожимая уверенную руку с обручальным кольцом.

— Жену мою зовут Надежда,— душевно ответил молодой человек.

— Ах! — сказал Иван Иванович.

— Да! Да! Да! — закричал Иван Иванович.

— Хо-хо-хо!!! — захохотал Иван Иванович.

Дело в том, что он вдруг вспомнил, как называется утраченный им сценарий: «Надежда». Именно так назвал его Иван Иванович.

Это внезапное возвращение памяти сделало какой-то быстрый переворот во всем организме нашего героя. Левая нога его для чего-то лягнула стул, на котором он только что сидел, да так сильно, что тот завертелся по комнате, а правая мелко затряслась и подогнулась. К тому же перед глазами Ивана Ивановича почему-то завертелся наподобие милицейского жезла проклятый диск телефонного набора и, вдобавок ко всему, свалилась с головы кепка.

Стакан воды, ловко поднесенный к губам Ивана Ивановича молодым человеком, вернул ему послушание ног и реальность ощущений. А реальность эта была такова: Иван Иванович дальше названия ровно ничего из своего сценария не помнил и, как ни старался, вспомнить на текущий момент не мог. Но теперь у него появилась хотя бы надежда.

Случай четвертый

В этом обнадеженном, даже несколько расслабленном состоянии Иван Иванович подъехал на такси к стеклянным дверям одного очень сложного учреждения, что обосновалось в самом центре Столицы, в позабывшем сменить старое название переулке.

Учреждение это было создано с благородной, но неблагодарной целью, а именно: распутывать многие кинематографические нити, которые постоянно спутываются в пестрый клубок, наподобие елочной канители, и желающим видеть в конце каждого отчетного года блестящую, празднично украшенную елку приходится немало потрудиться. Известно, что блестящая эта канитель имеет свойство запутывать вместе с собой всякую прошлогоднюю мишуру: обрывки серпантина, клочки старой грязной ваты, осколки разбитых на празднике хрупких украшений и обломанные веточки с безнадежно высохшими, но все еще колючими желтыми иголками, норовящими воткнуться побольнее. Но для поверхностного наблюдателя это было бы учреждение как учреждение: вестибюль, гардероб, лифты, этажи, лестницы, коридоры и двери, двери, двери... И таблички с названиями должностей и фамилий, для удобства посетителей, а также сотрудников: чтобы сидящий за этими дверями служащий, выйдя в коридор, мог без ошибки вернуться на место, а не бродить по всем кабинетам с глупым вопросом:

— Товарищи, вы не знаете случайно, кто я такой и чем здесь, простите, занимаюсь?

Иван Иванович взял такси. Во-первых, потому, что спешил. Во-вторых, для общественного транспорта подъездов к учреждению не было, а в-третьих, подходить пешком к учреждению, у стеклянных дверей которого пыхтят персональные и личные автомобили... Короче говоря, Иван Иванович был не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Пока Иван Иванович предъявляет при входе свое удостоверение, сдает плащ и кепку на вешалку и причесывает у зеркала свою поредевшую шевелюру, вам, внимательные читатели, необходимо узнать, зачем наш герой так сюда спешил.

А вот зачем: тема, которую затронул Иван Иванович в своем так неправдоподобно забытом сценарии, показалась настолько важной уже знакомой нам студийной редакторше Маргарите Аркадьевне Болт, что оба варианта — первый и второй — рассматривал художественный совет учреждения. Этот же совет должен был рассмотреть и третий вариант, который теперь бесследно исчез не только вместе с желтым портфелем с чернильным пятном около застежки, но также из памяти создателя всех трех вариантов. Заметьте: трех! Значит, два предыдущих наверняка хранились в шкафу у секретарши товарища Пустомясова, исполняющего обязанности председателя худсовета. А восстановить по двум первым вариантам третий, утраченный,— дело нехитрое. Да и память вдруг может вернуться.

— Даже обязательно вернется,— отмел всякие сомнения Иван Иванович и вступил в приемную товарища Пустомясова.

Вступить-то вступил, но как только предстал перед секретаршей, опять ощутил неуверенность и даже робость.

Иван Иванович почему-то всегда робел перед ее представительной внешностью. Достаточно сказать, что секретарша эта обладала такими усами, будто служила в уланском полку и вышла в секретарскую свою должность в чине не ниже штаб-ротмистрского.

— Распятин я. К Фаддею Федуловичу по договоренности,— неестественно бодро доложил Иван Иванович.— Вызывали к двум часам.

— К двум — значит к двум,— отчеканила секретарша, и кончики усов ее поползли вверх, что у штаб-ротмистров обозначает одобрительную улыбку.

Иван Иванович бросился под этот приподнятый ус, как цыпленок бросается под крыло к наседке в инстинктивном желании избежать опасности.

— Жоржетта Павловна! — пискнул Иван Иванович.— Позвольте взглянуть предыдущие варианты сценария.

Усы вытянулись в прямую линию. Но широкие плечи, которые должны были бы носить пышные эполеты, приподнялись, а вслед за плечами и вся Жоржетта Павловна вышла из кресла и, отчетливо стуча каблуками, переместилась к шкафу.

— «Надежда»,— с деликатным придыханием подсказывал Иван Иванович.— «Надежда» — первый вариант и «Надежда» — второй вариант...

И сердце Ивана Ивановича отплясывало трепака. Стальной палец штаб-ротмистра ерошил папки на полках в шкафу.

— Нет! — вдруг рявкнула Жоржетта Павловна и захлопнула дверцы.

— Как нет? — выдохнул Иван Иванович.— Потерялись?

Секретарша смерила Ивана Ивановича дуэльным взглядом.

— У меня потерялись? Ну, знаете...

И, глядя Ивану Ивановичу в переносицу, вызывающе объявила:

— Все варианты на руках у членов худсовета. Вот так.

Тут переговорное устройство на секретарском столе щелкнуло, и сдобный баритон, в котором Иван Иванович сразу признал голос Пустомясова, спросил:

— Жоржетта Павловна, есть ко мне кто-нибудь?

Усы встали дыбом, штаб-ротмистр распахнул дубовую дверь, и, не чуя под собой ковровой дорожки, Иван Иванович осознал себя в пустомясовском кабинете.

О таких должностных людях, каким является Фаддей Федулович, обычно говорят «важное лицо». Но то природное образование, которое пришлось между узлом галстука и набриолиненным волосяным покровом, никак невозможно назвать лицом даже в анатомическом смысле этого слова. Ошибкой было бы, смеха ради, выдавать это, с позволения сказать, лицо за другую часть тела. Ведь все части людского тела так или иначе несут какие-нибудь признаки человеческой натуры. А особенность так называемого лица Фаддея Федуловича как раз заключалась в том, что никаких человеческих признаков не несло.

Благодаря этому «личному» обстоятельству Пустомясов в своем обшитом деревянными панелями кабинете напоминал одинокий перезрелый помидор, случайно завалявшийся в тарном ящике.

— Ну, что у тебя? — спросил Фаддей Федулович.

Всех заходящих в его кабинет — а вышестоящее начальство этот кабинет не посещало — Пустомясов называл на «ты», руководствуясь простым, но верным соображением, что «ты» — это когда один, а «вы» — когда много.

— Так что у тебя?

И тут Иван Иванович понес совершенную околесицу. Члены художественного совета смешались у него с милиционером-регулировщиком, все три варианта «Надежды» оказались в конфетной коробке у Райки-Попрошайки, и весь этот бред повис на крючке для временного подвешивания ручной клади в будке телефона-автомата. В довершение всего Иван Иванович вытащил из кармана копию заявления в милицию и положил его на стол перед Фаддеем Федуловичем вместе с приставшей квитанцией на получение простыней из прачечной.

Пока Пустомясов разбирал заявление в милицию, Иван Иванович напрягся до барабанной дроби в ушах, силясь вспомнить хоть что-нибудь из своего сценария. Но — увы — безрезультатно.

— Пролонгацию, небось, попросишь? — сделал оргвывод Пустомясов, покончив с заявлением.

— Я, наверное, заболел,— храбро предположил Иван Иванович.— Заболел и не помню...

— Чего не помнишь?

— Ничего не помню,— дрожащим голосом признался Иван Иванович.— Ни строчки... варианты на руках... буду искать... если найду... Может, вы подскажете, Фаддей Федулович, о чем хоть эта... моя «Надежда»?

Вопрос Иваном Ивановичем был поставлен правильно. Ведь Пустомясов председательствовал на художественном совете. И даже, если предварительно не читал сценария Распятина, то уж во время обсуждений должен был кое-что, хотя бы в общих чертах, уловить.

— Мы,— сказал Фаддей Федулович о себе во множественном числе,— мы твой сценарий должны утверждать или, понимаешь, того... отвергнуть. Ты, понимаешь, к нам подготовленный должен приходить, а ты... нехорошо.

Иван Иванович никогда бы не догадался, что в его признании о внезапной утрате памяти Пустомясову померещится какой-то неясный подвох, а уж когда Распятин прямо спросил, не помнит ли Фаддей Федулович его сценарий, то иначе как тайную проверку пустомясовского соответствия должности это истолковать в томатных мозгах было невозможно. И Фаддей Федулович начальственно поднажал на свой баритончик:

— Нехорошо, Распятин. Мы тебе доверяли, а ты, понимаешь... Сам писал и сам забыл. Как же это так, понимаешь, получается?

Тут лицо Ивана Ивановича приняло бессмысленное, почти идиотское выражение. То самое выражение, которое приобретает лицо русского человека вне зависимости от возраста, профессии и должности, если начальство вдруг спрашивает: куда пропало находящееся в ведении данного лица казенное имущество? А уж какое это имущество: киносценарий, моющиеся обои, тракторная гусеница, банка трески в томате, канцелярская скрепка — это решительно все равно. Потому что страна огромная, пространства необозримые, степи, горы, леса и моря, народу везде полно и запропаститься бесследно может что угодно, где угодно и когда угодно.

Особое это выражение выскакивает на лицо вопрошаемого, даже если его самого в пропаже не винят. Но после принятия такого выражения русский человек становится почему-то ни к чему более не способен, как врать, врать и врать. Да, талантлив наш народ и в созидательных планах, и в образном вымысле, и в меткой, ядреной шутке, и в горькой исповеди. Но, согласитесь: бездарны мы во вранье! И будь оно проклято, вранье наше, безумное, постыдное, унижающее нас с вами, родной мой читатель! Как начнет врать иной

русский человек, так обязательно такое блюдо состряпает, какое не найдешь во всех меню всех наперечет народов. Намешает и того, и сего, все перепутает, засахарит, посолит, наперчит, вываляет в черт знает какой трухе, черт знает чем нашпигует, с одного бока пережарит, с другого и подрумянить забудет, а кончит тем, что съест все сам, на ваших глазах, запивая кровавыми слезами.

Но Иван Иванович врать не стал. Может, потому, что случайно заметил, как за витринным стеклом кабинетного окна стремительно и свободно скользнула в легком весеннем воздухе какая-то маленькая птичка, присела на торчащую на уровне окна набухшую почками тополевую ветку и откровенно уставилась на Ивана Ивановича круглым красным глазком.

«Ну, посмотрю я, каких еще глупостей наделаете вы»,— почудилось Распятину в птичьем внимании.

— Пойду я,— тихо сказал Иван Иванович.

— Иди,— отозвался Пустомясов.— Иди... иди.

Когда Иван Иванович скрылся за дубовой дверью, Фаддей Федулович еще раз просмотрел оставленное Распятиным заявление в милицию, не обошел и квитанцию на получение простыней, провел пухлой ладонью по напомаженным волосам, крякнул, хмыкнул и, откатившись из кресла в угол кабинета, замкнул оба эти документа в несгораемый шкаф. Вернувшись в кресло, косо черкнул в настольном календаре «Распятин» и рядом вывел жирный вопросительный знак.

Случай пятый

«Ну что за герой Иван Иванович,— посетуют читатели.— Имя-отчество самые обыкновенные, и фамилия ничем не примечательная: Распятин. Подумаешь, член Общества кинолюбов! Этим теперь никого не удивишь. Повращайся немного среди кинолюбов — глядишь, и ты стал членом. Известное дело».

Если уж берется автор писать о кино, так написал бы о каких-нибудь интересных людях: например, о той актрисе, которая в двадцать один год снялась в двадцати одном фильме. Или об этом загадочном красавце с трубкой в пластмассовых зубах, который иногда ведет «Кинопанораму». Ведь никто не знает, кто он такой, а тут бы выяснилось.

Или составил бы справочник: какой киноартист на какой киноартистке женат — а то такие споры иногда случаются, что просто до оскорблений и даже до драк доходит. Интерес-то к искусству большой, всех «Советским экраном» не удовлетворишь.

А этот Иван Иванович? Ну, что в нем выдающегося? Ничего. Рост средний, упитанность средняя, способности, судя по всему, тоже средние.

Средний человек — вот скука-то!

— Позвольте, позвольте,— вдруг вмешается критический голос,— скука скуке рознь. Бывает и полезная скука, а это скука вредная. Мало ли что могло случиться с каким-нибудь Иваном Ивановичем, зачем же сразу писать об этом? Широкий читатель совершенно прав. Что, у нас в кинематографе мало выдающихся имен?

И вот уже критик с привычным благоговением произносит всемирно известные кинофамилии и, загибая пальцы, перечисляет призы и награды всесоюзных и международных фестивалей.

— Зачем же писать о каком-то безответственном работнике, пусть и творческом?

Уважаемые читатели! Позвольте автору оправдаться.

Дореволюционная литература возвела в герои маленького человека. Революция с этим покончила. У нас маленьких людей нет. Остались большие и средние. Взять хотя бы всеобщее среднее образование.

Большие люди сами по себе выдающиеся, и описывать их должны большие, выдающиеся писатели, к каковым автор, даже находясь в хорошем настроении, не решится себя причислять. К тому же, большие люди сами о себе прекрасно пишут, чему есть немало известных примеров. Не исключено, что, окрепнув талантом, автор решится...

Но в этот раз, может быть, единственный, позвольте увлечься частным случаем из жизни забывчивого среднего человека, и в согласии с автором внимательно, доброжелательно и непредвзято проследите, как этот забывчивый мучается.

Вдруг чужие муки пойдут вам на пользу? Не лишайте автора уверенности, что, выбрав в герои Ивана Ивановича, он поступает правильно и верно. Тем более, что автор вместе с Иваном Ивановичем не теряет надежды на счастливый конец.

Конечно, в здании, отведенном под Общество кинолюбов, парадный подъезд — просто заглядение. Но не все же ходить с парадного подъезда... В наш космический век, чтобы всесторонне изучить предмет, полезно время от времени заглядывать на обратную его сторону.

Даже за Луну уже заглядывали!

К тому же, опытные читатели сразу догадались, что ничего подобного с моим героем не случалось, да и случиться не могло... Ведь так не бывает!

...Где вы, Иван Иванович? Вот он, вот он, снова остановил такси и устремился на поиски «Надежды», а именно — поехал в новый микрорайон, надеясь застать дома своего приятеля и коллегу Филимона Ужова, члена художественного совета.

Случай шестой

— Нет, вроде бы здесь,— сказал Иван Иванович таксисту.

Машина, подпрыгивая на разбитом асфальте и разбрызгивая грязь, уже второй раз объехала высоченную груду ржавого кровельного железа и остановилась.

Иван Иванович под пристальным наблюдением двух немыслимой древности старушек, выставившихся истуканами на лавочке у подъезда, расплатился с таксистом.

Машина отъехала, а Иван Иванович остался стоять на одной ноге посреди огромной бурой лужи, соображая, в каком направлении безопаснее опустить сухую ногу.

— Ванька, ты? — долетело откуда-то сверху.

Иван Иванович задрал голову, потерял равновесие и стал в лужу обеими ногами.

Над ограждением верхнего углового балкона различимо маячила бледная физиономия Филимона Ужова. Даже очень издалека и снизу выразительный ужовский нос выглядел как всегда — длинным и обвисшим.

— Деньги есть? — крикнул Ужов.

— Есть.

— Дуй ко мне!!

Иван Иванович, подняв пенистую волну, выбрался из лужи и захлюпал ногами мимо истуканов, оставляя мокрый бурый след.

— Опять к Фильке-писателю,— изрекла первая старушка.

— К нему,— подтвердила вторая.

— Ноги вытирай! — пропели старушки дуэтом.

Иван Иванович повозил подошвами по грязным картонным ящикам, расплющенным на кафельном полу, и скрылся в кабине лифта.

Пока лифт, завывая и ознобно трясясь, не спеша тащился кверху, Иван Иванович успел прочесть на стенах кабинки, что «Лида — дура», и рассмотреть выполненный в условной манере портрет какого-то человека в очках и шляпе, обрамленный много раз повторяющимся глаголом «жуй».

Едва Иван Иванович ступил на площадку, как услышал из-за двери глухой голос Ужова:

— Ванька, спаси меня...

— Филимон, что с тобой? — Иван Иванович рванул на себя ручку двери.— Открой, Филимон.

— Не могу, я заперт.

— Как заперт?

— Обыкновенно, на замок. Капитолинка заперла.

Иван Иванович быстро представил себе улыбающийся рот ужовской супруги, розовую улыбку в напомаженных губах и тусклый взор никогда не улыбающихся глаз.

— Случайно заперла?

— Нарочно. У меня вчера был день рождения. Сережка с Иркой были, Фомка, Васька и Жоржетка.

Свой веселый мир Ужов населял на всех уровнях жизни Петьками, Ольками, Костьками и сам себя воспринимал не иначе как Фильку, хотя Фильке этому шел уже шестой десяток. Догадаться, кто из общих знакомых скрывался на сей раз под кличками гостей, Иван Иванович не успел. Ужов перешел к воспоминаниям:

— Выпивки было — залейся. Все выхлебали, сволочи. Утром встаю: головка бо-бо, денежки тю-тю, во рту — наждак, ну, ты сам знаешь...

Иван Иванович ничего этого не знал, но неважно. Он зато знал: Филимон Ужов убежден, что вокруг дико пьют абсолютно все, просто не все еще замечены в этом.

А Ужов продолжал из-за двери:

— Портки спрятала и, главное, дверь на ключе. Она недавно замок здоровенный врезала, Капитолинка...

Ужов за дверью задышал, как штангист, идущий на побитие рекорда.

— Ванька... умираю...

— Не умрешь.

— Умру.

Помолчали.

— Я дверь ломать не буду,— твердо заявил Иван Иванович.— У меня и так неприятности: сценарий украли.

— Иди ты... со своим сценарием,— глухо заскулил Ужов.— Другой напишешь. У тебя почти на глазах друг умирает, вот это — неприятности...

Ужов чихнул и затих.

— Филимон!

Тишина.

— Филимон!!! — в паническом испуге заорал Иван Иванович.

— А-а-а...

— Как тебе помочь?

— Спустись на первый этаж, третья квартира. Спроси Витьку-слесаря. Скажи: Филька умирает. Он — хороший мужик, поймет.

Иван Иванович спустился вниз и позвонил в квартиру номер три. За дверью зашлепали шаги и раздраженный женский голос спросил:

— Чего надо?

— Можно Виктора, слесаря? — вежливо обратился Иван Иванович к дверной клеенчатой обивке.

— Нету его. Во дворе посмотрите.

Иван Иванович вышел во двор.

— Идет,— сказала старушка, завидев Ивана Ивановича.

— Вы не подскажете, где найти слесаря Виктора? — обратился к ним Иван Иванович.

Старушки сдвинулись теснее, крепко сомкнули полые свои рты и стали глядеть куда-то вдаль. По выражению их глаз было понятно, что вдали они наблюдают что-то крайне возмутительное.

В глубине двора, возле мусорных бачков, стоял приземистый мужчина с бумажным кульком в руках. У его ног в кружок расселись штук восемь тощих кошек. Мужчина поминутно заглядывал в кулек и, соблюдая одному ему известную очередность, наделял кошек пищей.

— Ванька, вон он с кошками! — закричал сверху Ужов.

Иван Иванович направился к мусорным бачкам и остановился за пределами кошачьего круга.

— Кранóв, говорю вам, в настоящее время нет! — неожиданно обрушился на Ивана Ивановича мужчина с кульком. И быстрым взглядом оценив действие таких своих слов, уже миролюбиво заключил: — И прокладок тоже нет.

— Мне...— сказал Иван Иванович,— я...— и доверительно сообщил в порядке информации: — Филька умирает.

Мужчина бросил кулек на землю и, перешагнув через сбившихся в кучу кошек, подошел к Ивану Ивановичу вплотную. Посверлив Ивана Ивановича бирюзовыми глазками, строго спросил:

— Чтой-то с ним?

Иван Иванович доложил обстановку.

Витька-слесарь, выслушав безвыходные обстоятельства Ужова, дал такое заключение:

— Фильку жалко. Хороший мужик. Но я замка не трону. Ведь если что, Капитолина его меня за хобот и в конверт. Пускай мучается.— И вперевалку зашагал к дому. Иван Иванович поплелся за ним.

— Витька! — заголосил Ужов с балкона.

— Чего орешь? — еще громче Ужова отозвался Витька.— Неудобно!

— Плевать я хотел! Тут все свои...

— Жалко мужика,— обернувшись, бросил слесарь Ивану Ивановичу и скрылся в подъезде.

Иван Иванович снова поднялся к ужовской двери.

— Не может он, Капитолины боится.

— Хрен с ним! Что-нибудь придумаем.

— Филимон,— Иван Иванович поцарапался в дверь.— Знаешь, я начисто забыл, что писал в сценарии. Ты не помнишь? Ну тот, который мы обсуждали на худсовете, не помнишь?

— Не помню... Я свои-то теперь не все помню.

— Плохо дело,— сказал Иван Иванович.— Не знаю, что и придумать...

— Придумал! — крикнул Ужов из-за двери.— Тут рядом кафе «Незабудка». Как выйдешь из подъезда, направо, за угол дома. Направо и по мощеной дорожке шагов триста. Слушаешь?

Иван Иванович кивнул.

— Ванька, ты здесь?

— Да.

— Возьмешь за стойкой бутылку портвейна и попросишь трубочку коктейльную. Слышишь?

— Слышу. Зачем трубочку?

— Чудак! Вставим в замочную скважину. Понял?

— Понял...

— Иди, Ванька.

Иван Иванович пошел.

— Ванька! — позвал Ужов из-за двери.

— Что, Филимон?

— Я на тебя надеюсь, Ванька.

Когда Иван Иванович заворачивал за угол дома, Ужов, перевесившись с балкона, кричал:

— Направо, и еще раз направо. Триста шагов. Трубочку не забудь!

В «Незабудке» Иван Иванович ждал, пока барменша сдаст пустую тару, купил портвейн и, конечно, про трубочку забыл. Повернул обратно к «Незабудке» и едва не угодил под «скорую помощь», которая выскочила из-за кустов.

— Залил зенки, дядя? — только и успел крикнуть Ивану Ивановичу санитар из окна машины, и «скорая помощь», взвыв, промчалась мимо.

— Просто так трубочек не даем,— объявила барменша.— Возьмите коктейльчик.

Пришлось соглашаться.

— Какой желаете? «Москва»? «Яичный»? «Надежда»?

— «Надежда»,— сказал Иван Иванович, забрался на высокую табуретку и подумал: «А вдруг сейчас выпью эту „Надежду“, расслаблюсь, и память вернется. Ведь бывают такие случайные совпадения».

Иван Иванович вынул из бокала трубочку и залпом заглотнул всю порцию.

Потом зажмурил глаза и постарался сосредоточиться.

Сначала перед внутренним взором Ивана Ивановича проплыли ничего не выражающие розовые пятна.

Потом сквозь эту неопределенную муть стало проступать какое-то неясное видение.

— Ну, давай, давай... определяйся! — внутренним голосом подхлестывал видение Иван Иванович. Видение стало определяться, стали вырисовываться очертания как будто человеческой фигуры.

— Пусть какой-нибудь из моих персонажей,— трепеща молил Иван Иванович.

А видение между тем оформлялось, становилось объемным, и вдруг Иван Иванович, не открывая глаз, ясно увидел перед собой Витьку-слесаря на фоне помойных бачков.

Иван Иванович застонал и открыл глаза. И сразу же ощутил приторную коктейльную сладость во рту и тяжесть в области печени.

— Сколько с меня? — спросил Иван Иванович и, не дождавшись сдачи, зашагал к ужовскому дому.

У подъезда, выхлестав из берегов бурую лужу, митинговала толпа. В гомоне голосов можно было уловить, что пьяным и дуракам — счастье. На подходе Ивана Ивановича толпа примолкла. Откуда-то из самого центра вывинтился Витька-слесарь и подошел к Ивану Ивановичу вплотную. Доверительно сообщил:

— Дружка вашего на «скорой» увезли.

— Как увезли? Сердце?

— Может, и сердце...

— Вы дверь открывали?

— Зачем открывать? Он сам выпал. С балкона.

— ?!

— Как вы ушли, он все за угол дома заглядывал, ждал, значит. Ну и вывалился. Да прямо на листы. Его, значит, и спружинило. Он на землю скатился. Ну, без памяти, ясно. Врачи говорят, вроде целый.

— Живой?

— Был живой. Только без памяти, говорю, в полной бессознанке увезли.

Иван Иванович побежал со двора, громыхая по рассыпавшемуся кровельному железу.

— Поразительный случай,— определил врач, возвращая Ивану Ивановичу удостоверение Общества кинолюбов.— Из шока мы его вывели. Обследовали: ни сотрясения, ни царапины. Поразительный случай. Ведь седьмой этаж, не шутки. В сущности, можно его сейчас же выписывать. Но мы денька три продержим для профилактики. Просто поразительный случай.

— Можно его сейчас навестить?

— Пожалуйста. Только мы его изолировали, а то вся больница рвется на него поглядеть.

Иван Иванович прошел за белой докторской спиной по сложному лабиринту лестниц и коридоров и оказался перед дверью с закрашенными белой краской стеклянными филенками.

Врач сунул руку в карман халата, потом хлопнул себя по груди, потом — по лбу.

— Черт. Извините. Ключ забыл. Обождите здесь,— и исчез.

Иван Иванович остался один.

— Филимон,— тихонько позвал Иван Иванович и припал ухом к дверной щели.

— Принес? — неожиданно громко спросил Филькин голос прямо в ухо.

Иван Иванович схватился за сердце и через синтетику плаща ощутил тяжелую твердость бутылки.

— Я... Да...

— А трубочку не забыл?

Иван Иванович, не размышляя, сунул в карман плаща руку и извлек несколько помятую коктейльную трубочку.

— Со мной.

— Давай, Ванька!

Зажав в потном кулаке сорванную шапочку пробки и прикрывая полами плаща бутылку, из горлышка которой в скважину замка уходила трубочка, Иван Иванович ждал появления врача, и его поддерживала только слабая надежда на то, что, может быть, он сейчас спасает талантливого человека.

Случай седьмой

Снова такси, третье за сегодняшний, такой неудачный день, мчалось по просохшему от майской грозы шоссе, унося Ивана Ивановича за город, за город...

Молодая весенняя травка ровно озеленила недавно еще грязные, размытые тающими снегами обочины. Мелкие листочки придорожных деревьев сквозили, пропуская в переплетения ветвей небесную голубизну.

С поворота, когда машина взлетела на холм, вдруг открывались распаханные поля, синяя зубчатая полоска леса и, весело отражая не жаркие еще солнечные лучи, поблескивала чистой железной кровлей чья-то новая крыша. Ивану Ивановичу вместе с легким майским воздухом стали залетать в голову сладко волнующие и вряд ли полезные сомнения.

«Ну что из того, что я люблю кино, что я кинолюб? А разве нельзя любить кино и не писать сценарии? Жить вот в этом домике с новой крышей,— потекли расслабленные мысли.— Ведь я крестьянский сын, крестьянский сын... Для чего я пишу? Ведь я не хочу, как тот мой знакомый — лысенький, серенький козлик — аккуратно загребать копытцем из-под триумфальной арочки гонорарной кассы... Я пишу для того, чтобы... чтобы... А мог бы я не писать для кино? Вообще, ничего не писать?» — прямо спросил себя Иван Иванович и не нашел ответа.

Такси летело с холма на холм, Распятин угрелся на заднем сиденье, веки его отяжелели, и он не заметил, как провалился в звенящую пустоту.

Случай восьмой

Возник Иван Иванович из этой пустоты прямо у калитки в зеленом сплошном заборе, что огораживал дачу кинорежиссера Рюрика Хитрово-Дурново. Если вы думаете, дорогой читатель, что к этому моменту Иван Иванович вспомнил хотя бы строчку из своего сценария — вы ошибаетесь. Ни строчки не вспомнил Иван Иванович, ни слова, ни полслова. Но твердо помнил название «Надежда», и это само по себе обнадеживало.

Пока Иван Иванович готовился войти за калитку, прикидывая, как отнесется к его внезапному появлению собака, размеренное тявканье которой уже слышалось сквозь забор, калитка распахнулась, и Рюрик Хитрово-Дурново сам явился перед Иваном Ивановичем. Кинорежиссер был одет в долгополую женскую шубу, подпоясанную широким полосатым шарфом цветов французского флага. Из-под шубы выглядывали ноги в белой спортивной обуви. Голову покрывал оранжевый мотоциклетный шлем, подвязанный под подбородком. За черными очками-консервами невозможно было различить выражение глаз Рюрика, но это было и не нужно, потому что на лице его прочно держалась широкая белозубая улыбка.

— Здорово, дед! — крикнул Хитрово-Дурново с той неподражаемой интонацией, с которой маршал приветствует на параде воинов. Но настроение у Ивана Ивановича было совсем не парадное, и поэтому вместо ответного «ура» он только и выговорил:

— Ты, Рюрюша...

— Бегу положенных десять километров,— объявил кинорежиссер и, не разъяснив, кем и зачем положенных, миновал Ивана Ивановича и зашлепал белыми ступнями по глади шоссе.

Иван Иванович посмотрел, как шевелятся под шубой лопатки Хитрово-Дурново, и, надвинув поглубже кепку, устремился вдогонку.



На повороте, пропустив навстречу рычащий самосвал, Иван Иванович поровнялся с кинорежиссером.

— Шуба зачем? — задыхаясь, выкрикнул Распятин.

— Худею! — Рюрик со свистом дышал через нос.

— Ты мой сценарий «Надежда» читал? — не отставал Иван Иванович.

— Дыши носом,— ответил Хитрово-Дурново и наддал рыси.

Метров сто пробежали сипя. Потом Иван Иванович остановился, хватая воздух ртом, точно так, как делает это пес, который хочет изловить надоевшую муху. Меховая спина кинорежиссера быстро удалялась.

— Рюрюша! — жалостно позвал Иван Иванович и совсем потерял дыхание.

— Дома жди! — и Хитрово-Дурново, вильнув в сторону, ловко разминулся с автобусом.

Собака встретила Ивана Ивановича, как родного. Она поставила передние лапы на плечи гостю и оказалась вровень с человеком. Пользуясь этим равенством, собака отхлестала Ивана Ивановича по лицу горячим слюнявым языком, и только гость, приговаривая: «Ах ты, собачуля, хорошая, хорошая», боком взошел на веранду, отстала. Иван Иванович, отплевываясь и утираясь рукавом плаща, оглядел веранду. Во всех ее четырех углах были поставлены в беспорядке велосипеды для всех детских возрастов, требующие серьезного ремонта. Виднелась и педальная машина, доведенная до состояния консервной банки, в каких обычно рыбаки носят червей.

Среди этого хлама стоял круглый стол, накрытый клеенкой. На клеенке — самовар, банки с какими-то разноцветными массами, ваза с печеньем, вложенные одна в другую чашки и блюдца стопкой. К столу были придвинуты два плетеных стула и городская парковая скамейка, в которой не хватало нескольких досок.

Вид приготовленного к чаепитию стола вызвал у Ивана Ивановича тоскливое ощущение своего одиночества, оторванности от семьи, от тихих своих домашних радостей. Представил он себе заботливые руки жены своей Настасьи Филипповны, полные руки с округлыми локтями, как они, знакомые эти, приятные руки заваривают грузинский чай в маленьком фарфоровом чайничке с голубой каемкой по белому полю у самой крышечки — и нелепая история с пропажей желтого портфеля с чернильным пятном около застежки вместе с третьим вариантом «Надежды» показалась Ивану Ивановичу до того обидным, до того несправедливым оборотом дела, что больно заныло сразу во всех суставах и мучительно сжало где-то внутри, в желудке.

— Я ведь с утра ничего не ел,— пожалел себя Иван Иванович.

И в ожидании хозяина решил без спроса выпить чашку чая. Иван Иванович несколько боязливо тронул ладонью выпуклый бок самовара — горячий, снял крышку с поставленного в самоварную корону расписного чайника и понюхал — ароматный, и, окончательно проникнувшись идеей чаепития, устроился на парковой скамейке — неудобной.

Разноцветные массы в банках оказались фруктовыми джемами. Иван Иванович приналег на абрикосовый и, прихлебывая из чашки, все больше и больше убеждался в том, что поступает правильно.

В разгар одинокого его чаепития, когда Иван Иванович, перейдя к сливовому джему, решал про себя, хуже тот или лучше абрикосового, дверь из дома на веранду бесшумно приоткрылась и у стола возник хозяин Рюрик Хитрово-Дурново. Ни женской шубы, ни мотоциклетного шлема на кинорежиссере уже не было. Все это заменил скромный костюм из джинсовой ткани, очень ладно облегающий фигуру, и разве только совсем уж подслеповатый наблюдатель не понял бы, что перед ним моложавый, спортивный мужчина, дела которого обстоят очень неплохо, судя по широкой улыбке, как бы застрявшей в крепких челюстях.

— Чай вот пью,— сообщил Иван Иванович, стараясь придать своему лицу такое же удачливое и веселое выражение, какое было видно на лице хозяина.— Отличный чай.

— Что ты, дедок? — улыбка смялась и была проглочена.— Разве это чай? Это же отрава.— И снова улыбка выскочила на лицо.— Я сейчас тебе настоящий чай заварю. Английский с японской вишневой почкой. Ты с ума сойдешь.

И не успел Иван Иванович рта в ответ раскрыть, как кинорежиссер скользнул за дверь, ведущую в дом, и она бесшумно за ним закрылась. Иван Иванович хотел было пойти за хозяином и сказать, что чая английского не надо, а надо вернуть ему первые варианты его сценария «Надежда» или, на худой конец, хотя бы напомнить, в чем заключалось содержание.

Но, оглядев чайный стол, почти пустую банку из-под абрикосового джема и лужицу на клеенке, Иван Иванович рассудил, что в дом вслед за хозяином идти неудобно, а лучше уж подождать здесь.

Мимо веранды куда-то вприскочку пробежала собака, и Иван Иванович машинально отметил про себя чудной цвет ее шерсти, грязновато-оранжевый, и подивился странной формы короткому хвосту.

«Что за порода такая? — подумал Иван Иванович.— Где-то я таких собак уже видел».

С шоссе из-за сплошного зеленого забора доносилось жужжание моторов и щебет шин по влажному асфальту.

Хитрово-Дурново со свежезаваренным английским чаем все не было.

— Пока он там возится со своей японской почкой,— подумал Иван Иванович,— я еще этой «отравы» выпью.

И только потянулся к самоварному крану, как дверь из дома бесшумно приоткрылась и...

«Так вот оно, оказывается, как начинается,— пронеслось в натруженных с утра мозгах Ивана Ивановича,— сначала полная утрата памяти, а потом вот это... зрительная галлюцинация...»

А зрительная галлюцинация подошла тем временем к чайному столу и, не обращая никакого внимания на Ивана Ивановича, стала убирать чашки. Мышцы под кожей галлюцинации перекатывались, как арбузы в мешке, и, когда галлюцинация протянула руку к самовару, раздался мелодичный серебряный перезвон. Этот перезвон привел Ивана Ивановича в чувство. Огромный голый негр, в одной лишь набедреной повязке из цветастого ситчика, от горла до пупа татуированный, убирал чайные чашки, позванивая серебряными браслетами, скользящими по запястьям.

— Помогите! — хотел было крикнуть Иван Иванович, но, не в силах оторвать глаз от черного гиганта, только прошептал:

— Мир — дружба.

Улыбка, еще более широкая и белозубая, чем у Хитрово-Дурново, проглянула на черном лице, будто в полной темноте вывесили белый флаг. Все еще плохо веря в реальность происходящего и пуще всего боясь, что его не поймут, Иван Иванович, по проверенному русскому способу разговаривать с иностранцами, выкрикнул по слогам:

— Рю-рик где? Рю-рик?

Негр, напружинив могучую шею, издал звук, который производит тяжелый шкаф, когда его удается сдвинуть с места. А после этого заговорил чистым русским языком, тихо и напевно:

— И-и, гостюшко, уехамши наш Рюрик, в еропорт отбымши. Сердцем присох весь до лады своей. Так что подался ён ужо к себе, в Новую Гвинеюшку.

Всхлипнул негр, смахнул набежавшую слезу и спросил радушно:

— Может статься, вздремнуть с дороги пожелаете? — и широким гостеприимным жестом провел плавно руку над парковой скамейкой, на которой сидел Иван Иванович, причем браслеты опять приятно зазвенели.

Как ни был Иван Иванович потрясен былинным говором обрусевшего негра и как ни слаба была сейчас его память, он все же вспомнил, что Рюрик Хитрово-Дурново по неисповедимой случайности, а может, вследствие каких-нибудь других причин, женат на папуасской принцессе, которая училась в Москве в каком-то институте, и ей по Международному соглашению полагались слуги.

И понял, что в настоящий момент вместо того, чтобы заваривать обещанный английский чай с японской вишневой почкой, Рюрик отбыл в Шереметьевский аэропорт, чтобы оттуда лететь к жене на Новую Гвинею.

И ему, Ивану Ивановичу, в таком случае, делать здесь нечего.

Иван Иванович сердечно простился с ласковым негром и заторопился прочь со двора.

«Вот,— думалось Ивану Ивановичу, пока он шагал до калитки в сопровождении собаки.— На первый взгляд вроде бы негр, а в остальном прямо русский человек. Ведь всплакнул даже по хозяину и прилечь мне предложил. А взять хотя бы Рюрика, ну что в нем русского осталось?»

И загрустил Иван Иванович уж по совсем бессмысленному поводу, что не всякий Петров — каменный, не всякий Семенов — семейный, не всякий Сидоров имеет возможность драть козу и не всякий Иванов — русский.

«Э-эх,— заключил свои мысли Иван Иванович,— если так дальше пойдет, от нас одни фамилии останутся».

Иван Иванович открыл калитку. Собака села на дорожку и облизнула морду толстым розовым языком.

— Ах ты, собачуля, собачуля,— сказал Иван Иванович, чтобы хоть как-то отвести душу.

Собака посмотрела на Ивана Ивановича, разомкнула крепкие свои челюсти и — хотите верьте, хотите — нет,— расхохоталась. Да, расхохоталась диким, нервным смехом.

Иван Иванович захлопнул калитку и побежал по шоссе, увертываясь от встречного транспорта. Пробежав единым духом километра полтора, он вдруг понял, где ему приходилось раньше видеть таких собак: много лет назад Иван Иванович водил в зоопарк свою маленькую племянницу и долго торчал вместе с ней у клетки с гиеной.

Случай девятый

О, первый, или главный, павильон Центральной столичной киностудии! Приветствую тебя. Под твои высокие, как небо, колосники, замирая от волнения, вступила когда-то моя актерская юность.

Разве можно забыть хватающий за нос тухловатый запах клеевой краски, причудливо смешанный с освежающей духовитостью свежеструганного дерева.

А беспорядочный стук усердных молотков, когда вдруг обнаруживается, что стена в декорации по чьему-то недосмотру не закреплена и только чудом не обрушилась на расположившуюся именно под ней съемочную группу вместе с кинокамерой и автором сценария, забредшим в павильон, чтобы внести еще большую сумятицу в и без того запутанный съемочный процесс.

А настороженное змеиное шипение раскаленных углей в груди пучеглазых прожекторов, последние торопливые взмахи гримерской пуховки и окончательный атакующий вопль режиссера: «Мотор!». И впервые такое странное цикадное стрекотание камеры и вы,— бесценный Оскар Леонтьевич!

Вы поверили в меня, совсем еще юного, незрелого лицедея, и со свойственной вам решительностью велели безжалостно выстричь и выкрасить серебряным колером мои русые волосы и, приклеив мне на верхнюю губу, еще не знавшую бритвы, жесткую щетку седых усов, вытолкнули меня под ослепительный свет прожекторов.

Как я старался, о, видит бог, как я старался! Еще бы! Я не все знал тогда о вас, но знал уже достаточно. Я знал, например, что еще до революции ваша кинокартина «Дворцовые сумерки» наделала много шума. Доподлинно известно, что когда министр двора барон Фредерикс на вопрос государя о вашей фамилии ответил: «Монблан», государь сказал ему: «Ты у меня дошутишься». Я знал, что за годы Советской власти вы дважды отмечали свое шестидесятилетие, и ваш второй юбилей прошел даже с большим триумфом, чем первый.

И сейчас, когда русые мои волосы серебрит уже естественный колер, а вы — я слышал — намереваетесь вскоре в третий раз отмечать свое шестидесятилетие, я шлю вам свои самые лучшие пожелания. Вы — залог нашей вечной юности. Ведь пока вы с нами, мы, кинолюбы, не более как мальчишки, даже те, кто успел уже покрасоваться в просторном кресле под вызолоченными фанерными цифрами «60».

Примерно те же чувства, что неуклюже высказал только что автор, испытывал и его герой, переступивший порог главного павильона, где Оскар Леонтьевич осуществлял съемочный период фильма «Наш Фарадей». Иван Иванович не был сценаристом этого фильма — сценарий написал сам Монблан — и появился здесь потому, что Оскар Леонтьевич являлся старейшим членом художественного совета и лично присутствовал на обсуждении одного из вариантов «Надежды». Словом, Иван Иванович недаром здесь появился, как ему справедливо представлялось.

Наш герой, прежде чем войти в павильон, проявил абсолютное понимание съемочной процедуры. Он терпеливо дождался, когда на стене, у гигантских, обитых кровельным железом ворот павильона, погасла треугольная светящаяся надпись «Тихо — съемка», и только железная стена слегка раздвинулась, ловко протиснулся в ущелье, шепнул дежурной привратнице: «К Монблану по творческим...» и, петляя в нагромождении декораций, счастливо вышел на свет прямо к месту съемки.

Осветители, повинуясь повелительным жестам оператора, перетаскивали приборы.

Режиссера Иван Иванович определил сразу по знаменитому матадорскому берету. Монблан помещался в парусиновом шезлонге в тени кинокамеры и ритмично похрапывал.

Иван Иванович вышел на режиссера сзади и по этой причине не видел лица Оскара Леонтьевича, а наблюдал под залихватски загнутым беретом только заросшее каким-то диким мхом большое ухо. И с этим мохнатым ухом Распятин по-солдатски, весело и громко, поздоровался:

— Здравия желаю, Оскар Леонтьевич!

Монблан пробудился от сна так мгновенно и так живо повернулся на голос, что создалось впечатление, будто он вовсе не спал, а притворялся спящим. Хотя досконально изучившие режиссера старые сотрудники клялись, что он в такие моменты спит и даже видит сны.

— Оу! — приветливо вскричал Оскар Леонтьевич, растопыривая руки, в одной из которых держал тросточку, увенчанную змеиной головкой — подарок Веры Холодной.— Здравствуйте, дор-р-рогой! Очень р-р-рад! Пр-р-рошу! — и, весело раскатывая «р», вывернул свободную ладонь, указывая на пустое место рядом с собой, как бы предлагая Ивану Ивановичу немедленно садиться.

— Нюся! Ко мне!! Сюда!!! — тут же еще громче закричал режиссер, словно он провалился в трясину и сейчас же погибнет, если ему не протянут руку помощи.

Нюся — немолодая женщина на быстрых тонких ножках и с кукольно-хорошеньким лицом в мелких морщинках — отделилась от группы загримированных актеров и устремилась на зов.

— Нюся,— сказал ей Оскар Леонтьевич, несколько успокаиваясь.— Нам, наконец, прислали нового практиканта. Прошу любить и жаловать.

И, улыбнувшись Ивану Ивановичу, прокурлыкал по-голубиному:

— Дерзайте, дор-р-рогой...— при этом глаза Оскара Леонтьевича за стеклами очков увлажнились как бы слезами умиления. Иван Иванович вовсе не собирался дерзать и при таком внезапном предложении стушевался.

Нюся, метнув на Ивана Ивановича оценивающий взгляд и, очевидно, сразу сообразив, что он не похож на практиканта, спрятала личико под кровлю лихого берета и зашелестела оттуда неразборчивым шепотком.

— А? Что? Кого? — громко переспрашивал Оскар Леонтьевич, постепенно багровея под действием Нюсиного шелестения.

— Простите, голубчик,— упавшим голосом обратился он к Ивану Ивановичу, отстраняясь от Нюси и блеклыми зрачками разглядывая Ивана Ивановича поверх сползшей на кончик носа тяжелой оправы.— Простите, родной. Я вас перепутал...— игриво хмыкнул, прыснув пухлыми, младенчески пунцовыми губами; тростью, змеиной ее головкой, подсадил повыше оправу и вдруг, грозно нахмурившись, вопросил:

— Вы от Сергея Михайловича? Мы с ним не виделись после премьеры второй серии «Пляски опричников». Как его драгоценное здоровье?

Ивану Ивановичу следовало бы сказать, что он вовсе не от Сергея Михайловича, что Сергея Михайловича давно нет на свете и хотя бы поэтому ни о каком здоровье творца «Пляски опричников» речи быть не может, но сквозь задымленные стекла очков Монблана на Распятина недвусмысленно глядело само неумолимое время, и несчастный Иван Иванович сказал слова, которые потом не мог себе простить.

— Спасибо, здоровье хорошее! — вот эти постыдные слова Ивана Ивановича.

Трудно предположить, чем бы завершился так нестандартно начатый диалог, если бы к шезлонгу режиссера не подошел главный актер фильма «Наш Фарадей». Портретное сходство актера с Фарадеем, очевидно, было изумительным, иначе,— подумал Иван Иванович,— зачем было залеплива́ть живое лицо искусно сделанной резиновой маской, частично захватывающей даже уши.

— Что тебе, Федя, дор-р-рогой? — грудным воркующим тембром отнесся Оскар Леонтьевич к актеру.

— Я — Коля,— сказал актер, дергая коленкой.— Мне сейчас Нюся дала новый текст. Его языком не провернешь. Я этот текст говорить не стану.

— Не станешь?! — возопил Оскар Леонтьевич, воздев кверху руки вместе со змеиной головкой.— Да это же любимые слова Фарадея. Мы их всю ночь сочиняли... вместе с консультантом,— и почему-то ткнул пальцем в Ивана Ивановича.

Живые глаза актера проследили палец и загорелись лютой ненавистью в прорезях резиновой маски.

— Я вашего консультанта...— прохрипел актер.

Этого еще не хватало, струхнул Распятин.

— Говорить не стану...— страшным шепотом продолжил актер.

— Молодец, э-э, Андрюша,— Монблан неожиданно обнял актера.— Не станешь и не надо,— и расслабленно завалился в шезлонг.— Фарадей молчит — это тоже интересно.

— Кого ждем, сами себя задерживаем! — раздался женский голос из группы актеров.— Давайте репетировать!

— На место, Коля, соберись. Ты уже больше не Коля — ты Фарадей! Фарадей! Фарадей! — И взмахнув тростью, трубно пропел: — Внимание! Репетиция, одновременно съемка!

Ударяясь коленками о косяки декораций, Иван Иванович выкатился из павильона и по нескончаемо долгим коридорным переходам устремился к выходу.

Но как ни спешил Иван Иванович, чьи-то звонкие шаги нагнали его на одном из крутых поворотов и, дробно заложив вираж, обошли.

Ароматный вихрь всколыхнул застоявшуюся коридорную атмосферу.

Если бы Иван Иванович был, допустим, бабой-ягой, он тут же должен был сказать, потянув носом:

— Европейским духом пахнет! — и оказался бы прав.

Он сразу же узнал обогнавшего его, хотя увидел только в спину, выше которой игриво подпрыгивали искусно завитые кудри, а ниже — развевались отглаженные фалдочки безупречного пиджака. Спина эта быстро удалялась в кастаньетном перестуке каблуков, да иначе и быть не могло. И не таких увальней, как наш Иван Иванович, мгновенно обходил на крутых поворотах подававший все, какие только есть, надежды режиссер Ион Смугляну. В любом его фильме люди, события, время отражались ярко, нарядно и выпукло, как отражается окружающий мир в мыльном пузыре.

И сейчас он смело шел к своей новой цели, а именно: воплощал на экране бессмертный рассказ А. П. Чехова «Каштанка».

Иван Иванович по профессиональной своей добросовестности нет-нет да почитывал новые сценарии, принятые к постановке, чтобы быть, так сказать, в курсе.

Сценарий по мотивам «Каштанки» он тоже прочел. И хотя ничего из своего произведения вспомнить и сейчас не мог, но, как это ни странно, полностью восстановил в памяти поразившие его откровения чужого творчества.

А по мотивам А. П. Чехова у Смугляну выходило вот что: у старого столяра Луки Александровича была внучка, из-за цвета волос прозванная Каштанкой. Когда дедушку посадила царская охранка за нелегальную революционную деятельность, юную Каштанку сманили бродячие цыгане. В таборе раскрылся удивительный талант внучки столяра. Случилось так, что однажды она плясала на улице за кусок хлеба насущного. Ее увидел известный антрепренер и немедленно взял в свою балетную труппу. Здесь вместе с артистами Иваном Ивановичем Гусевым и Федором Тимофеевичем Котовым, благодаря их бескорыстной помощи, Каштанка достигла высот танцевального мастерства.

Антрепренер, видя, как оборачивается дело, и желая нажиться, повез Каштанку в турне по Европе. Хозяин грубо приставал к талантливой Каштанке с гнусными предложениями, но ее защищал Иван Иванович Гусев, пока не угодил под лошадь в самом центре Парижа. Не в силах пережить смерти друга, Федор Тимофеевич Котов отравился мышьяком в трущобах Монте-Карло. Каштанка с трудом перенесла утрату товарищей, но продолжала повсюду за границей утверждать славу русского балета. Ох, и натерпелась она, бедная, в чужих странах, но по ночам ей снились столярная мастерская, клей и стружки, и становилось легче.

Очень плохая артистка Хавронья Ивановна завидовала Каштанке и шпионила за ней. Но в Женеве Каштанка познакомилась с Федором — русским политическим эмигрантом. От него она узнала, что в России произошла Революция. Федор открыл Каштанке глаза на все, чего она раньше не замечала, и они решили вместе вернуться на Родину. Влюбленный антрепренер и Хавронья Ивановна, конечно, не смогли их удержать.

С огромным трудом добирались домой Федор и Каштанка, которую он для конспирации звал «Тетка». Куда только их не бросала судьба: то в Рим, то в Лондон. Занесло их даже в Венецию и Амстердам. Но, наконец, дома! На первом же концерте Каштанка узнала в публике дедушку Луку Александровича. Произошла душераздирающая радостная встреча, после которой Каштанка вышла замуж за Федора. Молодых всем табором поздравляли цыгане. На свадьбу Федор подарил Каштанке молодую рыжую собаку, помесь таксы с дворняжкой, очень похожую мордой на лисицу.

И все эти мотивы назывались поэтично: «Ее волос летучая гряда».

Все, все, вплоть до росчерка Пустомясова «утверждаю» очень отчетливо вспомнил Распятин, двигаясь в ароматной одеколонной струе, и ему так захотелось на свежий воздух, что он едва не лишился чувств. Только за пределами Центральной киностудии Иван Иванович осознал, что «Надежда», может быть, еще не окончательно потеряна для него.

Случай десятый

Нельзя составить окончательно верного представления ни о каком русском человеке, если не знать его жены.

Уже где-то в начале, если вы заметили, промелькнуло упоминание о Настасье Филипповне, жене Ивана Ивановича. Уже упомянуто было, между прочим, что у нее были полные руки с округлыми локтями. И даже проскользнуло о руках, что они были «приятные». А это немало, ой, как немало! Узнать, что жена интересующего вас лица обладает приятной полнотой, немаловажно.

Заметьте, сам Иван Иванович вспоминал руки Настасьи Филипповны еще и как заботливые. Вот только произведя сложение приятной полноты с полезной заботливостью к мужу, можно позволить себе рассматривать Ивана Ивановича с семейной точки зрения.

Заботливая жена, обладающая приятной полнотой, да еще умеющая при этом вкусно заваривать чай, безусловно, представляется нашему взору верной подругой своего мужа. И уж, конечно, знающей не только то, что творит ее муж в настоящий момент, но все, что он натворил в прошлом и собирается натворить в скрытом от него самого будущем.

Так почему же, вправе спросить семейные читатели, почему Иван Иванович не обратился к жене своей сразу же, как только утратил рукопись, замкнутую в желтом портфеле с чернильным пятном около застежки, а вместе с рукописью и творческую память? Разве Настасья Филипповна не была знакома с «Надеждой», пусть не со всеми тремя, но хотя бы с одним ее вариантом? Или автор нарочно не обращает мысли своего героя на верный путь, чтобы по возможности раздуть события на много страниц и таким нечестным образом побольше заработать в случае опубликования всей этой нелепой выдумки?

Честное слово, уважаемые читатели, автор здесь не виноват. Автор никогда бы не рискнул навязывать Ивану Ивановичу какие-нибудь не свойственные ему поступки. А тем более утверждать, что Настасья Филипповна понятия не имела о всех трех вариантах, сочиненных ее мужем. Имела, дорогие читатели. Еще бы не иметь! Но...

Иван Иванович, находясь в процессе творчества, а это чаще всего происходило ночью, когда замолкают уличный шум и телефонные звонки — обычно время от времени будил Настасью Филипповну, чтобы немедленно зачитать ей вслух наиболее удачные места из сценария, и требовал немедленно выразить свое мнение по поводу прочитанного, не обходя отдельных деталей и не упуская из виду общую концепцию.

— Ах,— воскликнет разочарованный читатель,— какая жалкая увертка! Придумал, что Настасья Филипповна, разбуженная среди ночи, конечно, ничего не соображала со сна и потому...

Да нет же! Нет. Все она соображала, все слушала и выражала. Не в этом дело.

— Что же тогда,— спросит читатель,— ваша Настасья Филипповна была беспамятна или равнодушна к творчеству, как Райка-Попрошайка?

Вовсе нет. Настасья Филипповна не была ни беспамятна, ни равнодушна. Она точно знала, когда и с кем Иван Иванович заключил авторский договор, в какой срок рукопись должна быть сдана, в каком количестве экземпляров, какова сумма аванса и полного расчета с вычетами и без вычетов.

— Выкручивается,— не поверит раздраженный читатель.— Почему же она не знала содержания?

Да потому, строгие мои судьи, что Настасья Филипповна была идеальная жена.

Она любила Ивана Ивановича, своего мужа, и старалась по мере сил облегчить его заботы. Беготня по редакторам и другим должностным лицам, закупка писчей бумаги, расчеты с машинистками — во всем этом Настасья Филипповна принимала самое живое участие. Она любила мужа, ей нравилось, что ее Ваня — писатель, кинодраматург, хотя процесс творчества... Она видела, как Иван Иванович, создавая свои сценарии, засиживается до рассвета над рукописью, курит непозволительно много, невпопад отвечает днем на простые вопросы, вроде: «Ваня, ты куда опять задевал грязную рубашку в синюю полоску?», вскакивает посреди обеда из-за стола и опрометью бросается перечеркивать что-то в своих листочках.

В общем, видела, как он мучается.

И, когда Иван Иванович будил ее среди ночи и читал ей свои рукописи, Настасья Филипповна слушала его, как постоянно слушала днем радио — совершенно механически, а сама внимательно следила за малейшими изменениями любимого лица, подмечала, сколько еще седины прибавилось в поредевших Ваниных волосах, как пополнели и опустились щеки, и запоминала выражение лица Ивана Ивановича при чтении разных слов, а поэтому ненадолго запоминала и эти слова.

А после чтения, когда он спрашивал:

— Ну как тебе, Настенька? — задумывалась для вида и говорила о том, что, она видела по его лицу, ему самому нравилось.

— ...Вот когда он к ней подошел,— говорила она,— и смотрит на нее, и молчит — это хорошо, Ваня, трогательно и правдиво. И в конце мне понравилось.

— Когда они расстаются? — тревожно уточнял Иван Иванович.— Или потом, когда он один?..

— Да и это... и потом, когда один. Нет, очень хорошо, Ваня. Они у тебя как живые.

И, чтобы Иван Иванович не заподозрил, что жена жалеет его, а не выдуманных им героев, спешила немного покритиковать:

— Только место действия ты, по-моему, выбрал неправильно. Ну почему над рекой, на круче? Может быть, где-нибудь еще?

Иногда Иван Иванович благодарил жену за критику и исправлял в рукописи, а чаще приходил в ярость, доказывал свою правоту, и даже до ссоры иногда доходило.

Настасья Филипповна тогда плакала, как Иван Иванович думал, оттого, что он на нее накричал, а на самом деле плакала она, что не угадала, как надо было безболезненно для него покритиковать. Но и оттого, что накричал, тоже, конечно. Любящим женским сердцем своим Настасья Филипповна верила, что Ваня ее — талант, а значит, лучше знает что и как надо. Лишь бы не чувствовал себя одиноким.

Иван Иванович не раз имел случай убедиться, что в голове Настасьи Филипповны все его сценарии сложились в одно большое бессюжетное сочинение, в котором герои действуют трогательно и правдиво, как живые, а зачем они там действуют и как их зовут, ему, Ване, лучше знать.

И вот то, что ему полагалось знать лучше всех, Иван Иванович теперь не знал — забыл.

Вот так, дорогие мои читатели, а вы сердиться вздумали. Но Ивану Ивановичу сейчас ни до вас, хоть вы и критики, и ни до меня, хоть я автор,— дела нет. Он снова в пути.

Случай одиннадцатый

Хорошо всем известный в Столице Дом просмотров по его значимости и архитектуре можно смело сравнить с головой такого сложного организма, как Общество кинолюбов. Навстречу посетителям разверзается мраморная пасть парадной лестницы, и через эту пасть посетители попадают в черепную коробку гигантской этой головы, точнее в лобную ее часть.

Лобная часть горизонтально разделена на две половины: нижнюю, так сказать, подсознательную, где располагаются буфеты и буфетики, и верхнюю, сознательную, где амфитеатром возвышаются ряды кресел и прячется за бежевым занавесом серебряная полоса экрана.

Творческие отделы Общества находятся в затылке, куда можно проникнуть через дверь-ухо или проскочить за щекой, то есть между центральной лестницей и боковой стенкой. А в дальнем пределе затылочной части, как бы в самом мозжечке, оборудован личный кабинет Эмиля Захаровича Фамиозова — директора-распорядителя. Если решить, что Дом просмотров — определенно голова, то само Общество кинолюбов требует более масштабного сравнения: справедливо будет сравнить его с морем, а уж пойдя на такое сравнение, следует уточнить, что море это — Аральское.

Действительно, за долгие годы существование Общества оставалось незыблемо спокойным, совершенно как неподвижная поверхность Аральского моря. Но под этой гладкой для постороннего наблюдателя поверхностью кипела самая активная деятельность, и желающему занырнуть поглубже бросились бы в глаза не только привлекательные морские звезды разной величины, но могли бы его коснуться и обжигающие щупальца осьминога... Короче говоря, он бы увидел все, чем известна и богата морская фауна и флора. Продолжая морское сравнение, можно безошибочно утверждать, что директор-распорядитель чувствовал здесь себя как рыба в воде. Даже как две рыбы — такова уж была внешность директора-распорядителя. На мягких ногах, напоминающих раздвоенный рыбий хвост, колыхалась гладкая, без плеч акулья туша, несуразно оканчивающаяся судачьей головой.

Выпуклые рыбьи глаза с водянистыми зрачками полностью заполняли оправу очков. Короткие руки-ласты прятались в рукавах курточки, почему-то излюбленного Фамиозовым мальчикового фасона, хотя по бокам черепа сизой чешуей отливала седина.

Да что там внешность! Даже вслушиваясь в интонации голоса директора-распорядителя, запросто можно было увериться, что наступило то самое сказочное время, когда рыба заговорила: столько там слышалось акульей самоуверенности и судачьего хладнокровия.

И вот этого человека-амфибию при очень странном занятии предстояло вскоре застать Ивану Ивановичу, когда уже под вечер, после безрезультатной поездки за город надежда привела его к Дому просмотров.

А надеялся Иван Иванович застать здесь известного кинокритика Натана Разумненького, последнего из членов художественного совета, кто должен был знать, что именно писал Распятин в утраченном вместе с памятью сценарии. Отношения с этим критиком сложились самые хорошие. Иван Иванович даже по примеру друзей Натана Разумненького звал его запросто Наташа, и строгий критик охотно откликался. Уж кто-кто, а Наташа с его прославленным интеллектом наверняка помнит сценарий и, возможно, даже никуда не задевал рукописи предыдущих вариантов.

Иван Иванович протолкался сквозь толпу прыщеватых юнцов и клоунски раскрашенных девиц, толпящихся у входа в ожидании волшебного случая проникновения в Дом просмотров без всякого на то права.

Но в контрольных дверях Распятин застрял.

— Что это вы мне показываете? — брезгливо процедила седовласая матрона в малиновой униформе.

— Как, что? Удостоверение члена Общества... я...

— Вы что, с луны свалились? Удостоверения нынче другие, новые, в малиновой коже. Эмиль Захарович распорядился еще в прошлом годе обмен закончить... Уберите,— и она оттолкнула руку Ивана Ивановича.

— Но я член Общества, сценарист... Мне...

— Ничего не знаю. Ступайте к Эмилю Захаровичу, если он разрешит — пожалуйста...

И, с неожиданной в пожилой женщине силой отодвинув Распятина от входа, малиновая матрона стала пропускать мимо себя раздушенное каре каких-то дам.

Пришлось подчиниться.

Иван Иванович поплелся к боковой двери-уху. Здесь он пошел на хитрость. На вопрос дежурной: «Вы куда?» — ответил развязно: «В ресторацию!» — и его сразу пропустили.

Вероятность застать Фамиозова в его кабинете была ничтожно мала. Директор-распорядитель скорее всего уже около буфетов, заглатывает бутерброд с двойной икрой, но вдруг... Вдруг его задержали допоздна какие-нибудь срочные дела?

Распятин достиг нужного этажа, вступил на ковровую дорожку коридора и стал наугад дергать ручки дверей секционных помещений. Первая дверь оказалась запертой, вторая тоже. Третью Иван Иванович распахнул во всю ширь и обомлел. За канцелярским столом сидела огромная черная жаба, а перед ней в глубокой тарелке копошилась всякая жабья снедь: жучки, паучки, червячки, комарики. Жаба сама, видно, перепугалась, выпучила черные влажные глазищи, но Иван Иванович уже запахнул дверь. И тут ему бросилась в глаза табличка на двери «Секция мультипликации».

«Ох,— подивился про себя Иван Иванович, смахивая со лба выступивший с перепугу пот и постепенно успокаиваясь,— ох, уж эти мультипликаторы... Всегда придумают что-нибудь... мультипликационное».

Но вслед за этим рассудил: «Как же это так? Сначала гиена там, потом жаба здесь. Плохо твое дело, Ваня. Психика-то здорово пошаливает. Того гляди, какое-нибудь чудище померещится. К врачу бы тебе, Ваня...»

— Плевать! Сам превозмогу весь этот зоопарк,— вслух ответил своим сомнениям Распятин.— Буду надеяться. Мне бы только сценарий напомнили, и никакого врача не надо.

Оказавшись в конце коридора перед дверью Фамиозова, Иван Иванович потянул без предварительного стука за ручку. Дверь подалась, и он заглянул в образовавшуюся щелку. Не надо было так делать! Не надо. Уж сколько раз твердили миру, что прежде чем войти в чужое обиталище, надо хотя бы постучать. Это не только вежливость по отношению к находящимся внутри, это еще и мудрая предосторожность, оберегающая посетителя от всяких, может быть, роковых неожиданностей.

Зрелище, которое предстало Ивану Ивановичу в дверной щели, превосходило эффект появления жабы и было не менее потрясающим, чем падение Ужова с седьмого этажа.

Во-первых, потрясало уже то, что Иван Иванович застал директора-распорядителя за его деловым столом. Но это так, цветочки. А вот ягодное место: напротив Фамиозова, расположившись в мягком кресле, совершенно как человек, сидел настоящий, пусть несколько потертый, пусть со слегка облысевшей гривой, но все еще царственный лев. Да, лев, самый настоящий.

Но окончательно поразительное заключалось в том, что Эмиль Захарович этого льва, по-видимому, не боялся. А наоборот, протянув к нему рукав мальчиковой курточки, почесывал льва под подбородком, отчего лев сонно жмурился и сладко мурлыкал.

Эта странная пара, занятая странным делом, как-то не вязалась с обстановкой кабинета, где по стенам на красочных плакатах рабочие штурмовали Зимний, дымил трубами легендарный броненосец «Потемкин», и молодой солдат, напоминающий Ивана Ивановича прошлых лет, прощался с девушкой, чтобы навсегда уйти от нее в свою балладу.

И увидел Иван Иванович, как Фамиозов, продолжая одной рукой почесывать льва, другой выдвинул ящик стола, достал оттуда чистую бумагу с грифом Общества кинолюбов, пододвинул лист по полированной поверхности стола ближе ко льву и рыбьим своим голосом произнес только одно слово: «Подпиши».

Лев пошевелил усами, наморщил свирепо нос, а потом лениво протянул лапу, в которую Эмиль Захарович проворно вложил шариковую ручку.

Тут Иван Иванович потерял над собой контроль: тоненько пискнул от изумления.

Две головы одновременно — судачья и львиная — обернулись на жалкий этот звук. Но Ивана Ивановича уж и след простыл.

Львы в кинематографе не редкость.

Были и берберийские, и какие хотите. Но чтобы так, в кабинете, с шариковой ручкой в мягкой лапе...

Иван Иванович свергся по лестнице, заметался в переходах, что-то пересек, куда-то свернул и неожиданно очутился у мраморной лестницы Дома просмотров.

Отсюда, Иван Иванович знал по опыту, гнать уже никто не станет, и можно без помех отдышаться и осмотреться.

Первое, что бросилось в глаза Ивану Ивановичу, был печатный плакат, на котором под портретами двух безвременно ушедших, прославленных основоположников нашего кинематографа жирными буквами объявлялось, что состоится юбилейный вечер, посвященный восьмидесятилетию знаменитых кинобратьев. Иван Иванович приблизился к плакату. Нет, глаза не обманывали его. В нижнем правом углу мелким шрифтом значилось, что плакат напечатан в Бюро агитации за советское киноискусство.

Этот мелкий шрифт доконал нашего героя. Он осел, ухватившись за колонну.

Психически здоровый человек, каким безусловно являетесь вы, уважаемый читатель, здесь поймет бедного Ивана Ивановича.

Ведь знаменитые кинобратья никогда не были братьями по крови, а тем более близнецами. Один из них родился в тысяча восемьсот девяносто девятом году, другой — в тысяча девятьсот первом, и у них никак не могло быть общего восьмидесятилетия.

И только с рыбьим хладнокровием и акульей наглостью Фамиозова можно было распорядиться отпечатать такой плакат и отмечать среднеарифметический юбилей.

Просто Иван Иванович, даже в состоянии нервного расстройства, еще продолжал любить кино.

Пока администратор Дома просмотров, сердобольная женщина, оттащив Ивана Ивановича за колонну, давала ему нюхать нашатырь из личной своей аптечки, начало юбилейных торжеств неуклонно приближалось.

Проезжую часть и даже тротуары перед входом заполнили автомобили завсегдатаев.

Рискуя раздавить кого-нибудь в этой сутолоке, подъезжали одно за другим лихие такси, высаживая все новых и новых счастливцев.

Кого тут только не было!

Пышные дамочки, заведующие столами заказов во всех гастрономах Столицы, модные портнихи, элегантные дамские парикмахеры, ловкие мастера автосервиса, дорогие дантисты, строгие сотрудники ГАИ в штатском, председатели жилкооперативов и, конечно, члены Общества кинолюбов с женами, мужьями и без.

Буфетный этаж густо заполнялся публикой, которую раздевали гардеробы и поглощала отверстая пасть лестницы.

У кофейной стойки в группке иностранных гостей уже виднелась голова Макара Аполлоновича, простым совершенством формы напоминающая шляпную болванку.

Новички, впервые попавшие в Дом просмотров, беззастенчиво таращились на знаменитых артистов, сгорая от желания личного знакомства, чтобы потом наврать сослуживцам: ох, и погуляли мы вчера со Славой... Олежкой... Никитой...

Пронесся слух, что великий фильм славных юбиляров по каким-то причинам не могут доставить вовремя и сначала покажут ленту Макара Аполлоновича «Черви-козыри», к содержанию которой даже самые льстивые поклонники не смогли приплести хоть какой-нибудь смысл.

Никто не решался проверить слухи о просмотре у самого Макара Аполлоновича, а он тем временем вдохновенно обучал иностранцев теоретической стороне изготовления сибирских ватрушек, собственноручной выпечкой которых прославился на весь киномир.

Случай двенадцатый

А Иван Иванович, надышавшись нашатырным спиртом, бродил среди разношерстной толпы и убеждался, что Натана Разумненького нет как нет.

— Прости, пожалуйста,— обратился он к знакомому популярному актеру, о котором часто писал нужный Ивану Ивановичу критик,— ты... Натана не видел?

Популярный актер пытался пристроить высокий коктейльный бокал и тарелку с пухлым пирожным на ограду лестницы. После вопроса Распятина он выронил пирожное, наступил в него замшевой своей туфлей и уставился на Ивана Ивановича ласковыми овечьими глазами.

— Вань, ты про кого спрашиваешь?

— Про приятеля твоего, Разумненького, про Наташу.

— Какую Наташу?

— Не дури,— Иван Иванович сморгнул.— Мне не до шуток. Может, видел Разумненького?

— Разумненьких много, а глупеньких еще больше. Я тебя, Иван Иванович, не понимаю. Тебе Наташу Шероховатову? Так вот она, кофе пьет.

— Да не Шероховатову, а Натана Разумненького, критика...

— Ну, ты даешь...

Популярный актер пожал плечами и поспешно отошел, оставив после себя раздавленное пирожное.

«Тоже чокнутый, вроде меня»,— решил Иван Иванович.

И тут на Распятина, как вихрь на копенку, налетел Венька Дрыгунов, наголо бритый апоплексический толстяк, хам, трепач, озорник, подхалим, бездельник, трус, провокатор, обжора и наглый расчетливый пройдоха.

— Ух, Распятин! Ух, Вано! Не ходи, дружок, в кино,— сымпровизировал он с притворной веселостью, зачем-то облобызал Ивана Ивановича мокрыми губами и слегка куснул за ухо.

— Ты, говорят, гениальный сценарий написал? Я никому не скажу, что все у меня украдено. С тебя причитается,— и заорал по направлению к буфету: — Клавочка, шампанского великому писателю земли русской!

— Кончай свои штучки,— Иван Иванович страдальчески поморщился.— Ты Разумненького не видел, Натана?

— Кто бы это мог быть? — возведя к потолку бельма, задумался Венька.— Что-то я такого не знаю.

— Шут ты, шут гороховый,— в сердцах сказал Иван Иванович. Но Дрыгунов уже расталкивал публику, наметив новую жертву, и кричал:

— Иннокентий, я всегда говорил, что ты — гений! Сегодня в ресторане выбросили миноги, ты меня, конечно, приглашаешь?

Разумненький все не попадался, зато судьба послала Распятину другого критика.

Иван Иванович сразу отличил в толпе его красивое, женоподобное лицо, которое несколько портили глаза, налезающие друг на друга над тонкой переносицей. Косого критического взгляда Эдгара Фельдфебелева побаивались многие. Зная это, известный критик не навязывал свое общество людям, но Разумненького, своего собрата по цеху, выделял и ценил, и от него часто слышали: «Мы с Натаном считаем, что...»

«Вот этот мне поможет»,— возрадовался Иван Иванович.

— Добрый вечер, Эдгар Эдуардович.

Фельдфебелев втянул длинненький лиловатый язык, при помощи которого добывал из вафельного стаканчика мороженое, и, непонятно куда направив ускользающий взгляд, вежливо ответил:

— Добрый вечер. Распятин, если не ошибаюсь?

— Он самый,— Ивану Ивановичу стало тепло на душе. «Вроде в сторону смотрит, а сразу меня признал. Вот что значит по-настоящему интеллигентный человек».

И почти не сомневаясь, что сейчас ему повезет, спросил тоже очень вежливо, в тон критику:

— Вы не подскажете, здесь ли Натан Михайлович Разумненький?

— Как вы сказали? — Иван Иванович никак не мог поймать взгляд собеседника.— Я не понимаю, что вы имеете в виду?

— Как же? — губы Ивана Ивановича задрожали.— Критик Разумненький, вы часто вместе...

— Вы меня с кем-то путаете, любезный,— голос Фельдфебелева неприятно заскрипел.— Извините, меня ждут,— и величественно стал удаляться, покачивая бедрами.

Иван Иванович провожал его взглядом и вдруг с ужасом увидел, что никакой это не критик Фельдфебелев, а девица в брючках, в модных таких брючках, рельефно обтягивающих круглый задок и соблазнительные бедра. А девица, как нарочно, обернулась через плечо на Ивана Ивановича, заулыбалась лиловатым ртом, кокетливо скосила подмалеванные глазки и промурлыкала зазывающе:

— Я так хочу, чтобы лето не кончалось...

Распятин, шепча помертвевшими губами «чур меня, чур», крепко зажмурился, а когда решился открыть глаза, увидел, что вокруг ни души.

Просмотр начался.

Иван Иванович рассеянно побродил под стенами, неизвестно по чьей прихоти увешанными коваными адскими вилами и еще какими-то пыточными орудиями непонятного назначения.

«Плохо, очень плохо Распятину Ивану Ивановичу»,— почему-то официально в третьем лице подумал о себе окончательно потерявшийся герой наш. И как всякий русский человек, попавший в крайнее положение, выработал простую спасительную формулу: «Водки надо выпить. Авось полегчает».

И ноги сами собой понесли его в ресторан.

В пустой в этот час ресторанной зале, за столиком с табличкой «Только для кинолюбов» сидел перед пустой рюмкой дежурный по Дому, вышедший на пенсию рядовой организатор производства — Цесаревич и скучал.

— Ты почему не на просмотре? — спросил, подходя, Распятин.

— А ты почему?

— Я себя плохо чувствую,— сказал Иван Иванович, довольный, что не надо кривить душой.

— Если тебе шестьдесят лет, ты проснулся утром и у тебя ничего не болит,— значит, ты уже умер,— философски изрек Цесаревич.

Иван Иванович подсел к Цесаревичу, заказал рюмку водки, выпил без закуски и спросил осторожно:

— Не знаешь... Разумненький... как он?

— Он уже гуляет по Версалю или купается в Миссисипи.

— В Ми...— Иван Иванович поперхнулся.— Он в командировке?

— В вечной командировке.— Цесаревич заскучал еще заметнее.— Его здесь у нас не печатали.

Брови Ивана Ивановича полезли на лоб.

— Как не печатали? Да он во всех газетах, в журналах...

— А то, что хотел, не печатали.

— Что же он такое хотел?! — рванулся было спросить Иван Иванович, но почувствовал, что ему перехватило глотку.

А Цесаревич приблизил губы к уху Ивана Ивановича и жарко зашептал:

— Сейчас на Западе создается великая русская литература: Каценеленбоген, Власенко и Галкин...

Воздух со свистом вырвался из легких Ивана Ивановича вместе с воплем:

— Не может твой Галкин ничего создать! Мы его все здесь знали — он просто злобный мещанин и бездарь!!

— Ты — сумасшедший! — и Цесаревича как ветром сдуло. Даже рюмка его куда-то исчезла.

А в ресторанную залу уже входили магистры вечного праздника. Вкатывался на коротких обезьяньих ногах славный по всей Столице киношный жучок по кличке Мотя-тряпье, за его спиной без умолку балаганил, извиваясь, какой-то лощеный господинчик, похожий на престарелого Арамиса, хохотали красавицы в дорогих вечерних туалетах, и замыкал праздничное шествие безвозвратно затерявшийся в русских просторах австрийский миллионер с тарелкой свежей клубники в изукрашенных перстнями пальцах.

Случай тринадцатый

Навсегда останется неизвестным: случайно так получилось или Иван Иванович в порыве отчаяния все-таки покушался на свою жизнь. А фактически произошло вот что: Иван Иванович шагнул с тротуара на проезжую часть как раз после того, как в кружке светофора перестала дергаться зеленая фигурка пешехода, разрешающая переход улицы, и зажегся красный сигнал — «стойте».

Иван Иванович наверняка погиб бы под колесами рванувшей с места черной «Волги», если бы водитель не взял руль до отказа вправо, а какой-то гражданин в зеленой вельветовой шляпе не успел бы спрыгнуть с тротуара и выдернуть Ивана Ивановича из-под бампера, ухватив за рукав плаща.

Хорошо, что на тротуаре никого, кроме спрыгнувшего на помощь Ивану Ивановичу гражданина, не оказалось, а то наделал бы Иван Иванович дел.

«Волга» замахнула колесом на тротуар и, заскрежетав тормозами, замерла.

Гражданин крепко держал Ивана Ивановича за рукав, а тут подбежал милиционер и ухватился за другой рукав. А из «Волги» выскочил водитель и стал надвигаться на Ивана Ивановича, как бульдозер на предназначенную к сносу избушку.

Но в этот момент черная дверца приоткрылась, и Иван Иванович услышал, как кто-то произнес:

— Оставьте его, товарищи.

И хотя слова эти были произнесены негромко, гражданин в зеленой шляпе отпустил один рукав, милиционер другой, водитель попятился, и тут Иван Иванович увидел своего спасителя.

Прошли годы, десятилетия, но могли пройти века, эпохи и эры, и все равно Иван Иванович сразу же безошибочно угадал бы этого человека в любом месте, в любой день и час. Его школьный друг, с которым с первого до последнего класса они делили парту, постаревший, похудевший, наверняка неузнаваемо изменившийся для всех, но только не для Ивана Ивановича, его Гарик окликал из черной «Волги»:

— Ваня!

— Гарик! — закричал Иван Иванович, и оба с разбега бросились в объятия друг друга, причем Гарик пребольно ударил Ивана Ивановича лысиной в подбородок, а Иван Иванович тоже пребольно отдавил Гарику стопу и укрепился на ней.

Милиционер, оценив неожиданную встречу двух старых друзей, козырнул и вернулся на пост. А гражданин в вельветовой шляпе подобрал с мостовой кепку Ивана Ивановича, заботливо почистил ее рукавом и поднес владельцу.

— Спасибо вам, товарищ,— растроганно поблагодарил Гарик гражданина.

— Благодарность лучше письменно,— мягко и загадочно ответил гражданин и, отойдя на тротуар, стал озабоченно прогуливаться вокруг фонарного столба.

Гарик, не разжимая объятий, повлек Ивана Ивановича к машине, которая уже съехала на проезжую часть. Водитель, цветя улыбками, ловко распахнул дверцу, и старые друзья, не расцепляясь, упали в зашторенный мягкий салон.

— Домой,— велел Гарик водителю.

«Волга» плавно взяла с места, милиционер бешеным взмахом жезла очистил перед ней перекресток, и Гарик, слегка навалившись в повороте на Ивана Ивановича, выдохнул:

— Ванька, давно не виделись!
— Давно не виделись,— эхом отозвался Иван Иванович.
И хотя между жесткой скамейкой школьной парты и мягким упругим диваном в зашторенном салоне теперь пролегла целая река безвозвратно протекших лет, Иван Иванович сразу же преодолел этот водный рубеж и тут же почувствовал, что у них с Гариком опять установились ничем не подмоченные школьные отношения.
И как в школьные годы Ивану Ивановичу было привычно повторять эхом Гарикины слова, потому что — не будем таить греха — Ваня Распятин окончил школу на Гарикиных подсказках. Справедливости ради надо сказать, что Гарик в свой черед не мог обойтись без помощи Вани, когда ему, сначала председателю совета пионерской дружины, а потом и комсомольскому вожаку школы надо было составить отчетный доклад на конференцию или написать передовую в школьную стенгазету. Ваня нередко делал по две ошибки в одном слове, но перо его было бойко и поднимало авторитет друга. Постепенно Гарик научился писать сам, но всегда показывал написанное Ване, Ваня обычно улучшал, вполне вознагражденный признательностью соседа по парте.
Война их разлучила.
Иван Распятин прямо, как принято говорить, со школьной скамьи ушел добровольцем на фронт. Гарик тоже рвался на фронт, но какие-то серьезные неполадки со здоровьем оставили его в тылу. Переписки им наладить не удалось.
После демобилизации Иван Иванович явился на традиционный школьный вечер. От старой их учительницы Нины Власьевны Скоропостижной Распятин узнал, что Гарик жив-здоров, был в эвакуации, но давно вернулся в Москву, имеет какое-то отношение к центральной прессе, а работает — и пошли названия учреждений из одних согласных букв.
— Теперь вряд ли увидимся,— подумал тогда Иван Иванович.
И вот на́ тебе — встреча!
Пока Иван Иванович предавался воспоминаниям, глядя в толстые стекла Гарикиных очков, неожиданное путешествие на мягком диване окончилось. Водитель открыл дверцу, и, любовно направляемый школьным другом, Иван Иванович поднялся по гранитным ступенькам к высоким дверям подъезда. Одной рукой придерживая Распятина за талию, Гарик другой толкнул стеклянную дверь подъезда, затянутую точно такими же занавесками, как в салоне автомобиля.
Иван Иванович очутился в просторном вестибюле, застеленном зеленым ковром. Прямо напротив дверей уходила ввысь решетка лифтовой клети, а сбоку от нее, около полированной тумбочки, в углу, подставив раскрытую книгу под свет настольной лампы под зеленым абажуром, сидел широкоплечий молодой человек, увлеченный чтением.
— Знакомься, это наш Сережа,— сказал Гарик.
Молодой человек вскочил, уронив книгу с колен, и заулыбался навстречу вошедшим. Лицо у него было румяное, девичье.
— Как экзамены? — спросил Гарик.
— Два уже сдал. Вот — к третьему готовлюсь.— Сережа нагнулся и поспешно поднял книгу.
— Как сдал? — не отставал Гарик.
— Отлично,— Сережа пунцово зарделся.
— Молодец! — и, сверкнув стеклами очков, пояснил: — Сережа — будущий искусствовед.
— Ну зачем вы так, Гарантий Осипович,— деликатно возразил Сережа, перехватив книгу под мышку.
— Ничего, привыкай.
Заходя в лифт, Иван Иванович успел прочесть на обложке книги слово «Устав», но что это был за устав, скрывалось под бицепсом молодого человека, и Распятин сам домыслил, что скорее всего это был Устав Академии художеств.
Бесшумно поднимаясь все выше и выше в просторной кабине с чистыми лакированными панелями, Иван Иванович думал о том, что совершенно забыл полное имя Гарика — Гарантий, и теперь вспоминал, сколько обид претерпел Гарик от своих школьных товарищей, которых это редкое имя почему-то смешило. И то, что он забыл полное имя своего давнего друга, вернуло Ивана Ивановича с многоэтажной высоты на землю, к реальной действительности. А действительность была такова: забывчивость Ивана Ивановича не только безраздельно властвовала в настоящем, но роковым образом заполаала в прошлое и уж ничего хорошего не предвещала в будущем.

Ужасающая картина клинического идиотизма возникла в потрясенном воображении Ивана Ивановича, и он потом никак не мог внятно описать Настасье Филипповне, что представляла собой квартира Гарантия Осиповича, какие занавески на окнах, какая мебель стояла, какого рисунка были обои, и совершенно не обратил внимания на плитку в ванной комнате, хотя дважды ходил туда остужать горячую голову под краном. Но кран тоже не запомнился.
Иван Иванович помнил, что когда они вступили в квартиру, перед ними возникло плоское лицо с суровыми глазами и только по белому крахмальному фартуку можно было предположить, что лицо это женского пола.
— Ужином накормите нас, Груня? — заискивающе, как показалось Ивану Ивановичу, поинтересовался у нее хозяин.
— Так точно,— ответила Груня и, повернувшись налево кругом, удалилась в глубину квартиры.
Что именно подавалось на ужин и какого вкуса были кушанья, Иван Иванович тоже не запомнил.
Все свои убывающие силы Распятин сосредоточил на рассказе о происшедшей с ним трагедии. Гарантий Осипович слушал не прерывая. Стекла его очков светились уютным желтоватым светом, время от времени он поднимал руку и в раздумьи проводил ладонью по влажно блестевшей лысине.
— Судьба послала мне тебя, Гарик,— закончил свою исповедь Иван Иванович.— Ты меня знаешь, как никто... Годы ничего не изменили... да, ничего не изменили,— с силой повторил Иван Иванович,— я это сразу почувствовал. Вся моя надежда теперь на тебя. Твой ум, опыт...
— Ах, Ваня, Ваня...— Гарантий Осипович вытер твердые, чисто выбритые губы салфеткой, отклонился на спинку стула. Уютный желтый огонек в очках погас. Лицо ушло в тень.
— Ваня, вспомнить можешь только ты. Ты один. Но я попробую тебе помочь, подсказать. Подумай. Ответь мне, на что ты сам надеешься? Подумай, ведь ты искренний человек.
— На коммунизм,— с полувопросительной интонацией предположил Иван Иванович.
— Коммунизм и так будет. Это научно доказано. Тут твои надежды ни при чем.
— На мир...
— На мир не надеются, за него борются. Еще на что?
— На бога? — Иван Иванович хотел пошутить, но вышло неловко и горько.
— На бога надейся, а сам не плошай,— тоже пошутил Гарантий Осипович. И продолжал серьезно: — Сценарий твой называется «Надежда». Ты же на что-то должен надеяться, вот ты, русский человек, Иван да еще Иванович, мужчина не первой молодости...
— Беспартийный...
— Ну, беспартийный... писатель, член Общества кинолюбов... Ты член Общества?
Иван Иванович кивнул.
— Может быть, надеешься, что к тебе придет слава? Всесоюзная, всемирная...
— Какая там слава, Гарик, смешно.
— А может быть... Как это... помнишь? «И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной...» А? — Гарантий Осипович заметно оживился.
— Любовь? — Иван Иванович задумался.— Я жену люблю,— сказвл он, почему-то тяжело вздохнул и смутился.

— Что же тут смущаться, чудак-человек? — Гарантий Осипович хохотнул.— Это прекрасно! Но жена есть жена...

— Надеялся я повидать Венецию,— слегка повеселев, сказал Иван Иванович,— город на воде, жемчужину Адриатического моря...

— Но не о Венеции же ты писал?

— Я? Писал? — переспросил Иван Иванович.— Нет... Черта ли мне в этой Венеции? — и Иван Иванович вдруг заплакал.

Домой к себе Иван Иванович приехал на черной «Волге», которую Гарантий Осипович специально вызвал для друга по телефону.

Случай четырнадцатый

Ночь укрыла город цветным лоскутным одеялом, и достался Ивану Ивановичу чужой лоскуток.

Ему приснилось, что он — Пустомясов.

— Как же так,— боясь служебной ответственности, спросил себя во сне Иван Иванович,— ведь я же сценарист...

— Ничего,— ответил новый, пустомясовский облик Ивана Ивановича,— творческий приварок к должностной зарплате не помешает.

— Но ведь это же использование служебного положения! — в сонном ужасе догадался прежний Иван Иванович.

— Дурак,— хохотнул Пустомясов-Распятин,— все так делают. Под псевдонимом укроешься.

— Какой-такой еще псевдоним? — изнемогал во сне Иван Иванович.

— Опять дурак... Я нам псевдоним придумал: Малаховец. Чем плохо? Будешь за меня писать, дружить будем. А если что — ты ничего не помнишь... Ведь ты Иван Непомнящий...

— Гадина ты,— ответил Иван Иванович, какой-то частицей сознания понимая, что это сон и что другого случая смело высказаться о Пустомясове не представится.— Думаешь, друзей не выбирают?

Сделал над собой нечеловеческое усилие, вылез из пустомясовской оболочки и проснулся. Полежал, обливаясь холодным пóтом, таращась в темноту. Потом разбудил Настасью Филипповну, притронувшись холодными, как у покойника, пальцами к ее крутому горячему плечу и поколыхав его.

— Что тебе, Ваня? — спросила Настасья Филипповна, превозмогая сон и пытаясь угадать выражение лица мужа в полной темноте.

— Настя, скажи мне честно, на что ты надеешься?

— На что я надеюсь? — Иван Иванович услышал, как она зевнула. Потом кровать заскрипела, Настасья Филипповна улеглась поудобнее и, засыпая, ответила: — На тебя я надеюсь, Ваня... На что же мне еще надеяться?

Случай пятнадцатый, пока последний

«Но он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума»,— когда-то сказал о своем герое Александр Сергеевич Пушкин.

Иван Иванович тоже не сделался поэтом, не умер, но с ума сошел.

Ненормальное его состояние выражалось, например, в том, что Иван Иванович упорно утверждал, будто никакой он не сценарист Распятин, а широкий зритель.

При этом некрасиво приседал, расставив колени, выпячивал живот, оттопыривал локти и, ухватив себя за уши, старался изо всех сил растянуть свою бедную больную голову вширь. Слава богу, мука эта продлилась недолго. Вмешался Эмиль Захарович Фамнозов, который умеет крепить дружбу не только с отдельными людьми, но, если надо, с целыми народами, о чем они даже не подозревают. Так что за оздоровление кинодраматурга И. И. Распятина, члена Общества кинолюбов, дружно взялись такие светила современной науки, которые уже давно забыли, как лечить людей, и почивали на лаврах, а тут пришлось потрудиться.

И оздоровили Ивана Ивановича так крепко, что он уже ни о какой Надежде в кавычках и вспоминать не хочет, а еще находясь в своей отдельной палате, принялся писать новый сценарий взамен забытого, и тоже на очень важную и нужную, как он утверждает, тему. Так что Филимон Ужов, которого, кстати, тоже вылечили, теперь Ивану Ивановичу открыто завидует общепринятой белой завистью.

И вот еще что: желтый портфель с чернильным пятном около застежки нашелся. Не подвел вежливый молодой человек из одиннадцатой комнаты того отделения милиции, куда Иван Иванович обратился в начале всей этой истории. Уж каким образом молодой человек портфель нашел — это его служебная тайна. Нам с вами, любознательные читатели, это знать не обязательно.

Только никакой рукописи в портфеле не обнаружилось.

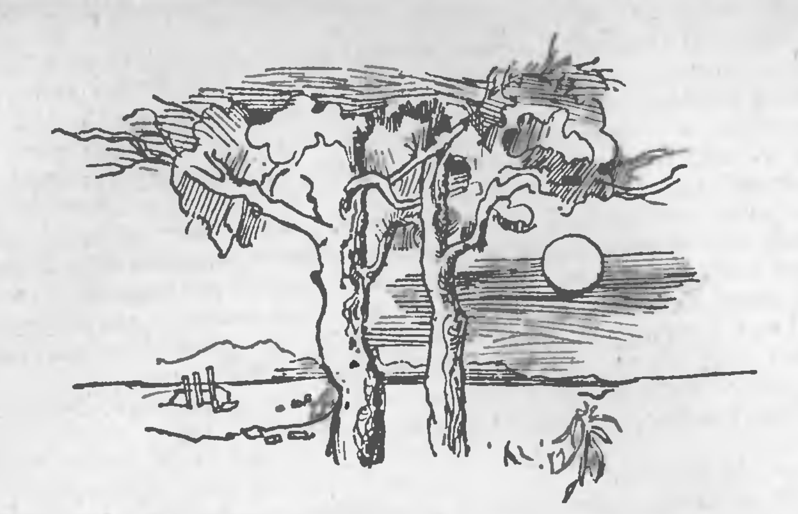
В портфеле был комплект чистых простыней из прачечной. Очень хорошо отутюженных и даже слегка накрахмаленных.

И все.

— Нет, не все!

Вы, может быть, спросите, куда это с первой же страницы названивал из автоматной будки наш герой? Ведь не названивай он, еще неизвестно, как бы все обернулось. Интересуетесь правильно. Я тоже спрашивал об этом Ивана Ивановича. А он отвечает — забыл.

1983 г.



Михаил ГОЛОВЕНЧИЦ

◻ ◻ ◻

Малыш в песке играет вдохновенно,
Старания ему не занимать —
Он вырыл ров, над ним построил стену,
Хоть и не знает, как же их назвать.

Все для него на белом свете ново —
Река и сад, и над рекою дом,
И он еще постигнет силу слова,
Рожденного душой — ее трудом.

И он играет, полон нетерпенья,
В нем жажда созидания жива...
Вначале было все-таки творенье,
За ним пришли высокие слова.

◻ ◻ ◻

Мы в воскресенье ехали на дачу,
Была легка дорога и светла,
В то утро в голове моей ребячьей
Лишь о свободном лете мысль жила.

Стояла тишь. Ни шороха, ни вздоха,
Еще была спокойною страна,
И лишь в полдневный час у Петергофа
Нам прокричало радио: «Война!»

И были неожиданнее грома
Для нас слова, ударившие в грудь,
И на четыре года речь наркома
Машине нашей преградила путь.

Шофер ругнулся тихо и невнятно,
И потемнел лицом он в тот же миг,
Потом сказал: «Поехали обратно»
И повернул тяжелый грузовик.

В его больших руках была усталость,
Шел «газик» по дорожной полосе,
И я не знал, что детство оставалось
На этом ровном солнечном шоссе.

◻ ◻ ◻

Над бездной темною, глубокой,
Семи ветрам подставив грудь,
Белеет парус одинокий
И продолжает трудный путь.

И не лазурь под ним — ракеты,
И ход подводных лодок скор,
А он летит, летит по свету
И миру виден до сих пор.

◻ ◻ ◻

Мы только люди,—
люди, а не боги,
Не всякий может
выстоять в борьбе,
И так непросто
на земной дороге
Пойти наперекор
своей судьбе.

И на гроши не разменять
таланта,
И с истиной
остаться заодно,
И быть богатым нищетой
Рембрандта
Не каждому дано.



Аркадий БАРТОВ



ЕГО РОДСТВЕННИКАХ, ДРУЗЬЯХ И СОСЕДЯХ

ОТ АВТОРА. РИСУЙТЕ МУХИНА. Рисуйте Мухина. Он стоит в дверях своего дома, который выходит на небольшую улицу, выходящую на улицу побольше, которая ведет к большой улице, ведущей к совсем большой улице, в конце которой начинается дорога, к которой устремлен взгляд Мухина. Рисуйте Мухина. Его надо рисовать. В его взгляде — страх перед тем, что ждет его там, на дороге, и надежда на то, что ждет его там, на дороге, к которой ведет совсем большая улица, к которой ведет улица не такая большая, к которой ведет небольшая улица, на которую выходит дом, в дверях которого стоит Мухин. Его надо рисовать. Рисуйте Мухина.

СОН МУХИНА. Как-то Мухину приснилось, что он снова стал маленьким и учится в комнате ходить. Маленький Мухин подошел к двери. За дверью была комната. Мухин прошел ее и увидел дверь. Мухин открыл ее. За дверью была комната. Мухин прошел ее и увидел дверь. Мухин открыл ее, и перед ним была комната. Он прошел ее, а потом еще комнату, и еще, и еще. Мухин испугался, что будет ходить так всю жизнь, и захотел проснуться, но как раз в это время он подошел к последней двери. Мухин открыл ее и увидел среди темноты освещенную улицу. Мухин пошел по ней, становясь все меньше и меньше, пока не исчез совсем. Что было дальше, Мухин не запомнил, но проснулся он в хорошем настроении.

Аркадий БАРТОВ. Он — математик по образованию, печатался в журнале «Нева», в сборнике «Круг».

Наверное, некоторым читателям его новое произведение покажется неожиданным, странным, чисто экспериментальным упражнением, а тем читателям, что хорошо знакомы с прозой двадцатых — тридцатых годов,— и вторичным в чем-то.

Но нас привлекает в «Рассказах о Мухине» не только интересный формальный поиск автора. В многочисленных, достаточно точно организованных повторах, пробуксовках повествования, в описании неотличимых друг от друга дней жизни героя, автору удается по-своему показать феномен «маленького» человека. Человека, который не может вырваться из власти обстоятельств, сил которого не хватает, чтобы преодолеть бессмысленное течение своей жизни, вырваться из плена бездуховности.

ОДНАЖДЫ В ЧЕТВЕРГ. Однажды в четверг Мухин пошел к соседу, Ивану Степановичу Коромыслову, одолжить денег. Когда уже пьяный Коромыслов открыл дверь и уставился на Мухина мутными глазами, Мухин попросил у него денег. Сосед Коромыслов, который работал в макарьевском ресторане «Морской прибой» буфетчиком, ответил: «По четвергам водкой не торгую — рыбный день» — и уставился на Мухина мутными глазами. Мухин опять вежливо попросил денег, но Коромыслов опять ответил: «По четвергам водкой не торгую — рыбный день». Тогда Мухин посмотрел в мутные глаза Коромыслова, плюнул в них и пошел прочь.

ШУТКА. Как-то к Мухину зашел сосед, Иван Степанович Коромыслов, который работал буфетчиком, и принес Мухину водки. Когда оба уже изрядно выпили, Коромыслов предложил Мухину ограбить кассу буфета. Мухин отказался. Коромыслов начал настаивать, но Мухин опять отказался. Тогда Коромыслов изменился в лице, сказал, что он пошутил, и предложил еще выпить. Коромыслов пил с Мухиным и говорил ему, что он пошутил, а Мухин шуток не понимает. Потом Коромыслов долго сидел у Мухина и все напоминал ему про свою шутку. Потом он опьянел и неожиданно ушел.

В ОДИН ПОГОЖИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ. Как-то к Мухину зашел сосед, Иван Степанович Коромыслов, и принес Мухину водки. Когда оба уже изрядно выпили, Коромыслов рассказал Мухину историю, которая случилась с его родным братом, Кузьмой Степановичем. В один погожий летний день Кузьма Степанович шел по мосту через речку Макарьевку косить траву. Косу он держал на плече. Проходя по мосту, Кузьма Степанович услышал всплеск, посмотрел и увидел в воде щуку. Кузьма Степанович был заядлый рыболов. Он, не раздумывая, дернул за ручку косы и лезвием отсек себе голову. С тех пор Кузьма Степанович лежит на Макарьевском кладбище без головы, которая уплыла неизвестно куда. Кузьма Степанович был человеком неплохим, но увлекающимся. Рассказав эту историю, Иван Степанович предложил выпить за своего родного брата, погибшего так несвоевременно. С тех пор Мухин каждый раз, когда он пьет со своим соседом Коромысловым, поминает добрым словом его родного брата, Кузьму Степановича.

ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ. Когда Мухин был маленьким, у него был друг Федор Воробьев, который попал под машину и погиб. Мухин с Воробьевым были неразлучными друзьями, жили на одной улице и ходили друг к другу в гости. И теперь, много лет спустя, Мухину часто снится один и тот же страшный сон: что попал под машину не Воробьев, а сосед Мухина, Иван Степанович Коромыслов. И всякий раз, когда Коромыслов приходит к Мухину в гости, Мухину это непонятно. Однажды он даже спросил у Коромыслова, не знал ли тот случайно Воробьева, но Коромыслов ничего внятного про это не сказал. С тех пор, глядя в мутные глаза пьяного Коромыслова, Мухин думает, что ему только кажется, что это Коромыслов приходит к нему в гости.

ПОЕЗДКА. У Мухина в Москве жил родной дядя, Петр Афанасьевич, которого Мухин не видел с самого детства. И вот Мухин взял отпуск, послал телеграмму и поехал в Москву. Там Мухин с трудом нашел дядин дом и вошел в него. Найдя дядину квартиру, Мухин перевел дыхание, вздохнул и позвонил. Открыла ему толстая пожилая женщина и, узнав у Мухина, кто он такой, сказала, что Петр Афанасьевич здесь не живет. После этого женщина захлопнула дверь, а Мухин, потоптавшись немного на лестнице, ушел. Ночевать ему пришлось на вокзале. Весь следующий день он простоял в очереди за билетом, а вечером уехал в Макарьев.

ПОЕЗДКА (*продолжение*). У Мухина в Москве жил дядя, Петр Афанасьевич, к которому Мухин однажды ездил, но напрасно. Как-то Мухин решил рассказать о поездке своему соседу, Ивану Степановичу Коромыслову. Мухин рассказал, как он с трудом взял отпуск, послал дяде телеграмму и поехал в Москву. Дядин дом он нашел не сразу и долго не решался позвонить. Дверь

КНИЖНАЯ ГРАФИКА
АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА ПАХОМОВА



С. Маршак. Считалка

В самом начале двадцатых годов в Ленинграде зарождается книга для детей, ставшая явлением подлинного искусства.

Эта книга, созданная содружеством истинного художника и мудрого писателя, прививала ребенку с дошкольной его поры чувство прекрасного, учила его размышлять, тонко чувствовать и понимать живую природу.

Среди создателей первых образцов прекрасной и умной книги были крупнейшие таланты: В. В. Лебедев и С. Я. Маршак, Н. Ф. Лапшин, В. М. Ермолаева, Н. А. Тырса... Вскоре в эту когорту включился молодой энергичный А. Ф. Пахомов. В эту пору он уже известен как блистательный живописец, член общества «Круг художников».

Первые книжки с рисунками Алексея Федоровича — не только новаторские произведения его друзей-современников: Евг. Шварца, Н. М. Олейникова, В. А. Каверина, но и шедевры мировой классики, — сочинения Редьярда Киплинга, Джонатана Свифта. Не представляется возможным перечислить всех литераторов, чьи книги иллюстрировал впоследствии Пахомов: Тургенев и Зощенко, Маршак и Лев Толстой, Марк Твен, Пантелеев, Некрасов, Гайдар... Во всех рисунках и иллюстрациях Алексея Федоровича (а он оставил их нам в огромном количестве) поражает острая свежесть графического приема, пластичность выразительного рисования, высокое знание человеческой натуры, точный выбор места действия — будь то пещера троглодита, дворцовые анфилады или [illegible]...

Народный художник СССР А. Ф. Пахомов оставил нам в наследство большую книгу «Про свою работу». Этот труд — мудрое завещание молодым художникам, строителям культуры будущего века.

Борис СЕМЕНОВ



А. Н. Толстой. «Детство Никиты»



Рисунок обложки

Иллюстрация к роману Н. Островского «Как закалялась сталь»



Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос»



Рисунок для журнала «Маленькие ударники» (1931 г.)

ему открыла незнакомая женщина и, узнав, кто он, сказала, что Петр Афанасьевич уехал в зарубежную командировку и вернется не скоро. После этого женщина захлопнула дверь, и Мухин ушел. Осмотрев достопримечательности Москвы, Мухин вернулся в Макарьев. В ответ на этот рассказ Коромыслов ничего не сказал и неожиданно ушел. Взволнованный воспоминанием о поездке, Мухин допил водку один.

ОТ АВТОРА. РИСУЙТЕ МУХИНА. Рисуйте Мухина. Вот он идет по небольшой улице, и к нему подходит человек, на него похожий, и они идут вместе. На следующей улице, побольше, к Мухину подходит человек, похожий на Мухина и на первого человека, и они идут вместе. На следующей улице, которая еще больше, к Мухину подходит человек, который похож на Мухина, и на первого, и на второго человека, и они идут вместе. На следующей, большой улице, к Мухину подходит еще человек, похожий на Мухина, и на первого, и на второго, и на третьего человека, и они идут вместе. На следующей, совсем большой улице, к Мухину подходит еще человек, и еще, и еще. Еще немного, и Мухин сольется с толпой, и тогда его нельзя будет различить. Пока этого не случилось, Мухина надо рисовать. Рисуйте Мухина.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ, СЛУЧИВШИХСЯ С МУХИНЫМ ВО ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

ОТ АВТОРА. МУХИН СОВЕРШАЕТ ПОСТУПКИ. Герой этих историй — Мухин, совершающий поступки. Когда я смотрю на него, мне трудно различить его среди ему подобных. Он остается для меня тайной, но выдает себя своими поступками. Эти поступки, иногда громкие, иногда тихие, иногда замирающие — его составные части. Мухин изменяет себя, совершая поступки, но затем, совершив их, вновь изменяется, чтобы стать самим собой.

ИГРА СО СПИЧКАМИ. Мухин в детстве чуть не сгорел. В доме родителей была кладовая. Маленький Мухин как-то туда заглянул. Там он увидел бутылку самогона и примус «Шмель». Мухин вылил бензин из примуса и потянулся за бутылкой... Лишь приезд пожарных предотвратил большую беду. Материал на родителей Мухина был отправлен в Макарьевский исполком. Директору школы, где учился маленький Мухин, было послано представление с требованием улучшить обучение учащихся правилам пожарной безопасности. Отец выпорол Мухина и повесил на дверь в кладовую амбарный замок.

СЛУЧАЙ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. Мухин жил на окраине города Макарьева и как-то решил прогуляться за город. Шел Мухин по полотну железной дороги и почему-то разглядывал рельсы. Вдруг он остановился. На рельсе змеилась поперечная трещина. Мухин, немного подумав, пошел и предупредил железнодорожников. Движение на перегоне было остановлено. Прибывшая ремонтная бригада заменила дефектный рельс, и поезда пошли снова. Начальник станции поблагодарил Мухина и сказал, что похлопочет о подарке. Мухин от подарка отказался, но выпил с начальником водки.

ПОЖАР В ДОМЕ МУХИНА. У Мухина было одно увлечение. Он любил вырезать из дерева фигурки и покрывать их олифой. В один субботний день ведро с олифой грелось на плите, а сам Мухин был в комнате. Вдруг он услышал громкий хлопок, бросился на кухню и тут же получил ожог рук. Мебель пылала, черный дым валил из окна... Спас Мухина сосед Иван Степанович Коромыслов. Он вынес его из дома и потом долго укорял за беспечность.

СЛУЧАЙ С КОРОМЫСЛОВЫМ. Однажды Иван Степанович Коромыслов, буфетчик ресторана «Морской прибой», чуть не умер. Он пришел домой из буфета, и его стало рвать, причем кровью. «Нарушение свертывания крови»,— такой диагноз поставила бригада «скорой помощи», прибывшая по вызову. Нужно было прямое переливание. Подходящая группа крови оказа-

лась у соседа Ивана Степановича — Мухина. Мухин, после некоторого колебания, кровь дал. Четыре часа продолжалась работа врачей. Кровотечение было остановлено, жизнь Ивана Степановича — спасена. Иван Степанович долго потом благодарил Мухина за помощь и приглашал к себе домой.

МУХИН ПОПАДАЕТ В БОЛЬНИЦУ. Как-то раз Мухин возвращался домой из ресторана «Морской прибой». Шел третий час ночи. Город спал. Мухин свернул на свою улицу и вдруг около одного дома уловил острый запах дыма. «Пожар»,— мелькнула в голове мысль. Мухин поспешил к дому. Дверь была заперта. Мухин выбил ее и побежал на верхний этаж. Так и есть — огонь бушевал на чердаке. Немного подумав, Мухин вызвал пожарную команду и пошел спасать людей. Сонные, они не сразу понимали, в чем дело, дети плакали. Мухин успокаивал их, выводил на улицу. Неожиданно Мухин увидел баллоны с газом. «Может быть взрыв»,— подумал Мухин и вынес баллоны. Потом, после некоторого колебания, вернулся в дом, и тут на него свалилась балка...

С небольшими ожогами Мухин был доставлен в больницу. Через несколько дней в больницу пришли некоторые из жителей горевшего дома, чтобы помочь Мухину. «Хотим сдать для него кровь»,— предложили они. «Пока не требуется, если понадобится, сообщим»,— отвечали врачи. Потянулись дни выздоровления. Мухин лежал в палате, вспоминал эпизоды из своей жизни, обдумывал последний пожар. Потом он выздоровел и вернулся домой.

СЛУЧАЙ С ВОРОБЬЕВЫМ. У Мухина в юности был друг — шофер Федор Воробьев. Как-то Федор Воробьев ехал на машине. По дороге предстояла переправа через речку Макарьевку. Но в момент, когда водитель въезжал на паром, тот внезапно отплыл от берега. Машина упала в воду. Федор Воробьев растерялся, и, наверное, утонул бы, но неожиданно чьи-то сильные руки вырвали его из кабины и вытолкнули из воды. Спас Федора Воробьева какой-то мужчина, который, чуть помедлив, бросился в реку. Как оказалось впоследствии, это был Мухин, который к счастью оказался на переправе. Этот случай еще больше скрепил дружбу Мухина и Воробьева. Потом-то Воробьев попал под машину и погиб. Но это было в другой раз.

ПОЖАР В ДОМЕ МУХИНА. Мухин как-то поздно ночью возвращался от соседа, Ивана Степановича Коромыслова, с которым пил водку. Он подошел к родному дому и вдруг почувствовал запах дыма. «Пожар»,— промелькнула мысль. Мухин, немного поколебавшись, вбежал в дом и обнаружил там своего дядю, тоже Мухина, которого не видел с детства. Дядя приехал из Москвы, не дождался Мухина, выпил бутылку водки и заснул. Мухин вынес дядю, у которого были небольшие ожоги, из огня и отнес его в макарьевскую больницу. «Хочу сдать для дяди кровь»,— предложил он встретившим его санитарам. «Пока не требуется, если понадобится, сообщим»,— ответили ему. Потянулись дни выздоровления. Дядя лежал в палате, вспоминал эпизоды из своей жизни, обдумывал недавний пожар. Потом он выздоровел и вернулся обратно в Москву.

ОТ АВТОРА. МУХИН СОВЕРШАЕТ ПОСТУПКИ. Герой этих историй — Мухин, совершающий поступки. Когда я смотрю на него, мне трудно различить его среди ему подобных. Он остается для меня тайной, но выдает себя своими поступками. Эти поступки, иногда громкие, иногда тихие, иногда замирающие — его составные части. Мухин остается собой, пока не совершает поступки, но, совершив их, изменяется, чтобы перестать быть самим собой.

КОЕ-КАКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОВЕДЕНИИ МУХИНА НА ВОДЕ

ОТ АВТОРА. ВОДА ПРОНИКАЕТ ВСЮДУ. Вода проникает всюду. Нет у нее начала и конца. Она беспредельна. Нет для нее ни частного, ни общего. Она свободна. Нет для нее ни правой стороны, ни левой. Она обнимает все

живое. Она не знает ни любви, ни ненависти. Она напитывает влагой все сущее, но не истощается. Все рождается в воде и умирает, чтобы уйти в воду. Она вдыхает и выдыхает, сжимается и разливается. Она всегда в пути и не может дойти до конца. Ее нельзя сжать в ладони, ее нельзя уничтожить. Она вечна. Она проникает всюду.

В ОДИН ПОГОЖИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ (*продолжение*). В один погожий летний день Мухин купался в речке Макарьевке. Вдруг он услышал всплеск, и увидел, как какой-то неизвестный вошел в воду. «Если купаться, то почему в одежде»,— промелькнула в голове Мухина мысль. После небольших раздумий Мухин подплыл к неизвестному и стал плавать с ним рядом. Они долго плавали вместе, а потом вышли на берег и разошлись.

В ОДИН ПОГОЖИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ (*продолжение*). В один погожий летний день Кузьма Степанович Коромыслов, брат соседа Мухина Ивана Степановича, шел по мосту через речку Макарьевку косить траву. Косу он держал на плече. Проходя по мосту, Кузьма Степанович услышал всплеск, посмотрел и увидел в воде щуку. Кузьма Степанович был заядлый рыболов. Он, не раздумывая, дернул ручку косы и лезвием отсек бы себе голову, но поскользнулся и отсек только пучок волос на макушке. Кузьма Степанович был человеком неплохим, но увлекающимся. Он потом утонул, но это было в другой раз.

СЛУЧАЙ С ВОРОБЬЕВЫМ (*продолжение*). У Мухина в юности был друг — Федор Воробьев. Как-то Федор Воробьев ехал на машине. По дороге предстояла переправа через речку Макарьевку. Но в момент, когда водитель въезжал на паром, тот внезапно отплыл от берега. Машина упала в воду. Федор Воробьев, наверное, утонул бы, но не растерялся, вылез из кабины и выплыл на берег. Как оказалось впоследствии, Мухина, к счастью, не было в машине, хотя Федор Воробьев его настойчиво приглашал. Этот случай чуть не расстроил дружбу Мухина и Воробьева. Потом-то Воробьев попал под машину и погиб. Но это было в другой раз.

НЕУДАЧНОЕ КУПАНИЕ. Кузьма Степанович Коромыслов как-то, купаясь пьяным в речке Макарьевке, захлебнулся, но его спас родной брат Иван Степанович, который купался вместе с ним. На другой день Кузьма Степанович опять напился, пошел купаться и на этот раз утонул.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ЗНАКОМСТВО. В один погожий летний день Мухин купался в речке Макарьевке. Вдруг он услышал всплеск, поднял голову и увидел, как какая-то средних лет полная женщина вошла в воду. Она ему сразу понравилась. Он стал плавать недалеко от женщины и смотреть в ее сторону. Он даже хотел с ней познакомиться, но не решился. Потом Мухин вышел из воды на берег, оделся и пошел домой.

КРУГИ НА ВОДЕ. Однажды Мухин стоял на берегу реки и бросал камешки в воду. Когда Мухин бросил очередной камешек, он поскользнулся и подвернул ногу. Добраться домой ему помог сосед Коромыслов. Впоследствии Коромыслов долго укорял Мухина за беспечность.

КРУГИ НА ВОДЕ (*продолжение*). Однажды Мухин стоял на берегу реки и бросал камешки в воду. Когда Мухин бросил очередной камешек, он вдруг услышал крик. Мухин вздрогнул и стал пристально всматриваться в воду. Он долго смотрел, но ничего не увидел, повернулся и пошел прочь.

ОТ АВТОРА. ВОДА ПРОНИКАЕТ ВСЮДУ. Вода проникает всюду. Она беспредельна. Нет у нее начала и конца. Нет для нее ни общего, ни частного. Она напитывает влагой все сущее, но не истощается. Она обнимает все живое. Она не знает ни любви, ни ненависти. Она вдыхает и выдыхает, сжимается и разливается. Она всегда в пути и не может дойти до конца. Ее нельзя сжать в ладони, ее нельзя уничтожить. Она проникает всюду.

НЕКОТОРЫЕ ВСТРЕЧИ МУХИНА С ЛЮДЬМИ, ЕМУ НЕИЗВЕСТНЫМИ, НО, ВОЗМОЖНО, ИМЕЮЩИМИ ПРЕСТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ

ОТ АВТОРА. ПРЕСТУПНИКИ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕДЫ. Каждое утро, переступая порог своего дома, Мухин устремляется навстречу неизвестным ему людям, жертвой преступления которых он вполне может стать. Из сильного, полного жизни человека, Мухин может превратиться в запуганную тень. Но даже в этой тени сохранится упрямая искра воли, затаившаяся в последнем биении пульса, в самых глубинах мысли. Преступники оставляют на своем пути следы — вещественные свидетельства преступлений: черепа убитых, остатки мешков, веревочные петли, протезы, шпильки для волос, искусственный глаз. Следы эти ведут к следующей жертве преступлений — к Мухину. Что ждет Мухина за дверью его дома? Погибнет ли он, как погибают рыбы, вытащенные на берег из глубины моря? Помогут ли следы раскрыть эту тайну?

ШУТКА (*продолжение*). Шел третий час ночи. Город спал. На улицах было безлюдно. Мухин возвращался из ресторана «Морской прибой». Он уже свернул на свою улицу, как вдруг к нему подошел неизвестный человек и попросил денег. Мухин дать денег отказался. Неизвестный начал настаивать. Мухин опять отказался. Тогда неизвестный изменился в лице, сказал, что он пошутил, достал бутылку водки и предложил Мухину выпить. Мухин согласился. Неизвестный с Мухиным долго пил водку и все напоминал ему про свою шутку. Потом неизвестный опьянел и неожиданно ушел.

ШУТКА (*продолжение*). Шел третий час ночи. Город спал. На улицах было безлюдно. Мухин возвращался из ресторана «Морской прибой». Он уже свернул на свою улицу, как вдруг к нему подошел неизвестный человек и предложил джинсы. Мухин отказался. Неизвестный начал настаивать. Мухин изменился в лице, но опять отказался. Тогда неизвестный сказал, что пошутил, и предложил Мухину выпить водки. Мухин, подумав, согласился. Неизвестный все повторял, что он пошутил, а Мухин, как видно, шуток не понимает. Он долго еще пил с Мухиным водку, а потом совсем опьянел и неожиданно убежал.

ВСТРЕЧА ВО ДВОРЕ ДОМА МУХИНА (*продолжение*). Как-то раз Мухин пил водку во дворе дома со своим соседом Иваном Степановичем Коромысловым. В это время к Мухину подошел совершенно неизвестный человек и, отозвав в сторону, попросил налить ему водки. Мухин, подумав, согласился. Тогда неизвестный изменился в лице, сказал, что он пошутил, и медленно отошел.

ВСТРЕЧА ДОМА У МУХИНА (*продолжение*). Мухин как-то поздно ночью возвращался от своего соседа Коромыслова, обнаружил у себя дома совершенно неизвестного человека, спящего и с сигаретой в руке. «Мог бы быть пожар»,— промелькнуло в голове у Мухина. Проснувшись, неизвестный сказал, что попал к Мухину совершенно случайно, и попросил показать ему выход из дома. Когда Мухин показал, неизвестный поблагодарил его и ушел.

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА (*продолжение*). Как-то поздно ночью Мухин возвращался от своего соседа Ивана Степановича Коромыслова. На улицах было безлюдно. Мухин уже хотел свернуть к своему дому, но увидел впереди одинокую фигуру. Мухин пошел за ней. Неизвестный заметил Мухина и остановился. Когда Мухин подошел, неизвестный попросил у него денег. Мухин подумал, но деньги дал. Неизвестный поблагодарил Мухина. После этого они разошлись в разные стороны, хотя водку не пили.

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА (*продолжение*). Как-то поздно ночью Мухин возвращался от своего соседа Ивана Степановича Коромыслова. На улицах было безлюдно. Мухин уже хотел свернуть к своему дому, но увидел впереди одинокую фигуру. Мухин пошел за ней. Неизвестный заметил Мухина и остановился. Когда Мухин подошел, неизвестный попросил у него прикурить. Мухин, не изменившись в лице, исполнил его просьбу. Неизвестный поблагодарил Мухина и пошел прочь. Тогда Мухин тоже прикурил и пошел к себе домой.

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА (*продолжение*). Как-то поздно ночью Мухин направлялся к своему соседу Коромыслову, с которым обычно пил водку. На улицах было безлюдно. Мухин уже хотел свернуть к дому Коромыслова, как вдруг увидел приближающуюся к нему одинокую фигуру. Мухин изменился в лице и пошел от нее. Неизвестный заметил маневр и ускорил шаги. Мухин подумал и тоже пошел побыстрее. Так они долго еще ходили по улицам, пока неизвестный не догнал, наконец, Мухина и не попросил у него прикурить. Неизвестный оказался соседом Мухина, Иваном Степановичем Коромысловым, и они оба быстро пошли к нему домой.

ОТ АВТОРА. ПРЕСТУПНИКИ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕДЫ. Каждый вечер Мухин, ставший жертвой очередных преступлений, открывает дверь своего дома. Из сильного, полного жизни человека, он превратился в запуганную тень. Но даже в этой тени сохранилась упрямая искра воли, затаившаяся в последнем биении пульса, в самых глубинах мысли. Преступники оставляют на своем пути следы — вещественные свидетельства преступлений: черепа убитых, остатки мешков, веревочные петли, протезы, шпильки для волос и искусственный глаз. Следы эти ведут к следующей жертве преступлений — к Мухину. Что ждет Мухина за дверью его дома? Погибнет ли он, как погибают рыбы, вытащенные на берег из глубины моря? Вряд ли мы раскроем эту тайну.

ЧУТЬ-ЧУТЬ О ПОВЕДЕНИИ МУХИНА В ДОРОГЕ

ОТ АВТОРА. МУХИН СМОТРИТ В ОКНО. Мухин смотрит в окно своего дома. Из окна видна небольшая улица, выходящая на улицу побольше, которая ведет к совсем большой улице, в конце которой начинается дорога, к которой устремлен взгляд Мухина. Что ждет его там, на этой дороге? Выбоины и ухабы, опасности и препятствия? Во взгляде Мухина — страх перед ними и надежда, что он может преодолеть их там, на дороге, к которой ведет большая улица, к которой ведет улица не такая большая, к которой ведет небольшая улица, на которую выходит дом, в окно которого смотрит сейчас Мухин.

СЛУЧАЙ В АВТОБУСЕ (*продолжение*). Как-то раз Мухин поехал на автобусе за город. Был душный летний день. Когда Мухин проехал большую часть пути, дорогу внезапно перебежал пешеход. Чтобы избежать несчастного случая, водитель вынужден был затормозить. От резкого толчка Мухин упал и получил травму. Узнав об этом, со своего места быстро поднялась средних лет полная женщина и поспешила на помощь. По тому, как решительно и умело обращалась она с аптечкой, все поняли — это врач. Спустя некоторое время Мухин пришел в себя, поблагодарил женщину-врача, и автобус поехал дальше. В дальнейшем удалось установить, что дорогу перебежал другой врач, спешивший на работу в больницу.

ОДНАЖДЫ В НЕНАСТНУЮ ПОГОДУ. Однажды Мухин ехал на машине со своим другом, Федором Воробьевым. Погода в тот день стояла ненастная. Вдруг Мухин почувствовал, что Федор Воробьев резко затормозил. Как выяснилось позже, дорогу переходила колонна детей. Впоследствии Федор Воробьев сам попал под машину и погиб. Но Мухина в тот раз с ним не было.

СЛУЧАЙ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ (*продолжение*). Мухин жил на окраине города Макарьева и как-то решил прогуляться за город. Шел Мухин по полотну железной дороги и почему-то разглядывал рельсы. Вдруг он остановился. На рельсе змеилась поперечная трещина. Мухин хотел пойти

предупредить железнодорожников, но передумал, так как быстро темнело. На следующий день Мухин опять пошел за город, но не смог найти этот рельс и вернулся домой ни с чем.

ПОЕЗДКА (*продолжение*). У Мухина в Москве жил родной дядя, Петр Афанасьевич, которого Мухин не видел с самого детства. И вот Мухин взял отпуск, послал телеграмму и поехал в Москву. Там Мухин с трудом нашел дядин дом и вошел в него. Найдя дядину квартиру, Мухин перевел дыхание, вздохнул и позвонил. Ему никто не открыл. Мухин позвонил еще раз, ему опять не открыли. Мухин звонил еще несколько раз, но каждый раз безрезультатно. Тогда Мухин, потоптавшись немного на лестнице, ушел. На следующий день Мухин уехал в Макарьев.

ВСТРЕЧА ВО ДВОРЕ ДОМА КОРОМЫСЛОВА (*продолжение*). Шел третий час ночи. Город спал. Мухин возвращался домой из ресторана «Морской прибой». Он свернул на свою улицу, как вдруг около дома своего соседа Коромыслова обратил внимание на одиноко стоящую во дворе автомашину «Жигули». Что-то насторожило Мухина. После некоторых колебаний он подошел к машине. «Если хозяин, то зачем прятаться»,— подумал Мухин, увидев пригнувшуюся в машине фигуру. Мухин хотел окликнуть неизвестного, но потом передумал и ушел.

СЛУЧАЙ С «ИКАРУСОМ» (*продолжение*). Однажды Мухин поехал в автобусе «Икарус» за город. Когда Мухин проехал большую часть пути, он заметил, что «Икарус» замедлил ход и остановился. На дороге стоял автомобиль «Жигули», из которого валили клубы дыма. Водитель «Икаруса» с помощью огнетушителя в считанные минуты погасил пламя. Оказав помощь, он сел в «Икарус» и отправился дальше. Позже удалось установить, что водителем «Жигулей» был врач.

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА (*продолжение*). Как-то поздно ночью Мухин возвращался от своего соседа Коромыслова. На улицах было безлюдно. Мухин уже хотел свернуть к своему дому, как вдруг обнаружил, что заблудился в темноте и не знает, где находится. Мухин еще долго ходил по улицам, пока не наткнулся случайно на Коромыслова. Он очень этому обрадовался и снова пошел к Коромыслову в гости.

ОТ АВТОРА. МУХИН ОТХОДИТ ОТ ОКНА. Жаль, что Мухин не смотрит сейчас в окно своего дома, а то бы он увидел небольшую улицу, на которой Мухина ждет человек, чуть-чуть на него похожий. Эта улица выходит на улицу побольше, на которой Мухина ждет человек, заметно на него похожий. Эта улица ведет к совсем большой улице, на которой Мухина ждет человек, очень на него похожий. В конце этой улицы начинается дорога. Кто ждет Мухина там, на этой дороге? Мухину это неизвестно, потому что он давно отошел от окна своего дома.

ЧАСТИЧНОЕ ОПИСАНИЕ ДЕТСТВА МУХИНА

ОТ АВТОРА. ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ. Каждое утро Мухин уходит из дома, чтобы вернуться совсем другим человеком. Только кажется, что это Мухин. Где тот Мухин, который только что сделал шаг в сторону двери? Он уже изменился. Состав организма не остается постоянным, обновлению подвергаются все его части, в том числе — кости, зубы и сухожилия. Мухин делает следующий шаг. Где же Мухин?

СОН МУХИНА (*продолжение*). Как-то маленькому Мухину, который еще не умел ходить, приснилось, что он встал и подошел к двери. За дверью была комната. Мухин прошел ее и увидел дверь. Мухин открыл ее. За дверью была комната. Мухин прошел ее, а потом еще комнату, и еще, и еще. Мухин испугался, что будет так ходить всю жизнь, и захотел проснуться, но как раз в это время он подошел к последней двери. Мухин открыл ее и увидел среди темноты освещенную улицу. Мухин пошел по ней, становясь все меньше и меньше, пока не исчез совсем. Когда Мухин проснулся, он ничего не помнил, но настроение у него было хорошее.

ИГРА СО СПИЧКАМИ (*продолжение*). У Мухина в детстве чуть не сгорели родители. В доме была кладовая. Родители Мухина как-то туда заглянули. Там они обнаружили бутылку самогона. Мать Мухина зажгла спичку, а отец потянулся за бутылкой. Лишь приезд пожарных предотвратил большую беду. Материал на родителей Мухина был направлен в Макарьевский исполком. Спустя некоторое время, отец Мухина повесил на дверь в кладовую амбарный замок.

ПОЕЗДКА (*продолжение*). У Мухина в Москве жил родной дядя, которого Мухин не видел с детства. Мухин хотел поехать в Москву, но все не мог собраться. Он даже одолжил деньги на поездку у своего соседа Коромыслова, но так и не поехал. Впоследствии Мухин деньги отдал.

ПОЗДНО НОЧЬЮ У ДОМА КОРОМЫСЛОВА (*продолжение*). Мухин как-то в детстве возвращался с рыбной ловли домой. Город еще спал. На улицах было безлюдно. Мухин уже хотел свернуть к своему дому, как вдруг увидел у дома соседа Коромыслова, который потом стал работать буфетчиком в ресторане «Морской прибой», своего друга Федора Воробьева. Увидев Мухина, Воробьев бросился бежать. «Стой!» — закричал Мухин и побежал за Воробьевым, но догнать его не смог. С тех пор они больше не виделись.

НЕУДАЧНОЕ КУПАНИЕ (*продолжение*). Однажды в детстве Мухин, купаясь в речке Макарьевке, захлебнулся, но его спас плававший рядом с ним Воробьев, который в дальнейшем уехал в Москву.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ ПРОГУЛКА (*продолжение*). Мухин как-то в детстве ушел из дома и долго не возвращался. Родители Мухина очень волновались. Они даже звонили в милицию, но там ничего о Мухине не сказали. На другой день Мухин вернулся. Как выяснилось, он уезжал на речку Макарьевку помогать Кузьме Степановичу Коромыслову косить сено.

ОДНАЖДЫ В НЕНАСТНУЮ ПОГОДУ (*продолжение*). Как-то Мухин ехал на машине со своим другом Федором Воробьевым за город. Погода в тот день стояла ненастная. Вдруг Мухин почувствовал, что водитель резко затормозил. Как позже стало известно, машину пришлось остановить, так как дорогу переходила колонна детей. Машина поехала дальше, но Мухин еще долго вспоминал свое детство.

ОТ АВТОРА. ГДЕ ЖЕ МУХИН? Каждый вечер Мухин возвращается домой, чтобы уйти на другой день совсем другим человеком. Только кажется, что это Мухин. Где тот Мухин, который только что сделал шаг от двери? Он уже изменился. Состав организма не остается постоянным, обновлению подвергаются все части человеческого тела, в том числе — кости, зубы и сухожилия. Мухин сделал свой следующий шаг. Где же Мухин?



ЗАМОК

Рис. Г. Никеева

Роман

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Но я имел успех,— возразил Барнабас.— Когда я вышел из моей канцелярии — я называю ее моей канцелярией — я увидел, как из внутреннего коридора медленно приближается какой-то господин; кроме него нигде уже никого не было, ведь уже было очень поздно. Я решил его подождать, это была хорошая возможность еще остаться там, я ведь и вообще лучше бы там остался, чтобы не надо было нести тебе плохое известие. Но и без того стоило подождать этого господина, ведь это был Эрлангер. Ты его не знаешь? Он один из первых секретарей Кламма. Такой хилый, маленький господин, он немного хромает. Он узнал меня сразу, он славится своей памятью и знанием людей, он только сдвинет брови — и ему этого достаточно, чтобы узнать любого, часто даже — людей, которых он никогда не видел, о которых он только слышал или читал; меня, например, он вряд ли когда-нибудь видел. Но хотя он любого сразу узнает, он сначала спрашивает так, как будто сомневается: «Ты случайно не Барнабас?» — сказал он мне. И потом спросил: «Ты землемера знаешь, да?» И потом сказал: «Это очень кстати, я сейчас еду в господский трактир. Землемер должен прийти ко мне туда. Я живу в комнате номер пятнадцать. Но пусть приходит прямо сейчас. Мне там надо только кое с кем переговорить и в пять часов утра я уже возвращаюсь. Скажи ему, что у меня к нему очень важный разговор».

Неожиданно Иеремия бросился бежать. Барнабас, из-за своего возбуждения до сих пор почти не обращавший на него внимания, спросил:

— А что хочет Иеремия?

— Опередить меня у Эрлангера,— бросил К.; он уже бежал за Иеремией, догнал его, вцепился ему в руку и спросил:

— Это страсть к Фриде тебя вдруг так охватила? У меня она не меньше, так что мы с тобой пойдем рядом, шаг в шаг.

Перед затемненным господским трактиром стояла маленькая группа людей; у двоих или троих были ручные фонарики, так что некоторые лица можно было различить. К. увидел только одного знакомого — Герштеккера, возницу. Герштеккер встретил его вопросом:

— Ты все еще в деревне?

— Да,— ответил К.,— я прибыл надолго.

— А мне это все равно,— сказал Герштеккер, сильно закашлялся и отвернулся к остальным.

Как выяснилось, все ждали Эрлангера. Эрлангер уже приехал, но беседовал пока еще с Момусом, а посетителей начнет принимать позже. Общий разговор крутился вокруг того, что в доме ждать не разрешили и приходится стоять здесь на улице, в снегу. Хотя пока еще и не очень холодно, но все равно, это невежливо — ночью, может быть, часами держать посетителей перед домом. Правда, виноват в этом не Эрлангер, он, напротив, господин очень любезный, едва ли об этом подозревает и наверняка очень бы рассердился, если бы ему об этом сообщили. Виновата во всем хозяйка господского трактира, которая в своем уже болезненном стремлении к изысканности не желала, чтобы в господский трактир приходило сразу много посетителей. «Если уж это необходимо и им непременно нужно приходить,— обычно говорила она,— то ради бога — только по одному». И она добилась того, что посетители, которые вначале ждали прямо в коридоре, затем — на лестнице, потом — в сенях, а под конец — в пивной, в итоге были выдворены на улицу. Но даже и этого ей было мало. Ей было невыносимо в своем собственном доме постоянно находиться, как она выражалась, «в осаде». Ей было непонятно, для чего вообще нужно это хождение посетителей. «Чтобы грязь у крыльца разводить»,— сказал как-то в ответ на ее вопрос, видимо, в раздражении, один чиновник, но для нее это было очень убедительно, и она охотно это высказывание цитировала. Она хотела — и это уже совпадало с желаниями посетителей,— чтобы напротив господского трактира был построен для них специальный дом ожидания. Приятнее всего ей было бы, если бы и разговоры с посетителями и допросы происходили вне господского трактира, но этому противились чиновники, а когда чиновники всерьез чему-то противились, то, естественно, хозяйке этого было не преодолеть, хотя во второстепенных вопросах она, благодаря своей неутомимой и по-женски ласковой настойчивости, добивалась многого, установив что-то вроде маленькой тирании. Но было похоже, что эти беседы и допросы хозяйке и дальше придется терпеть в своем доме, так как господа из Замка, находясь в деревне, отказывались по служебным делам покидать господский трактир. Они всегда торопились, бывать в деревне очень не любили, задерживаться в ней дольше, чем было безусловно необходимо, не имели ни малейшей охоты, и поэтому от них нельзя было требовать, чтобы только из уважения к тишине и покою в господском трактире они то и дело тащились со всеми своими бумагами через улицу в какой-то другой дом и теряли таким образом время. Охотнее всего чиновники разбирали бы служебные дела вообще в пивной, или в своих комнатах (по возможности — во время еды), или в кровати перед сном, или утром, когда им было тяжело вставать и хотелось еще поваляться в постели. Напротив, вопрос о возведении дома ожидания, кажется, близился к благоприятному разрешению, правда, чувствительным наказанием для хозяйки было то (над этим немного посмеивались), что как раз дело о постройке дома ожидания потребовало многочисленных обсуждений, и коридоры трактира почти не бывали пусты.

Обо всем этом ожидающие вполголоса переговаривались между собой. К. недоумевал, почему никто не высказывает никаких возражений (хотя недовольства было достаточно) по поводу того, что Эрлангер созвал посетителей среди ночи. Он спросил об этом и получил разъяснение, что за это нужно быть еще очень благодарными Эрлангеру. Ведь он вообще приезжает в деревню исключительно по своей доброй воле, потому что он высокого мнения о своей службе; ведь он мог бы, если бы захотел — и, возможно, это даже более соответствовало бы инструкциям,— послать кого-нибудь из младших секретарей составлять протоколы. Но он по большей части отказывается так делать, хочет сам все видеть и слышать, но для этого уже должен жертвовать своими ночами, так как его служебное расписание времени для поездок в деревню не предусматривает. К. возразил, что ведь и Кламм приезжает в деревню днем и даже остается здесь по нескольку дней; разве Эрлангер,— ведь он всего лишь секретарь,— более незаменим наверху? Некоторые добродушно усмехнулись, другие озадаченно молчали; этих последних оказалось большинство, и К., можно сказать, не ответили. Только один, помедлив, сказал, что, разумеется, Кламм незаменим и в Замке и в деревне.

В это время раскрылась дверь дома и появился Момус в сопровождении двух слуг, которые несли лампы.

— Первыми,— объявил он,— к господину секретарю Эрлангеру будут допущены Герштеккер и К. Оба здесь?

Они отозвались, но еще раньше их со словами «я здесь коридорный» в дом прошмыгнул Иеремия; Момус встретил его усмешкой и дружеским хлопком по пле-

---

Окончание. Начало см.: «Нева», 1988, № 1, 2, 3.

чу. «Надо будет обратить на Иеремию больше внимания»,— сказал себе К., сознавая в то же время, что Иеремия, по-видимому, далеко не так опасен, как Артур, который действовал против него в Замке. Возможно, было даже умнее допустить, чтобы они изводили его в качестве помощников, чем позволять им вот так бесконтрольно шнырять вокруг и свободно плести свои интриги, к которым у них, кажется, были особые способности.

Когда К. проходил мимо Момуса, тот сделал вид, будто только теперь узнал его.

— А-а,— проронил он,— тот самый господин землемер, который так неохотно позволяет себя допрашивать, теперь рвется на допрос. Со мной тогда это прошло бы проще. Ну, конечно, выбрать нужные допросы — это сложно.

Когда К. в ответ на это обращение хотел остановиться, Момус продолжил:

— Идите, идите! Мне ваши ответы нужны были тогда, а не сейчас.

Тем не менее К., раздраженный поведением Момуса, сказал:

— Вы думаете только о себе. А ради одной только службы я на вопросы не отвечаю,— ни тогда, ни сейчас.

Момус удивился:

— О ком же мы должны думать? Кто же тут еще есть? Идите!

В сенях их встретил слуга и повел уже знакомой К. дорогой по двору, через открытый вход и затем — в нижний, шедший несколько под уклон коридор. В верхних этажах помещались, очевидно, только высшие чиновники, а все секретари, в том числе и Эрлангер, хотя он был среди них одним из старших, жили в этом коридоре. Слуга потушил свой фонарь, так как тут горел яркий электрический свет. Все было миниатюрно, но изысканно. Пространство использовалось максимально. Высоты коридора едва хватало, чтобы идти не сгибаясь. Двери по бокам коридора почти примыкали одна к другой. Боковые стены не доходили до потолка — очевидно, из соображений вентиляции, так как комнатки в этом глубоком, подвального типа коридоре, вероятно, не имели окон. Но из-за этих не до конца доведенных стен в коридоре стоял шум, неизбежно проникавший также и в комнаты. По-видимому, большинство комнат было занято; во многих еще не спали, слышались голоса, стук молотка, звон стаканов. Однако впечатления особого веселья не было. Голоса были приглушены, иногда с трудом можно было разобрать какое-нибудь слово, но и это, похоже, были не разговоры, а скорей всего кто-то диктовал или читал что-то вслух; как раз в тех комнатах, из которых доносился звон стаканов и тарелок, не слышно было ни слова, а удары молотка напомнили К. чьи-то рассказы о том, что многие чиновники для отдыха от непрерывного умственного напряжения занимаются иногда столярным делом, точной механикой и тому подобным. Сам коридор был пуст, только перед одной дверью сидел бледный, худой, высокий господин в шубе, из-под которой выглядывало нижнее белье; по-видимому, в комнате ему стало слишком душно, он выбрался в коридор и читал тут газету, но делал это невнимательно, часто, зевая, отрывался от чтения, наклонялся вперед и смотрел в даль коридора,— возможно, ждал какого-то посетителя, которого он пригласил и который долго не являлся. Когда они прошли мимо него, слуга сказал Герштеккеру:

— Оглобля!

Герштеккер кивнул.

— Давно он внизу не появлялся,— сказал он.

— Очень давно,— подтвердил слуга.

Наконец они подошли к двери, которая ничем не отличалась от остальных, и, однако, за ней, как сообщил слуга, находился Эрлангер. Слуга с помощью К. забрался ему на плечи и через щель вверху заглянул в комнату.

— Он лежит на кровати,— сообщил слуга, спрыгивая,— правда,— в одежде, но я все-таки думаю, что он дремлет. На него нападает иногда такая вот усталость здесь в деревне, когда меняется распорядок жизни. Придется подождать. Если он проснется, он позвонит. Правда, уже бывало так, что он все свое пребывание в деревне просыпал, а проснувшись, сразу же должен был ехать обратно в Замок. Ведь то, что он здесь делает, это добровольная работа.

— Уж лучше бы он теперь спал до конца,— сказал Герштеккер,— потому что если, когда он проснется, у него еще останется немного времени на работу, то он будет очень недоволен, что спал, будет стараться все быстрей решить и, считай, ничего и сказать нельзя будет.

— Вы пришли насчет сдачи подвод для строительства? — спросил слуга.

Герштеккер кивнул, отвел слугу в сторону и начал тихо убеждать его в чем-то, но слуга его почти не слушал и, глядя куда-то поверх Герштеккера (он был больше чем на полголовы выше), серьезно и медленно приглаживал волосы.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

И тогда К., бесцельно глазевший по сторонам, далеко на повороте коридора увидел Фриду; она делала вид, что не узнает его, только смотрела на него застывшим взглядом; в руке она несла поднос с посудой. Он сказал слуге, кото-

рый, однако, даже не обратил на него внимания (казалось, чем больше с этим слугой говорили, тем более отсутствующим становилось его лицо), что он сейчас вернется, и бросился к Фриде. Подбежав к ней, он схватил ее за плечи так, как будто снова завладел своим имуществом, и задал несколько незначащих вопросов, испытующе вглядываясь ей в глаза. Но ее отчужденность почти не ослабла, в задумчивости она несколько раз переставила по-новому посуду на подносе и спросила:

— Что ты, собственно, от меня хочешь? Иди к этим... ну, ты-то знаешь, как они называются. Ты и пришел-то прямо от них, по тебе видно.

К. быстро переменил тему; объяснение не должно было произойти так вдруг и начаться с самого худшего, с самого для него невыгодного.

— Я думал, ты в пивной,— сказал он.

Фрида удивленно посмотрела на него и потом мягко провела той рукой, которая у нее была свободна, по его лбу и по щеке. Казалось, она забыла черты его лица и хотела таким способом снова вызвать их в памяти; в затуманенном взгляде ее глаз тоже было выражение напряженного вспоминания.

— Меня снова приняли в пивную,— медленно проговорила она так, словно то, что она говорила, было неважно, но за этими словами она вела еще один разговор с К., и он был важнее.— Эта работа не для меня, этим может заниматься и любая другая, если она умеет стелить постель и делать приветливое лицо и не боится приставания гостей, а даже их вызывает,— любая такая может работать в комнатах. Но в пивной — там все немножко не так. А меня сразу же снова приняли в пивную, хотя я тогда не очень почетно оттуда ушла; правда, у меня теперь протекция. Но хозяин был счастлив, что у меня протекция: ему легко было снова меня принять. Им даже пришлось уговаривать меня принять эту должность, вот как было; если ты задумаешься, о чем мне напоминает пивная, ты это поймешь. В конце концов я приняла должность. Здесь я только временно. Пепи попросила не позорить ее, не заставлять сразу уходить из пивной, и, так как она все-таки старалась и все, что могла, выполняла — насколько ей позволяли способности, мы дали ей срок двадцать четыре часа.

— Замечательно вы все устроили,— похвалил К.,— только когда-то ты ради меня ушла из пивной, а теперь, когда у нас скоро свадьба, ты снова туда возвращаешься?

— Свадьбы не будет,— проговорила Фрида.

— Потому что я был неверен? — спросил К.

Фрида кивнула.

— Послушай, Фрида,— сказал К.,— об этой так называемой неверности мы уже не один раз говорили, и каждый раз ты в конце концов вынуждена была признать, что это было несправедливое подозрение. Но с тех пор с моей стороны ничего не изменилось, все осталось так же невинно, как было, и иначе и не может быть. Следовательно, должно было что-то измениться с твоей стороны,— в результате чьих-то нашептываний или чего-то еще. В любом случае ты поступаешь со мной несправедливо, потому что ведь как обстоит с этими двумя девушками? Одна из них, брюнетка,— мне почти стыдно вот так, в подробностях оправдываться, но ты меня вынуждаешь,— так вот, брюнетка мне неприятна, по-видимому, не меньше, чем тебе; когда я хоть как-то могу держаться от нее в стороне, я это делаю, да она к тому же и облегчает это: нельзя быть скромней, чем она.

— Да,— выкрикнула Фрида, слова вырывались у нее словно бы против ее воли; К. был рад, что она так отвлеклась, она была не такой, какой хотела быть,— считай ее скромной, самую бесстыжую из всех ты называешь скромной, и ты действительно так думаешь, как ни трудно в это поверить, ты не притворяешься, я это знаю. Хозяйка предмостного трактира говорит о тебе: «Я его терпеть не могу, но и бросить тоже не могу, ведь когда видишь маленького ребенка, который, еще не умея как следует ходить, отваживается заходить далеко, тоже невозможно сдержаться и приходится вмешиваться».

— Прислушайся на этот раз к ее поучениям,— сказал К., улыбаясь,— но эту девушку — скромная она или бесстыжая — мы можем оставить в покое, я не хочу о ней слышать.

— Но почему ты называешь ее скромной? — упрямо спросила Фрида; К. расценил такую заинтересованность как благоприятный для него знак.— Ты это проверил или ты хочешь этим принизить другую?

— Ни то, ни другое,— ответил К.,— я называю ее скромной из благодарности, потому что она вела себя так, что мне было легко не замечать ее, ведь если бы она хоть пару раз со мной заговорила, я уже не решился бы снова пойти туда, а это было бы для меня большой потерей, потому что я должен ходить туда ради нашего с тобой будущего, как ты знаешь. И поэтому же я должен разговаривать и с другой девушкой, которую я хоть и ценю за ее трудолюбие, осмотрительность и самоотверженность, но о которой уже никто не сможет утверждать, что она обольстительна.

— Слуги придерживаются другого мнения,— заметила Фрида.

— Об этом, так же как, наверное, и о многом другом,— сказал К.— И значит,

по-твоему, если они самцы, то и я неверен?

Фрида промолчала и не возразила, когда К. забрал у нее поднос, поставил на пол, взял ее под руку и начал медленно ходить с ней взад-вперед на маленьком пространстве.

— Тебе не известно, что такое верность,— сказала она, как бы защищаясь от его близости.— И что бы там ни было у тебя с этими девками, это ведь не самое главное; то, что ты вообще ходишь в эту семью и возвращаешься с запахом их комнаты в одежде — уже невыносимый позор для меня. И ты убегаешь, ничего не говоря, из школы, и даже остаешься у них на полночи. А когда за тобой приходят, эти девки тебя заслоняют, прямо грудью заслоняют, особенно эта несравненная скромница. Ты тайком крадешься из их дома — еще, пожалуй, для того, чтобы не повредить репутации этих девок, репутации таких девок! Нет, об этом мы больше не будем говорить!

— Об этом — нет,— согласился К.,— кое о чем другом, Фрида. Об этом и говорить-то нечего. Почему я должен туда ходить, ты знаешь. Мне это нелегко, но я пересиливаю себя. Тебе бы не следовало еще больше затруднять мне это. Сегодня я думал только на минутку сходить туда и узнать, не пришел ли, наконец, Барнабас, который уже давно должен был принести мне одно важное сообщение. Его еще не было, но он, как меня уверили — и это было похоже на правду,— должен был очень скоро прийти. Его могли бы послать вслед за мной в школу, но я этого не хотел, чтобы не обременять тебя его присутствием. Часы шли, а он, к сожалению, не приходил. Зато пришел кое-кто другой, которого я ненавижу. Мне совсем не хотелось, чтобы он меня выслеживал, и поэтому я пошел через соседский сад, но я не собирался прятаться от него, а открыто пошел потом к нему на улице с таким — признаюсь в этом — очень гибким ивовым прутом. Это — все, и таким образом, об этом больше говорить нечего, но вот кое о чем другом... как там все-таки обстоит дело с этими помощниками, упоминать о которых мне почти так же противно, как тебе — о той семье. Сравни твои с ними отношения с тем, как я вел себя в этой семье. Я понимаю твое отвращение к этой семье и готов его разделить. Я к ним хожу только ради дела, иногда мне даже кажется, что я поступаю с ними нехорошо, использую их. А взять тебя с этими помощниками! Ты даже не пыталась отрицать, что они тебя преследуют, и призналась, что тебя к ним тянет. А я не рассердился на тебя за это, я понял, что тут замешаны такие силы, с которыми тебе не справиться, я был счастлив уже тем, что ты, по крайней мере, сопротивляешься, я помогал тебе защищаться,— и только потому, что я на несколько часов отлучился, надеясь на твою верность и, конечно, на то, что дом надежно заперт и помощники окончательно изгнаны (боюсь, что я все еще недооценивал их),— только потому, что я на несколько часов отлучился, и этот Иеремия, между нами говоря, не очень здоровый, потрепанный парень, имел наглость подойти к окну,— только поэтому, Фрида, я должен тебя потерять и слышать вместо приветствия: «свадьбы не будет»? Ведь это, в сущности, я мог бы делать упреки, а я их не делаю, все еще не делаю.

И снова К. показалось, что хорошо будет немного отвлечь Фриду, и он попросил ее принести что-нибудь поесть, потому что он с самого полудня ничего не ел. Фрида, тоже явно испытывая облегчение от этой просьбы, кивнула и побежала что-нибудь принести, но не по коридору, не туда, где, как предполагал К., была кухня, а вбок, на несколько ступенек вниз. Вскоре она принесла тарелку с нарезанной колбасой и бутылку вина, но это, по-видимому, были остатки чьей-то еды: чтобы это было незаметно, отдельные куски были наскоро снова разложены, лежала даже забытая колбасная кожура, а бутылка была на три четверти пуста. Однако К. ничего на это не сказал и с хорошим аппетитом принялся за еду.

— Ты была на кухне? — спросил он.

— Нет, в моей комнате,— ответила она,— у меня здесь внизу комната.

— Ты бы лучше взяла меня с собой,— попросил К.— Я спущусь туда, хоть поем сидя.

— Я принесу тебе стул,— сказала Фрида и уже хотела идти.

— Спасибо,— поблагодарил К. и удержал ее,— я не буду спускаться, и стул мне уже не нужен.

Фрида, низко опустив голову, пыталась освободиться от его руки и кусала губы.

— Ну да, он внизу,— сказала она.— Ты ожидал чего-то другого? Он лежит в моей кровати, он простудился на морозе, его знобит, он почти не ел. По существу, все это твоя вина: если бы ты не выгнал помощников и не бегал бы в эту семью, мы сейчас могли бы спокойно сидеть в школе. Ты сам разрушил наше счастье. Ты думаешь, Иеремия, пока он был на службе, посмел бы меня увести? Тогда ты вообще ничего не понимаешь в здешних порядках. Он хотел ко мне, он мучился, он подстерегал меня, но это была только игра — как голодный пес играет, но все-таки не смеет прыгнуть на стол. И точно так же я. Меня тянуло к нему, он мой товарищ по детским играм (мы с ним вместе играли на склонах замковой горы — чудное время, ты никогда не спрашивал меня о моем прошлом), но все это ничего не решало, пока Иеремию связывала служба, потому что ведь я, как твоя будущая жена, не забывала своего долга. Но потом ты выгнал помощников и еще хвастался этим, как будто сделал что-то для меня; впрочем, в каком-то определенном смысле это так. С Артуром ты достиг того, чего хотел — разумеется, только временно,— он нежен, у него нет не боящейся никаких трудностей страсти Иеремии, и потом ты же тогда ночью ударом кулака (это был удар и по нашему счастью) почти сломал его, он убежал в Замок жаловаться, и если даже он скоро и возвратится, все-таки сейчас его нет. А Иеремия здесь. На службе он пугается, когда господин глазом моргнет, но вне службы он ничего не боится. Он пришел и взял меня; покинутая тобой, оказавшись в его руках, в руках старого друга, я не могла устоять. Я не открывала дверей школы — он разбил окно и вытащил меня. Мы убежали сюда; хозяин ценит его, и для гостей тоже не может быть ничего лучше, чем такой коридорный, так что нас приняли; не он у меня живет, а это наша общая комната.

— Несмотря на все это,— сказал К.,— я не жалею, что выгнал помощников со службы. Если все было так, как ты описываешь, и твоя верность, следовательно, была обусловлена только служебной связанностью помощников, тогда хорошо, что все кончилось. Счастье супружеской жизни между двух хищников, которые подчиняются только кнуту, было бы не слишком велико. Тогда я благодарен и этой семье за ее неумышленный вклад в то, чтобы нас разлучить.

Они замолчали и снова начали ходить взад-вперед, причем нельзя было понять, кто из них теперь это начал. Фрида, шагая рядом с К., казалось, была недовольна, что он не взял ее снова под руку.

— И все было бы в порядке,— продолжал К.,— и мы могли бы расстаться; ты пошла бы к твоему господину Иеремии, которого ты, учитывая, что он простужен, наверное, еще со школьного сада, уже слишком надолго оставила одного, а я — в школу или, поскольку я теперь один и без тебя мне там делать нечего,— еще куда-нибудь, где меня принимают. И если я все еще медлю, то это потому, что у меня есть серьезные основания все-таки немного сомневаться в том, что ты мне рассказала. На меня Иеремия произвел прямо противоположное впечатление. Пока он был на службе, он приставал к тебе, и я не думаю, что служба помешала бы ему рано или поздно всерьез на тебя наброситься. Но теперь, с тех пор, как он считает службу законченной, положение изменилось. Извини, но я объясняю себе это следующим образом: с той минуты, как ты перестала быть невестой его господина, ты уже не представляешь для него такого соблазна, как раньше. Хоть ты и подруга его детских лет, но он, по-моему,— я понял его, собственно, только после нашего короткого разговора сегодня ночью,— придает не слишком большое значение подобным сантиментам. Я не знаю, почему он тебе кажется такой страстной натурой. Его образ мыслей мне представляется, скорее, даже чересчур трезвым. Он получил от Галатера какое-то, касающееся меня и, возможно, не слишком для меня радостное задание, его он старается выполнить с известной служебной страстью (которую я готов за ним признать, это здесь не такая уж редкость), сюда же относится и то, что он разрушает наши отношения; возможно, он пытался это сделать разными способами, один из них состоял в том, что он старался тебя завлечь своими похотливыми томленьями, другой — тут его поддерживала хозяйка,— в том, что он сочинял басни о моей неверности; его замысел удался (не исключено, что этому помог и некий окружавший его ореол воспоминаний о Кламме), свой пост он, правда, потерял, но, возможно, как раз в тот момент, когда он уже в нем больше не нуждался,— и вот он пожинает плоды своих трудов и вытаскивает тебя из окна школы, но на этом его работа закончена, служебная страсть оставляет его, он чувствует усталость, он предпочел бы быть на месте Артура, который совсем не жалуется, а добывает себе похвалу и новые задания, но кто-то должен же был остаться, чтобы следить за дальнейшим развитием событий. Так что заниматься тобой для него просто несколько обременительная обязанность. Любви тут нет и следа, он мне прямо в этом признался; как возлюбленная Кламма ты для него, разумеется, достойна уважения, поселиться в твоей комнате и временами чувствовать себя маленьким Кламмом ему наверняка очень приятно, но это и все, сама ты теперь для него ничего не значишь; что он тебя здесь поместил — это для него только приложение к его главному заданию, а чтобы тебя не встревожить, он и сам здесь остался, но только временно, пока не получит новые известия из Замка и ты не вылечишь его простуду.

— Как ты на него клевещешь! — воскликнула Фрида и стукнула друг об друга свои маленькие кулачки.

— Клевещу? — подхватил К.— Нет, клеветать на него я не собираюсь. Я, может быть, к нему несправедлив,— да, это, конечно, возможно. То, что я о нем сказал, можно истолковать и иначе, совсем уж на поверхности это, разумеется, не лежит, но — клеветать? Ведь клеветать можно было бы только для того, чтобы бороться против твоей любви к нему. Будь в этом необходимость, и будь клевета подходящим средством, я не задумался бы его оклеветать. Никто не мог бы меня за это осудить: он, с помощью того,

кто дал ему это задание, получил такое преимущество передо мной, что я, будучи совершенно один и предоставлен самому себе, имел бы право немного и поклеветать. Это было бы сравнительно безобидное и, в конечном счете, довольно беспомощное средство защиты. Так что не надо сжимать кулаки.

И К. взял руку Фриды в свою; Фрида попыталась отнять у него руку, но — с усмешкой и не прикладывая больших усилий.

— Но мне нет необходимости клеветать,— продолжал К.,— потому что ты ведь его не любишь, тебе это только кажется, и ты будешь мне благодарна, если я избавлю тебя от этого заблуждения. Подумай сама: ведь если бы кто-нибудь захотел увести тебя от меня — не силой, а по возможности точным расчетом,— то он должен был бы действовать именно через этих помощников. С виду добрые, веселые, дурашливые, безответственные, слетевшие сверху, из Замка ребята, прибавь сюда еще толику детских воспоминаний,— ведь уже все это очень достойно любви, особенно если учесть, что я во всем чуть ли не полная им противоположность; к тому же я все время убегаю по делам, которые тебе не вполне понятны, которые тебя раздражают, которые сводят меня с ненавистными тебе людьми, и что-то от этого — при всей моей невиновности — переносится и на меня. В целом все это просто-напросто коварное, хотя и очень умное использование недостатков наших отношений. Любые отношения имеют свои недостатки, тем более — наши, ведь мы из совершенно разных миров, и с тех пор, как мы узнали друг друга, жизнь каждого из нас пошла по совершенно новому пути, поэтому мы чувствуем себя еще неуверенно, ведь все это слишком ново. Я не говорю о себе, это здесь не так важно, ведь, в сущности, для меня с тех пор, как ты в первый раз на меня посмотрела, все это — сплошные подарки, а привыкнуть к тому, что тебе делают подарки, не так уж трудно. Но ты, не говоря уже обо всем прочем, была оторвана от Кламма; я не в состоянии вполне оценить, что это значит, но некоторое представление об этом я все-таки уже получил; начались шатания, невозможно было разобраться в себе, и хотя я всегда был готов тебя понять, но все-таки я не всегда был рядом, а когда я был рядом, то тебя порой удерживали твои мечтания или нечто еще более живое, как, например, эта хозяйка, короче, бывали такие периоды, когда твой взгляд отворачивался от меня, тебя влекло что-то такое неопределенное — бедное дитя — и в такие моменты достаточно было поставить в направлении твоего взгляда подходящих людей, и ты из-за них уже обо всем забывала, поддавалась наваждению, верила в эти мгновения, в призраки, в старые воспоминания, в то, что эта, в сущности, ушедшая и все дальше уходящая прошлая жизнь,— все еще твоя нынешняя, настоящая жизнь. Ошибка, Фрида, не что иное, как последнее и, если разобраться, жалкое затруднение на пути к нашему окончательному соединению. Приди в себя, опомнись; даже если ты думаешь, что помощники посланы Кламмом (а это совсем не так, они пришли от Галатера), и даже если, используя это наваждение, они смогли тебя так заворожить, что ты даже в их грязи и в их распутстве думаешь найти следы Кламма,— так же, как кому-то может показаться, что он видит в куче навоза потерянный когда-то драгоценный камень, хотя в действительности он не смог бы его там найти, даже если бы он там и был,— то все-таки они всего лишь обычные парни вроде тех слуг в хлеву, разве что у них нет того здоровья: немного свежего воздуха — и они уже больны и валятся в кровати, которые, правда, они со свойственной слугам пройдошливостью умеют отыскивать.

Фрида положила голову на плечо К.; обнявшись, они молча ходили взад-вперед.

— Если бы мы,— медленно, спокойно, почти умиротворенно сказала Фрида (так, словно знала, что ей отпущено совсем немного времени отдыхать на плече К., но этим временем она собиралась насладиться до конца),— если бы мы сразу, в ту же ночь уехали, мы сейчас могли бы быть где-нибудь в безопасности, всегда вместе, твоя рука — всегда рядом, за нее можно ухватиться; мне так нужно, чтобы ты был рядом; с тех пор, как я узнала тебя, я так одинока, когда тебя нет рядом; поверь, единственное, о чем я мечтаю,— это чтобы ты был рядом, больше ни о чем.

В этот момент в боковом ответвлении коридора кто-то вскрикнул; это был Иеремия, он стоял там на нижней ступеньке, на нем была только рубашка, но он накинул на себя платок Фриды. Что за вид у него был,— волосы всклочены, жидкая борода словно вымокла под дождем, в выпученных глазах мука, мольба и упрек, смуглые щеки покраснели, но так, словно были сделаны из фарша, голые ноги дрожали от холода, и вместе с ними дрожала длинная бахрома платка; он выглядел как убежавший из лечебницы больной, при виде которого можно думать только о том, как уложить его обратно в постель — и ни о чем больше. Так восприняла это и Фрида, она выскользнула из-под руки К. и мгновенно оказалась внизу, около помощника. Ее близость, заботливость, с которой она поплотнее укутала его в платок, и поспешность, с которой хотела сразу же увести обратно в комнату, казалось, уже сделали его

немного сильнее; он как будто только теперь узнал К.

— А-а, господин землемер,— сказал он, успокоительно поглаживая по щеке Фриду, которая больше не хотела допускать никаких разговоров.— Простите, что помешал. Но мне очень нездоровится, это все-таки извиняет. Мне кажется, у меня жар, мне надо выпить чаю и пропотеть. Проклятая решетка в школьном саду, я ее, наверное, еще попомню; и сейчас еще бегал тут, уже простуженный, среди ночи. Вот так, не замечая, жертвуешь своим здоровьем ради вещей, которые поистине этого не стоят. Но вы, господин землемер, не должны допустить, чтобы я вам помешал; пойдемте к нам в комнату, навестите больного, заодно и скажете Фриде то, что еще осталось сказать. Когда двое, которые привыкли друг к другу, расходятся, им, естественно, в последний момент так много надо друг другу сказать, что третьему, в особенности если он лежит в кровати и ждет обещанного чая, невозможно это понять. Но пойдемте же, я буду лежать совсем тихо.

— Хватит, хватит,— сказала Фрида и потащила его за руку.— У него жар, он сам не знает, что говорит. А ты, К., не ходи с нами, я прошу тебя. Это моя с Иеремией комната, или, скорее, даже только моя, и я запрещаю тебе идти с нами. Ты преследуешь меня, ах, К., зачем ты преследуешь меня. Никогда, никогда я не вернусь к тебе, я вся дрожу, лишь только подумаю о такой возможности. Иди же к своим девкам, мне рассказывали, как они сидят в одних рубашках по обе стороны от тебя на скамейке у печи и, когда кто-нибудь за тобой приходит, они на него набрасываются. Там ты, наверное, дома, раз тебя так сильно туда тянет. А я тебе всегда мешала — без особого успеха, но все-таки мешала; теперь это в прошлом, ты свободен. Завидная жизнь тебя ожидает; из-за одной тебе, может быть, придется немного побороться со слугами, но что касается второй, то ни на небе, ни на земле не найдется никого, кто пожалел бы отдать ее тебе. Союз заранее благословлен. Не надо ничего говорить, конечно, ты способен опровергнуть все на свете, но в результате оказывается, что вообще ничего не опровергнуто. Подумай только, Иеремия, он все опроверг!

Они посмотрели друг на друга, понимающе покачали головами и усмехнулись.

— Но,— продолжала Фрида,— даже если бы он все опроверг, чего бы он этим достиг, какое мне до этого дело? Что бы у него там с ними ни происходило — это целиком их и его дело, а не мое. Мое дело ухаживать за тобой до тех пор, пока ты снова не будешь здоров, как когда-то, когда этот К. еще не начал тебя мучить из-за меня.

— Так вы — правда не пойдете с нами, господин землемер? — спросил Иеремия, но тут Фрида уже окончательно его утащила, даже не обернувшись больше к К.

Внизу видна была низенькая дверь, еще ниже, чем двери в коридоре (не только Иеремии, но и Фриде пришлось, входя, нагнуться); внутри, кажется, было светло и тепло, некоторое время там еще слышалось перешептывание: должно быть, любовные уговоры, чтобы заставить Иеремию лечь в постель, потом дверь закрылась.

Только теперь К. заметил, как тихо стало в коридоре,— не только здесь, в этой его части, где они ходили с Фридой и которая, по-видимому, относилась к хозяйственным помещениям, но и во всем этом длинном коридоре с такими недавно оживленными комнатами. Значит, господа, наконец, все-таки заснули. К. тоже очень устал; возможно, из-за этой усталости он не защищался от Иеремии так, как надо было. Возможно, было бы умнее последовать примеру Иеремии, который явно преувеличивал свою простуду (он был жалок не от простуды, он таким уродился, и этого не выгнал бы самый целебный чай),— целиком последовать примеру Иеремии, выставить точно так же напоказ свою действительно большую усталость, сесть прямо тут в коридоре на пол — что было бы уже само по себе большим облегчением — и немного подремать, и тогда, может быть, о нем бы немного и позаботились. Только не прошло бы это так удачно, как у Иеремии, который в такой борьбе за сострадание наверняка и, очевидно, по праву победил бы — да, видимо, и во всяком другом состязании. К. так устал, что раздумывал, не попытаться ли ему зайти в одну из этих комнат — ведь многие наверняка пустовали — и выспаться на какой-нибудь прекрасной кровати. Это, как он считал, могло бы многое ему компенсировать. И что выпить на сон грядущий у него уже есть. На подносе, который Фрида оставила на полу, был маленький графинчик с ромом. Не убоявшись трудностей обратного пути, К. опустошил его.

Теперь он, по крайней мере, почувствовал себя достаточно крепким, чтобы предстать перед Эрлангером. Он поискал дверь комнаты Эрлангера, но так как ни слуги, ни Герштеккера уже не было видно, а все двери были одинаковые, найти ее он не мог. Но он полагал, что помнит, в каком примерно месте коридора была эта дверь, и решил открыть одну, которая, по его мнению, скорей всего и была искомой. Такая попытка не могла быть слишком опасной: если это комната Эрлангера, тот, надо думать, примет его, если это комната кого-то другого, то ведь можно просто извиниться и уйти, а если обитатель спит, что наиболее вероятно, то визит

К. вообще останется незамеченным; плохо могло выйти только в том случае, если бы комната оказалась пустой, потому что тогда К. вряд ли смог бы устоять перед искушением улечься в кровать и спать до бесконечности. Он еще раз посмотрел вправо и влево, не идет ли все-таки по коридору кто-нибудь, кто мог бы дать ему справку и избавить от ненужного риска, но длинный коридор был тих и пуст. Тогда К. послушал у двери,— и тут никого. Он постучался так тихо, что спящего это не могло разбудить, и когда в ответ ничего не последовало, максимально осторожно открыл дверь. Но тут его встретил слабый вскрик.

Это была маленькая комната, которую больше чем наполовину занимала широкая кровать; на ночном столике горела электрическая лампа, рядом с ней стояла дорожная сумка. В кровати кто-то, совершенно скрытый под одеялом, беспокойно пошевелился и прошептал в щель между одеялом и простыней:

— Кто это?

Теперь К. уже не мог просто так уйти; недовольно смотрел он на роскошную, но, к сожалению, непустую кровать, потом вспомнил про вопрос и назвал свое имя. Оно, кажется, произвело хорошее впечатление; человек в кровати немного стянул одеяло с лица, однако — опасливо, готовый сразу же снова накрыться с головой, если бы снаружи что-нибудь оказалось не так. Но затем он решительно откинул одеяло и сел. Определенно, это был не Эрлангер. Это был маленький, хорошо выглядевший господин, лицо которого с детски круглыми щеками и по-детски веселыми глазами было в какой-то мере противоречиво из-за того, что высокий лоб, острый нос, тонкие, не желавшие смыкаться губы, почти сглаженный подбородок — были совсем не детские, а выдавали надменную работу мысли. Повидимому, именно довольство всем этим, довольство самим собой сберегло ему немалый остаток здоровой детскости.

— Вы знаете Фридриха? — спросил он.

К. ответил отрицательно.

— А он вас знает,— сообщил господин, усмехаясь.

К. кивнул: в людях, которые его знали, недостатка не было, это даже было одним из главных препятствий на его пути.

— Я его секретарь,— представился господин,— мое имя Бюргель.

— Извините,— сказал К. и взялся за ручку двери,— я, к сожалению, спутал вашу дверь с другой. Я ведь вызван к секретарю Эрлангеру.

— Какая жалость,— огорчился Бюргель.— Не то, что вы вызваны куда-то еще, а то, что вы спутали двери. Я ведь, если уж меня разбудили, совершенно точно больше не засну. Ну, это, однако, не должно так уж сильно вас опечалить, это мое личное несчастье. И потом, почему здесь не запираются двери, верно? На это, правда, есть своя причина: по одному старому постановлению двери секретарей всегда должны быть открыты. Но столь буквально это тоже, конечно, не следовало бы понимать.

Бюргель вопросительно и весело смотрел на К.; хоть он и жаловался, но выглядел он совсем неплохо отдохнувшим; таким усталым, как К., Бюргель, наверное, вообще никогда не был.

— Куда же вы собираетесь теперь идти? — спросил Бюргель.— Сейчас четыре часа. Всякого, к кому бы вы ни явились, вам пришлось бы разбудить, но не всякий так привык к помехам, как я, не всякий относится к этому так спокойно, секретари — народ нервный. Так что оставайтесь пока. Здесь начинают вставать около пяти часов, и тогда вам будет всего удобнее явиться на вашу аудиенцию. Так что вы, пожалуйста, отпустите, наконец, ручку двери и сядьте куда-нибудь; место здесь, правда, ограничено, всего удобнее, если вы сядете сюда, на край кровати. Вы удивляетесь, что у меня здесь нет ни стула, ни стола? Ну, у меня был выбор: либо получить полную обстановку с узкой гостиничной кроватью, либо эту большую кровать и больше ничего, кроме умывальника. Я выбрал большую кровать: как-никак в спальне все-таки главное — кровать! Ах, для того, кто может улечься и хорошо поспать, для хорошего сони такая кровать должна быть поистине богатством. Но и мне (я ведь, не имея возможности спать, постоянно утомлен) она приносит облегчение, я провожу в ней большую часть дня, разбираю в ней всю корреспонденцию, веду допросы посетителей. Вполне хорошо проходят. Посетителям, правда, негде сесть, но они это переживут, ведь им и самим приятнее, когда они стоят и протоколист себя хорошо чувствует, чем когда они удобно сидят и на них при этом орут. Так что могу предоставить только вот это место на краю кровати, но это — не рабочее место и предназначено оно только для ночных бесед. Однако вы все молчите, господин землемер?

— Я очень устал,— сказал К.; на предложение сесть он сразу же, грубо, без всякого почтения уселся на кровать и облокотился на спинку.

— Естественно,— кивнул, смеясь, Бюргель,— здесь все устали. К примеру, работа, которую я вчера — и уже сегодня проделал,— была не маленькая. Это, конечно, совершенно исключено, чтобы я теперь заснул, но если такое наиневероятнейшее событие все же произойдет и я еще при вас засну, то, пожалуйста, ведите себя тихо, и дверь, пожалуйста, тоже не открывайте. Но не бойтесь, я определенно не засну — в лучшем случае, на каких-нибудь пару минут. Дело, видите ли, в том, что я (вероятно, потому, что я уже так привык к хождению посетителей) все-таки легче всего засыпаю, когда я в чьем-либо обществе.

— Так вы спите, пожалуйста, господин секретарь,— предложил К., обрадованный этим заявлением,— и я тогда, с вашего позволения, тоже немного вздремну.

— Нет-нет,— засмеялся снова Бюргель,— чтобы мне заснуть, одного приглашения, к сожалению, недостаточно,— только в ходе разговора может представиться для этого возможность: меня верней всего усыпляет разговор. Да, на нашей работе нервы расшатываются. Вот я, например,— секретарь по связям. Вы не знаете, что это такое? Ну, я осуществляю теснейшую связь,— при этом он с невольно прорвавшейся веселостью быстро потер руки,— между Фридрихом и деревней; я осуществляю связь между его замковыми и деревенскими секретарями, нахожусь большей частью в деревне, но не постоянно: в любой момент я должен быть готов ехать наверх в Замок — видите эту дорожную сумку? — беспокойная жизнь, не всякому подойдет. Правда, с другой стороны, надо сказать, что без такого рода работы я теперь уже не смог бы: всякая другая мне показалась бы пресной. А как ваше землемерство?

— Я этой работы не делаю, я не землемером буду работать,— ответил К.; занятый своими мыслями, он слушал не очень внимательно; собственно, он мечтал только о том, чтобы Бюргель заснул, но даже и это шло лишь от некоего чувства долга по отношению к самому себе, в глубине души он, кажется, знал, что минута, когда Бюргель заснет, еще бесконечно далека.

— Это удивительно,— с живостью вскинул голову Бюргель и вытащил из-под одеяла блокнот, чтобы что-то записать.— Вы — землемер и не имеете землемерной работы.

К. механически кивнул; вытянув левую руку поверх спинки кровати, он положил на нее голову: он уже по-всякому пытался устроиться, и это положение было самым удобным, теперь он уже мог немного лучше вслушаться в то, что говорил Бюргель.

— Я готов,— продолжал Бюргель,— слушать дальше об этом деле. Ведь у нас здесь совершенно определенно не может быть такого положения, чтобы квалифицированные кадры оставались неиспользованными. И вам ведь тоже должно быть обидно, вы разве от этого не страдаете?

— От этого я страдаю,— медленно произнес К. и усмехнулся про себя, потому что как раз теперь он от этого не страдал ни в малейшей мере.

Предложение Бюргеля произвело на него слабое впечатление. Оно было абсолютно дилетантским. Не зная ничего об обстоятельствах, сопутствовавших вызову К., о трудностях, с которыми при этом столкнулись в общине и в Замке, об осложнениях, которые возникли — или якобы возникли — уже во время пребывания здесь К.,— ничего обо всем этом не зная, и даже не пытаясь сделать вид, что он, по крайней мере, имеет об этом хоть какое-то представление (в отношении секретаря это должно было бы приниматься за аксиому), он вызывается одним мановением руки, с помощью своего тощего блокнотика навести в этом деле там, наверху, порядок.

— Вы, кажется, уже испытали кое-какие разочарования,— заметил Бюргель и этим, однако, снова доказал некоторое знание людей; вообще с того момента, как К. вошел в эту комнату, он время от времени предостерегал себя от недооценки Бюргеля, но в его состоянии было трудно справедливо судить о чем-либо, кроме собственной усталости.

— Нет,— сказал Бюргель, словно отвечал на какую-то мысль К., предупредительно желая избавить его от необходимости высказываться.— Вы не должны допускать, чтобы разочарования отпугнули вас. Здесь, кажется, многое и рассчитано на то, чтобы отпугнуть, и тому, кто сюда только пришел, препятствия кажутся совершенно непреодолимыми. Я не собираюсь расследовать, как с этим обстоит на самом деле, может быть, эта видимость и в самом деле соответствует действительности, мне в моем положении недостает необходимого отдаления, чтобы это установить, но обратите внимание на то, что иногда при этом опять-таки появляются возможности, которые почти не согласуются с общим положением,— когда одним словом, одним взглядом, одним знаком доверия можно достигнуть большего, чем изнурительными усилиями целой жизни. Определенно, это так. Правда, затем эти возможности все-таки снова согласуются с общим положением в силу того, что они никогда не используются. Но почему же они никогда не используются, снова и снова спрашиваю я.

К. этого не знал; хотя он заметил, что Бюргель говорил о вещах, которые, повидимому, очень его касались, но он чувствовал теперь какое-то могучее отвращение ко всем вещам, которые его касались; он отклонил голову немного в сторону, словно уворачиваясь от вопросов Бюргеля, чтобы они не могли его задеть.

— Секретари,— продолжил Бюргель, при этом раскинул руки и зевнул, что ошеломляюще противоречило серьезности его слов,— секретари постоянно жалуются, что они вынуждены большинство деревенских допросов проводить ночью. Но почему они на это жалуются? Потому что это требует от них слишком большого напряжения? Потому что они предпочли

бы употребить ночь для сна? Нет, на это они определенно не жалуются. Естественно, среди секретарей есть старательные и менее старательные, как и везде, но на чрезмерно большое напряжение не жалуется ни один из них, тем более — публично. У нас это просто не принято. Мы в этом отношении не делаем различий между обычным временем и рабочим временем. Нам чужды такие различия. Но что же в таком случае секретари имеют против ночных допросов? Может быть, они щадят посетителей? Нет-нет, и не это тоже. К посетителям секретари беспощадны — разумеется, ничуть не беспощаднее, чем к самим себе, а только в точности так же беспощадны. Собственно, ведь эта беспощадность — не что иное, как железное подчинение службе и ее исполнение, то есть максимально щадящее отношение, какого посетители только могли бы желать. И ведь, в сущности, это (поверхностный наблюдатель этого, правда, не заметит) заслужило всеобщее признание; так, например, в данном случае как раз идут ночные допросы, посетителями они приветствуются, никаких принципиальных жалоб на ночные допросы не поступало. Откуда же в таком случае это нерасположение секретарей?

Этого К. тоже не знал, он знал так мало, он даже не понимал, серьезно ли Бюргель требует ответа или так, для вида. «Дал бы ты мне лечь в твою кровать,— думал он,— я бы тебе завтра днем, а еще лучше — вечером на все вопросы ответил». Но Бюргель, кажется, не обращал на него внимания, его слишком занимал вопрос, который он сам себе задал:

— Насколько мне известно от других и из моей собственной практики, у секретарей имеются относительно ночных допросов следующие соображения: «Ночь потому менее пригодна для переговоров с посетителями, что ночью трудно или попросту невозможно полностью сохранить официальный характер переговоров. Это касается не внешней стороны: при желании, соответствующие формальности, естественно, могут соблюдаться ночью точно так же, как и днем, дело, следовательно, не в этом. Но ночью смещаются официальные оценки. Ночью непроизвольно появляется тенденция оценивать вещи с более приватной точки зрения; доводам посетителей придается больший вес, чем это надлежит; к оценкам примешиваются совершенно посторонние соображения, учитывающие общее положение посетителей, их страдания и заботы; необходимый барьер между посетителями и чиновниками, пусть даже внешне он и безупречно присутствует, расшатывается, и там, где обычно — как это и должно быть — только предлагаются вопросы и поступают ответы, иногда, кажется, происходит какая-то странная, совершенно неподобающая беседа человека с человеком. Так, по крайней мере, говорят секретари, то есть такие люди, которые по роду своей профессии одарены совершенно исключительной чуткостью к подобным вещам. Но даже они — это уже не раз обсуждалось в наших кругах — во время ночных допросов слабо ощущают указанные неблагоприятные воздействия, напротив, они с самого начала стараются противодействовать им и в итоге считают, что проделали совершенно исключительную по качеству работу. Но когда потом перечитываешь эти протоколы, часто удивляешься их явным, очевидным недостаткам. И именно эти ошибки, в частности, эти все новые, наполовину незаконные успехи посетителей таковы, что их, согласно нашим инструкциям, уже нельзя — по крайней мере, обычным коротким путем — исправить. Когда-нибудь они, совершенно определенно, будут исправлены одной из контрольных служб, но это послужит только восстановлению законности, а тому посетителю повредить уже не сможет. Разве при таком положении дел жалобы секретарей не являются весьма обоснованными?

К. уже некоторое время пребывал в полудремотном состоянии, теперь его снова разбудили. «К чему это все?» — спрашивал он себя и смотрел на Бюргеля из-под полуопущенных век не как на чиновника, обсуждавшего с ним затруднительные вопросы, а только как на что-то такое, что не давало ему уснуть, и в чем усмотреть какой-то еще другой смысл он не мог. А Бюргель, целиком поглощенный ходом своих рассуждений, усмехнулся, словно ему удалось-таки немного сбить К. с толку. Однако, он был готов тут же вернуть его на правильный путь:

— Ну, признать эти жалобы обоснованными все-таки тоже нельзя. Хотя ночные допросы нигде впрямую не предписываются, и, следовательно, когда пытаются их избежать, никакие инструкции не нарушаются, но определенные обстоятельства, перегруженность работой, характер занятий чиновников в Замке, крайняя нежелательность их отлучек, инструкция, в которой сказано, что допросы посетителей должны проводиться только после окончательного завершения остального расследования, однако сразу же после такового,— все это и еще многое другое сделало тем не менее ночные допросы неизбежными и необходимыми. Но если они теперь стали необходимостью, то, говорю я, ведь это тоже, по крайней мере, косвенно, есть следствие инструкций, и осуждать в принципе ночные допросы означало бы тогда почти что — я, естественно, немного преувеличиваю для того, чтобы в виде преувеличения я мог это высказать,— означало бы тогда ни более ни менее, как осуждать инструкции.

С другой стороны, за секретарями, надо полагать, сохраняется право пытаться в пределах инструкций обезопасить себя по мере возможности от ночных допросов и их, возможно, лишь кажущихся недостатков. Это они, собственно, и делают, и притом в широчайших масштабах. Они допускают переговоры только по таким вопросам, которые вызывают возможно меньшие — в любом смысле — опасения, тщательно проверяют себя перед допросами и, если результаты проверок этого требуют, отказываются — даже и в последний момент — от любых допросов, укрепляют себя, часто при этом по десять раз вызывая какого-нибудь посетителя, прежде чем они им действительно займутся, охотно позволяют замещать себя коллегам, которые в рассматриваемом деле некомпетентны и поэтому могут с большей легкостью его вести, или, по крайней мере, назначают переговоры на начало или конец ночи и избегают промежуточных часов,— таких мер существует еще много, с этими секретарями не так-то просто справиться, они обороноспособны почти в той же мере, в какой уязвимы.

К. спал; правда, это не был настоящий сон: он слышал слова Бюргеля, может быть, даже лучше, чем во время прежнего смертельно-усталого бодрствования; слово за словом падало в его уши, но докучное сознание исчезло, он чувствовал себя свободным, уже не Бюргель держал его, а он сам иногда вдруг нащупывал Бюргеля; в глубины сна он еще не погрузился, но погружение уже началось. Никто ему больше в этом не помешает. И ему чудилось, будто бы он тем самым добился большой победы, и будто уже собралось тут и какое-то общество, и он — или кто-то другой поднял бокал шампанского в честь этой победы. И будто бы для того, чтобы все узнали, в чем тут дело, его победоносная борьба повторялась еще раз или, может быть, даже не повторялась, а только теперь происходила, и уже раньше была отпразднована, и не надо было прекращать ее праздновать, потому что исход, к счастью, был известен. К. нападал на какого-то секретаря, секретарь был голый и очень похожий на статую греческого бога. Это было очень смешно, и К. чуть усмехался во сне тому, как этот секретарь с его гордой позой каждый раз пугался атак К. и почти уже выставленную вперед руку со сжатым кулаком должен был поспешно использовать для того, чтобы прикрывать свою наготу, и все равно делал это слишком медленно. Борьба длилась недолго. К. шаг за шагом — и это были очень большие шаги — продвигался вперед. Да была ли вообще борьба? Не было никаких серьезных препятствий, разве что время от времени — писк секретаря. Этот греческий бог пищал, как девочка, которую щекочут. И наконец он исчез, К. был один в большой комнате; готовый к борьбе, он оглядывался по сторонам в поисках противника, но там никого уже не было, и общество тоже разошлось, и только на полу в лужице шампанского лежал разбитый бокал. К. раздавил его совсем, но осколки впились в ногу. Вздрогнув, он все-таки опять проснулся; ему было плохо — как бывает маленькому ребенку, когда его разбудят. Тем не менее, когда он увидел оголенную грудь Бюргеля, у него проскользнула мысль, пришедшая из сна: вот же он, твой греческий бог! Так выщипай ему перья.

— Но все-таки имеется,— произнес Бюргель и задумчиво устремил взгляд на потолок, словно искал в памяти примеры, но не мог ни одного вспомнить,— но все-таки у посетителей, несмотря на все меры предосторожности, имеется одна возможность использовать эту ночную слабость секретарей — если по-прежнему считать, что это их слабость. Правда, возможность очень редкая или, правильнее говоря, почти не существующая. Она состоит в том, что посетитель является посреди ночи без вызова. Вы, возможно, недоумеваете, почему это происходит столь редко, ведь это кажется таким очевидным. Ну да, вы не в курсе наших дел. Но даже вам все-таки должна была броситься в глаза безупречность нашей служебной организации. А из этой безупречности следует, что всякий, кто имеет какую-либо просьбу или кто по каким-то другим причинам должен быть допрошен, тут же, без промедления, большей частью еще до того, как он сам объяснит себе все дело, и даже еще до того, как он сам о нем узнает,— уже получает повестку. Допрашивать его в этот раз еще не будут,— как правило, еще не будут, настолько дело еще не созревает, но повестка у него есть, явиться без вызова он уже не может, он может, самое большее, прийти в ненадлежащее время, в этом случае ему просто указывают на дату и час явки, и когда он потом приходит снова в надлежащее время, его, как правило, выпроваживают, это уже не составляет труда; повестка в руках посетителя и пометка в актах — это для секретарей хотя и не всегда достаточное, но все же сильное оружие защиты. Правда, все это справедливо только для компетентного в данном вопросе секретаря, возможность же нападать ночью врасплох на других для каждого остается открытой. Однако это едва ли кто станет делать: это почти бессмысленно. Прежде всего, это бы очень ожесточило компетентного секретаря; хотя мы, секретари, в отношении работы ревности друг к другу определенно не испытываем, каждый и так везет слишком громоздкий, поистине не скупясь нагруженный воз работы, но терпеть со стороны посетителей нарушения границ компетентности мы никоим образом не имеем

права. Многие проиграли свое дело только из-за того, что, не надеясь на успех в надлежащем месте, пытались проскользнуть в ненадлежащее. Такие попытки, кстати, обречены на провал еще и потому, что некомпетентный секретарь, даже когда он застигнут ночью врасплох и готов помочь, именно вследствие своей некомпетентности при всем желании едва ли может сделать больше, чем какой-нибудь рядовой адвокат, а в сущности — много меньше, потому что у него ведь нет,— даже если бы в ином случае он и мог что-то сделать, поскольку он все-таки лучше знает потайные ходы права, чем все эти господа адвокаты,— просто на вещи, в которых он некомпетентен, у него нет никакого времени, ни одной минуты он не может на них потратить. Следовательно, кто же станет при таких шансах тратить свои ночи на возню с некомпетентными секретарями; к тому же если посетители помимо своих обычных занятий вздумают являться по всем повесткам во все компетентные инстанции, то ведь они будут целиком загружены — разумеется, «целиком загружены» в посетительском смысле, что, естественно, еще далеко не то же самое, что «целиком загружены» в секретарском смысле.

К., улыбаясь, кивал; ему казалось, что теперь он прекрасно все это понимает — не потому, что это его чем-то встревожило, просто теперь он уже не сомневался, что в следующую минуту заснет окончательно, на этот раз крепко и без сновидений; между компетентными секретарями с одной стороны и некомпетентными с другой и в окружении масс целиком загруженных посетителей он погрузится в глубокий сон и таким образом ускользнет ото всех. К тихому, самодовольному голосу явно зря старавшегося во имя своего усыпления Бюргеля К. теперь уже так привык, что он скорее помогал ему заснуть, чем мешал. «Тарахти, мельница, тарахти,— думал он,— ты тарахтишь только для меня».

— Так где же тут, в таком случае,— говорил Бюргель, поигрывая двумя пальцами на нижней губе, расширяя глаза и вытягивая шею так, как если бы он после утомительного путешествия приближался к какому-то восхитительному месту,— так где же тут, в таком случае, вышеупомянутая редкая, почти несуществующая возможность? Весь секрет в инструкциях о компетентности. Дело ведь обстоит не так — да и не может в большой, заполненной людьми организации обстоять так, чтобы в каждом вопросе был компетентен только один определенный секретарь. Дело обстоит лишь так, что один обладает главной компетентностью, а многие другие, в известных пределах, тоже обладают некоторой, хотя и меньшей компетентностью. Как бы смог кто-то один, будь он даже величайший работник, собрать на своем письменном столе все, что имеет отношение хотя бы к самому мельчайшему делу? Даже то, что я сказал о главной компетентности, и то слишком сильно. Разве в самой малой компетентности не заключена уже вся она целиком? Разве не решает здесь та страсть, с которой берутся за дело? И разве она, эта страсть, не всегда одна и та же, разве не присутствует всегда в полном объеме? Секретари могут различаться во всем, и таких различий бесконечное множество,— но не в страсти: ни один из них, получи он приглашение заняться случаем, в котором обладает хоть малейшей компетентностью, не сможет удержаться. Формально, разумеется, должна быть обеспечена возможность упорядоченного ведения переговоров, и поэтому для каждого из посетителей на первый план выступает один определенный секретарь, которого он официально и должен держаться. Но это даже не обязательно именно тот секретарь, который обладает наибольшей компетентностью в данном деле, тут все решает организация и особые потребности момента. Таково положение дел. И теперь сообразите, господин землемер, какова возможность того, что некий посетитель благодаря каким-то обстоятельствам и несмотря на уже вам описанные, как правило вполне достаточные препятствия все-таки застанет врасплох среди ночи секретаря, обладающего известной компетентностью в соответствующем деле. О такого рода возможности вы, очевидно, еще не думали? Охотно готов вам поверить. К тому же, о ней совершенно не нужно думать, поскольку ее ведь почти не существует. Каким же маленьким и юрким зернышком необычной, совершенно особой формы должен быть этот посетитель, чтобы проскользнуть сквозь такое непревзойденное сито? Вы полагаете, что этого вообще не может произойти? Вы правы, этого вообще не может произойти. Но однажды ночью — кто может за все ручаться? — это все-таки происходит. Я, правда, среди моих знакомых не знаю никого, с кем бы это случалось, но, однако же, это очень мало что доказывает; в сравнении с общим числом тех, кого здесь следует принимать в расчет, мои знакомства ограниченны, и кроме того, абсолютно нет уверенности, что секретарь, с которым нечто подобное случилось, захочет в этом признаться: все-таки такое происшествие очень серьезно задевает личную и, в известной мере, служебную гордость. Но, тем не менее, мой опыт, пожалуй, доказывает, что речь здесь идет о столь редком, собственно, лишь по слухам существующем и решительно ничем другим не подтвержденном явлении, что, следовательно, бояться его было бы большим преувеличением. И даже если бы оно в самом деле произошло, думается, его можно было бы обезвредить, попросту доказав (а это очень легко), что в этом мире для него нет места. Во всяком случае, прятаться от страха перед ним под одеяло и бояться выглянуть — это патология. Но даже если бы вдруг осуществилось совершенно невероятное, разве тогда уже все было бы потеряно? Напротив. Чтобы все было потеряно — это еще невероятнее, чем самое невероятное. Правда, если посетитель в комнате, это уже очень скверно. От этого сжимается сердце. «Как долго ты сможешь сопротивляться?» — спрашиваешь тогда себя, но знаешь, что никакого сопротивления не будет. Вы только должны правильно представить себе это положение. Никогда не виданный, но всегда ожидаашийся, с истинной страстью ожидавшийся и всегда благоразумно считавшийся недостижимым посетитель — сидит вот здесь. Уже одним своим молчаливым присутствием он приглашает вторгнуться в его жалкую жизнь, оглядеться в ней, как в своих владениях, и посочувствовать его бесполезным притязаниям. Тихой ночью такое приглашение очень заманчиво. Принимаешь его, и с этого момента, по существу, перестаешь быть официальным лицом. Попадаешь в такое положение, когда скоро уже становится невозможно отказать в какой-то просьбе. Откровенно говоря, приходишь в отчаяние, еще откровеннее говоря — очень счастлив. Приходишь в отчаяние — от той беззащитности, с которой сидишь здесь и ждешь просьбы посетителя, и знаешь, что ее, если уж она будет высказана, придется выполнить, даже если она (по крайней мере, насколько ты можешь себе это представить) форменным образом подрывает служебную организацию; это ведь, наверное, самое худшее, что может встретиться в практике. Прежде всего потому, что, не говоря уже обо всем остальном, это ни в какие рамки не укладывающееся превышение власти, ведь в такой момент насильственным образом присваиваешь себе чужие права. Мы же по своему положению не уполномочены выполнять такие просьбы, о которых здесь идет речь, но от близости этого ночного посетителя в некотором роде возрастают наши служебные силы, мы принимаем на себя обязательства в отношении вещей, лежащих вне нашей сферы,— и ведь мы их потом выполняем. Ночной посетитель, как разбойник в лесу, вынуждает нас к таким жертвам, на которые мы в иных условиях никогда не были бы способны; ну, хорошо, так обстоит дело в тот момент, когда посетитель еще здесь, когда он нас укрепляет, и вынуждает, и подталкивает, и все происходит еще полубессознательно,— но каково нам потом, когда это уже произошло, когда посетитель, насытившийся и беззаботный, нас покидает, а мы остаемся тут, одинокие, беззащитные перед лицом нашего злоупотребления служебным положением,— это просто невозможно себе представить! И тем не менее, мы счастливы. Как самоубийственно может быть счастье! Мы, конечно, могли бы постараться скрыть от посетителя истинное положение вещей. Ведь сам он, без посторонней помощи, едва ли что-нибудь заметит. Ведь он, наверное, считает, что только в силу каких-то случайных, посторонних причин (устал, разочарован, бесцеремонен и равнодушен от усталости и разочарования) ввалился не в ту комнату, в какую хотел, он сидит здесь, ничего не зная, и занят — если он вообще чем-то занят — мыслями о своей ошибке или о своей усталости. Нельзя ли его так и оставить? Нельзя. В припадке счастливой болтливости ты должен все ему объяснить. Не в силах хоть самую малость пощадить себя, ты должен исчерпывающе показать ему, что произошло, и по какой причине это произошло, и какая это исключительно редкая возможность, и как она уникально велика; ты должен показать, как посетитель набрел на такую возможность, и как он при всей его беспомощности, на которую никакое другое существо, за исключением именно и только посетителя, не может быть способно,— как, несмотря на это, он теперь, господин землемер, может, если он хочет, всем завладеть; и для этого ему не нужно ничего делать — только выразить каким-то образом свою просьбу, исполнение которой уже подготовлено, исполнение которой просто-таки идет ей навстречу,— все это ты должен показать; тяжелый час для чиновника. Но когда уже и это сделано, тогда, господин землемер, самое необходимое произошло, и ты должен удовольствоваться этим и ждать.

К. спал, отрешившись от всего, что произошло. Голова его, вначале лежавшая на левой, вытянутой поверх спинки кровати руке, во сне соскользнула и теперь висела в воздухе, медленно опускаясь все ниже; опоры вверху на руку было уже недостаточно, и К. бессознательно нашел себе еще одну, упершись правой рукой в одеяло, при этом случайно попал как раз на вытянутую под одеялом ногу Бюргеля и ухватил ее. Бюргель внимательно посмотрел и оставил ему ногу, несмотря на те неудобства, которые, возможно, испытывал.

В этот момент раздались сильные удары в боковую стену. К., вздрогнув, проснулся и посмотрел на стену.

— Там не землемер? — спросил чей-то голос.

— Да,— отозвался Бюргель, отнял у К. ногу и неожиданно, бурно и шаловливо, как маленький мальчик, потянулся.

— Так пусть он, наконец, идет сюда,—

снова сказал голос; ни присутствие Бюргеля, ни то, что К. еще мог быть ему нужен, во внимание не принималось.

— Это Эрлангер,— шепотом сказал Бюргель; то, что Эрлангер был в соседней комнате, его, кажется, не удивило.— Идите к нему сразу, он уже злится, постарайтесь его успокоить. У него хороший сон, но мы все-таки слишком громко разговаривали; когда говоришь о некоторых вещах, невозможно сдерживать ни себя, ни голос. Ну, идите же; вы, кажется, даже проснуться не в состоянии. Идите, чего еще вы здесь, собственно, ждете? Нет, можете не извиняться за вашу сонливость, зачем же? Телесных сил нам хватает только до известного предела, кто виноват в том, что именно этот предел так важен и для остального? Нет, в этом никто не виноват. Так мир сам себя корректирует в своем движении и сохраняет равновесие. Это ведь превосходно устроено, всякий раз непостижимо превосходно, даже если это в ином отношении и прискорбно. Ну, идите, я не понимаю, почему вы на меня так смотрите. Если вы еще протянете, Эрлангер перейдет ко мне, а я бы очень желал этого избежать. Идите же, кто знает, что вас там ждет, тут же везде полно возможностей. Правда, есть такие возможности, которые в некотором роде слишком велики, чтобы их использовать; есть вещи, которые разбиваются не обо что-то другое, а о самих себя. Н-да, это достойно удивления. Впрочем, я все-таки надеюсь, что смогу теперь немного поспать. Правда, уже пять часов и скоро начнется весь этот шум. Если б хоть вы, по крайней мере, соблаговолили уйти!

Оглушенный внезапным пробуждением от тяжелого сна, все еще бесконечно сонный, с болью во всем теле от неудобного положения, К. долго не мог решиться встать, держался за лоб и смотрел вниз, на застежку своих брюк. Даже непрерывные попытки Бюргеля распрощаться не могли заставить его уйти, только ощущение бесполезности дальнейшего пребывания в этой комнате постепенно склоняло его к этому. Комната казалась ему теперь невыразимо тоскливой. Стала ли она такой, или всегда такой была, он не знал. Даже заснуть здесь снова он бы не смог. Эта уверенность оказалась решающей; немного усмехаясь этому, К. поднялся и, опираясь на все, на что только можно было опереться: на кровать, на стену, на дверь — и не говоря ни слова, как будто давно уже попрощался с Бюргелем, вышел, не кивнув, из комнаты.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Скорей всего он с тем же безразличием прошел бы мимо комнаты Эрлангера, если бы Эрлангер не стоял в дверях и не поманил его. Один короткий пригласительный жест указательным пальцем. Эрлангер был уже совсем готов ехать: он стоял в черном меховом пальто с узким воротником, застегнутым под самой шеей. Слуга как раз протягивал ему перчатки и держал наготове меховую шапку.

— Вы должны были уже давно прийти,— заметил Эрлангер.

К. хотел извиниться. Эрлангер, устало закрыв глаза, показал, что это можно опустить.

— Дело в следующем,— сказал он.— В пивной раньше служила некая Фрида, я знаю только ее имя, ее саму я не знаю, она меня не интересует. Эта Фрида иногда подавала пиво Кламму. Теперь там, кажется, какая-то другая девушка. Ну, это изменение, естественно, не имеет значения, по-видимому, ни для кого, а для Кламма — совершенно точно. Однако, чем больше выполняемая работа, а работа Кламма, разумеется, самая большая, тем меньше остается сил для того, чтобы защищать себя от внешнего мира, вследствие чего любое незначительное изменение незначительнейшей вещи может уже серьезно мешать. Малейшее изменение на письменном столе, удаление какого-нибудь с незапамятных времен сидевшего там грязного пятна,— все это может мешать, и точно так же — новая подавальщица. Ну, даже если кому-то другому при какой угодно другой работе это бы и мешало, Кламму все это, разумеется, не мешает, об этом не может быть и речи. Тем не менее, мы настолько обязаны заботиться об удобствах Кламма, что устраняем даже те помехи, которых для него не существует (а скорей всего, их для него вообще не существует), если они производят на нас впечатление возможных помех. Мы устраняем эти помехи не ради него и не ради его работы, а ради нас, чтобы наша совесть была спокойна. И потому эта Фрида должна немедленно вернуться обратно в пивную; возможно, она помешает как раз своим возвращением, ну, тогда мы ее снова уберем, но пока что она должна вернуться. Вы, как мне сказали, живете с ней, поэтому немедленно обеспечьте ее возвращение. Личные чувства здесь, конечно, не могут приниматься во внимание, это само собой разумеется, потому я и не намерен пускаться ни в какие дальнейшие разъяснения этого дела. Я сделаю уже значительно больше, чем требуется, упомянув, что если вы в данной мелочи себя зарекомендуете, это при случае может оказаться полезным для обеспечения вашего существования. Это все, что я имею вам сказать.

Он кивком распрощался с К., надел поданную слугой шапку и быстро, но слегка прихрамывая, зашагал в сопровождении слуги по коридору.

Иногда здесь отдавали приказы, которые было очень легко исполнить, но эта легкость не радовала К. И не только потому, что приказ касался Фриды, и, хоть и был высказан как приказ, для К. звучал насмешкой, но главным образом потому, что он убеждал К. в бесполезности его устремлений. Все эти приказы гремели над ним, но не задевали его; были приказы неприятные, и были приятные, и даже приятные в глубине, наверное, тоже содержали неприятную начинку,— как бы там ни было, они не задевали его, а он оказался слишком далеко внизу и никак не мог вмешаться или, тем более, заставить их умолкнуть, чтобы услышали и его голос. Если Эрлангер тебя выставляет — что ты можешь сделать? А если бы не выставил — что бы ты ему сказал? К. по-прежнему сознавал, что его усталость повредила ему сегодня больше, чем все неблагоприятные стечения обстоятельств, но почему же он не смог вынести этих нескольких тяжких ночей и одной бессонной,— ведь он считал, что на свое тело он может рассчитывать, и без такого убеждения вообще не пустился бы в этот путь,— откуда такая непреодолимая усталость именно здесь, где никто не был усталым, или, скорее, где каждый и все время был усталым, но это не вредило работе — даже напротив, кажется, ускоряло ее. Отсюда следовал вывод, что это была какая-то совершенно иная усталость, чем усталость К. У них, по-видимому, была усталость от счастливой работы, нечто такое, что внешне выглядело как усталость, а по существу было несокрушимым миром, несокрушимым покоем. Если к обеду немного устаешь, то ведь это нормально для счастливого, естественного течения дня. «У этих господ здесь непрерывный обед»,— сказал себе К.

И это хорошо согласовывалось с тем, что теперь, а пять часов утра везде, по обе стороны коридора царило оживление. В этом смешении голосов из комнат было что-то ужасно веселое. В какой-то момент это было похоже на восторг детей, собравшихся на прогулку, в другой — на переполох в курятнике, на радость существования в полном согласии с просыпающимся днем; где-то некий господин даже подражал крику петуха. Сам коридор был еще пуст, но двери уже пришли в движение, ежесекундно какая-нибудь из них приоткрывалась и тут же снова закрывалась, в глазах рябило от этого открывания-закрывания дверей; К. заметил еще, что вверху, в просветах между недоведенными доверху стенами и потолком то тут, то там появлялись и сразу же исчезали по-утреннему растрепанные головы. Издалека медленно приближалась подталкиваемая слугой маленькая тележка, нагруженная папками. Рядом шел второй слуга, в руке он держал какой-то список и, очевидно, сравнивал по нему номера на дверях с номерами папок. Перед дверями тележка, как правило, останавливалась, обычно после этого дверь открывалась и соответствующие папки (а иногда только какой-нибудь листочек — в таких случаях между комнатой и коридором происходил небольшой разговор, по всей видимости, упрекали слугу) передавались в комнату. Если дверь оставалась закрытой, папки аккуратно складывались на пороге. В таких случаях волнение соседних дверей, как показалось К., не ослабевало, даже если папки туда уже были распределены, а скорее, усиливалось. Видимо, соседи алчно высматривали эти непостижимым образом еще не взятые с порога папки, они не могли понять, как это может быть, что кому-то нужно только открыть дверь, чтобы завладеть своими папками,— а он этого не делает; возможно даже, что так и не взятые папки позднее распределялись между другими господами, которые уже теперь поминутно выглядывали, желая убедиться, что папки все еще лежат на пороге и что у них, следовательно, все еще есть надежда. Кстати, лежать оставались особенно большие стопки папок, и К. предположил, что их нарочно оставляли лежать: из своеобразного хвастовства, или из злобы, или из расчетливой гордости, чтобы подразнить коллег. В этом предположении его укрепляло то, что время от времени (всякий раз именно тогда, когда он в ту сторону не смотрел) такая стопка, после того как она уже достаточно долго выставлялась напоказ, неожиданно и поспешно втаскивалась в комнату; дверь затем вновь неподвижно застывала, и двери вокруг тогда тоже успокаивались — разочарованные или, может быть, удовлетворенные тем, что причина их постоянного раздражения наконец устранена; однако потом они постепенно снова приходили в движение.

К. наблюдал за всем этим не только с любопытством, но и с симпатией. Среди этой суеты он чувствовал себя почти уютно, поглядывал по сторонам, следил, хотя и с соответствующего расстояния, за слугами (которые, правда, уже не раз, опустив головы и надув губы, сердито поглядывали на него) и смотрел за их распределительной работой. Работа по мере их продвижения шла все менее гладко: то ли список не вполне соответствовал, то ли слуги не всегда могли различить папки, то ли по каким-то другим причинам господа начинали возражать,— как бы там ни было, распределение многих папок приходилось проводить заново; в таких случаях тележка ехала назад, и сквозь

щель в дверях начинались переговоры о возврате папок. Эти переговоры уже сами по себе представляли большие затруднения, к тому же довольно часто случалось, что когда речь заходила о возврате, как раз те двери, которые раньше пребывали в самом оживленном движении, теперь оставались неумолимо закрыты, словно вообще не желали ничего больше знать. Тогда только и начинались настоящие затруднения. Господин, полагавший, что имеет право на папку, проявлял крайнее нетерпение, поднимал в своей комнате страшный шум, хлопал в ладоши, топал ногами и через щель в двери беспрестанно выкрикивал в коридор определенный номер папок. Тележка тогда часто оставалась совсем брошенной. Один из слуг пытался успокоить нетерпеливого господина, второй сражался у закрытой двери за возврат папок. Обоим приходилось нелегко. Нетерпеливый от всех попыток его успокоить часто становился еще нетерпеливее, он вообще слушать больше не мог эту пустую болтовню слуги, он не хотел утешений, он хотел папки; один из таких господ даже вылил на слугу сверху через щель под потолком полный умывальник воды. Но второму слуге, очевидно, старшему из двух, было намного труднее. Если его господин вообще вступал в переговоры, то развертывалась деловая дискуссия, в ходе которой слуга ссылался на свой список, а господин — на свои записи и непосредственно на папки, которые он должен был возвратить, но пока что крепко держал в руках, так что жадные глаза слуги видели разве что какой-нибудь уголок папки. Этому слуге приходилось также бегать за новыми доказательствами назад к тележке, которая каждый раз сама собой укатывалась по слегка наклонному коридору все дальше и дальше, — или же ему приходилось возвращаться к претендовавшему на папки господину и там аргументы нынешнего владельца папок обменивать на новые контраргументы. Подобные переговоры тянулись очень долго; иногда приходили к какому-то соглашению: например, господин выдавал часть папок или, если папки были просто перепутаны, получал в качестве компенсации другие, но случалось и так, что господин — то ли потому, что он был припёрт к стене доказательствами слуги, то ли потому, что уставал от этой бесконечной торговли — бывал вынужден безоговорочно отказаться от всех желанных папок, однако тогда он не отдавал папки слуге, а с неожиданной решимостью выкидывал их далеко в коридор, так что тесемки развязывались и листы разлетались, и слугам стоило большого труда снова привести папки в порядок. Но тут все было еще сравнительно просто, сложнее бывало, когда слуга на свои просьбы о возврате вообще не получал никакого ответа; тогда он вставал перед закрытой дверью, просил, умолял, цитировал свой список, ссылался на инструкции — все напрасно, из комнаты не доносилось ни звука, а входить без разрешения слуга, очевидно, права не имел. В таких случаях даже этот образцовый слуга иногда терял самообладание; он шел к своей тележке, садился на папки, вытирал со лба пот и некоторое время вообще ничего не предпринимал, только беспомощно болтал ногами. Интерес к делу со стороны окружающих комнат был очень высок, повсюду шептались, почти ни одна дверь не стояла спокойно, а над верхними краями стен маячили под потолком и следили за всем происходящим какие-то странные, почти целиком закутанные в платки лица, которые к тому же ни секунды не оставались неподвижны на своих местах. Среди всего этого волнения К. показалось удивительным, что дверь Бюргеля все время оставалась закрыта и что слуги эту часть коридора уже прошли, но Бюргелю никаких папок выделено не было. Возможно, он еще спал, что, правда, при таком шуме означало очень здоровый сон, но почему он не получил никаких папок? Лишь очень немного комнат, к тому же скорей всего незаселенных, было таким образом пропущено. Зато в комнате Эрлангера уже был новый, и особенно беспокойный гость; Эрлангера он, по всей видимости, попросту выставил ночью за дверь; это плохо вязалось с холодной светскостью Эрлангера, но тем не менее то, что ему пришлось ожидать К. на пороге своей комнаты, указывало на это.

От всех этих посторонних наблюдений К. вскоре вновь вернулся к слуге; поистине к этому слуге никак не относилось то, что К. рассказывали вообще о слугах, об их праздности, их удобной жизни, их высокомерии; очевидно, и среди слуг были исключения или, что еще вероятнее, — существовали разные категории слуг, потому что здесь, как заметил К., было много таких разграничений, о которых он до сих пор почти не имел представления. Особенно нравилась ему настойчивость этого слуги. В борьбе с маленькими упрямыми комнатами — К. это часто казалось борьбой с комнатами, так как их жильцов он почти не видел — этот слуга не уступал. Он, правда, сильно выматывался — а кто бы тут не вымотался? — но вскоре приходил в себя, сползал с тележки и, стиснув зубы, снова бросался в атаку на дверь, которую должен был покорить. И случалось, что он бывал отбит дважды и трижды (очень, впрочем, простым способом: одним этим озверелым молчанием), и тем не менее отнюдь не был побежден. Когда он видел, что прямой атакой ничего достичь не сможет, он пытался действовать другим способом, например — если К. правильно это понимал, — хитростью. Он тогда отходил от этой двери, давал ей возможность в какой-то степени исчерпать свою молчаливость, переходил к другим дверям, через некоторое время снова возвращался, звал второго слугу — все это демонстративно и громко — и начинал складывать на пороге перед закрытой дверью папки так, словно он переменил свое мнение, и у господина на законном основании не только ничего не отбирается, но напротив, ему еще что-то выделяется. Затем он шел дальше, но дверь все время держал в поле зрения, и когда господин, как это обычно случалось, осторожно приоткрывал дверь, чтобы втащить папки к себе, слуга в несколько прыжков оказывался там, просовывал ногу между дверью и косяком и таким образом вынуждал господина по крайней мере вступить с ним в непосредственные переговоры, которые, правда, обычно приводили лишь к полуудовлетворительным результатам. Если же это не удавалось, или если по отношению к какой-то двери этот метод не казался ему правильным, он пытался действовать иначе. Тогда он, например, переключался на того господина, который требовал эти папки. Он отстранял второго слугу, работавшего чисто механически (совсем бесполезный помощник), и начинал сам уговаривать этого господина — шепотом, по секрету, глубоко засунув голову в комнату; скорей всего он давал ему обещания и заверял, что при следующем распределении захвативший папки господин понесет соответствующее наказание, во всяком случае, он неоднократно указывал на дверь своего противника и смеялся, сколько позволяла его усталость. Но были и такие случаи, один или два, когда он все-таки отказывался от всяких попыток; правда, и тут К. полагал, что это только кажущийся отказ, или, по крайней мере, отказ рассчитанный, так как слуга спокойно шел дальше, терпел, не оглядываясь, шум, поднятый обделенным господином, и только то, что временами он прикрывал глаза и долго не открывал их, показывало, что он от этого шума страдает. А потом постепенно успокаивался и тот господин: как непрерывный плач ребенка переходит во все более редкие всхлипывания, так было и с его криком, — но и после того, как становилось уже совсем тихо, все-таки время от времени раздавался одинокий вопль или быстро открывалась и захлопывалась его дверь. Во всяком случае, оказывалось, что и тут слуга действовал, по-видимому, совершенно правильно. В конце концов остался только один господин, который не желал успокаиваться; он надолго умолкал (но только для того, чтобы набраться сил), а затем начинал снова с не меньшей энергией, чем раньше. Было не очень понятно, из-за чего он так орет и возмущается, — возможно, совсем не из-за распределения папок. Тем временем слуга закончил свою работу, только одна единственная — собственно, даже не папка, а только одна бумажка, один листочек из блокнота остался по вине помощника лежать в тележке и теперь было неизвестно, кому его распределять. «Это запросто может быть моя папка, — подумалось вдруг К. — Староста же общины все время твердил о „самом мельчайшем случае“». И хотя такое предположение казалось надуманным и, в сущности, смехотворным ему самому, К. все же попытался приблизиться к слуге, задумчиво пробегавшему глазами бумажку; сделать это было не совсем просто, так как на симпатию К. слуга не отвечал взаимностью: даже занятый тяжелейшей работой, он все-таки находил время для того, чтобы, нервно вскидывая голову, бросать в сторону К. сердитые или нетерпеливые взгляды. Только теперь, закончив распределение, слуга, казалось, несколько забыл о К., да и вообще стал как-то безразличнее ко всему, что, при его большой усталости, можно было понять; этим листочком он тоже не особенно утруждал себя, возможно, он даже не читал его, а только делал вид, и несмотря на то, что господину из любой, наверное, комнаты в этом коридоре получение листочка доставило бы радость, он решил иначе, распределением он был уже сыт по горло; приложив указательный палец к губам, слуга подал своему спутнику знак молчать, разорвал листочек (К. был еще далеко от него) на мелкие кусочки и сунул их в карман. Это был, кажется, первый недостаток в работе с документацией, который К. здесь видел, впрочем, возможно, что и это он тоже неверно понимал. И даже если это был недостаток, его следовало простить: при тех порядках, которые здесь царили, слуга не мог работать безошибочно, рано или поздно все накопившееся раздражение, вся накопившаяся нервозность должны были у него прорваться, и если это выразилось в разрывании одного маленького листочка, то это еще было довольно безобидно. Ведь по коридору все еще неслись вопли не желавшего успокоиться господина, а его коллеги, которые в отношении прочего не проявляли особого дружелюбия друг к другу, относительно этого шума придерживались, кажется, совершенно единого мнения; постепенно получалось так, словно этот господин взял на себя задачу шуметь за них всех, а они своими возгласами и кивками только поощряли его продолжать начатое дело. Но теперь слуга уже не обращал на это внимания; работа его была кончена, он указал второму слуге на ручку тележки, чтобы тот за нее брался — и они стали удаляться так же, как пришли; оба заметно повеселели и шли так быстро, что тележка перед

ними подскакивала. Только один раз они вздрогнули и оглянулись, когда все еще кричавший господин (перед дверью которого теперь крутился К., поскольку ему было интересно узнать, чего, собственно, этот господин хочет), очевидно, уже не удовлетворенный своим криком и уставший кричать, обнаружил, по всей вероятности, кнопку электрического звонка и, очевидно, в восторге от такого облегчения, принялся теперь непрерывно звонить. В ответ на звонок оживленно залопотали в других комнатах, видимо, это означало одобрение; господин, видимо, сделал что-то такое, что все бы уже давно с радостью сделали,— и только по какой-то неизвестной причине должны были от этого отказаться. Может быть, господин хотел вызвонить прислугу, может быть — Фриду? Тогда он мог долго звонить. Фрида же занята, обматывает Иеремию мокрыми платками, и даже если он теперь уже здоров, все равно у нее нет времени, потому что тогда она лежит в его объятиях. Но все же этот звон немедленно возымел эффект. Издалека уже спешил сам хозяин господского трактира; он был одет в черное и застегнут, как всегда, но бежал так, что казалось, будто он забыл о своем достоинстве: руки его были слегка растопырены, словно он был вызван в связи с каким-то большим несчастьем и бежал, чтобы схватить его и тут же задушить на своей груди, и всякий раз, когда звонок давал маленькие перебои, он, казалось, чуть-чуть подпрыгивал и начинал еще больше торопиться. Позади хозяина на большом расстоянии от него появилась теперь и его жена, и она тоже бежала, растопырив руки, но шаг у нее был коротний и манерный, и К. подумал, что она явится слишком поздно, хозяин за это время уже сделает все что нужно. И чтобы дать дорогу бегущему хозяину, К. тесно прижался спиной к стене. Но хозяин остановился прямо перед К., словно К. и был его целью, и тут же оказалась рядом хозяйка, и оба осыпали его упреками, которых в суматохе и ошеломлении он не понимал, тем более, что примешивался еще звонок этого господина, и даже начали трещать другие звонки — уже без всякой необходимости, а только для развлечения и от избытка радости. Поскольку К. важно было точно уяснить свою вину, он весьма охотно позволил хозяину взять себя под руку и пошел с ним из этого шума, который все увеличивался, потому что теперь позади них (К. совсем не оборачивался, так как хозяин, и с другой стороны — еще больше — хозяйка в чем-то настойчиво его убеждали) настежь открывались двери, коридор ожил, казалось, что там началось какое-то движение, как на оживленной узкой улочке; двери впереди явно нетерпеливо ждали, когда К., наконец, пройдет и они смогут выпустить господ, и, наполняя все вокруг звоном, снова и снова включались звонки, словно празднуя какую-то победу. Но вот в конце концов (они уже были во дворе — все тот же тихий, белый двор и несколько застывших в ожидании саней) до К. понемногу стало доходить, о чем шла речь. Ни хозяин, ни хозяйка не могли себе представить, что К. осмелится сделать что-либо подобное. «А что он, собственно, сделал?» — снова и снова спрашивал К., но долго ничего не мог добиться, так как для них его вина была слишком самоочевидна и поэтому в его искренность они ни в малейшей степени не верили. Только очень нескоро К. понял все. Он не имел права находиться в коридоре, ему вообще был разрешен — самое большее — доступ в пивную, и то только из милости и во изменение прежнего решения. Если он был приглашен каким-то господином, он, естественно, должен был явиться туда, куда его пригласили, но при этом постоянно сознавать — по крайней мере, обычный человеческий рассудок-то у него, наверное, есть? — что находится в таком месте, где он, вообще говоря, посторонний, куда его только в высшей степени неохотно,— только потому, что этого требовала и это извиняла служебная необходимость,— позвал господин. Поэтому ему надлежало быстро появиться и подвергнуться допросу, а затем, по возможности, еще быстрее исчезнуть. Разве там, в коридоре у него не возникло тягостного ощущения своей неуместности? Но если возникло, то как он мог бродить там, словно скот на выгоне? Разве не был он приглашен на ночной допрос и разве он не знает, почему ввели ночные допросы? Ночные допросы (и тут К. получил новое разъяснение их смысла) проводились якобы только с одной целью: чтобы тех посетителей, чей вид был господам невыносим днем, опрашивать ночью — быстро, при искусственном освещении, с возможностью сразу же после допроса всю эту мерзость заспать и забыть. Но К. своим поведением насмеялся над всеми мерами предосторожности. Даже привидения к утру исчезают, а К. оставался там, руки в карманах, так, словно считал, что раз он не исчезает, то исчезнет весь этот коридор со всеми комнатами и господами. И совершенно ясно, что так бы и произошло — и в этом он может не сомневаться,— если бы это хоть как-то было возможно, ибо деликатность господ безгранична. Ни один из них не подумает, допустим, прогнать К. или даже сказать ему ту, правда, самоочевидную вещь, что он должен, наконец, убраться; ни один из них этого не сделает, хотя они, пока там находится К., наверное, дрожат от возбуждения, и утро, их любимое время, для них испорчено. Вместо того, чтобы принять меры против К., они предпочитают мучиться; правда, какую-то роль при этом, очевидно, играет надежда на то, что все-таки в конце концов и К. должен будет увидеть то, что бьет в глаза, и ему самому придется, соответственно мучению господ, терпеть муки, вплоть до невыносимых, оттого что он так ужасающе неуместно, у всех на виду стоит тут утром в коридоре. Напрасная надежда. Они не знают или, по своей любезности или снисходительности, не хотят знать, что бывают и такие бесчувственные, жестокие, неспособные испытывать почтение сердца. Ведь даже ночной мотылек, жалкое создание, с наступлением дня отыскивает тихий уголок, распластывается, и рад бы исчезнуть, и несчастен оттого, что не может этого сделать. А К., наоборот, выставляется туда, где его лучше всего видно, и если бы он мог таким образом предотвратить наступление дня, он бы это сделал. Предотвратить он это не может, но задержать, затруднить это он, к сожалению, может. Разве не смотрел он на то, как распределяются папки? На то, на что никто, кроме непосредственных участников, не смеет смотреть. На что ни хозяин, ни хозяйка в своем собственном доме не должны, не имеют права смотреть. О чем им только намеками рассказывают иногда (как, например, сегодня) слуги. Разве он не заметил, с какими затруднениями проходило распределение папок,— нечто уже само по себе непостижимое, поскольку ведь каждый из господ служит только делу, никогда не думает о своих личных выгодах и поэтому всеми силами должен был бы стремиться к тому, чтобы распределение папок, эта ответственная, основополагающая работа шла быстро, и легко, и безошибочно? И неужели К. действительно даже отдаленно не догадывается, что главная причина всех затруднений в том, что распределение вынуждены были проводить при почти закрытых дверях, при невозможности непосредственного общения между господами, которые, естественно, в одну секунду смогли бы договориться друг с другом, тогда как переговоры через посредство слуг вынужденно тянутся чуть ли не часами, никогда не проходят гладко, представляют собой медленную пытку для господ и слуг и скорей всего еще отрицательно скажутся на последующей работе? Как это — почему господа не могли общаться друг с другом? Так, значит, К. все еще этого не понимает? Ничего подобного с хозяйкой (и хозяин, со своей стороны, подтвердил, что и с ним тоже) еще не случалось, а им ведь уже приходилось иметь дело со всякими упрямцами. Вещи, которые обычно не осмеливаешься даже произнести, ему приходится говорить в открытую, потому что иначе он не понимает самого необходимого. Ну так вот, раз уж это должно быть сказано,— из-за него, только и исключительно из-за него господа не могли выйти из своих комнат, потому что утром, сразу после сна они слишком стыдливы, слишком легко уязвимы, чтобы подставлять себя под чужие взгляды; будь они даже более чем полностью одеты, они все равно чувствуют себя слишком обнаженными, чтобы показаться. Поистине трудно сказать, чего они стыдятся; может быть, они, эти вечные труженики, стыдятся только лишь того, что они спали. Но, может быть, еще больше, чем показаться, они стыдятся увидеть чужих людей; они не хотят, чтобы эти столь трудно переносимые для них лица посетителей, вид которых они с помощью ночного допроса благополучно преодолели, вдруг теперь, утром снова появились перед ними во всей своей неприкрытой наготе. Они просто к этому не готовы. Каким же надо быть человеком, чтобы этого не уважать? Да, это надо быть таким человеком, как К. Человеком, который с вот таким тупым и сонным равнодушием пренебрегает всем, не только законом, но и самой обычной человеческой тактичностью, которому совершенно не важно, что он делает почти невозможным распределение папок и вредит репутации дома, и что из-за него произошло то, чего еще никогда не бывало,— что доведенные до отчаяния господа, совершив над собой немыслимое для обычных людей усилие, сами начали защищаться, схватились за звонки и позвали на помощь, чтобы прогнать этого К., которого ничем другим не проймешь! Они, эти господа, позвали на помощь! Да разве хозяин, и хозяйка, и весь их персонал не прибежали бы сюда уже давно, если бы только они посмели без вызова утром появиться перед господами — пусть даже только для того, чтобы оказать помощь и потом сразу же исчезнуть. Дрожа от негодования, в отчаянии от своего бессилия, они ждали здесь, в начале коридора, и эти, в сущности, абсолютно неожиданные звонки были для них просто избавлением. Ну, самое худшее уже позади! Если бы они могли хоть одним глазом взглянуть на веселое оживление наконец-то освобожденных от К. господ! Для К., впрочем, еще не все позади: за то, что он тут учинил, ему безусловно еще придется ответить.

Тем временем они дошли до пивной; было не совсем ясно, почему, несмотря на весь свой гнев, хозяин все-таки привел К. сюда; возможно, он все же понял, что из-за своей усталости покинуть дом К. пока что не сможет. Не дожидаясь приглашения сесть, К. сразу же прямо-таки рухнул на один из бочонков. Ему было тут хорошо, в темноте. В большой комнате горела теперь только одна слабая электрическая лампочка — над кранами пивных бочек, и за окнами тоже была еще кромешная тьма; кажется, мела вьюга. Сидящему здесь, в тепле, следовало быть

благодарным и позаботиться о том, чтобы его не выгнали. Хозяин и хозяйка все еще стояли перед ним, словно он все-таки еще представлял определенную опасность, словно при его полной неблагонадежности было совсем не исключено, что он вдруг вскочит и попытается снова проникнуть в коридор. Они и сами устали от ночных страхов, и от того, что пришлось раньше времени встать; хозяйка, на которой было широкое коричневое шелковисто шуршавшее платье, несколько неаккуратно застегнутое и зашнурованное (откуда только она его при такой спешке вытащила?), особенно утомилась, голова ее, словно подрубленная, лежала на плече мужа, она промокала глаза тонким платочком и в промежутках бросала на К. по-детски сердитые взгляды. Чтобы успокоить супругов, К. сказал, что все, что они ему сейчас рассказали, для него совершенно неожиданно, но даже ничего этого не зная, он все-таки не так уж долго пробыл в коридоре, где ему действительно нечего было делать, и, конечно, никого не собирался мучить, а все это произошло только из-за его нечеловеческой усталости. Он благодарит их за то, что они положили конец этой неприятной сцене, если же его привлекут к ответственности, то он будет это очень приветствовать, потому что только так он сможет предотвратить всеобщее неверное истолкование его поведения. Виновата во всем только его усталость и ничего больше, но происходит эта его усталость оттого, что он еще не привык к напряженности здешних допросов. Он ведь только недавно здесь. Когда он приобретет в этом некоторый опыт, ничего подобного уже не сможет больше повториться. Может быть, он принимает допросы слишком всерьез, но ведь само по себе это, наверное, не недостаток. Ему пришлось пройти один за другим два допроса, первый — у Бюргеля и второй — у Эрлангера (особенно первый очень его измучил), второй, правда, длился недолго: Эрлангер только попросил его об одной любезности, но два подряд — это больше, чем он мог в один раз выдержать, не исключено, что и для кого-нибудь другого, скажем, для господина хозяина, это тоже было бы слишком. Он, в сущности, просто еле шел после второго допроса. Это было почти какое-то опьянение, он ведь этих двух господ видел и слышал первый раз в жизни, и тем не менее должен был им еще что-то отвечать. Насколько он понимает, все прошло вполне хорошо, но потом случилось это несчастье, которое, однако, после всего предшествовавшего, вряд ли можно ставить ему в вину. К сожалению, Эрлангер и Бюргель не поняли его состояния, иначе они несомненно позаботились бы о нем и предотвратили бы все последующее, но Эрлангер должен был сразу же после допроса уходить, очевидно, ему надо было ехать в Замок, а Бюргель — скорей всего как раз от их допроса устал (как же в таком случае К. мог его выдержать, не ослабев?), заснул и проспал даже все распределение папок. Имей К. подобную возможность, он с радостью бы ею воспользовался и охотно отказался бы от всякого запрещенного подглядывания, тем более, что на самом деле он ведь вообще был не в состоянии что-либо увидеть, и поэтому даже самые чувствительные господа могли безболезненно ему показаться.

Упоминание о двух допросах, особенно о допросе у Эрлангера, и то почтение, с которым К. говорил о господах, расположили к нему хозяина. Он уже, казалось, готов был выполнить просьбу К.— чтобы положили на бочонки какую-нибудь доску и позволили ему поспать хотя бы до рассвета,— но хозяйка была определенно против; без толку одергивая тут и там свое платье — до ее сознания только теперь дошло, что оно не в порядке,— она все время отрицательно качала головой; очевидно, старый спор по вопросу о чистоте дома готов был разгореться снова. Для К., при его усталости, разговор супругов приобретал чрезвычайно большое значение. Ему казалось, что если его выгонят и отсюда, то это будет несчастьем, превосходящим все до сих пор пережитое. Этого не должно произойти, даже если хозяин и хозяйка объединятся против него. Сгорбившись на своем бочонке, он в упор, словно из засады смотрел на них обоих до тех пор, пока хозяйка с ее необыкновенной чувствительностью, на которую К. уже давно обратил внимание, не отступила вдруг в сторону (она, вероятно, разговаривала с хозяином уже о других вещах) и не воскликнула:

— Как он на меня смотрит! Да убери же его, наконец, отсюда!

Но К., пользуясь случаем и теперь уже совершенно, почти до равнодушия уверенный в том, что останется тут, сказал:

— Я смотрю не на тебя, а только на твое платье.

— А что — мое платье? — возбужденно спросила хозяйка.

К. пожал плечами.

— Идем! — сказала хозяйка хозяину.— Он просто пьян, этот нахал. Оставь его, пусть он тут проспится! — и, уходя, она еще приказала Пепи (на окрик хозяйки Пепи, растрепанная, усталая, волоча за собой метлу, неожиданно появилась из темноты), чтобы та бросила К. какую-нибудь подушку.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

К. проснулся, и в первый момент ему показалось, что он почти и не спал: в комнате все так же пусто и тепло, стены отодвинулись в темноту, электрическая лампочка над пивными кранами потушена, за окнами — ночь. Но когда он потянулся, упала подушка и заскрипели доска и бочонки, сразу же пришла Пепи, и он узнал, что уже вечер и что он проспал намного больше двенадцати часов. Хозяйка днем несколько раз спрашивала о нем, и Герштеккер (который утром, когда К. разговаривал с хозяйкой, ждал здесь в темноте и пил пиво, но потом уже не посмел беспокоить К.) за это время тоже один раз заходил сюда, разыскивая К., и, наконец, якобы приходила и Фрида и одну минутку постояла около К., но она приходила скорей всего не ради К., а потому, что ей здесь надо было кое-что приготовить, ведь с вечера она снова заступает на свое старое место.

— Она, кажется, тебя уже не любит? — спросила Пепи, неся кофе и пирог, но спросила уже не зло, как раньше, а печально, как будто за это время познала мирскую злобу, по сравнению с которой вся ее собственная злоба была бессильна и бессмысленна.

Она говорила с К. как с товарищем по несчастью, и когда он попробовал кофе и ей показалось, что ему мало сахару, она побежала и принесла полную сахарницу. Впрочем, печаль не помешала ей разукрасить себя в этот раз, пожалуй, еще больше, чем в прошлый; бантов и вплетенных в волосы лент было множество, челка и пряди на висках старательно завиты, а на шее висела цепочка, спускавшаяся в глубокий вырез блузки. Когда К., довольный, что смог, наконец, выспаться и получил хороший кофе, незаметно зацепил один бант и попытался его развязать, Пепи устало сказала: «Да оставь ты» — и села на бочонок рядом с ним. К. даже не пришлось спрашивать, что у нее за горе, она сама сразу начала рассказывать, устремив неподвижный взгляд в кофейную чашку К., словно даже во время рассказа ей нужно было отвлечение, словно она, даже занятая своим горем, не могла целиком отдаться ему, потому что это было выше ее сил. Прежде всего К. узнал, что на самом деле в несчастьи Пепи виноват он, но что она на него за это не сердится. И она, не прерывая рассказа, энергично закивала головой, чтобы не допустить никаких возражений К. Сперва он увел Фриду из пивной и тем самым помог возвышению Пепи. Нельзя и выдумать ничего другого, что могло бы заставить Фриду уйти с ее поста, она сидела там, в пивной, как паук в паутине, везде имела свои нити, о которых знала только она, вытащить ее оттуда против ее воли было бы совершенно невозможно, только любовь к кому-нибудь из самых низов, то есть что-то такое, что было несовместимо с ее положением, могло ее прогнать с этого места. А Пепи? Разве ж она когда-нибудь думала заполучить себе такое место? Она была горничной, место незначительное, малоперспективное; да, мечты о большом будущем у нее, как у всякой девушки, были, мечтать себе не запретишь, но всерьез она и не думала о каком-то продвижении, с нее было довольно достигнутого. И тут неожиданно исчезла из пивной Фрида, так неожиданно, что у хозяина не оказалось сразу под рукой подходящей замены, он стал искать, и его взгляд упал на Пепи, которая, правда, своевременно протиснулась вперед. В то время она любила К. так, как она еще никогда никого не любила: ведь она месяцами сидела внизу, в своей крохотной темной каморке и была готова провести там незамеченной годы, а если не повезет, то и всю свою жизнь,— и вот неожиданно появился К., герой, девичий освободитель, и открыл ей путь наверх. Он, конечно, ничего о ней не знал, и сделал это не ради нее, но это ничуть не уменьшает ее благодарности; в ночь перед ее назначением (назначение было еще не точно, но все-таки уже очень вероятно) она целыми часами разговаривала с ним и шептала ему на ухо благодарные слова. И совершенное им еще больше вырастало в ее глазах из-за того, что он взвалил на себя такую обузу, как эта Фрида, в этом было что-то непостижимо самоотверженное; для того, чтобы вытащить Пепи, он сделал своей возлюбленной Фриду, некрасивую, старообразную, худую девушку, с короткими, жидкими волосами, к тому же еще скрытную девушку, у которой вечно какие-то тайны, что, конечно же, и связано с ее внешностью: раз уж никаких сомнений, что лицом и телом никудышная, так должны быть, по крайней мере, хоть какие-то тайны, которых никому не проверить, вроде этой ее мнимой связи с Кламмом. И даже такие мысли приходили тогда в голову Пепи: возможно ли, чтобы К. действительно любил Фриду, не обманывает ли он себя — или, может быть даже, он обманывает только Фриду, и, может быть, единственным результатом всего этого будет все-таки только возвышение Пепи, и К. тогда заметит ошибку или не захочет ее больше скрывать, и больше не станет смотреть на Фриду, а только — на Пепи; и это были вовсе не какие-то сумасбродные Пепины выдумки, потому что, как девушка с девушкой, она очень даже может потягаться с Фридой, этого никто не станет отрицать, и к тому же ведь именно положение Фриды и тот блеск, который она умела ему

придать,— вот что в первый же миг ослепило К. И вот Пепи стала мечтать о том, что когда она займет такое положение, К. приползет к ней на коленях, и у нее тогда будет выбор — или снизойти к К. и потерять место, или отвергнуть его и возвышаться дальше. И она про себя решила, что она от всего откажется, и спустится к нему, и научит его настоящей любви, которой он никогда не смог бы узнать с Фридой и которая не зависит ни от каких самых почетных должностей в мире. Но потом все получилось иначе. А кто в этом виноват? Виноват в первую очередь К.— и потом, конечно, пронырливость Фриды. В первую очередь К., потому что — чего он хочет, что он за странный такой человек? Чего он добивается, какими такими он занят важными делами, из-за которых забывает про самое близкое, самое лучшее, самое прекрасное? Пепи — жертва, и все — глупо, и все пропало, и тот, у кого хватило бы силы поджечь и спалить весь этот господский трактир,— но чтобы совсем, чтобы и следа не осталось, спалить, как бумагу в печке,— тот стал бы сегодня Пепиным избранником. Да, так вот, Пепи пришла в пивную четыре дня тому назад, считая сегодняшний, незадолго перед обедом. Работа здесь нелегкая, работа здесь почти что убийственная, но зато и достичь можно тоже немалого. Пепи и раньше жила не только сегодняшним днем, и хоть она даже в самых дерзких мечтах не помышляла занять такое место, но все-таки ко многому присматривалась, она знала, что значит такое место, она не шла на него неподготовленной. Неподготовленной на него вообще нельзя идти, иначе его потеряешь в первые же часы. Особенно если вздумаешь вести себя здесь так, как ведут себя горничные! Горничная ведь со временем оказывается совсем заброшенной и забытой; это все равно что работать в каком-нибудь руднике, по крайней мере, в коридоре секретарей это так; не считая нескольких дневных посетителей, которые прошмыгивают туда и обратно и глаза поднять боятся, там по целым дням не встретишь ни одной живой души, кроме двух-трех других горничных, да и те такие же затравленные. По утрам вообще нельзя выходить из комнаты, потому что секретари желают быть одни, еду с кухни им приносят слуги, горничные обычно до этого не касаются, и во время еды в коридоре тоже нельзя показываться. Только когда господа работают, горничным разрешено убирать, но, само собой, не в занятых, а только в пустующих в это время комнатах, и работу надо делать совсем тихо, чтобы не помешать работе господ. Но как же это можно — убирать тихо, когда господа живут в комнатах по стольку дней, и еще слуги, вся эта грязная банда таскается туда, и комната, когда она наконец освобождается для горничной, бывает в таком виде, что ее никаким потопом не отмыть. Честное слово, ведь высокие господа, а приходится с трудом пересиливать свою брезгливость, чтобы после них убирать. Вообще-то, работа у горничных не такая уж непомерно большая, но для здоровья вредная. И никогда ни одного доброго слова, всегда только упреки, особенно один, самый обидный и частый: что при уборке пропадают акты. На самом деле ничего не пропадает, каждую бумажечку сдаешь хозяину, то есть, конечно, все равно пропадают, только уж это не из-за девушек. А потом является комиссия, и девушки должны выходить из своей комнаты, и комиссия перерывает постели; у девушек и имущества-то никакого нет, все их пожитки лежат в какой-нибудь корзинке, но комиссия все равно ищет часами. Само собой, она ничего не находит,— как могли бы там оказаться акты? Для чего вообще девушкам акты? Но в результате — все равно опять одни только пересланные через хозяина ругательства и угрозы обманувшейся комиссии. И ни минуты покоя, ни днем ни ночью, полночи шум, и с самого утра опять шум. Если бы хоть не обязательно было там жить, но это обязательно, потому что в остальное время приносить, когда закажут, разные мелочи из кухни,— это все-таки обязанность горничных, особенно ночью. Вечно одно и то же: вдруг стукнут кулаком в дверь, продиктуют заказ, бежишь вниз на кухню, расталкиваешь спящих поварят, оставляешь поднос с заказанным перед дверью комнаты горничных, оттуда его забирают слуги,— как это все тоскливо. Но это еще не самое худшее. Наоборот, самое худшее, это если ничего не заказывают, то есть если глубокой ночью, когда все уже должны бы спать и большинство в самом деле, наконец, засыпает, иногда к дверям начинает кто-то подкрадываться. Тогда девушки слезают с кроватей (кровати — одна над другой, там ведь везде очень мало места, вся комната девушек — это, по сути дела, просто большой шкаф с тремя полками), слушают у двери, встают на колени, в ужасе обнимают друг друга. И все время слышно, как за дверью кто-то крадется. Все уж были бы счастливы, если бы он, наконец, вошел, но ничего не случается, никто не входит. И при этом еще приходится себя уговаривать, что это не обязательно грозит какой-то опасностью, а может быть, это просто кто-то ходит перед дверью туда-сюда, обдумывает, не сделать ли ему какой заказ, но потом все-таки не решается сделать. Может быть, конечно, и так, но, может быть, это что-то совсем другое. По сути дела, господ ведь совсем не знаешь, их ведь почти и не видишь. Что бы там ни было, а девушки в комнате умирают со страху, и когда снаружи наконец становится тихо, прислоняются к стене и у них нет сил даже на то, чтобы залезть обратно в свои кровати. Эта жизнь снова ждет Пепи, уже сегодня вечером она должна снова занять свое место в комнате горничных. И почему? Из-за К. и Фриды. Снова назад, в эту жизнь, от которой она только-только смогла убежать, от которой она смогла убежать, конечно, благодаря К., но все-таки и благодаря собственным огромнейшим усилиям. Потому что там, на той работе, девушки опускаются, даже самые аккуратные. Для кого им наряжаться? Никто их не видит, в лучшем случае — кухонный персонал; кому этого довольно, те могут наряжаться. А все остальное время ты или в своей каморке, или в господских комнатах, в которые входить-то в чистой одежде — просто легкомыслие и расточительство. И все время при искусственном свете и в духоте: там беспрерывно топят,— и, по сути дела, всегда усталая. Единственный свободный вечер в неделю употребишь в лучшем случае на то, чтобы тихо, без страхов отоспаться в каком-нибудь закутке на кухне. Так для чего тут наряжаться? Да что там, почти и не одеваешься. И тут вдруг Пепи переводят в пивную, где, если только хочешь там удержаться,— требуется как раз обратное, где ты все время на виду у людей, а среди них — очень изысканные и придирчивые господа, и где, следовательно, надо выглядеть как можно шикарнее и привлекательнее. Ну, это был поворот. И о себе Пепи может сказать, что она ничего не упустила. Как все сложится дальше — это Пепи не волновало. Что у нее есть таланты, необходимые для этого места, это она знала, в этом она была совершенно уверена, это убеждение у нее осталось даже и теперь, и никто его не сможет у нее отнять, даже сегодня, в день ее поражения — не сможет. Только как ей было показать себя в самое первое время? — это было трудно, ведь она была бедная горничная без платьев и украшений, а господа не станут дожидаться, пока ты раскачаешься, они хотят сразу, без перехода иметь в пивной такую служанку, как положено, а иначе они отворачиваются. Может показаться, что запросы у них не такие уж большие, раз даже Фрида могла их удовлетворить, но это неверно. Пепи часто об этом думала, к тому же она довольно часто с Фридой встречалась и одно время даже спала с ней. Фриду раскусить нелегко, и если кто не очень осторожен — а кто же из господ очень осторожен? — того она мигом оплетет. Никто не знает лучше самой Фриды, какая у нее убогая внешность; когда, например, увидишь в первый раз ее распущенные волосы, так даже руками всплеснешь от жалости; по-настоящему такую девушку и в горничные-то не следовало брать, она это тоже знает и из-за этого не одну ночь проплакала, прижавшись к Пепи и обкрутив Пепины волосы вокруг своей головы. Но когда она на службе, все ее сомнения улетучиваются, она считает себя самой красивой и находит верный способ внушить это каждому. Она знает людей, вот где ее настоящее искусство. И врет быстро, и не краснеет, и люди не успевают получше к ней присмотреться. Само собой, надолго бы этого не хватило, у людей все-таки есть глаза и они бы в конце концов им поверили. Но стоит только ей заметить такую опасность, как у нее тут же готово какое-нибудь другое средство, в последнее время, например,—ее отношения с Кламмом. Ее отношения с Кламмом! А если ты не веришь, так ты же можешь проверить: пойди к Кламму и спроси у него. Как ловко, как ловко. Если же, предположим, ты не смеешь идти к Кламму с таким вопросом, а скорей всего тебя бы и с бесконечно более важным вопросом к нему не впустили, и Кламм тебе даже совсем недоступен (только тебе и таким как ты, потому что Фрида, например, бегает к нему когда хочет),— если даже так, то все равно ты все можешь проверить, тебе нужно только подождать! Кламм же такой ложный слух не станет терпеть долго, ему же наверняка ужасно важно, что о нем рассказывают в пивной и в комнатах постояльцев, все это имеет для него самое большое значение, и если это — ложь, он это сразу же исправит. Но он этого не исправляет, ну, значит, нечего и исправлять, и все это — чистая правда. Хотя видно только то, что Фрида носит в комнату Кламма пиво и выходит оттуда с оплатой, но о том, чего не видно, Фрида рассказывает, и приходится ей верить на слово. И она это даже не рассказывает, она ведь не станет разбалтывать такие тайны, нет, эти тайны сами разбалтываются вокруг нее, а когда уж они все равно разболтаны, тогда, конечно, она уже не стесняется и сама о них говорить, но — осторожно, ничего не утверждая; она касается не всего, а только того, что и так всем известно. К примеру, о том, что Кламм с тех пор, как она в пивной, пьет меньше пива, чем раньше (не намного меньше, но все-таки явно меньше),— об этом она не говорит. Конечно, это тоже может быть по разным причинам: может быть, наступило как раз такое время, когда пиво Кламму не так вкусно, или даже он из-за Фриды забывает пить пиво,— так или иначе, но Фрида, как это ни странно, возлюбленная Кламма. Но как же то, что удовлетворяет Кламма, может не восхищать и других? И вот не успеваешь опомниться, как Фрида становится большой красавицей, как раз такой девушкой, какая и должна быть в пивной,— да почти что слишком красивой, слишком

могущественной, уже ей в пивной чуть ли не тесно. И действительно, людям кажется странным, что она все еще в пивной; быть служанкой в пивной — это много, при таком месте связь с Кламмом кажется очень вероятной, но уж если служанка в пивной стала возлюбленной Кламма, то почему он держит ее в пивной, и притом так долго? Почему он не переводит ее выше? Нельзя в тысячный раз говорить людям, что тут нет никакого противоречия, что у Кламма есть свои причины так поступать, или что однажды вдруг, может быть, уже в самое ближайшее время, произойдет возвышение Фриды,— все это не очень-то действует; у людей свои представления и надолго отвлечь их от этих представлений никаким искусством нельзя. Ведь никто больше уже не сомневался в том, что Фрида — возлюбленная Кламма; даже те, которые знали об этом явно больше других, и те уже устали сомневаться. «Черт с ней, пусть будет возлюбленной Кламма,— думали они,— но если уж ты возлюбленная, так пусть это будет видно и по твоему возвышению». Но ничего не было видно, и Фрида оставалась в пивной, как и раньше, и в глубине души была еще очень рада, что все так остается. Но уважения к ней в людях поубавилось; само собой, это не могло пройти для нее незамеченным, ведь она обычно замечает вещи еще до того, как они появляются. По-настоящему красивой, любезной девушке, если уж она прижилась в пивной, не надо употреблять никакого искусства: пока она красива, она, если не произойдет какой-нибудь особенно несчастный случай, будет служанкой в пивной. Но девушке вроде Фриды приходится все время волноваться за свое место; ну, она этого, понятное дело, не показывает, а обычно, наоборот, жалуется и клянет это место. Но тайком все время следит за настроениями. И вот она видит, что люди стали равнодушными, появление Фриды уже не заслуживает даже того, чтобы посмотреть в ее сторону, даже слуги больше не обращают на нее внимания (слуги, понятное дело, предпочитали Ольгу и других таких же девушек), и по обращению хозяина она тоже замечает, что становится все менее незаменимой, и выдумывать все новые истории про Кламма тоже нельзя, всему есть предел; вот тогда и решает наша Фрида, что нужно что-нибудь новенькое. Кто бы сумел сразу это разгадать! Пепи подозревала это, но разгадать, к сожалению, не смогла. Фрида решает устроить скандал: она, возлюбленная Кламма, бросится на шею первому встречному, по возможности,— из самых низких. Это привлечет всеобщее внимание, об этом будут много говорить и наконец, наконец снова вспомнят, что́ значит быть возлюбленной Кламма и что́ значит отвергнуть эту честь в упоении новой любви. Только трудно было найти подходящего мужчину, чтобы разыграть с ним эту хитро задуманную игру. Это не мог быть знакомый Фриды, и не мог быть кто-то из слуг: слуга скорей всего вытаращил бы на Фриду глаза и пошел бы дальше, а главное, он не сумел бы держаться достаточно серьезно, и при всей речистости невозможно было бы рассказывать, будто бы он преследовал Фриду, будто бы она не могла себя защитить от него и будто бы в минуту беспамятства она ему уступила. И потом, хотя это и должен был быть кто-то из самых низких, но все же — кто-то такой, про которого можно было бы правдоподобно изобразить, что несмотря на свою тупость и неотесанность, он воспылал не к какой другой, а именно к Фриде, и не желал ничего лучшего, как — господи ты, боже мой! — на Фриде жениться. Но хотя это и должен был быть простолюдин, и желательно еще более низкий, чем слуга,— намного более низкий, чем слуга, но все же такой, из-за которого не каждую девушку осмеют, в котором, может быть, и другая понимающая девушка при случае могла бы найти что-то привлекательное. Но где же взять такого мужчину? Другая девушка скорей всего напрасно искала бы его всю жизнь,— Фридино счастье привело в пивную землемера, может быть, как раз в тот вечер, когда ей в голову впервые пришел этот план. Землемер! Да о чем вообще этот К. думает? Что за мысли такие необычайные у него в голове? Он — что, добьется чего-то необычайного? Хорошей должности? Награды? Да хочет ли он вообще чего-то такого? Ну, тогда он с самого начала должен был приступать к делу иначе. Ведь он же — полное ничто, это же одно горе, как посмотришь на его положение. Он — землемер, это, наверное, что-то значит, он, следовательно, что-то изучал, но если он не знает, что с этим делать, то это все равно опять — ничто. И при этом он еще предъявляет претензии, без малейшего стеснения предъявляет претензии,— не то, чтобы прямо, но ведь видно, что у него есть какие-то претензии, это же просто вызывающе. Да знает ли он, что даже горничная в чем-то роняет себя, когда подольше с ним поговорит. И со всеми этими необычайными претензиями он сразу в первый же вечер попадается в самую простую ловушку. И ему не стыдно? И что его так соблазнило во Фриде? Теперь-то он мог бы в этом признаться. Разве она могла в самом деле ему понравиться, эта тощая желтая вешалка? Ах нет, ведь он на нее даже как следует не посмотрел, она ему только сказала, что она возлюбленная Кламма, для него это еще была оглушительная новость, и тут-то он и пропал! Ну а ей, естественно, пришлось уходить из господского трактира, там ей теперь было не место. Пепи видела ее и в то утро перед уходом: сбежался весь персонал, каждому ведь интересно было посмотреть на такое. И так еще велика была ее власть, что ей сочувствовали, все, даже ее враги сочувствовали ей, так верен оказался уже в самом начале ее расчет; броситься на шею подобному человеку,— всем казалось, что это непостижимо и удар судьбы, а маленькие служаночки с кухни, которые, естественно, восхищаются всякой служанкой в пивной, были просто безутешны. Даже Пепи была тронута, даже она не могла полностью уберечься, хотя вообще-то ее внимание привлекло кое-что другое. Ей бросилось в глаза то, как вообще-то мало была огорчена Фрида, ведь ее постигло, по сути дела, ужасное несчастье. Она, правда, делала вид, будто она очень несчастна, но этого было недостаточно, такая игра не могла обмануть Пепи. Что же в таком случае ее поддерживало? Может быть, новая счастливая любовь? Ну, это объяснение отпадало. Но что же тогда еще? Что давало ей силы оставаться такой же, как всегда, прохладно-дружелюбной даже по отношению к Пепи, которая тогда уже считалась ее преемницей? У Пепи тогда не было времени об этом задуматься, у нее было слишком много хлопот с подготовкой к новому месту. Ей скорей всего через несколько часов надо было на него заступать, а у нее еще не было ни красивой прически, ни элегантного платья, ни тонкого белья, ни приличных туфель. Все это нужно было за несколько часов раздобыть: если ты не можешь себя как следует подать, тогда лучше вообще отказаться от этого места, иначе ты его потеряешь в первые же полчаса, это уж точно. Ну, отчасти это ей удалось. Для укладывания волос у нее было одно специальное приспособление (один раз ее даже хозяйка специально вызывала, чтобы делать ей прическу, потому что у нее такая легкая рука), правда, ее густые волосы сразу укладываются как только хочешь. И с платьем тоже удалось выкрутиться. Обе ее коллеги остались ей верны, ведь и для них это тоже какая-никакая, а честь, когда девушка именно из их чулана становится служанкой в пивной; и потом ведь Пепи, придя к власти, могла бы принести им немало пользы. У одной из девушек давно уже лежал дорогой материал, это было ее сокровище, она много раз доставала его, чтобы остальные на него любовались, без конца мечтала, как она когда-нибудь сделает себе из него что-нибудь грандиозное, и вот теперь — это было очень мило с ее стороны — она им пожертвовала, потому что он был нужен Пепи. И обе со всей готовностью помогали ей шить; шей они для себя, они не могли бы стараться больше. Это была даже очень веселая, радостная работа. Они сидели, каждая на своей кровати, одна над другой, шили, и пели, и передавали друг другу вверх и вниз готовые части и принадлежности для шитья. Когда Пепи вспоминает это, у нее делается еще тяжелее на сердце оттого, что все было напрасно и она с пустыми руками снова возвращается к своим подругам! Какое несчастье и какое преступное легкомыслие — прежде всего со стороны К.! Как все тогда радовались платью, оно казалось залогом успеха, а когда после всего еще нашлось место для ленточки, исчезли последние сомнения. И разве это платье в самом деле не красиво? Оно теперь уже помялось и немного запачкалось, у Пепи же другого платья нет, ей приходилось день и ночь носить это, но и сейчас еще видно, какое оно красивое, даже эта проклятая Барнабасиха не могла бы сшить лучше. И его можно по желанию затянуть и снова распустить и вверху, и внизу, так что хотя это только одно платье, но оно получается очень разным,— это его особое преимущество и, по сути дела, ее изобретение. Правда, шить на нее не трудно; Пепи этим не хвастается, ведь молодой, здоровой девушке идет все. Куда труднее было с бельем и обувью, вот тут-то, по сути дела, и начался провал. Подруги и здесь выручили, как только смогли, но они могли немного. Белье, которое они собрали и сшили из лоскутков, было все равно очень грубым, и вместо сапожек на высоких каблучках пришлось остаться в комнатных туфлях, которые лучше было бы спрятать и никому не показывать. Пепи утешали: мол, и Фрида тоже не очень-то красиво одевалась и иногда ходила таким чучелом, что посетители предпочитали, чтобы их обслуживали кельнеры, а не она. Это на самом деле так и было, но Фриде так можно было делать, она уже была в милости и в почете; если какая-нибудь дама вдруг появится грязно и неряшливо одетой, то это будет еще обольстительней, но если такое сделает новенькая вроде Пепи? И, кроме того, Фрида вообще не могла хорошо одеваться, у нее же нет никакого вкуса; если у кого кожа желтоватая, то приходится, конечно, с ней оставаться, но зачем же еще, как Фрида, напяливать кремовую блузку с глубоким вырезом, чтобы от всей этой желтизны в глазах плыло? И дело не только в этом, она же была слишком жадная, чтобы хорошо одеваться; все, что она зарабатывала, она откладывала, никто не знает, на что. На работе ей денег не надо было, она обходилась ложью и увертками, подражать такому примеру Пепи не хотела и не могла, и потому правильно делала, что старалась нарядиться и уже с самого начала показать себя в лучшем виде. И если б только у нее были для этого посильнее средства, то, несмотря на всю ловкость Фриды, несмотря на всю дурость

К., она вышла бы победительницей. Ведь и началось-то все очень хорошо. Знать и уметь там надо немного, это она выяснила заранее. Едва очутившись в пивной, она уже чувствовала себя там как дома. По работе никто не замечал отсутствия Фриды. Только на второй день посетители стали интересоваться, куда же, собственно, девалась Фрида. Не было ни одной ошибки, хозяин был доволен, в первый день он с перепугу все время сидел в пивной, потом заходил уже только время от времени, и наконец, поскольку касса сходилась (выручка в среднем была даже несколько больше, чем при Фриде), он уже совсем все оставил на Пепи. Она стала вводить новшества. Фрида — не от усердия, а от жадности, от властолюбия, от страха уступить кому-то что-то из своих прав — командовала и слугами, по крайней мере, иногда, в особенности, когда кто-нибудь за ней наблюдал; Пепи, напротив, полностью передала эту работу кельнерам, которые к тому же для этого и гораздо больше подходят. Зато у нее оставалось больше времени для комнаты господ; посетители обслуживались быстро, и тем не менее она могла еще с каждым перекинуться парой слов — не то, что Фрида, которая якобы целиком сохраняла себя для Кламма и всякое слово, всякое приближение к ней кого-то другого считала оскорблением Кламму. Это, правда, было и умно, потому что если она когда-то кого-то к себе подпускала, то это было уже неслыханной милостью, но Пепи ненавидит такие уловки, к тому же для начала они не годятся. Пепи была со всеми дружелюбна, и все отплачивали ей за это дружелюбием. Было видно, как все рады перемене; ведь когда заработавшийся господин разрешает себе, наконец, немножко посидеть за пивом, его можно одним словом, одним взглядом, одним пожатием плеч буквально превратить в другое существо. У всех так чесались руки потрепать Пепины локоны, что ей приходилось, наверное, раз десять на дню обновлять прическу: при виде этих соблазнительных локонов и лент никто не может устоять, даже К., который обычно ведь ничего не видит. Так пролетели эти дни, принесшие столько волнений, работы и успехов. Если бы они не пролетели так быстро, если бы их было хоть немножко больше! Четырех дней слишком мало, даже если стараешься изо всех сил; может быть, пятого дня уже хватило бы, но четырех было слишком мало. Правда, Пепи и за четыре дня успела приобрести себе покровителей и друзей, и если бы она могла верить всем взглядам, то, поднося посетителям кружки с пивом, она просто купалась бы в сплошном море дружбы, а один писец, по фамилии Бартмейер, влюбился в нее до безумия и преподнес ей эту цепочку и медальончик, и в медальончик вложил свой портрет, что, разумеется, было дерзостью; было это, было и другое, но все равно у нее было только четыре дня: за четыре дня, если Пепи очень постарается, Фриду могут почти забыть, но все-таки не совсем,— я ее бы все-таки забыли, и может быть, еще скорее, если бы она предусмотрительно не устроила громкий скандал и не осталась благодаря ему на устах у всех: она через это стала для людей новой, и они из одного любопытства хотели опять ее увидеть; то, что уже надоело им до отвращения, теперь, благодаря стараниям этого в общем совершенно никому не интересного К., снова стало для них заманчивым; правда, Пепи они ради этого не отдали бы — до тех пор, пока она бы там стояла и влияла на них своим присутствием, но ведь там, по большей части,— престарелые господа со своими тяжеловесными привычками; пока они привыкнут к новой служанке в пивной, проходит, как бы ни была им выгодна эта перемена, несколько дней,— помимо воли этих господ все-таки проходит несколько дней, но четырех не хватает: Пепи, несмотря ни на что, все еще считается только временной. И еще одно, может быть, самое большое несчастье: за эти четыре дня Кламм, хотя оба первых дня он был в деревне, ни разу не спустился в комнату для постояльцев. Если бы он пришел, это было бы решающим испытанием для Пепи,— испытанием, которого она, кстати, меньше всего боялась, которому она бы скорее обрадовалась. Она бы (таких вещей, правда, лучше всего вообще не касаться в разговорах) не стала возлюбленной Кламма — и завираться, что она возлюбленная, тоже бы не стала, но она сумела бы, по крайней мере, так же любезно, как Фрида, поставить стакан пива на стол, изящно, без Фридиной навязчивости поздороваться и изящно предложить свои услуги, и если Кламм в глазах девушки вообще что-то ищет, то в Пепиных глазах он нашел бы этого досыта. Но почему он не пришел? Случайно? Пепи тогда тоже так считала. Оба эти дня она ожидала его каждую минуту, даже ночью она ждала. «Сейчас придет Кламм», думала она все время и носилась взад и вперед без всякой причины, единственно от беспокойства ожидания и желания увидеть его первой, сразу же, как только он войдет. Это беспрерывное разочарование очень измучило ее, может быть, поэтому она и делала не так много, как могла бы делать. Как только у нее появлялась свободная минута, она прокрадывалась наверх в коридор, заходить в который персоналу строго воспрещается, прижималась там к стене в какой-нибудь нише и ждала. «Если б только сейчас пришел Кламм,— думала она,— если б только я могла вытащить этого господина из его комнаты и на своих руках снести вниз, в комнату постояльцев! Под таким грузом я бы не рухнула, уж как бы он там ни был велик». Но он не шел. В этом коридоре наверху так тихо, что этого даже нельзя себе представить, если там не был. Так тихо, что там нельзя долго выдержать, тишина гонит тебя прочь. Но десятки раз изгнанная, Пепи десятки раз вновь и вновь поднималась наверх. Это было, конечно, бессмысленно. Если бы Кламм захотел прийти, он бы пришел, но раз он не хотел идти, Пепи его было не выманить, хоть бы она там, в этой нише задыхалась до полусмерти от сердцебиения. Это было бессмысленно, но раз он не шел, то ведь и почти все было бессмысленно. А он не шел. Сегодня Пепи знает, почему Кламм не шел; Фрида бы очень повеселилась, если бы она могла видеть Пепи наверху в коридоре в этой нише, прижимающую обе руки к сердцу. Кламм не сошел вниз, потому что этого не допустила Фрида. И действовала она не просьбами, ведь ее просьбы не доходили до Кламма. Но она же, паучиха эта, везде имеет связи, о которых никто не знает. Когда Пепи говорит что-то кому-нибудь из посетителей, она говорит это открыто, так, что и соседний столик все слышит. А Фриде сказать нечего, она ставит пиво на стол и уходит — только шуршит ее шелковая нижняя юбка, единственное, на что она тратит деньги. И если уж она когда-нибудь что-то скажет, то и тогда — не в открытую, тогда она нашептывает это посетителю и наклоняется к нему так, что за соседними столиками уши навостряют. Конечно, то, что она говорит, скорей всего, не важно, но все-таки не всегда: связи у нее есть, она подкрепляет их одни другими, и если даже большая часть отказывает (кто будет долго помнить о Фриде?), то какая-нибудь иногда все-таки срабатывает. Эти-то связи она и начала теперь употреблять. А предоставил ей эту возможность К.: вместо того, чтобы сидеть возле нее и стеречь ее, он почти не бывает дома, ходит везде, ведет там и тут беседы, обращает внимание на все, что угодно, только не на Фриду, и, наконец, чтобы ей было еще свободнее, переселяется из предмостного трактира в пустую школу. Хорошенькое начало медового месяца, нечего сказать! Ну, кто-кто, а Пепи, разумеется, не станет упрекать К. за то, что он недолго выдержал возле Фриды, возле нее нельзя долго выдержать. Но почему тогда он не бросил ее совсем, почему он каждый раз снова к ней возвращается, почему он своими хождениями создает видимость того, что он борется за нее? Это же выглядит так, как будто только соприкоснувшись с Фридой он обнаружил свое действительное ничтожество, захотел стать достойным Фриды, захотел как-то выбиться наверх, и поэтому пока отказался от радости быть вместе с ней, чтобы потом без помех вознаградить себя за все лишения. Между тем Фрида времени не теряет, она сидит в школе, куда она-то, скорей всего, К. и затащила, и наблюдает за господским трактиром, и наблюдает за К. Под рукой у нее отличные посыльные: помощники К., которых он (это невозможно понять, даже зная К., понять это невозможно) полностью предоставил ей. Она посылает их к своим старым друзьям, напоминает о себе, жалуется, что ее держит в плену такой человек, как К., натравливает всех на Пепи, возвещает о своем скором появлении, просит помощи, умоляет не рассказывать ничего Кламму, изображает, будто Кламма якобы надо оберегать и поэтому ни в коем случае нельзя разрешать ему спускаться вниз, в пивную. Перед теми она изображает заботу о Кламме, а хозяину выдает это за свой успех: мол, обратите внимание, Кламм-то больше не приходит, и как же ему приходить, когда внизу обслуживает всего-навсего какая-то Пепи? И хоть хозяин и не виноват, и эта Пепи все-таки еще лучшая замена из того, что было, но только не удовлетворяет она, даже и на несколько дней. И обо всей этой Фридиной деятельности К. ничего не знает; когда он не занят хождениями по округе, он, ни о чем не подозревая, лежит у ее ног, в то время как она считает часы, которые еще отделяют ее от пивной. Но помощники выполняют не одну только посыльную службу, они служат еще для того, чтобы заставлять К. ревновать, чтобы подогревать его! Фрида знает этих помощников с детства, никаких тайн друг от друга у них наверняка уже нет, но в честь К. они с Фридой начинают страстно друг друга желать, и для К. появляется опасность, что тут будет большая любовь. И К. делает в угоду Фриде все, даже самое несуразное, он позволяет разжигать в себе ревность к помощникам, но при этом терпит, чтобы эти трое оставались вместе, пока он ходит один в свои походы. Выглядит это почти так, словно он — третий Фридин помощник. И вот, наконец, подытожив свои наблюдения, Фрида решается на главный удар: она возвращается. И действительно уже пора, самое время; нужно только удивляться, как Фрида, хитрюга такая, чувствует это и использует; умение наблюдать и принимать решения — это Фридино неподражаемое искусство, если бы Пепи им владела, насколько иначе сложилась бы ее жизнь! Останься Фрида в школе еще на один-два дня — и Пепи уже было бы не прогнать, она уже окончательно стала бы служанкой в пивной, всеми любимой и поддерживаемой, и заработала бы достаточно денег, чтобы блестяще дополнить свое скудное снаряжение; еще один-два дня, и уже никакими кознями нельзя было бы удержать Кламма от комнаты постояльцев, он

пришел бы, выпил, почувствовал себя уютно и был бы — если б вообще заметил отсутствие Фриды — очень доволен переменой; еще один-два дня, и Фрида со своим скандалом, со своими связями, с помощниками — со всем этим вместе была бы окончательно и бесповоротно забыта и никогда бы уже больше не поднялась. Тогда, может быть, она тем крепче стала бы держаться за К. и, может быть, смогла бы — при условии, что она вообще на это способна — научиться действительно его любить? Нет, и это не так. Потому что тогда и К. не понадобилось бы больше одного дня, чтобы она ему надоела, чтобы он понял, как подло она его обманывает — всем: своей мнимой красотой, своей мнимой верностью и больше всего этой мнимой любовью Кламма; всего лишь один день, не больше, понадобился бы ему, чтобы выгнать ее из дома за все ее грязные истории с помощниками; подумать только, даже К. не понадобилось бы больше. И в этот момент, когда она оказалась между двух огней, когда над ней уже буквально начала смыкаться могила (К. по своей простоте еще оставлял открытым последний узкий выход),— в этот момент она удирает. Вдруг она — почти никто уже этого не ожидал, это противно природе — вдруг именно она прогоняет К., который все еще ее любит и все еще за ней бегает, и, продвигаемая стараниями друзей и помощников, является к хозяину как спасительница, благодаря скандалу куда более привлекательная, чем раньше, желанная — это уже доказано — и для самого низкого, и для самого высокого, но для низкого доступная лишь на одно мгновение и, как положено, быстро его отталкивающая, и вновь, как раньше, для него и для всех недостижимая; только раньше во всем этом — и не зря — сомневались, а теперь снова стали убеждены. Итак, она возвращается обратно, хозяин, косясь на Пепи, колеблется, должен ли он пожертвовать ею, когда она так хорошо себя зарекомендовала, но вскоре его в этом убеждают, слишком многое говорит в пользу Фриды, и главное — она же снова привлечет Кламма в комнату постояльцев. Вот с чем мы остались на сегодняшний вечер. Пепи не станет ждать, пока придет Фрида и устроит из своего вступления на место триумф. Кассу она уже сдала хозяйке, она может идти. Постель на ее полке в комнате служанок для нее уже готова, ее встретят плачущие подруги, она сорвет с себя платье, с головы — ленты и засунет все в какой-нибудь угол, где это будет надежно укрыто и не будет понапрасну напоминать о временах, которые надо забыть. Потом она возьмет большое ведро и метлу, стиснет зубы и примется за работу. Но перед тем, как уйти, она должна была рассказать это К., чтобы он, все еще не научившийся понимать такие вещи без посторонней помощи, наконец ясно увидел, как некрасиво он поступил с Пепи и какой несчастной он ее сделал. Правда, и его тут просто использовали.

Пепи кончила. С облегчением вздохнув, она вытерла несколько слезинок с глаз и щек и посмотрела на К., кивая головой так, словно хотела сказать, что, в сущности, речь здесь идет не о ее несчастье, она сумеет его перенести и ей не нужно для этого ни помощи, ни утешений от кого бы то ни было и уж от К.— в последнюю очередь, она, несмотря на свою молодость, знает жизнь, и ее несчастье только подтверждает это, но речь идет о К., ему хотела она обрисовать всю картину, даже после крушения всех ее надежд она считала необходимым это сделать.

— Что за дикие у тебя фантазии, Пепи,— сказал К.— И это ведь совсем не правда, что ты только теперь открыла все эти вещи, это ведь не что иное, как мечты, принесенные снизу, из вашей темной, узкой комнатки служанок, там они уместны, но здесь, в широкой пивной звучат странно. И само собой разумеется, что с такими мыслями ты не могла здесь удержаться. И твое платье, и твоя прическа, которыми ты так хвастаешься,— всего лишь порождения той темноты и тех кроватей вашей комнаты, там они наверняка очень красивы, но здесь все смеются над ними, тайно или явно. И что ты вообще рассказываешь? Меня, значит, использовали и предали? Нет, милая Пепи, меня так же мало использовали и предали, как и тебя. Это верно, что Фрида в настоящий момент меня оставила или, как ты выражаешься, «удрала» с одним из помощников, какой-то отблеск правды ты видишь; и то, что она станет моей женой, действительно, тоже очень маловероятно,— но то, что она мне надоела или что я бы ее уже прямо на следующий день выгнал, или что она меня предала, как вообще женщина может предать мужчину,— это целиком и полностью неверно. Вы, служанки, привыкли подглядывать в замочную скважину, и отсюда у вас такой образ мышления: из какой-нибудь мелочи, которую вы действительно видите, вы делаете столь же грандиозные, сколь и неверные выводы о целом. И из этого следует, что я, например, знаю в данном случае намного меньше, чем ты. Я далеко не так точно, как ты, могу объяснить, почему Фрида меня оставила. Наиболее вероятным объяснением мне кажется то, которое вскользь и ты затронула, но не использовала: что я ею пренебрегал. Это, к сожалению, правда, я ею пренебрегал, но на то были особые причины, которые сюда не относятся; я был бы счастлив, если бы она ко мне вернулась, но я бы тут же снова начал ею пренебрегать. Это уж так. Когда она была со мной, я все время проводил в этих высмеянных тобой хождениях; теперь, когда ее нет, я почти ничего не делаю, я чувствую усталость, мне чем дальше, тем меньше вообще хочется что-то делать. Не посоветуешь ли ты мне что-нибудь, Пепи?

— Посоветую,— вдруг оживившись и схватив К. за плечи, откликнулась Пепи.— Нас обоих предали, давай останемся вместе. Пойдем со мной вниз, к девушкам!

— До тех пор, пока ты жалуешься на предательство,— сказал К.,— мы с тобой не договоримся. Тебе все время хочется быть преданной, потому что тебе это льстит и потому что тебе приятно жалеть себя. А правда заключается в том, что ты этой должности не соответствуешь. Насколько очевидно должно быть это несоответствие, если даже я, самый, по твоему мнению, невежественный, его вижу. Ты хорошая девушка, Пепи, но это не так-то просто понять: я, например, вначале посчитал тебя заносчивой и жестокой, но ты не такая, просто эта должность сбивает тебя с толку, потому что ты ей не соответствуешь. Я не хочу сказать, что эта должность для тебя слишком высокая, это ведь совсем не какая-то исключительная должность, возможно, она, если вдуматься, несколько более почетна, чем твоя прежняя, но в целом разница невелика, скорее, они обе похожи так, что и не различишь; пожалуй, можно даже утверждать, что место горничной следовало бы предпочесть этой пивной, ведь там постоянно находишься среди секретарей, а здесь, даже учитывая то, что в комнате для постояльцев случается обслуживать и начальников, все же приходится пытаться и с самым низким сбродом, например, со мной, я ведь по закону даже не имею права нигде находиться, кроме как именно здесь, в пивной, и разве возможность со мной пообщаться — такой уж ни с чем не сравнимый почет? Ну, тебе кажется, что это так, и возможно, у тебя есть для этого основания, но именно поэтому ты и не соответствуешь. Это такое же место, как и всякое другое, но для тебя это — царство небесное, и по этой причине ты хватаешься за все с преувеличенным рвением, украшаешь себя так, как, по твоему мнению, украшены ангелы (а они, в действительности, не такие), дрожишь за это место, тебе кажется, что тебя все время преследуют, своим чрезмерным дружелюбием ты стараешься привлечь к себе всех, кто, по твоему мнению, мог бы тебя поддержать, но этим только беспокоишь и отталкиваешь их, потому что в трактире они хотят иметь покой, а не добавлять к своим заботам еще заботы служанки из пивной. Возможно даже, что после ухода Фриды никто из высоких гостей этого события, в сущности, не заметил, но сегодня они об этом знают и действительно хотят Фриду, потому что ведь Фрида, наверное, делала все совершенно иначе. Какой бы она ни была в остальном, и что бы она ни говорила про свою должность, на службе она была многоопытна, холодна и строга, ты же сама это подчеркивала, не сумев, впрочем, ничего извлечь для себя из этого урока. Ты когда-нибудь обращала внимание на ее взгляд? Ведь это был взгляд совсем не служанки в пивной, это был уже почти взгляд хозяйки. Она видела всех, но при этом видела и каждого в отдельности, и взгляд, который приходился на долю каждого, был еще достаточно силен, чтобы подчинить его. Что из того, что она немного худа, немного старовата, что можно вообразить себе более густые волосы,— все это мелочи в сравнении с тем, чем она была в действительности, и как раз тот, кому такие недостатки мешали, только показывал этим, что у него не хватает соображения на большее. Кламма в этом, конечно, не упрекнешь, и только твой ошибочный взгляд на вещи — ты девушка молодая и неопытная — мешает тебе поверить в любовь Кламма к Фриде. Кламм кажется тебе недостижимым,— и правильно кажется,— и поэтому ты полагаешь, что и Фрида не могла подступиться к Кламму; ты ошибаешься. Я, даже не имея несомненных доказательств, поверил бы одним Фридиным словам об этом. Каким бы неправдоподобным это тебе ни казалось, и как бы ни было тебе трудно связать это с твоими представлениями о мире, и о характере чиновников, и об изысканности, и о воздействии женской красоты,— это тем не менее правда; так же, как мы сидим здесь рядом и я беру твою руку в свои, так, наверное, сидели рядом, словно это самое обычное, само собой разумеющееся дело, и Кламм с Фридой; и он добровольно спускался вниз, даже торопился сойти, и никто не караулил его в коридоре и не бросал ради этого своей работы. Кламм сам должен был побеспокоиться, чтобы сойти вниз, и огрехи в одежде Фриды, от которых ты бы пришла в ужас, ему нисколько не мешали. Она не хочет ей верить! Ты даже не понимаешь, как ты себя этим выдаешь, как ты именно этим показываешь свою неопытность! Даже тот, кто вообще ничего не знал бы о ее связи с Кламмом, должен был бы по ее характеру понять, что его сформировал кто-то повыше, чем ты и я, и весь этот деревенский люд, и что ее разговоры выходят за рамки тех шуток, которые приняты между посетителями и кельнершами и, кажется, составляют цель твоей жизни. Но я несправедлив к тебе. Ты ведь сама очень хорошо понимаешь превосходство Фриды, замечаешь ее умение наблюдать, ее решительность, ее влияние на людей, а вот истолковываешь все неверно; ведь

ты считаешь, что все это она эгоистично употребляет только для своей пользы и во зло тебе, или даже — как оружие против тебя. Нет, Пепи, даже имей она такие стрелы, она бы не стала пускать их на такое маленькое расстояние. Эгоистична? Скорее можно было бы сказать, что она, пожертвовав тем, что имела, и тем, чего могла ожидать, дала нам обоим возможность проявить себя на более высоких постах, но что мы оба ее разочаровали и просто-таки вынудили снова сюда вернуться. Я не знаю, так ли это, и моя вина мне тоже совершенно не ясна, но когда я сравниваю себя с тобой, мне чудится что-то в этом роде; словно бы мы оба слишком сильно, слишком шумно, слишком по-детски и неопытно старались, плача, царапаясь и цепляясь, вытребовать то, что с Фридиным, например, спокойствием и Фридиной деловитостью можно было бы получить легко и незаметно — так ребенок цепляется за скатерть, но ничего этим не достигает, а только сбрасывает все с роскошного стола, и ему никогда уже ничего оттуда не достанется,— я не знаю, так ли это, но то, что это больше похоже на правду, чем твои рассказы, это я знаю.

— Ну да,— сказала Пепи,— ты влюблен во Фриду, потому что она от тебя сбежала, ее нетрудно любить, когда ее нет. Ну, пусть будет, как ты хочешь, и пусть ты во всем прав, даже в том, что надо мной насмехаешься,— но что ты собираешься делать теперь? Фрида от тебя ушла, надежды, что она к тебе вернется, ни по моему объяснению, ни по твоему у тебя нет, и даже если она вернется, пока что тебе все равно где-то нужно жить; сейчас холодно, а у тебя нет ни работы, ни ночлега,— пойдем к нам, мои подруги тебе понравятся, мы постараемся, чтобы тебе было уютно, ты будешь помогать нам в работе, нам одним она в самом деле слишком тяжела, и мы, девушки, уже не будем предоставлены только сами себе, и не будем ночью мучиться от страха. Пойдем к нам! Мои подруги тоже знают Фриду, мы будем рассказывать про нее истории, пока тебе от этого тошно не станет. Идем, ну! У нас и карточки Фриды есть, и мы тебе их покажем. Тогда Фрида была еще невзрачнее, чем теперь, ты вряд ли даже ее узнаешь — разве что по глазам, они у нее уже тогда были хищные. Ну, так что, ты идешь?

— А разве это разрешается? Вчера вон уже был здоровенный скандал из-за того, что меня поймали в вашем коридоре.

— Это из-за того, что тебя поймали, а если ты будешь у нас, тебя не поймают. Никто не будет о тебе знать, только мы трое. Ах, это будет весело. Мне уже жизнь там кажется намного легче, чем еще несколько минут назад. Может быть, я тогда совсем не так много теряю из-за того, что должна отсюда уйти. Знаешь, мы и втроем там не скучали: приходится подслащивать себе эту горькую жизнь, нам ведь уже в юности несладко пришлось, так что мы втроем держимся друг за друга; мы живем так славно, как только можно там жить, особенно Генриетта тебе понравится, но и Эмилия тоже, я им о тебе уже рассказывала; там такие истории слушаются с недоверием, как будто в самом деле за стенами этой комнаты ничего произойти не может; там тепло и тесно, и мы прижимаемся друг к другу еще теснее,— нет, мы не опротивели друг другу, хотя мы предоставлены только сами себе, напротив, когда я вспоминаю о моих подругах, я почти готова снова туда вернуться: почему я должна пойти дальше их? Ведь как раз потому мы и держались друг за друга, что у всех нас троих одинаково не было будущего, и вот я все-таки пробилась и отдалилась от них. Правда, я их не забыла, и это у меня была первейшая забота: как бы мне для них что-нибудь сделать; мое собственное положение было еще ненадежно (насколько оно было ненадежно, я себе даже не представляла), а я уже заводила разговоры с хозяином про Генриетту и Эмилию. Насчет Генриетты хозяин не так чтоб очень упрямился, а вот с Эмилией, которая намного старше нас, ей примерно столько же, сколько Фриде, не было никакой надежды. Но представь себе, они же совершенно не хотят уходить оттуда; они знают, что жизнь, которую они там ведут,— жалкая жизнь, но они уже покорились, добрые души; мне кажется, когда мы прощались, они плакали больше всего от тоски, что я должна покинуть нашу общую комнату, идти на холод (нам там кажется, что за стенами нашей комнаты везде холод) и в больших чужих залах драться с большими чужими людьми за право тянуть свою лямку, а ведь я это прекрасно делала и раньше в нашем общем хозяйстве. Они скорей всего нисколько не удивятся, когда я теперь снова вернусь, и только за компанию немного поплачут со мной и погорюют о моей судьбе. Но потом они увидят тебя и поймут, как это все-таки хорошо, что я уходила. Они будут счастливы, что у нас теперь появится мужчина, помощник и защитник, а оттого, что все должно оставаться в тайне и оттого, что эта тайна свяжет нас еще теснее, чем раньше, они будут просто в восторге. Идем, о пожалуйста, идем к нам! У тебя же не будет никаких обязательств, ты не будешь навсегда связан с нашей комнатой, как мы. Если потом наступит весна и ты найдешь себе приют где-то в другом месте, и у нас тебе больше не будет нравиться, ты ведь сможешь уйти,— только тайну ты, разумеется, и тогда должен будешь сохранять и уже не выдавать нас, потому что иначе это будет наш последний час в господском трактире; и во всем остальном тебе, пока ты будешь у нас, тоже, конечно, придется быть осторожным, не появляться в таких местах, которые мы не посчитаем безопасными, и вообще слушаться наших советов, это единственное, что тебя будет связывать, но ведь ты и сам должен быть в этом заинтересован не меньше нас, в остальном же ты совершенно свободен, а работа, которую мы тебе определим, не будет слишком тяжелой, этого можешь не бояться. Ну что, идешь?

— А сколько еще до весны? — спросил К.

— До весны? — повторила Пепи.— Зима у нас долгая... очень долгая у нас зима и однообразная. Но мы внизу на это не жалуемся, от зимы мы защищены. Ну, когда-то приходят и весна, и лето, и тоже, наверное, длятся сколько положено, но сейчас, когда о них вспоминаешь, весна и лето кажутся такими короткими, словно они длились чуть больше двух дней, и даже в эти дни, даже в самый распрекрасный день вдруг возьмет да и пойдет иногда снег.

Дверь неожиданно открылась. Пепи вздрогнула: в своих мыслях она унеслась слишком далеко от пивной, но это была не Фрида, это была хозяйка. Она изобразила удивление по поводу того, что К. все еще здесь. К., извинившись, объяснил, что он ждал хозяйку, и по ходу объяснения поблагодарил ее за то, что ему было позволено здесь переночевать. Хозяйка не понимала, для чего это К. ее ждал. К. сказал, что у него сложилось впечатление, будто хозяйка хочет еще с ним поговорить, он просит прощения, если он ошибся, впрочем, ему теперь так и так пора идти, он слишком надолго оставил без присмотра школу, где он сторож, все это из-за вчерашнего вызова, у него еще слишком мало опыта в этих делах, он доставил вчера госпоже хозяйке такие неприятности, этого, безусловно, больше не повторится. И он поклонился, собираясь идти. Хозяйка смотрела на него так, словно она о чем-то мечтала, и этот взгляд удерживал К. дольше, чем он хотел. Вдобавок она еще слегка усмехнулась, и только удивление на лице К. заставило ее в некотором роде проснуться; казалось, она ждала какого-то ответа на свою усмешку и только теперь, когда его не последовало, очнулась.

— Вчера ты, кажется, имел дерзость сказать что-то о моем платье.

К. не помнил.

— Ты не помнишь? Значит, дерзость у нас потом оборачивается трусостью.

К. извинился, сославшись на свою вчерашнюю усталость, очень может быть, что вчера он что-то и наплел, во всяком случае, вспомнить он уже не может. Да и что он там мог сказать о платье госпожи хозяйки? Что оно такое красивое, каких он еще никогда не видел. По крайней мере, он еще не видел, чтобы хозяйки в таких платьях работали.

— Замолчи! — быстро сказала хозяйка.— Я не желаю больше слышать от тебя ни слова о платьях. Не твое дело рассуждать о моих платьях. Я запрещаю тебе это раз и навсегда.

К. еще раз поклонился и пошел к двери.

— И что это вообще должно означать,— крикнула хозяйка ему вслед,— что ты еще не видел, чтобы в таких платьях хозяйки работали? Что это за бессмысленное замечание? Это же совершенно бессмысленно. Что ты хочешь этим сказать?

К. повернулся и попросил хозяйку не волноваться. Разумеется, замечание бессмысленное. Он же вообще ничего не смыслит в платьях. Ему в его положении всякое незалатанное и чистое платье уже кажется дорогим. Он просто удивился, когда госпожа хозяйка появилась там в коридоре, ночью, среди всех этих полуодетых мужчин в таком красивом вечернем платье, больше ничего.

— Ну,— сказала хозяйка,— кажется, ты наконец вспомнил свое вчерашнее замечание. И дополнил его новой глупостью. Что ты ничего не смыслишь в платьях, это верно. А раз так, то прекрати — я тебя серьезно об этом прошу — прекрати высказывать свои суждения о том, какие платья — дорогие, какие — неуместные, вечерние и тому подобное... И вообще,— при этих словах она словно бы вздрогнула от холода,— тебе нет никакого дела до моих платьев, слышишь?

К. снова хотел молча повернуться, и она спросила:

— Откуда только ты взял свои познания о платьях?

К. пожал плечами, у него не было познаний.

— У тебя их нет,— сказала хозяйка.— Так нечего и делать вид, что есть. Идем сейчас в контору, я тебе там кое-что покажу, тогда, я надеюсь, ты оставишь свои дерзости навсегда.

Она пошла вперед и скрылась за дверью; Пепи кинулась к К., якобы для того, чтобы получить деньги по счету; они быстро договорились, это было очень легко, поскольку К. знал тот двор, ворота из которого вели на боковую улицу; возле ворот была маленькая дверка — за ней примерно через час будет стоять Пепи и на троекратный стук ее откроет.

Хозяйская контора помещалась напротив пивной, нужно было только пересечь коридор; хозяйка уже была в конторе, зажгла свет и с нетерпением ждала К. Но возникла новая помеха: в коридоре ждал Герштеккер, ему надо было о чем-то поговорить с К. Отвязаться от него было нелегко, даже хозяйка пришла К. на помощь и сделала Герштеккеру внушение за

его назойливость. Дверь уже была закрыта, а из коридора все еще доносились возгласы Герштеккера:

— Куда же? Куда же? — и слова противно смешивались со вздохами и кашлем.

Маленькая комната была чересчур жарко натоплена; вдоль ее коротких стен помещались конторка и железная касса, вдоль длинных стояли большой ящик и оттоманка. Больше всего места занимал ящик: он не только загораживал всю длинную стену, но еще из-за своей глубины очень суживал комнату; чтобы полностью его открыть, нужно было отодвинуть три сдвижные дверцы. Хозяйка жестом предложила К. сесть на оттоманку, а сама уселась на вертящееся кресло у конторки.

— Ты — что, когда-то учился на портного? — спросила хозяйка.

— Нет, никогда,— ответил К.

— Ну, а кто ты, собственно, твкой?

— Землемер.

— Ну, и что это такое?

К. разъяснил, его разъяснение нагнало на хозяйку зевоту.

— Ты не говоришь правду. Ну, почему ты не говоришь правду?

— Ты тоже не говоришь.

— Я? Ты, кажется, опять начинаешь дерзить? А если и не говорю, разве я должнв перед тобой отчитываться? И где это я не говорю правду?

— Ты не только хозяйка, как ты это изображаешь.

— Скажите на милость! Сплошные открытия! Ну, кто же я еще? Но твои дерзости поистине уже переходят всякие границы.

— Я не знаю, кто ты еще, я только вижу, что ты — хозяйка, но при этом носишь платья, которые хозяйке не подходят, и к тому же — такие, каких никто больше, насколько я знаю, здесь в деревне не носит.

— Ну, наконец, дошли до главного. Ты же не способен промолчать, ты, может быть, даже не дерзкий, просто ты — как ребенок, который знвет какую-то глупость и ничто не может его заставить о ней промолчать. Ну, говори уже! Что это такое особенное в моих платьях?

— Ты будешь сердиться, если я это скажу.

— Нет, я буду над этям смеяться, потому что это все равно будет детский лепет. Ну, так что — эти платья?

— Тебе хочется знать. Ну, они из хорошего материала, просто дорогого, но — старомодные, перегружены отделкой, не раз перешиты, поношены и не соответствуют ни твоим годам, ни твоей фигуре, ни твоему положению. Мне это бросилось в глаза сразу, как только я тебя в первый раз увидел, это было с неделю назад, здесь в коридоре.

— Ну слава богу, дожили! Старомодные, перегруженные и что там еще? И где ты только всему этому научился?

— Я это и так вижу, для этого обучения не требуется.

— Ты это видишь — и все. Тебе не надо ни у кого спрашивать, ты и так знаешь, чего требует мода. Тогда мне без тебя будет просто не обойтись, потому что красивые платья, что ни говори — моя слабость. А что ты скажешь на то, что у меня весь этот шкаф наполнен платьями?

Она рывком сдвинула дверцы в сторону, там вплотную друг к другу, заполняя всю ширину и глубину шкафа висели платья, в основном — темные, серые, коричневые, черные; все были тщательно развешаны и расправлены.

— Вот мои платья, все — старомодные и перегруженные, как ты считаешь. Но это только те платья, для которых у меня не хватило места наверху, в моей комнате, там у меня еще два полных шкафа; два шкафа, каждый почти такого же размера, как этот. Удивлен?

— Нет, я ожидал чего-то в этом роде, я же говорил, что ты не только хозяйка, ты метишь на что-то другое.

— Я мечу только на то, чтобы красиво одеваться, а ты — или дурак, или ребенок, или очень злобный, опасный человек. Убирайся, ну, убирайся, я тебе говорю!

К. был уже в коридоре, и Герштеккер уже снова держал его за рукав, когда хозяйка крикнула ему вслед:

— Завтра я получаю новое платье,— возможно, я за тобой пришлю.

Герштеккер сердито замахал рукой, словно хотел издали заставить умолкнуть мешавшую ему хозяйку, и предложил К. пойти с ним. Объясниться подробнее он пока что не хотел, на слова К. о том, что ему надо теперь идти в школу, внимания почти не обратил. Только когда К. начал сопротивляться и его стало труднее тащить, Герштеккер сказал, что К. нечего беспокоиться, он получит у него все, что ему нужно, и от места школьного сторожа он может отказаться, и, в конце концов, что же он не идет, ведь он ждет его тут целый день, и его мать даже не знает, где он. Слегка поддаваясь, К. спросил, за что тот хочет дать ему жилье и стол. Герштеккер скороговоркой ответил, что К. будет помогать ему ходить за лошадьми, ему нужен помощник, у него самого сейчас другие дела, но теперь пусть К. не упирается так и не создает ему ненужных трудностей. Если он хочет, чтобы ему платили, он и платить ему будет. Но тут К. встал окончательно, и с места его было не сдвинуть. Он же ничего не смыслит в лошадях. Да и не нужно этого, нетерпеливо сказал Герштеккер и от досады сложил руки, словно умоляя К. пойти с ним.

— Я знаю, почему ты хочешь взять меня с собой,— сказал наконец К.

Герштеккеру было все равно, что там К. знает.

— Потому что ты думаешь, что я могу чего-то добиться для тебя у Эрлангера.

— Конечно,— сказал Герштеккер,— иначе на что бы ты мне сдался?

Рвссмеявшись, К. позволил Герштеккеру взять себя под руку и увести в темноту.

Хижину Герштеккера тускло освещали только огонь в очаге и огарок свечки, стоявший в стенной нише; возле свечки кто-то сидел, пригнувшись под косо выступающими стропилами кровли, и читал книгу. Это была мать Герштеккера. Она протянула К. дрожащую руку и пригласила его сесть рядом; говорила она с трудом и трудно было ее понять, но то, что она сказала — — —

1922 г.

Перевел с немецкого **Г. НОТКИН**

«Замок» не был окончен, но ненаписанной осталась, по-видимому, лишь одна глава. О конце романа автор рассказывал в беседах с друзьями. К. умирает — просто оттого, что измучен борьбой за признание Замком его права на место в обществе. Жители деревни собираются у постели умирающего чужака, и в последний момент сверху приходит постановление, в котором говорится, что притязания К. на право проживания в деревне отклонены, однако с учетом — отнюдь не его чистосердечных устремлений, а — «неких привходящих обстоятельств», ему разрешается здесь жить и работать. Итак, милость снисходит. И нет сомнений, что снизошла она и на Франца Кафку и, не вызвав горечи, согрела его душу, когда он умирал.

Томас Манн

Из статьи «В честь поэта. Франц Кафка и его „Замок"».





Игорь ИЦКОВ,
Марина БАБАК

27 января 1982 года передачи телевидения Финляндии были неожиданно прерваны. Диктор прочел текст чрезвычайного официального сообщения:

— Президент Кекконен сегодня, ссылаясь на заключение врачей, сообщил Государственному Совету, что болезнь, из-за которой в последнее время он не осуществлял обязанности Президента республики, по своей природе сейчас такова, что может быть рассмотрена как непреодолимое препятствие, предусмотренное в параграфе двадцать пятом Конституции. Таким образом, завершается исключительная по своим заслугам деятельность на благо финского народа, деятельность, масштабы которой — беспрецедентны...

Урхо Калева Кекконен покинул капитанский мостик государственного корабля, на котором он непрерывно — в любую погоду — стоял 9500 дней. Осенью 1986 года резиденция президента — столичная вилла «Тамьяниеми» — опустела навсегда.

Непривычно тихо, просторно в саду. Тихо и в помещениях виллы. Здесь четверть века жил и работал Урхо Калева Кекконен. Рабочий стол с неприбранными бумагами, календарь, фотографии на стенах...

Одна из них была особенно дорога ему. Кекконен снят на ней вместе со своим предшественником на высшем государственном посту — президентом Паасикиви. Тогда, в апреле 1948-го, Юхо Кусти Паасикиви и Урхо Калева Кекконен были едины — нельзя в судьбоносный для их родины час поддаться давлению ничему не научившихся, недальновидных, близоруких.

Через горький и трагический опыт, через десятилетия подозрений, взаимного недоверия, а порой и вражды, обе стороны — Советский Союз и Финляндия — пришли к единственно верному решению — понять мотивы и позиции друг друга, проявить предупредительность и такт. В основу Договора 1948 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи — и это следует подчеркнуть — был положен проект, представленный финляндской стороной. Он рассматривался как полностью приемлемый для Финляндии и — что весьма важно — как абсолютно реальный.

Между прочим, Ю. К. Паасикиви настаивал на том, чтобы в первоначальный вариант текста Договора не было внесено никаких изменений. У. К. Кекконен не разделял этой точки зрения. Поэтому, когда Кекконен увидел, что советская сторона согласилась ничего не менять, он, по собственному признанию, «был крайне удивлен».

На официальном банкете в Кремле 6 апреля 1948 года И. В. Сталин, по старому грузинскому обычаю, обратился к самому младшему по возрасту, чтобы узнать его «личное и независимое» мнение о только что подписанном документе. Младшим за столом оказался Кекконен. Ему тогда было 47 лет. Сталин спросил у него:

— А что думают финны насчет Договора?

— А разве это Договор? Это же диктат Паасикиви! — ответил Кекконен.

— Вот и я говорю то же самое моим товарищам по Политбюро,— усмехнулся Сталин,— но они мне не верят!

Потом Кекконен говорил:

— Финляндия намного опередила другие страны на стезе политики международного согласия. Мы не предлагаем нашего Договора 1948 года в качестве образца другим народам, но предлагаем всем в качестве образца его результаты: основанное на доверии конструктивное сотрудничество между государствами с различным общественным строем...

Когда-то, в начале века, в юношеском дневнике Кекконен записал: «Мир — главное достояние», «Мир — смысл и суть борьбы».

Не случайно президент Урхо Калева Кекконен предложил избрать свою страну местом работы Совещания по вопросам европейской безопасности. И когда оно состоялось, так оценил его:

— ...Проводимое сейчас совещание — это знаменательная веха в истории нашего времени. Я от всего сердца надеюсь, что Заключительный акт Совещания, который будет подписан на нейтральной земле Финляндии, станет прочным, непреходящим фундаментом развития нашего континента и что «дух Хельсинки» будет сопровождать всех нас в нашей деятельности как вдохновляющий пример...

Пожалуй, лучшее описание родины президента принадлежит его супруге — писательнице Сюльви Кекконен:

«Кругом раскинулось топкое болото с черными окнами и красными кочками. Дорога пересекает болото, подобно мосту. Прежние свои мосты болото уже поглотило. Местами еще виднеются полусгнившие бревна. Там, под дорогой, болото живет своей жизнью: растет мох, цветет, созревает морошка. Вдали от дороги сиротливо стоят болотные сосны. Они маленькие и словно покрыты лохмотьями, как беспризорные дети. Кругом вода, а они засохли. На третьем километре от того столба, у которого кончается болото и начинается лес, находится усадьба. Позади нее, подпирая холмы прямо к воде, стоит густой темный лес... И все это залито лучами солнца, которое золотит рябь на озере и ярко освещает кромку леса и все предметы на ней».

Здесь, на берегу озера Пиелавеси, почти в географическом центре Финляндии, в первый год XX века появился на свет мальчик по имени Урхо.

«Родился подвижной и дюжий лесосплавщик»,— сообщали об этом событии родители Кекконена 3 сентября 1900 года.

Сам Кекконен вспоминал:

— Странно, но я помню нашу избу — «Леппико» — только в летние дни... И воспоминания мои — летние, солнечные... В доме нашем все было серьезно и основательно, отец был хорошим работником, мать — искусной хозяйкой... Поначалу мне больше всего нравилось работать в лесу. Но потом, уже в начальной школе, любимым моим предметом стала история. Так вот и оказался потерян для общества один хороший лесоруб...

— Благодаря сознательности и жертвенности родителей мне удалось получить образование. Еще школьником я мечтал о том, когда моя родина получит самостоятельность...

Год 1917-й оказался необычным для Урхо Кекконена — в больших, исторических его приметах и в малых, житейских.

Ему исполнилось семнадцать. Он перестал носить грубые башмаки, которые обычно шил отец, и заказал себе настоящие сапоги у сельского сапожника. Прежде у него были длинные светлые волосы. Но летом 1917-го он вдруг начал быстро лысеть и, по совету одного из приятелей, впервые обрился наголо. Это никак не помогло юноше, но зато вызвало сенсацию в маленьком городке Каяни, где Урхо учился в гимназии.

Тогда, пожалуй, и сложился столь привычный для нас облик Кекконена: наголо бритая, крепко посаженная голова, широкие плечи атлета, легкая, стремительная походка лыжника, широко расставленные глаза за очками с толстыми стеклами, открытая улыбка...

Однако главные события года и века происходили в нескольких часах езды от его городка.

Уже в зрелые годы президент Кекконен вспоминал, как была сокрушена трехсотлетняя династия Романовых, как на экранах маленьких «синематографических театров» замелькали кадры событий в Петрограде — февраля и марта 1917 года...

Казалось, что одним из первых шагов буржуазного Временного правительства — естественным шагом — станет признание полной независимости Финляндии, вплоть до отделения ее от России. Временное правительство, однако, решило «придерживать Финляндию».

Буржуазия превзошла венценосных правителей — ни о каком «особом статусе» Финляндии Нобели и Путиловы, Керенские и Савинковы не хотели и слышать. Особым постановлением Временное правительство ликвидировало даже те привилегии, которые предоставлялись Финляндии российскими царями. Это произошло всего лишь за две недели до штурма Зимнего.

Только партия Ленина, возглавившая победоносную Октябрьскую революцию, впервые всерьез рассмотрела вопрос о судьбе Финляндии. 31 декабря 1917 года Финляндия получила из рук Советского правительства независимость.

В полуофициальной хронике «Страницы жизни УКК» о последующем этапе биографии Кекконена говорится довольно лаконично: «Приобретение Финляндией независимости имело место в школьные годы Урхо Кекконена. Он участвовал, на стороне белых, в гражданской войне...»

16 мая 1918 года финская буржуазия праздновала победу над силами Красной гвардии «великим парадом» в Хельсинки. Кекконен присутствовал на этом параде в составе группы из специально отобранных, наиболее рослых юношей и отличившихся в боях добровольцев-шюцкоровцев.

Он отправил из столицы отчет об этом параде белой армии Финляндии как военный корреспондент газеты «Каяанилехти».

Он так до конца и не определил для себя, почему избрал — сначала в лицее, а потом и в университете — юридические науки.

— Поначалу я хотел посвятить себя профессии лесовода,— вспоминал Кекконен впоследствии.— И что именно заставило меня дать предпочтение юриспруденции вместо лесоводства, это я уже затрудняюсь точно определить. Но я думаю, что, возможно, работа над проблемами людей понравилась мне больше, чем рубка леса...

В 1926 году в последний раз для студента-юриста отзвучал университетский гимн. Магистерская мантия на плечах. Через два года — экзамен на звание кандидата юридических наук...

В начале 30-х годов Кекконен дважды побывал в Германии, работая над диссертацией. Впечатления от поездки, по-видимому, оказали немалое влияние на становление его как политика.

Из воспоминаний:

— Эта проведенная в Германии зима была хорошим уроком для финского демократа. Я написал для газеты «Кайнуун саномат» пару статей о своих наблюдениях. Я пришел к выводу, что национальный социализм возьмет верх над слабой и разобщенной Веймарской республикой. С такими гостинцами я вернулся в Финляндию... Здесь крайне правые течения, патриотическое народное движение, фашизм, нацизм — у любимого ребенка много имен — переживали период большого подъема... Порой я заходил в компанию моих старых товарищей по студенческому землячеству на Остроботнии. Я им рассказывал устрашающие вещи о Германии, но единственной штукой, которую они переняли у меня, была мелодия песни о Хорсте Весселе и слова, которым я их, в своем большом великодушии, научил...

В 1936 году Кекконен защитил докторскую диссертацию по муниципальному праву. Одна из газет откликнулась на это событие так: «Сообщество наших ученых получило пополнение неожиданного свойства — не кабинетного теоретика, не знатока латинских терминов, в живого, зрелого и активного специалиста».

Тот год стал своеобразным водоразделом в его биографии — он избрал путь профессионального политика. Депутат парламента Урхо Калева Кекконен получил пост в кабинете. Вначале — министра юстиции, затем — министра внутренних дел. На этом посту в 1937 году Кекконен предпринял энергичную попытку распустить профашистскую организацию — ИКЛ. Закончилась она тем, что в 1939 году Урхо Кекконен был вынужден оставить министерский пост.

Как говорят финны, каждую песню надо петь с самых первых строк, ничего не пропуская... Ничего не забывая...

Так мы подошли в нашем рассказе, пожалуй, к самым горьким, трагическим страницам советско-финляндских отношений — к «зимней войне» 1939—1940 годов — той самой, «незнаменитой», по слову Твардовского.

Тогдашняя советско-финляндская граница — в тридцати верстах от Невского проспекта. Отношения между Москвой и Хельсинки омрачены взаимным недоверием: многие предложения советской стороны относительно необходимости изменения пограничной линии всерьез даже не рассматривались.

В марте 1939 года финляндское правительство было запрошено: не согласится ли оно сдать в аренду сроком на тридцать лет острова в Финском заливе для создания там укрепленного района, который прикрыл бы Ленинград с моря. Такой непримиримый к коммунизму, к Стране Советов деятель, как маршал Маннергейм, советовал тогда всерьез прислушаться к мнению Москвы и предлагал передвинуть границу у Ленинграда западнее (за соответствующую территориальную компенсацию). Увы, даже это — весьма авторитетное в стране — мнение не было принято во внимание...

30 ноября 1939 года «зимняя война» стала свершившимся фактом. В результате граница Финляндии была отодвинута от стен Ленинградв... Однако вслед за перемирием 1940 года пришли новые испытания — с июня 1941 до сентября 1944 года Финляндия былв союзником гитлеровской Германии...

Гитлеровские солдаты шли по земле Суоми... Фашистские самолеты поднимались с финских аэродромов и летели бомбить блокадный Ленинград...

Урхо Кекконен еще в 1942 году увидел реальный исход войны на Востоке. Он был в числе тех деятелей Финляндии, которые начвли нелегкий, порой и мучительный, сложный процесс переоценки всех концепций внешнеполитической ориентации Финляндии. Уже тогда с тревогой и надеждой звучал его голос:

— Наше будущее ненадежно. Оно целиком зависит от того, сколь умело будет вестись наша внешняя политика... От государственного руководства требуется умное и компетентное приспособление или поправки, вносимые в связи с изменением условий...

В 1944 году Кекконен считвл для Финляндии политику продолжения войны абсолютно недопустимой, сравнивал ее с свмоубийством. Он подчеркивал, что финнами должен теперь двигать «инстинкт самосохранения», а не какие-либо иные мотивы, всячески торопил тогдашнее финляндское руководство с заключением мира, пока дело не дошло до предъявления Финляндии условий безоговорочной капитуляции. Именно эта перспектива казвлась ему особенно опасной. «В течение недели — с 20 по 29 июня 1944 года — он предпринимвет по крайней мере шесть различных крупных политических шагов (20, 22, 24, 25, 27 и 29 июня) с целью добиться открытия переговоров с СССР о мире»,— свидетельствует биограф Кекконена. 19 сентября 1944 года Финляндия вышла, наконец, из войны. Было заключено соглашение с Советским Союзом о перемирии.

Кекконен так охарактеризовал тот период:

— Войны истощили экономику нашей страны, во внешней торговле нашей страны был застой, во всем ощущалась большая нужда... Однако самым главным было добиться доверия в наших отношениях с Советским Союзом. Это была очень трудная задача: поворот в политической жизни был настолько крутым, что нашим гражданам было очень трудно его понять, а еще труднее к нему приспособиться. Но политические мероприятия, необходимые для выполнения условий перемирия и еще более для достижения не записанных в статьях перемирия отношений доверия с Советским Союзом, необходимо было провести...

В марте 1946 годв Президентом Финляндии стал Юхо Кусти Паасикиви.

3 февраля 1947 года между нашими странами был подписан Мирный договор. В нем содержалось торжественное обещание СССР содействовать в будущем приему Финляндии в ООН. Оставалось два следа войны — Финляндия должна была выплачивать оставшуюся сумму репараций (до 1952 года); она оставляла в аренду СССР территорию Порккала-Удд сроком на пятьдесят лет — до 1998 года...

Сколько раз в эти десятилетия, рассказывая об отношениях между СССР и Финляндией, мы писали и говорили — впервые... Впервые в июне 1950 года был подписан торговый договор и долгосрочное соглашение о взаимных поставках товаров. С высоты сегодняшнего опыта, с дистанции времени, это, возможно, покажется обычным, даже бнальным. Но тогда, в разгар «холодной войны», слово «долгосрочный» звучало совсем по-иному. В нем, по мнению Кекконена, была «незыблемость надежды».

Впервые вместе строили и совместно реконструировали... Впервые договорились о научно-техническом сотрудничестве...

Кекконен был необыкновенно тверд в своем стремлении убедить и переубедить «отечественных толстосумов», квк он любил повторять. Во всяком случае, идея строительства крупных хозяйственных объектов в СССР (Светогорский комбинат, Пяозерский леспромхоз, горно-обогатительный комплекс в Костомукше) дала работу тысячам финнов. Десятки финских фирм ствли поствщиками оборудования и транспортных средств. Идея эта принадлежит лично Урхо Калева Кекконену. Он же первым выдвинул задачу возрождения Сайменского канала и многих других «объектов добрососедства».

Венцом, кульминацией первого этвпа укрепления доверия стал сентябрь 1955 года. 19 сентября в Кремле были подписвны двв документа. Первый — соглашение о досрочном отказе Советского Союза (вместо 1998 года — в 1955-м) от арендных прав на территорию Порккала-Удд, где находилась советская военно-морсквя база. Второй — протокол о продлении Договора 1948 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи еще на двадцать лет...

Теперь не только откровенные недруги «линии Паасикиви — Кекконена», но и просто скептики могли убедиться: у них выбит из рук излюбленный козырь — при каждом удобном случае рассуждать о «финских потерях». Всем, кто не утратил способности видеть реальность, открылось: таковы материальные итоги проведения политики мирного сосуществования.

Квк указывал У. К. Кекконен, осуществление нового курса стало «более легким и благодарным делом». Действительно, парламент уже единогласно одобрил продление Договора 1948 года сроком на двадцать лет, в руководящих кругах Финляндии уже не раздавалось голоса против него. Напротив, даже разгорелись споры, кто же, в сущности, внес наибольший вклад в его заключение и претворение в жизнь...

Кекконен так оценивал все эти процессы:

— Мы, финны... до сих пор искренне проводили политику доброй воли, руководствуясь, я бы сказал, скорее всего, рассудком. Начиная с данного моментв, мы будем проводить эту политику, руководствуясь не только рвзумом, но и сердцем...

В это время ему было 55 лет. Трудовой стаж исчислялся почти сорока годами. Партийный стаж — тридцать лет. Два де-

сятилетия он был известен как государственный деятель. Десять лет с его именем связывалась «линия Паасикиви — Кекконена». Послужной его список включал такие профессии и занятия, как лесоруб, лесосплавщик, полицейский чиновник, журналист, юрисконсульт, спортсмен, ученый, финансист, дипломат. Он был общественным и парламентским деятелем, руководителем крупнейшей партии, главного кабинета.

В 1956 году Ю. К. Паасикиви не выразил желания быть избранным еще на один шестилетний срок. Были назначены новые президентские выборы. Урхо Калева Кекконен стал восьмым президентом Финляндской Республики.

Он неоднократно приезжал в нашу страну, биографы даже не сумели подсчитать точное число визитов — официальных и рабочих, многодневных и кратких. С 1948-го по 1954 год бывал только в Москве. И лишь во время пятой поездки впервые увидел Волгу, Дон, Причерноморье. В Сталинграде мемориал на Мамаевом кургане был уже построен. Но вокруг Дома Павлова все еще лежали не до конца разобранные руины. Молоденькая девушка — гид, однако, уверенно говорила: «Здесь будет детский сад, здесь — больница... Там — новый корпус завода, а за ним — спортивный комплекс».

Потом Кекконен делился впечатлениями об этой поездке:

— Слово «будет» постоянно повторяется у русских, когда они говорят о чем-нибудь — будь то связано с общественной или даже личной жизнью. Они умеют жить в будущем! Они полны надежд на будущее!..

В мае 1958 года Кекконен прибыл в Советский Союз с официальным визитом. Его и его супругу — писательницу Сюльви Кекконен принимали радушно и сердечно. Этот визит совпал с большим праздником — десятилетием договора 1948 года. Именно тогда У. К. Кекконен сделал свое знаменитое заявление, облетевшее прессу всего мира. Он сказал, что Финляндия будет поддерживать с Советским Союзом дружественные отношения «во всякую погоду: в погожие дни, а если понадобится, то и в бурю!».

Противники добрососедства, реализма в политике, однако, не сложили оружия. Теперь их аргументы звучали так: над Поркалла-Удд поднят финский флаг, ситуация изменилась, и политика Паасикиви более не имеет смысла... Другие критики шли еще дальше: «получив свое, Финляндии следует отныне ориентироваться исключительно на Запад...»

На полках библиотек, в витринах, как по команде, появились десятки книг: мемуары, художественные исследования, исторические сочинения, свидетельства «очевидцев» — все они обращены были, главным образом, к истории советско-финляндских отношений, к событиям двух войн — «зимней» 1939/40 годов и второй мировой войны, когда финские вооруженные силы сражались на стороне фашистской Германии. Цель этой кампании была совершенно очевидна — создать новый кризис в советско-финляндских отношениях.

В Финляндии — испокон веку, когда никто не знал ни причин, ни механизма похолодания — полагали, что морозы являются в «часы дьявола» глубокой ночью. Вот почему, видимо, пресса и окрестила внезапное охлаждение советско-финляндских отношений «ночными заморозками». Это «похолодание» совпало с обострением общей обстановки в Европе...

К концу 1958 года сложились серьезные трудности в отношениях между нашими странами. С советской стороны было отмечено, что добрососедские, дружественные отношения несовместимы с постоянными антисоветскими выступлениями в финляндской прессе. «Друзья должны вести себя, как друзья»,— заявили в Москве.

Выступая по национальному радио и телевидению, Кекконен говорил:

— ...После несчастных войн требуется перемена всей нашей позиции по отношению к Советскому Союзу, чтобы убедить его в искренности и стремлении всего финского народа к прочным дружественным отношениям между нашими странами, к основанному на доверии сотрудничеству между нами. Никогда в будущем наша внешняя политика не должна быть направлена против Советского Союза, и мы должны убедить нашего восточного соседа в том, что эта наша политика непоколебима.

Эта речь не просто связана с одним из самых драматичных исторических и политических моментов. Она — и свидетельство особого ораторского, публицистического стиля Кекконена, образец его саркастической, точной интонации:

— Я часто вспоминал в последнее время фразу из несравненной книги Фридриха Зибурга «Француз ли бог?». Зибург пишет: «Французская портниха отдала бы целое состояние за секрет, как плохо обращаться с клиенткой и все-таки продавать ей платья...».

«Ночные заморозки» 1958 года окончились. Они не принесли их вдохновителям никаких политических дивидентов. А советско-финляндские отношения вступили в новый этап. В то непростое время родилась прекрасная традиция наших общих праздников. 1917 год — год Великого Октября и год рождения независимой Финляндской Республики — стали как бы единым началом отсчета. Историческая взаимосвязь двух этих событий всегда подчеркивалась президентом Кекконеном.

— Ленин понимал права народов в духе идеалов Французской революции, в духе свободы, равноправия и братства... Ленин еще до начала нашего века, в 1896 году, безоговорочно присоединился к резолюции конгресса II Интернационала в Лондоне, согласно которой все народы без исключения имеют право на создание самостоятельного государства в соответствии с их свободным волеизъявлением... Ленин принял это положение как одно из важнейших, программных и в 1903 году, когда была создана большевистская партия... Ленин с начала двадцатого столетия во всех своих трудах категорически осуждал угнетение финского народа русским царизмом.

Став у государственного руля, У. К. Кекконен неоднократно открыто, в полный голос, разоблачал спекуляции тех, кто связывал предоставление Финляндии независимости в 1917 году с какими-то временными, тактическими соображениями:

— Этим своим актом Ленин заслужил нераздельное уважение финского народа и непреходящее место в истории Финляндии. Такого признания не хотели, как я считаю, совершенно необоснованно, дать Ленину. Это и прямо отрицалось — но факты говорят сами, непререкаемым языком...

И то были — добавим от себя — принципиальные соображения, всегда имевшие в глазах советского руководства приоритет над любыми соображениями, в том числе и над военно-стратегическими.

Ленин даже в 1919 году, когда положение в Советской России было критическим, а белые генералы, отвергая идею финляндской независимости, говорили о «неделимой России», указывал на VIII съезде РКП(б): «Там все будет идти, во всяком случае, не так, как у нас. Если мы скажем, что не признаем никакой финляндской нации, а только трудящиеся массы — это будет пустяковиннейшей вещью. Не признавать того, что есть — нельзя: оно само себя заставит признать».

«Самая маленькая,— подчеркивал Владимир Ильич Ленин 23 декабря 1921 года в речи на IX съезде Советов,— ничем не вооруженная национальность, как бы слаба она ни была... абсолютно может быть и должна быть спокойна за то, что ничего, кроме мирных намерений, у нас по отношению к ней нет...».

— Еще будучи школьником,— вспоминал Кекконен,— я начал писать, и вместе с этим начал интересоваться такими вещами, которые обычно не входят в круг интересов школьника. Я писал как под собственным именем, так и под псевдонимами; под псевдонимами в основном потому, что в то время это было модно. Кроме того, это позволяло мне иметь небольшие карманные деньги. С тех пор я овладел словом настолько хорошо, насколько вообще способен...

Несколько томов его литературных произведений собрали сотни фельетонов, рассказов, очерков, речей, памфлетов. С первых юношеских опусов, опубликованных в газете «Каянилехти», за Кекконеном утвердилось прозвище «писатель».

В начале сороковых у Кекконена появился псевдоним Пекка Пейтси (на русский это можно перевести как «Петька-пистолет»).

Именно Пекка Пейтси стал выразителем новых тенденций в общественном мнении страны. Если поначалу он, как и все, выступал за «Великую Финляндию», то со времени Сталинградской битвы ему стал присущ объективный, реалистический взгляд на настоящее и будущее...

В одном из биографических очерков, посвященных президенту, сказано: «Прежде всего он стал известен соотечественникам как автор остроумных фельетонов и как выдающийся спортсмен...».

Сам Кекконен говорил, что в спорт он попал по чистой случайности. Специалисты же говорят другое. Например, знаменитый ленинградский тренер Виктор Ильич Алексеев, хорошо знавший президента, как-то заметил, говоря о нем, как о спортсмене:

— Уникальная разносторонность — прирожденное, редчайшее сочетание «десяти достоинств» легкоатлета-многоборца...

В самом деле, у себя на родине — в городке Каяни — Кекконен установил рекорды в беге на 60, 100, 150, 200, 1000 и 1500 метров, первенствовал во всех видах прыжков, кроме прыжка с шестом. Он был чемпионом в барьерном беге на 400 метров и в метании копья. Первым успехом Кекконена на чемпионатах Финляндии было третье место по прыжкам в высоту с разбега — 175 сантиметров. Знатоки легкой атлетики помнят, что тройной прыжок выполнялся тогда с места. Тут результат Кекконена был просто выдающимся — 9 метров 72 сантиметра.

После того, как на всефинляндских играх он дважды подряд — в 1927-м и 1928 годах — занял лишь второе место, Кекконен повесил на гвоздь свои беговые туфли. Но, в эти годы спорт уже не занимал главного места в его жизни. Он получил университетский диплом, начал карьеру муниципального деятеля. Наконец, он женился, и в 1928 году впервые высоко поднял на руки двух сыновей-близнецов.

Но, кроме легкой атлетики, у него, как, наверное, у всякого финна, были еще и лыжи. Вот заметка из хельсинкской газеты: «Лыжное состязание членов парламента!». В лыжных состязаниях принимали участие представители парламентов Норвегии и Швеции, а также Финляндии. Первыми на место проведения состязаний прибыли премьер-министр Кекконен и министр Лескинен. Через несколько минут прибыли и другие лыжники — члены парламентов. Всего в путь отправились сорок семь человек. Первым на финиш пришел министр Лескинен, немного спустя — премьер-министр Кекконен.

И в пятьдесят, и в шестьдесят, и в семьдесят лет он все еще участвовал в больших лыжных походах — порой на значительные расстояния, до сотни километров в сутки. Любителям статистики будет интересно, наверное, узнать, что еще на рубеже шестидесяти — семидесяти годов Кекконен за зиму в общей сложности проходил на лыжах до тысячи километров. Он исходил всю страну — от юга до Крайнего Севера, от Хельсинки до таинственной страны Деда Мороза — снежной, андерсеновской Лапландии.

Из далекого своего северного дома в Лапландии он любил возвращаться в уют и тишину виллы «Таммьиниеми». Все здесь устроено было согласно вкусу и пристрастиям супруги президента — Сюльви Кекконен.

Они были ровесниками, друзьями, коллегами — Сюльви посвятила свою жизнь литературе. Ее книги переведены и изданы во многих странах мира. Но прежде всего она была преданным и верным его спутником — и в молодости, и в зрелые годы, и в трудные дни, и в счастливые... В начале пятидесятых годов, когда Кекконен был еще премьер-министром страны, Сюльви организовала своеобразный литературный салон. Там бывали деятели культуры, писатели «всех цветов» — люди самых различных политических убеждений. Став президентом, Кекконен особенно ценил возможность услышать из первых уст, сопоставить различные точки зрения. В салоне можно было увидеть и коммунистов, и представителей ультраправых кругов. Затем местом встреч стал дом на окраине Хельсинки — на улице Кумну. Здесь чета Кекконенов устраивала так называемые «вечерние закуски», приобретшие большую популярность. Традиция эта была жива долгие годы. И только когда не стало радушной, приветливой хозяйки салона, встречи эти стали проводиться все реже и реже... Кекконен всегда вспоминал о них со смешанным чувством радости и горечи.

Любимой его книгой был «Дон Кихот» Сервантеса. Что-то очень важное соединяло его с бесстрашным рыцарем из Ламанчи. Наверное, он принадлежал к тем людям, которых не заботит мгновенность перехода от самого серьезного и даже трагичного — к улыбке, иронии, шутке. Он шутил гораздо чаще, чем улыбался...

Еще в середине тридцатых у него появилось своеобразное «хобби»: собирать свои изображения. Он всю жизнь вырезал из газет и журналов карикатуры на себя — и добрые, и дружеские, и злые, и даже пасквильные. Всякие. Казалось, он следовал словам столь любимого им русского поэта: находил удовольствие не только в звуках одобрения — но и в громких возгласах хулы!

Сам Кекконен говорил:

— Основательно я выучил только один язык — язык матери. Нужно учиться говорить, читать, просто болтать, декламировать и прежде всего писать, ясно выражать свои мысли на бумаге...

Став президентом, Кекконен пытался, насколько возможно, скрыть свое авторство. С другой стороны, он мог теперь использовать свои широкие знания по различным вопросам: писал политические обзоры, уделял внимание проблемам развития общества, часто разоблачал бездушие и бюрократизм.

Излюбленной «тайной игрой» его стало комментирование, оценки деятельности президента, то есть самого себя.

В 1976 году Кекконен опубликовал свою личную переписку с государственными, политическими, общественными деятелями многих государств — «Письма с мельницы». Этот монументальный эпистолярный свод — своеобразный памятник патриоту, архитектору новой Финляндии, последовательному поборнику политики доверия и добрососедства с Советской страной.

В 1979 году в Хельсинки вышел сборник политических афоризмов «Хлесткие удары». Автором его значился некий Симо Сакари. В сборнике были собраны высказывания выдающихся мыслителей, политиков и писателей. Из государственных деятелей в книге были представлены Макиавели, Талейран, Наполеон, Бисмарк, Черчилль, Де Голль. Философы и писатели — Беркли, Маколей, Ларошфуко, Гёте, Оскар Уайльд, Анатоль Франс и Бернард Шоу. Читатели могли увидеть здесь также высказывания Ю. К. Паасикиви и самого У. К. Кекконена.

Это и помогло раскрыть еще один — кажется, последний — псевдоним президента.

Среди авторов афоризмов — и Карл Маркс. Какое же его изречение выбрал Кекконен? «Философы до сих пор поразному объясняли мир, дело же заключается в том, чтобы изменить его». Кекконен не был ни «красным», ни «розовым». И, наверное, прав биограф президента: «Высказывание Маркса привлекло его не само по себе, а потому, что находило отзвук в его собственной деятельности: ведь он тоже кое-что изменил в финляндском мире!»

...Его называли «путешествующим президентом». Даже подсчитал кто-то: он совершил 104 заграничных путешествия, из них — 36 — официальные визиты в 26 стран...

Он всегда тщательно готовился к поездкам. Так, собираясь в Великобританию и США, Кекконен поставил перед собой задачу — в совершенстве овладеть английским языком. Он хотел не только вести без переводчика, с глазу на глаз, беседы «на высшем уровне», но и выступать по-английски. И шестидесятилетний президент в течение полугода занимался каждый день по нескольку часов английским. Кекконен, как говорят в Америке, «украл всю славу» — ему аплодировали и журналисты, и сенаторы... С огромным вниманием слушал его тогда только что ставший президентом США Джон Кеннеди. Он спрашивал у Кекконена:

— Почему Советский Союз позволил Финляндии быть независимой?

Затем поинтересовался:

— Не введет ли Советский Союз в Финляндии коммунистическое правительство силой?

Кекконен был терпелив и спокоен в своих объяснениях:

— Есть глубокая разница между политическими и идеологическими интересами. Главное для СССР в его отношениях с Финляндией — это вопросы безопасности, и если Советский Союз будет иметь полную уверенность в том, что со стороны Финляндии ему ничто не угрожает, то он будет спокойно воспринимать все, что происходит в ее внутренней жизни...

Не бесконфликтными, гладкими, а напротив, исполненными трудной борьбы были последние годы пребывания Урхо Калева Кекконена на высшем государственном посту. Противники мира и разрядки — в Финляндии, в других странах — не могли простить Кекконену тезиса о том, что Финляндия не нейтральна в вопросах войны и мира, а безоговорочно выступает за мир. Это был серьезный удар по тем, кто хотел бы так или иначе изменить миролюбивую, независимую внешнюю политику Финляндии. И потому справедливо, наверное, сказать об изобретенном на Западе и все еще не сданном в архив, по сути, провокационном термине — «финляндизация»...

Рассуждения о «финляндизации» — это не просто ложь. Это политическое невежество. Действительно, сотрудничество с Советским Союзом укрепляло и укрепляет как международные позиции финляндского государства, так и его экономику. Это и есть конкретный результат политики мирного сосуществования...

Сам Кекконен вспоминал:

— Мне предстояла поездка на отдых в Советский Союз. Ко мне пришел министр правого толка. Оказалось, он озабочен моей предстоящей поездкой: видите ли, мне придется уступить требованиям Советского Союза. Я усмехнулся и ответил: «Мне никогда не приходилось ездить в Москву что-то отдавать, а наоборот, я всегда что-нибудь привозил оттуда. А если бы я предполагал, что Финляндии придется в Москве чем-то поступиться, то я сам, конечно, не поехал бы, а послал бы тебя...»

Приезжая в Ленинград, он любил вместе с Сюльви хотя бы на полчаса вырваться из привычного круга протокольных мероприятий, неторопливо побродить по набережным великой реки. Он знал эти строки по-русски наизусть:

...Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...

Дружба, добрососедство, доверие. Впервые это слово — «доверие» — прозвучало в Смольном, в последнюю ночь 1917 года, когда решалась судьба национальной финляндской государственности... Символично, что это слово стало названием фильма, созданного кинематографистами Хельсинки и Ленинграда, ставшего в Финляндии своеобразным «киноприложением» к учебникам новейшей истории.

«В Финляндии никто не произнес слов „завещание Кекконена“,— указывала одна из газет Хельсинки.— Но его наследие живо, и оно — достояние обеих наций...»

Новый глава государства, Мауно Койвисто, по традиции, проводил первую встречу с журналистами. Всем своим поведением он словно подтверждал старинное изречение: «Всякий финн упорен, спокоен и невозмутим, молчалив и надежен». Но, подойдя к микрофону, президент Мауно Койвисто не смог сдержать волнения. В первой же своей речи он подчеркнул:

«Финляндия будет непоколебимо продолжать идти по пути, определенному моими уважаемыми предшественниками Ю. К. Паасикиви и Урхо Кекконеном...»

Он был ровесником века, сыном своего народа, сыном своей земли. Он всегда был человеком прочных взглядов на прошлое, настоящее и будущее, на людей труда и людей наживы, на мир и на войну, на друзей и врагов. Он боролся за дело, в которое верил — а верил он в добро и справедливость.

Таким мы и запомним его — человеком политики и человеком дела, никогда не искавшим для себя легких путей.



Галина ЦУРИКОВА,
Игорь КУЗЬМИЧЕВ

ПИСАТЕЛЬ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

1

Для чего пишут люди?

Задав себе этот вопрос, двадцатитрехлетний Лев Толстой, еще не став автором ни одного из своих будущих сочинений, рассуждал: люди это делают — «чтобы приобресть, кто денег, а кто славы»; некоторые же говорят — «чтобы учить добродетели».

А для чего же читают люди, для чего они дают деньги и славу за книги? — продолжал свою мысль Толстой и отвечал: «Люди хотят быть счастливы; вот причина всех деяний...»

Какие, казалось бы, старомодные по нынешним временам вопросы и какие простодушные на них ответы! Меж тем, вопросы эти — почему и зачем возникло писательство? — не так уж и наивны; они из категории вечных. Сегодня, когда художественная литература в поединке с телеэкраном, с агрессивной поп-культурой и властными притязаниями компьютерного мышления вынуждена отстаивать свой духовный престиж, а возможно, и само свое исконное право «глаголом жечь сердца людей», эти вопросы встают перед нами с непредвиденной силой и с той же упрямой очевидностью, как и перед Толстым, который возвращался к ним на протяжении всей своей долгой жизни.

В 1875 году, в момент надвигавшегося душевного кризиса, приведшего к «Исповеди», он делился в письме со Страховым: «Для чего я пишу? Мне 47 лет. Оттого ли, что я горячо жил, оттого ли, что возраст этот есть обычный возраст старости, я чувствую, что для меня наступила старость...» И дальше рассказывал о том, что пережил период детства, юности, молодости, когда «поднимался выше и выше на эту таинственную гору жизни, надеясь найти на ее вершине результат, достойный положенных трудов»; потом достиг зрелости, взошел на вершину, однако на этой вершине ничего не было из того, чего он ждал... И вот, итожил Толстой, «я медленно, осмотрительно иду вниз, вспоминая пройденный путь, разбирая настоящий и стараясь из всего пройденного пути и из наблюдений окружающего меня проникнуть тайну того, что ожидает меня там, в том месте, к которому я невольно стремлюсь...»

Толстой излагал Страхову свой новый замысел. Объяснял: «Рассказать о том, каким образом из состояния безнадежности и отчаяния я перешел к уяснению для себя смысла жизни... составляет цель и содержание того, что я пишу».

Не в этом ли соль вопроса?

И не отсюда ли — из стремления познать тайну дарованной тебе жизни — родилась естественная потребность писать, равно как и ответная жажда читать, обретать себе в писателе единомышленника?

И разве сегодня эта извечная связь нарушилась?

Или литература, изменяя себе, утрачивает сегодня это свое коренное свойство, изначальную способность свою вести людей к духовному братству?

Думая об этом, обратимся к опыту человека, в свой час достигшего, под стать Толстому, вершины и прошедшего путь, может быть, в чем-то подсказанный толстовским, хотя, разумеется, совсем иной.

Алексей Алексеевич Ухтомский (в своей древней княжеской фамилии он ударение делал на первом слоге), чьи всемирно известные открытия в области человекознания, на наш взгляд, еще не оценены в должной мере, не был писателем. Он был физиологом, академиком, знатоком людской психологии; больше всего на свете его занимало природное «устройство» душевной жизни. Он много и настойчиво об этом размышлял — и в ученых трудах, и в статьях более популярных, и в письмах, которым часто вверял самую драгоценную работу своей души [1]. При этом свой личный опыт Ухтомский тоже считал достойным исследования. Ступая за пределы строгой науки, он вторгался нередко и в смежные области, живо интересуясь, в частности, психологией творчества.

...«Я вот часто задумываюсь,— писал А. А. Ухтомский в 1928 году,— над тем, как могла возникнуть у людей эта довольно странная профессия — „*писательство*“. Не странно ли, в самом деле, что, вместо прямых и практически-понятных дел, человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определенных целей,— писать вот так же, как трава растет, птица летает, а солнце светит. Пишет, чтобы писать! И видимо, для него это настоящая физиологическая потребность, ибо он прямо болен перед тем, как сесть за свое писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает! В чем дело? Я давно думаю, что писательство возникло в человечестве „с горя“, за неудовлетворенной потребностью иметь перед собой собеседника и друга! Не находя этого сокровища с собою, человек и придумал писать какому-то мысленному, далекому собеседнику и другу, неизвестному, алгебраическому иксу, на авось, что там где-то вдали найдутся души, которые зарезонируют на твои запросы, мысли и выводы!»

Задумавшись над причиной возникновения у человека этой преобразованной в творческий потенциал жажды собеседника, Ухтомский напоминал, что испокон веку встречались и более счастливые люди, не испытывавшие ни этой неутолимой жажды, ни страсти к писательству. Они, эти люди, ни строчки не написавшие, сами становились вечными собеседниками для всех, ибо умели угадывать *наиискреннейшего собеседника* в ближайшем встречном человеке,— потому и тоска по дальнему была им незнакома. К таким счастливцам Ухтомский причислял и обычных деревенских стариков, и людей всемирно гениальных, подобных Сократу. В то время как писатели, малые и великие, обращались к дальнему, «пронося подчас свои гордые носы мимо неоцененно дорогого близ себя», эти мудрецы умели любить и вразумлять каждого, кто их слушал.

«Как это ни парадоксально, но это так! — восклицал Ухтомский.— Это в сущности уже плохо, если человек вступил на путь писательства! С хорошей жизни не запишешь! Это уже дефект и некоторая болезнь, если человек не находит собеседника вблизи себя и потому вступает на путь писательства. Это *или непоправимая утрата, или неумение жить с людьми целой, неабстрактной жизнью!*» Нравственный потенциал писателя, ученого, любого гражданина теснейшим образом зависит от того, какие «неабстрактные» человеческие отношения каждому из них по силам, и мера правды в этих отношениях тем выше, чем богаче и бескорыстнее личность. Не умнее и не ученее, а именно душевно щедрее. Отношение к дальнему для Ухтомского неотделимо от отношения к ближнему; ему было странно наблюдать, как сплошь и рядом «писатель, ученый, моралист и поэт, разливающийся соловьиной сладостью для дальнего, оказывается несноснейшим субъектом для своих ближайших домашних!..»

Ухтомский вполне отдавал себе отчет в щепетильности этой беспокоившей его проблемы и не отделял любого вообще человека от самого себя — понимающего драматизм положения, но тоже не всемогущего и поглощенного той же писательской жаждой. Себя, кстати, он и судил и оценивал очень трезво: «Всю жизнь хочу жить для ближнего,— признавался он,— а на деле умею кое-как жить только для дальнего, не находя сил жить до конца для ближнего!»

Ухтомский был убежден, что мысленное собеседование — разговор, предполагающий адресата и оппонента,— обусловливает природу всякого писательства и тем самым роднит литературу с наукой. Между ними здесь нет принципиальной разницы. Эта аксиома лежит в основе диалектического мышления, но она же имеет еще и откровенно нравственный смысл. Какие бы системы знаний ни сменяли друг друга в процессе исторического развития, за ними всегда и неизменно стоит живой человек, со своими «реальными горями и жаждой собеседника». На этом убеждении Ухтомский строил свою концепцию человека, и сегодня она актуальна как никогда.

Ну, скажем, нынешняя тревога, вызванная «всесилием» ученых, нередко упускающих из вида в своей деятельности не только живого человека, но и само человечество...

Полвека назад Ухтомский писал, обращаясь к исторической ретроспективе: «Схоласты стали рисовать себе науку как совершенно безличную, однозначную, категорическую в своих утверждениях, чудесную и исключительную систему мыслей, которая настолько *сверхчеловечна*, что уже и не нуждается более в собеседни-

[1] А. А. Ухтомский охотно писал письма, видя в них незаменимый способ человеческого общения. Из множества его писем до сих пор опубликована лишь малая часть (публикация осуществлена Е. И. Бронштейн-Шур в альманахе «Пути в незнаемое», сб. 10, М., 1973). В этой статье мы имели возможность использовать также пока не обнародованные воспоминания об А. А. Ухтомском и его переписку. Приносим глубокую благодарность И. И. Слоаимской, в прошлом ученице и сотруднице А. А. Ухтомского, за предоставленные нам материалы.

ке и не заинтересована в том, слушает ли ее кто-нибудь!.. Рационализм обожествил науку, сделал из нее фантом сверхчеловеческого знания. Профессиональная толпа профессоров, доцентов, академиков, адъюнктов и т. п. „жрецов науки" и посейчас живет этим фантомом и тем более, чем более они „учены" и потеряли способность самостоятельно мыслить!.. Для этих самодовольных людей, которыми переполнены наши кафедры, было чрезвычайным скандалом, когда оказалось, что систем геометрии без противоречия может быть многое множество, кроме общепринятой эвклидовской; и систем физики может быть множество, кроме ньютоновской. А это значило, что „однажды и навсегда построенная система истин" есть не более, как претенциозное суеверие...»

Как обязывающе звучат эти слова сейчас, когда проблема персонифицированного, очеловеченного, а значит и морально ответственного знания обнажается во всем своем трагизме!

Выбор между общепринятой, казенной системой мыслей и «мыслящим мировоззрением» духовно самостоятельного человека в наши дни касается не только чистой науки, но и любых сфер деятельности, будь то управление экологическими процессами или обучение детей в школе. Подверженные «претенциозному суеверию» самодовольные адепты науки — да и только ли науки! — не желают и сегодня вникать в существо этой проблемы, поскольку они никогда не заботились о контакте с живым собеседником. Что и говорить, это требующее самоотдачи и гражданского мужества «мысленное собеседование» далеко не каждому по плечу и по нраву. Легче быть механическим исполнителем чьей-то воли. Удобнее слепо подчиняться все убыстряющейся инерции технического прогресса...

Меж тем не только истинное произведение искусства, но и научное провидение, запечатленное мыслью ученого, становится средством человеческого единения. Ибо, во-первых, писал Ухтомский, «когда человек думает, он это делает в понятиях общих для всех... Во-вторых же, каждое явление в мире имеет свой смысл, его имеют в общем деле человечества и мысли каждого из нас,— поэтому и мое частное и личное имеет свое место в нашей общей человеческой жизни...»

Толстой в девяностых годах прошлого века в трактате «Что такое искусство?» высказывал очень похожую мысль. «Настоящее произведение искусства,— писал он,— делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми, которые воспринимают то же произведение искусства. В этом-то освобождении личности от своего отделения от других людей, от своего одиночества, в этом-то слиянии личности с другими и заключается главная привлекательная сила и свойство искусства».

Толстой был великим писателем. Ухтомский не владел художественным даром. Проповедь Толстого услышали на всем земном шаре. «Учительство» Ухтомского пока не распространилось за пределы круга его ученых единомышленников. Масштабы нравственного влияния тут несопоставимы. Сопоставим уровень мировоззренческих идей. Нельзя не отметить и глубокой общности творческих побуждений Толстого и Ухтомского, сходства их этических установок. Того и другого в первую очередь интересовал человек — со всеми загадками его «неабстрактного», личного поведения. Гениальная правда интуитивного толстовского знания о человеке получила в строгих научных разработках Ухтомского закономерное подтверждение. Оба они как первую заповедь провозглашали любовь к человеку — к ближнему и дальнему! Они видели цель своего писательства в освобождении человека от одиночества, в стремлении к духовному единению людей.

Исследуя с позиций естествоиспытателя пружины человеческого поведения, открывшиеся науке в начале XX века, Ухтомский допускал неожиданные подчас обобщения. Прозрения ученого опережали время. Обстоятельства не способствовали их должному усвоению. Сознавая это, Ухтомский мог только надеяться, что его мысль, обогнавшая время, не сгинет бесследно: упавшее в землю зерно прорастет, пусть и в иную эпоху. И хочется думать, что сегодня, на исходе XX столетия, заветные «совсем частные» мысли Ухтомского прозвучат актуально, со всей их ясностью и остротой.

Сворачивая с проторенных путей, Ухтомский выше всего ценил в творческом человеке «раскрытость души к реальности». Полагал, что сокровенные тайны жизни по силам раскрыть лишь непредвзятому, свободному от предрассудков разуму. Видеть реальность, говорил он, необходимо такой, какова она есть, не пытаясь ее толковать на свой старый аршин.

В пору, когда естественные науки овладели новым уровнем знаний, перевернувшим все прежние, казавшиеся незыблемыми представления, Ухтомский был уверен, что совершенно так же предстоит перейти и в новую, более конкретную область опыта — «где учитывается сам человек и его лицо». И что здесь тоже следует ожидать *«совсем новых законов и зависимостей, к которым мы не подготовлены и которые надо будет брать непредвзятыми, чистыми от привычек и предубеждений руками!»*

Он имел в виду и открытия в области психологии: исследование причинности поведения, механизма душевного развития, теорию воспитания нравственного сознания личности.

«Заранее можно и надо сказать,— писал А. А. Ухтомский,— что существует много новых ступеней конкретного опыта — все более конкретного и все более универсального,— прежде чем мы доберемся до последних законов, управляющих человеком в истории! В будущем и геометрия, и механика, и электродинамика, и все „электромагнитное мировоззрение", и экономика — будут узкими провинциализмами в царстве законов, управляющих жизнью человека».

Ухтомский не сомневался, что любые области знания — следствие живого взаимодействия человеческих лиц между собой и что все, «чем бьется, мучится и устремляется человеческое лицо в своем общении с другими лицами», составит в итоге нечто «несравненно более универсальное и важное в мире, чем всевозможные абстракции школьного мышления».

2

Алексей Алексеевич Ухтомский был по натуре замкнутым человеком, душевно мягким и добрым, но аскетично-суровым с виду. Носил он обыкновенно черное одеяние вроде толстовки,— студенты болтали, что под суконной рубахой у него вериги. Военная выправка и высокие сапоги придавали ему необычный облик, да и весь его образ жизни резко отличался от принятого в профессорском университетском кругу. Ухтомский сознавал свою странность и сожалел о своей «отдельности» в ученой среде, но не хотел, а пожалуй, что и не мог жить «прилично», «как принято». Он признавался, что с молодых лет бежал от «обстановки и комфорта», инстинктивно страшился житейских благ и удовольствий. Людей он любил отдельно от их «обстановки», в которой виделись ему прежде всего «цепи и кандалы для самих этих людей».

Бежал он всю жизнь не только от «обстановки» — от всякой предопределенности, званной обстоятельствами, предначертанной происхождением, сословными традициями. Его, как это было положено отпрыску княжеской, хотя и захудалой фамилии,— родился Ухтомский в 1875 году,— после нескольких лет учебы в Рыбинской классической гимназии, тринадцатилетнего, отправили в Нижегородский кадетский корпус, где и его отец некогда обучался. В девятнадцать лет он корпус отлично закончил, но офицером не стал. Повинуясь какой-то неясной, как он выражался, «мелодии», давно, еще в детстве зазвучавшей в его душе, он поступил на словесное отделение Московской духовной академии и после ее окончания в 1898 году, верный все той же «мелодии», одолев немалые преграды, ибо лицам с духовным образованием этот путь был заказан, Ухтомский пробился на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. В двадцать пять лет он снова оказался студентом и через два года уже работал лаборантом на кафедре физиологии животных у профессора Н. Е. Введенского, бесконечно уважаемого своего учителя. Университету, кафедре физиологии Ухтомский отдал оставшиеся сорок лет своей жизни. Здесь читал лекции, защищал диссертацию, в 1922 году, со смертью Н. Е. Введенского, принял заведование его кафедрой...

Он жил одиноко, уединенно, не пытаясь создать семьи, решив раз и навсегда, что подлинное, на всю жизнь незабываемое счастье человек переживает лишь в мучительные моменты подъема и труда, когда он хотя бы временно прозревает «то, что выше его».

Однако же встречались и на этом суровом пути ученого моменты удавшегося человеческого общежития, когда он бывал, вероятно, доволен собой. Один из таких эпизодов — неповторимое лето 1922 года, проведенное Ухтомским со студентами и помощниками в Университетской физиологической лаборатории возле Петергофа, «в прекрасной нашей Александрии», как он писал, вспоминая эту счастливую пору своей жизни. То лето навсегда врезалось в память и его ученикам.

«Александрия» 1922 года стала для сорокасемилетнего Ухтомского той самой вершиной, о которой писал Лев Толстой. Именно этим удивительным летом, в преддверии крутых событий в его судьбе, Ухтомский окончательно сформулировал свое главное открытие — закон доминанты.

Едва ли не в детстве озадачился он впервые — что же движет человеком, совершающим подвиг? Он вырос в традиционно старообрядческом доме, и его первым чтением были старинные книги: жития святых, сказания и легенды о людях гонимых и твердых духом, готовых предать себя огню во имя истинной веры. Психология религиозного подвижничества была одной из загадок, к постижению которых Ухтомского приближало изучение духовной литературы. Однако этим он не мог удовлетвориться. Ухтомский был чрезвычайно начитан, владел иностранными и древними языками, изучал философию разных толков, вникал в литературную классику. Он, кстати сказать, встречался со Львом Толстым. И новейшая литература наталкивала на те же вопросы. Откуда черпают люди реши-

мость и силу, ступая, казалось бы, за барьер отпущенных им природой возможностей? Что чувствовала, вопреки инстинкту самосохранения падая на рельсы, Анна Каренина? Что вообще творится в сознании человека в экстремальные, как их теперь называют, моменты? Почему человек подчас забывает о страхе, не ощущает боли, в состоянии, похожем на непонятный восторг, ступает на плаху?

Попытка найти физиологическое объяснение подобным явлениям — путь Ухтомского в науку.

Сосредоточенность мысли, говорил он, существенно обостряет внимание. Еще в 1904 году, будучи лаборантом, во время подготовки опытов на животном Ухтомский удивился нелогичности одной случайной реакции организма. Удивился и надолго задумался. Прошло почти двадцать лет, прежде чем нечаянное наблюдение, подтвержденное затем множеством опытов, обрело характер научного вывода.

Тем летом в «Александрии» Ухтомский подступил вплотную к итоговому формулированию закона доминанты. Это был его поистине «звездный час», и, наверное, не случайно с ним рядом образовался тогда маленький дружный коллектив учеников-студентов (студенток по преимуществу), объединенный чрезвычайным единодушием и взаимной любовью. Ухтомский и потом еще долго с благоговением вспоминал «Александрию» в письмах к участникам этого трогательного содружества. Особенно же после того, как оно распалось, чему способствовали и кое-какие жестокие обстоятельства,— в частности, непродолжительный арест Алексея Алексеевича.

Ему хотелось понять секрет этой удачи — творческого содружества. Не в том ли он был, что в «Александрии» они все «идеализировали» — бодрили, «поднимали друг друга, а потом и самих себя»; умели видеть друг в друге лучшее — «алтари», а не «задворки»? Доброе общение между людьми, а уж тем более любовь (в ее высоком смысле) непредставимы без такой «идеализации», когда человек и в другом видит лучшее, что в нем есть, и сам стремится до этого лучшего дорасти. Ведь чаще наблюдается обратное: человек видит в другом именно те грехи, какие чувствует за собой! А чистый — людей видит чистыми. Потому-то, замечает Ухтомский, «чистая юность умеет идеализировать» и так прогрессивна духом, так способна к росту! Приземленная же старость, «если она не сопряжена с мудростью, теряет широту и щедрость духа, потребную для веры в человека и для его идеализации. И оттого она так оскудевает духом, брюзжит и уже не приветствует более вновь приходящей жизни!»

Рассуждая, казалось бы, о житейских явлениях, Ухтомский не отделяет их от того, что совершается в сфере творческой или научной: и здесь источником правды остается то же природное свойство человека — его восприимчивость к новизне, способность понимания, облегчающая подлинное постижение реальности. Ведь бывают, пишет он, и «кажущиеся понимания» — они действуют как шоры, закрывая от человека реальность жизни, не давая ему «открытою душою видеть и воспринимать то, что есть перед тобою!»

Идеализирующая юность и мудрая старость идут в мир, к людям с распахнутою душою, и потому им дано видеть в мире и в людях «прекрасное многообразие и увлекающую ценность». Тогда как зажатая в шорах своих предрассудков душевная скудость все больше замыкается в себе и уже не улавливает того свежего, что обновляет мир. И люди, и жизнь с некоторых пор начинают казаться такой вот брюзжащей старости скучными и дурными. «Из любящего друга Вселенной и людей человек, незаметно и постепенно, может сделаться их клеветником и наветником, и от творческой идеализации их переходит тогда к их убийству словом и делом!»

Эти размышления Ухтомского относятся к 1922 году.

Он писал и совсем по-толстовски: «Иногда душа собирается в себе, соединяет за много времени пережитое, обозревает пройденное, и тогда как будто начинает многое понимать и открывает при новом свете, что до сих пор казалось таким многосложным, разнообразным, трудным. И когда приоткрывается хоть краешек смысла в жизни, становится так хорошо на душе, что в это время особенно хочется пожать руку друг другу и сказать, что увидел».

Ухтомский испытывает — «достигнув вершины» — иные чувства, чем Лев Толстой. Он переживает счастливые минуты «подъема и труда». Загадку, волновавшую Толстого, он пробует разгадать, имея в своем распоряжении некий обретенный им ключ к важнейшим тайнам жизнедеятельности человека.

И этот ключ — его учение о доминанте.

3

Понятие доминанты — центральный момент сложной концепции человека, которую отстаивает Ухтомский. Возникшее в результате естественно-научного эксперимента представление о доминанте для него имеет значение, далеко выходящее за пределы собственно физиологии.

«Доминанта,— пишет Ухтомский,— есть не теория и даже не гипотеза, но преподносимый из опыта принцип очень широкого применения, эмпирический закон, вроде закона тяготения, который, может быть, сам по себе и не интересен, но который достаточно назойлив, чтобы было возможно с ним не считаться».

В своем учении Ухтомский рассматривает принцип доминанты как общий способ действия нервной системы. В коре полушарий головного мозга этот принцип является физиологической основой акта внимания и предметного мышления, обусловливая в каждом отдельном случае «рабочую позу организма».

Доминанта, по Ухтомскому, есть форма причинности, которая «держит в своей власти все поле душевной жизни человека».

Для объяснения своего закона Ухтомский охотно привлекал примеры из русской классики, предпочитая в особенности Толстого и Достоевского. Вот, писал он, «превосходная картина того, как могущественна доминанта в своем господствовании над текущими раздражениями: Пьер Безухов, тащившийся на изъязвленных, босых ногах по холодной октябрьской грязи в числе пленных за французской армией и не замечавший того, что представлялось ему ужасным впоследствии...»

Толстому это явление было знакомо само по себе, вне данной Ухтомским физиологической расшифровки. Доминанту Толстой воспроизводит, вряд ли подозревая в своем художественном изображении научную точность: «Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, подобную тому спасительному клапану паровика, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму».

То, что Толстой называет «перемещением внимания», Ухтомский определяет как доминанту: именно она тормозит в сознании Пьера «посторонние раздражители», когда он босой бредет по осенней грязи, не ощущая боли.

Доминанта действует как своего рода магнит, и, вместе с тем, она дает ученому или художнику «то маховое колесо — руководящую идею, основную гипотезу,— которое избавляет мысль от толчков и пестроты и содействует сцеплению фактов в единый опыт».

Правда, предупреждает Ухтомский, «доминанта как общая формула еще ничего не обещает». Необходимо знать ее содержание и условия ее возникновения. «Как общая формула,— объясняет он,— доминанта говорит лишь то, что и из самых умных вещей глупец извлечет повод для продолжения глупостей, и из самых неблагоприятных условий умный извлечет умное».

Доминанта, при своей устойчивости, чрезвычайно подвижна. Угасая, она не исчезает, она как бы опускается в глубины сознания. Все наши понятия и представления — индивидуальное психическое содержание, каким мы располагаем,— есть следы пережитых нами доминант. И даже в подсознании они не остаются неподвижны, консервативны; они способны и подспудно перестраиваться, и складываться в новые комбинации. «В записках и в дневниках людей науки, писателей, художников можно видеть,— замечает Ухтомский,— как одна и та же группа впечатлений и действий всплывает периодически и принудительно в сознании во все вновь и вновь перестроенном виде. Так, годами вынашиваются трудные задачи, прежде чем созреет для сознания их решение...»

Пример того, как творческая доминанта рождается, предвещая деятельность, куда вскоре направится поток возбуждений,— признание Толстого в письме к Буланже от 18 марта 1902 года: «Лежу и ничего не делаю, а совершенно неожиданно для меня обдумываю самую неинтересную для меня вещь — Хаджи Мурата».

И науки, и искусства, и все отрасли человеческого опыта подвержены влиянию доминирующих тенденций — доминант, при помощи которых подбираются впечатления, образы, убеждения. Мировоззрение, замечает Ухтомский, «всегда сто́ит своего носителя, точно так же, как картина запечатлевает лишь то, что и как умел видеть художник».

В соответствии с этим и психологический анализ ученого или писателя, полагает Ухтомский, должен быть «в конечном счете направлен на ту же задачу, что и физиологический: на овладение человеческим опытом, на овладение самим собою и поведением тех, с кем приходится жить». А чтобы овладеть человеческим опытом — овладеть самим собою и другими, «чтобы направить в определенное русло поведение и саму интимную жизнь людей, надо овладеть физиологическими доминантами в себе самих и в окружающих».

«Суровая истина о нашей природе,— пишет Ухтомский,— что в ней ничто не проходит бесследно и что „*природа наша делаема*“, как выразился один древний мудрый человек. Из следов протекшего вырастают доминанты и побуждения настоящего для того, чтобы предопределить будущее. Если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, они завладеют нами. Поэтому, если нужно выработать в человеке продуктивное поведение с определенной направленностью действий, это достигается ежеминутным, неусыпным культивированием требующихся доминант. Если у отдельного человека не хватает для этого сил, это достигается строго построенным бытом».

С проблемой доминанты вплотную связана проблема выбора — в жизни, в творчестве, в общественной сфере.

Человек оказывается жертвой своих доминант везде, где отдается предубеждению и предвзятости, сам того, возможно, не сознавая.

Чтобы не быть жертвою доминанты, надо быть ее командиром, говорил Ухтомский. Он был уверен, что природа человека не только делаема, но и управляема, а потому стратегическое умение руководить своими доминантами считал первейшим условием самоосуществления личности, тем более — творческой.

Поведение человекв должно воспитывать. Здесь, писал Ухтомский, требуется вмешательство принуждения, дисциплины, нарочитой установки на переделку своего поведения и самого себя.

4

Какую же из бесчисленных доминант, организующих человеческое сознание, можно выделить как важнейшую?

Ухтомский нвзывает ее «доминантой на лицо другого». Это одна из самых трудных и в чистом виде почти недостижимых доминант. Именно ее особенно тщательно следует в человеке воспитывать. Возделывать изначально, с младенчества. И заключается она в том, чтобы «уметь конкретно подойти к каждому отдельному человеку, уметь войти в его скорлупу, зажить его жизнью... понять его доминанты, встать на его точку зрения...» Научиться видеть лицо другого человека. Именно лицо — не абстракцию! Уметь слышать каждого, отвлекаясь от собственных теорий, предубеждений, предвзятостей...

Здесь, пожалуй, уместно вспомнить одно обстоятельство в судьбе самого Ухтомского, несомненно оказавшее влияние на становление его личного самосознания. Самым близким и дорогим для него в жизни человеком была тетушка Анна Николаевна, которой его отдали на воспитание в год с небольшим. Отдали при живых отце и матери. Выделили из родительской семьи, дабы облегчить участь одинокой женщины, незадолго перед тем схоронившей свою мать, бвбушку Ухтомского. Этот суровый, казалось бы, с оттенком жертвенности факт трудно переоценить. И потому еще, может быть, что в отличие от родной мвтери, женщины властной, с характером сугубо практическим, тетушка Анна Николаевна являла собой образец смирения и едва ли не святости; для Ухтомского она осталась навсегда идеалом доброты и человеколюбия.

«Постоянная забота о другом,— рассказыввл он,— можно сказать, была ее постоянной „установкою". Старая девушка, не имевшая так называемой „личной жизни" или „счастья" в обыденном, ужасно принижающем человека смысле слова,— она была для людей подлинным „лицом" и желанным Собеседником, к которому стекались и далекие, малознакомые люди за советом и утешением, потому что она ко всякому человеку относилась квк к самодовлеющему „лицу", ожидающему и требующему для себя исключительного внимания».

Анна Николаевна любила всех, кто нуждался в ее заботе. Под воздействием ее живого примера «я,— вспоминал Ухтомский,— с детства привыкал относиться с недоверием к разным проповедникам человеколюбивых теорий на словах, говорящих о каком-то „человеке вообще" и не замечающих, что у них на кухне ждет человеческого сочувствия собственная „прислуга", в рядом за стеной мучается совсем „конкретный человек" с поруганным лицом...»

И если говорить о счастье, замечал Ухтомский, то не в бездействии оно, не в уюте и не в успехе, а только в этой трудновоспитуемой способности человека жить не в скорлупе своего замкнутого сознания, но переключаясь на другое лицо, на другие лица. Высшее счастье дарует «способность понимания ближайшего встречного человека как конкретного, ничем не заменимого в природе, самобытного существа». В идеале это, может быть, и мечтв, но в человеке, утверждал Ухтомский, много сил: «если он начинает серьезно мечтать, то это значит, что рано или поздно мечта сбудется».

«Только там,— писал Ухтомский,— где ставится доминанта на лицо другого, как на самое дорогое для человека, впервые преодолевается проклятие индивидуалистического отношения к жизни, индивидуалистического миропонимания, индивидуалистической науки. Ибо ведь только в меру того, насколько каждый из нас преодолевает самого себя и свой индивидуализм, самоупор на себя, ему открывается лицо другого... сам человек впервые заслуживает, чтобы о нем заговорили как о лице».

Если продолжить несколько эту мысль, то и трагедия одиночества — когда тебя не понимают — это прежде всего следствие свмозамкнутости, когда ты сам не понимаешь, не хочешь или не умеешь понять другого: ни любого встречного, ни одного единственного! Само собою такое понимание редко дается. Как и настоящая любовь...

А вот тетушка Анна Николаевна владела этим «талисманом».

Не без ее влияния Ухтомский с особенной глубиной воспринял и чеховскую «Душечку». Вслед за Толстым, который в предисловии к этому рассказу размышлял, как известно, о том, что автору, видимо, хотелось посмеяться над своей героиней. «В рассуждении, не в чувстве» автора, писал Толстой, носилось неясное представление о новой женщине, «развитой, ученой, самостоятельно работающей не хуже, если не лучше мужчины на пользу обществу». Такой женщине и противопоставляется Душечка — с наивной своей преданностью и беспредельной готовностью разделить чужие заботы. Может быть, замечал Толстой, эти ее заботы и смешны, «но не смешна, а святв, удивительна душа Душечки, с ее способностью отдаваться всем существом своим тому, кого она любит».

«Что было бы с миром,— спрашивал Толстой,— что было бы с нвми, мужчинами, если бы у женщин не было этого свойства и они не проявляли бы его. Без женщин-врачей, телеграфистов, адвокатов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, но без мвтерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживвющих в нем все это лучшее,— без таких женщин плохо было бы жить нв свете».

Здесь мысль Толстого весьма близка к рассуждениям Ухтомского о необходимой и всегда присутствующей в жизни «идеализации» того, кого любишь. Об этом удивительном свойстве любящего — видеть в другом все лучшее, что в нем есть, и тем нравственно возвышать, заставлять его быть выше и чище.

«Душечка» Чехова, по мнению Ухтомского, есть тот идеальный и редкий случай, когда «доминанта на лицо другого» явно господствует в характере человека. Эта доминанта дана ему от природы и на всю жизнь. «Помните, как она расцветала на глазах у всех, если было о ком мучиться и о ком заботиться,— замечает Ухтомский,— и увядала, если в заботах ее более не нуждвлись?» Она же совсем не смешная, квк это показалось преобладающему множеству читателей Чехова! «Она,— настаивал Ухтомский,— человеческое лицо, которому открыты другие человеческие лица».

Столь же охотно, как и к Толстому, Ухтомский обращался к Достоевскому, обретая в нем верного союзника, когда дело касалось доминантного сознания. И не одни лишь образные подтверждения своим научным догадкам находил он в книгах Достоевского. Герои этого писателя как бы на практике осуществляли символ веры, который Ухтомский исповедовал и следовать которому стремился.

«Моя исходная, первая и последняя задача,— писал он, например, в связи с «Братьями Карамазовыми»,— понять, квк создается склад восприятия старца Зосимы. Я узнал, что он создается большим физическим подвигом, преданием от других и отношением к миру, как к любимому, почитаемому, интимно-близкому собеседнику. Это очень трудный, постоянно напряженный склад восприятия — воспитывается и удерживается с большим трудом, с постоянной самодисциплиной и осторожным охранением совести. Но он необыкновенно ценен общественно, люди льнут к человеку, у которого он есть, повидимому, потому, что воспитанный в этом восприятии человек оказывается необыкновенно чутким, отзывчивым к жизни других лиц, легко перестанавливается на мироощущение и горести встречных лиц. Такой человек обыкновенно наименее замкнут в самого себя и свою непогрешимость. Он привык постоянно и глубоко критиковать себя. Оттого он смирен внутри самого себя и не критикует людей, пока они сами не просят его помочь в их беде! Если он и критикует других, то как врач, старвясь рассудить болезнь несчастливого пришедшего...»

Для старца Зосимы доминанта нв лицо другого являлась итогом постоянного напряжения и труда целой жизни изо дня в день. Усредненный и спокойный «интеллигент», ценящий более всего комфорт самодовольства, по мнению Ухтомского, не решится встать на этот путь. Это счастливое свойство — способность с открытым сердцем понять и принять сочувственно мир другого лица,— присущее часто людям простым и бедным, нередко бывает «замкнуто о семи печатях для чересчур мудрствующих людей». Увы, Ухтомский и себя относил к сим последним. Немалые усилия положил он на то, чтобы воспитать в себе эту столь необходимую ему для душевного равновесия доминанту на лицо другого. И желанный собеседник постоянно возникал в кругу его жизненных связей и интересов. Таковыми были в первую очередь его ученики и студенты. И друзья, ближние и дальние, с которыми многие годы велась оживленная переписка. Это был круг собеседников-единомышленников. Но не менее желанным собеседником всегда оставался для Ухтомского и незримый его читатель, современный ему и... будущий!

В сущности, Собеседник, в представлении Ухтомского — это и есть та вынесенная во вне и помимо себя самого главная в жизни цель — «все растущий труд над собой ради другого, то есть все больший и больший уход от себя в жизнь для ближайшего, встречного человека. Награда, и притом ничем не звменимая, в том, что изобилию жизни и дела конца уже нет, и о конце уже и не думается, а если он придет, о нем некогда будет думать».

Алексей Алексеевич Ухтомский умер 31 августа 1942 года в Ленинграде, пережив в общих со всеми звботах самую тяжелую блокадную зиму. Ему не раз предлагали выехать из осажденного города, но Ухтомский был давно и, как он догадывался, безнадежно болен. Ему казалось неразумным тратить остатки сил на далекое переселение — он предпочи-

тал работать, насколько хватит здоровья; до последних дней вел деловую переписку с эвакуированными коллегами по институту, участвовал в общественной и научной жизни осажденного города, где проводились конференции, защищались диссертации и даже отмечались юбилейные даты. Интерес к событиям в мире науки не оставлял его. Он и умер, готовясь к очередному докладу на тридцатой сентябрьской конференции, посвященной памяти И. П. Павлова.

Ухтомский верил в единый и непрерывный закон бытия, связывающий давно прошедшие события с событиями давнего мгновения, а через них — с событиями исчезающего вдали будущего. Будущее вытекало из переживаемого момента и всецело зависело от него. «Полететь в темную мглу предстоящей истории мы не можем»,— рассуждал Ухтомский, но мы реально несем на себе тяготу истории как ее участники. И там, «где не досягают более и обрываются наши мысли и старые опыты», прибегаем «к предупреждениям интуиции, поэтической догадки,— в конце концов — сердца и совести!»

«Сердце, интуиция и совесть,— самое дальнозоркое, что есть у нас,— писал Ухтомский,— это уже не наш личный опыт, но опыт поколений, донесенный до нас, *во-первых, соматической наследственностью* от наших предков и, *во-вторых, преданием слова и быта*, передававшимся из веков в века, как копящийся опыт жизни, художества и совести народа и общества, в котором мы родились, живем и умрем».

5

Исследуя поведение человека как не имеющий аналогов естественнонаучный феномен, Ухтомский не мог не вникать и во внутренние связи «законностей физиологии» человеческого организма и «социальных влечений» личности. Заметив однажды, что в своей первопричине все поступки человека раскрываются, собственно, на почве законов химии коллоидов, он объяснял: это отнюдь не значит, что закономерности нашего поведения могут быть исчерпаны одними этими законами. Судьбу человека, его «хронотоп» Ухтомский рассматривал в пределах мировой истории, в сложном соотношении с вечными законами бытия — как следствия бесчисленных обстоятельств, среди которых социальные обстоятельства играют первостепенную роль.

«Наука о сложнейшем из событий мира, о человеческом поведении, т. е. наука, задающаяся однозначно детерминировать жизненную траекторию каждого из нас,— писал он в работе «О доминанте»,— не может освободиться от *социологизмов*, я нарочно подчеркиваю „социологизмов", ибо психологизмы преходящи так же, как сами психологические теории, социологизмы же останутся, как бы ни менялись социологические теории, поскольку каждый из нас *самым реальным, самым материальным* образом есть лишь элемент и участник сообщества. Ибо все мы из сообщества рождаемся, в сообществе рождаем и, пока находимся на гребне жизненной волны, то не иначе как вынесенные на нее великим морем сообщества в его историческом течении».

Прихотливость исторического течения, смена социальных доминант в процессе общественной эволюции влияет на «жизненную траекторию» каждого из нас. Личный опыт как существенную составляющую включает в себя и опыт поколений, далеких и близких,— и весь вопрос в том, как дано современному человеку этим опытом распорядиться.

В представлении Ухтомского, принцип доминанты выступает и как «принцип наследования» — преемственности; прежде всего — духовной. Мысль об историзме человеческого сознания и поведения господствует в суждениях Ухтомского. Притом он далек от того, чтобы трактовать эту мысль в безмятежных тонах.

Любопытны заметки, сделанные Ухтомским в 1927 году на полях поэмы А. Блока «Возмездие»: «Возмездие есть, без сомнения, закон бытия, и оно еще гораздо ближе к человеку, чем принимал это Ибсен или Блок». Ухтомский видит смену поколений — череду отцов и детей — как некий природный механизм, позволяющий человечеству совершенствоваться, двигаться «к лучшему».

«По мысли Блока, которой я очень сочувствую,— пишет Ухтомский,— рождающееся поколение является закреплением, осуществлением и воплощением тех задатков и неясных замыслов, которые носились втайне предками и отцами! То, что тогда готовилось втайне, теперь проповедуется с кровли. То, о чем едва думалось, теперь действует в реальной истории и на улице».

Но и здесь не все просто.

Исследуя «задатки и неясные замыслы» отцов, очередное поколение не может не спрашивать: куда же направлялась жизнь и культура отцов? «Была ли это культура зоологического человека, замкнутого а себе и в своей индивидуалистической слепоте к другому,— или культура преодоления себя ради другого?»

Взаимозависимость поколений противоречива и драматична. В слепой смене человеческих поколений дети являются своего рода историческим возмездием для своих отцов; и они же могут стать для отцов «усугублением любви и живым осуществлением зачатков будущего мира». Возможны, замечает Ухтомский, два пути: «В первом случае дети преимущественно уничтожают дела отцов, в свою очередь уничтожаясь своими детьми и внуками. Тут „смена" есть *уничтожение прежнего*. Во втором случае дети продолжают и укрепляют обновленными силами дело отцов. Тут „смена" есть *углубляющееся продолжение*». Блок, по мнению Ухтомского, пишет в своей поэме о родословии, которое представляет собой «последовательное пожирание отцов детьми, вроде родословия римских цезарей».

Совсем другое родословие — последовательная эволюция любви как принципа жизни!

«История, впрочем,— заключает Ухтомский,— везде ведет к лучшему: только в одном она тянет за шиворот — хочешь не хочешь, а в другом она ведет любовно за руку. В одном случае через кровь и дым событий, в другом — через общее и неумирающее дело поколений. Но в обоих случаях — к Лучшему, что предчувствовалось всеми племенами».

Почему же к лучшему? Откуда такая уверенность?

А потому, разъясняет Ухтомский, что «все совершающееся имеет свой смысл и достаточные основания в нас и вне нас». Такова непреложность исторического бытия. Что же касается нас — человечества и каждого человека,— то диктуемая природой целесообразность требует от нас умения направлять «все совершающееся» именно к лучшему. «Уметь понимать прошлое, чтобы направлять настоящее к лучшему,— пишет Ухтомский,— вот последняя мудрость не на словах, а на деле, в которой каждый из нас представляется лишь всплеском волны, переносящим энергию из великих заветов предков к прекрасному будущему человечества».

Но и при этом не следует забывать: «Широкий и гладкий путь и открытые ворота ведут к падению и смерти того, что есть лучшего в человечестве. Тесный путь и болезненны ворота — к настоящему добру между людьми. Вот диалектика из диалектик бытия!»

Ухтомский был противником не только уныния и пессимизма, но и слепого оптимизма, называя его «самообманом легкомыслия». Он ратовал за «оптимизм зрячий, учитывающий все, что известно страшного в жизни и в людях, и, при всем том, сохраняющий веру в них, несмотря ни на что!»

Радость человеческая тоже должна быть зрячей, настаивал он.

«Это, конечно, не радость, а большая печаль и беда, что мы не видим и не чувствуем (даже стараемся не видеть и не чувствовать) реальных бедствий жизни,— сокрушается он в одном из писем 1928 года.— Когда радость и радостность покупаются искусственно — зажмуриванием глаз на действительность, при помощи так называемых „развлечений" и разных специальных „культурных удовольствий", это приводит только к жалким и жалобным результатам. Завороженные искусственными радостями люди, сами того не замечая, усугубляют несчастия мира и оказываются совершенно беззащитными, когда, в один прекрасный день, реальность откроется для них во всем своем громадном и трагическом значении!»

Вот тут и должно бить в набат искусство. Оно не имеет права придерживаться «праздных удовольствий»; оно обязано оспорить и отвергнуть слепой оптимизм, которым «норовит жить танцующая и гуляющая публика»; оно не должно смиряться и отмалчиваться, ибо искусство, ставшее делом только «удовольствия и отдыха», подчеркивает Ухтомский, попросту вредно — оно свято и бесконечно только до тех пор, пока судит, жжет, заставляет гореть. Настоящее искусство, возникая из «бдительного понимания каждого текущего момента», призвано объяснять людям трагическое значение реальности и звать людей за собой, обращать их взгляд в будущее.

«Действительное понимание конкретной действительности есть всегда и предвидение того, что из этой конкретной действительности должно быть в будущем,— писал Ухтомский.— Вот этакое конкретное предвидение столь же редкий дар и достижение, как и подлинное, проникающее понимание текущего момента...»

Все истинно ценное, все лучшее в мире «зарабатывается трудом и болением сердца»,— идет ли речь о судьбе отдельного человека или всего общества. И не случайно в самые драматичные, кризисные периоды истории обостряется мысль и свершаются научные и философские перевороты.

В канун трагической эпопеи противоборства с фашизмом, в 1933 году, Ухтомский пишет: «Лицо нашей науки никогда не изменялось так быстро, как в наши дни. Механистический догматизм недавнего прошлого утрачивает тон самоуверенного доктринерства. То там, то здесь можно видеть, как недавние чистые экспериментаторы обнаруживают потребность философского и методологического самоотчета». Что это? — спрашивает он. Странное противоречие? Нет! Успехи науки в момент тяжелого исторического кризиса закономерны. Ибо — «не в атмосфере самодовольной буржуазной самообеспеченности обостряется и оплодотворяется ищущая мысль человечества, а в эпохи исторического труда, когда потрясается привычная обнадеженность существования изо дня в день». Духовный

взлет человечества никогда не приходится на эпохи идиллически-беспечальные.

Дар предвидения заложен природой в самой натуре человеческой. Будучи убежден, что ни человек, ни общество не могут и не должны жить по принципу «наименьшего сопротивления», ибо это противоречит природному устройству нервно-психической деятельности, Ухтомский своими физиологическими исследованиями показывал, как «высшие этажи» центральной нервной системы «останавливают, тормозят, вступают, может быть, в весьма тяжелую борьбу, в конфликт с низшими центрами», потаенно споря с отрицательной тенденцией к покою и омертвлению.

«Высшие этажи, эти наиболее дальнозоркие и наиболее ориентирующие нас в хронотопе органы,— писал Ухтомский в работе «Доминанта как фактор поведения»,— предвидят предстоящую реальность задолго, у больших людей они могут предвидеть в истории за сотни лет, ибо хронотоп гения чрезвычайно обширен, и именно гениальные деятели *в своем индивидуальном поведении для себя* чаще всего идут по пути наибольшего сопротивления, для того, впрочем, чтобы достичь намеченного предмета наилучшим способом и открыть другим это достижение с наименьшей затратой сил».

Дар предвидения — в истории, в искусстве, в науке — требует от его обладателя абсолютной поглощенности своими, может быть, безотчетными, неясными для других целями. Зачастую у гения не бывает других аргументов в защиту своей правоты и правды, кроме «индивидуального поведения» — собственной жизни! Но, писал Ухтомский, «властная доминантная жизнь имеет свой смысл и исторические резоны»; свершения и поступки гения не остаются без последствий; даже ценой гибели он рушит стену человеческой косности и близорукости, сметая малодушные доводы неистребимого «здравого смысла».

При этом «интуиция сердца» может предвидеть гораздо ранее и дальше, чем «рассуждение», считал Ухтомский. «Интуиция совести и здравое рассуждение,— объяснял он,— находятся между собой в таких же отношениях, как художник, пророк и поэт, с одной стороны, и спокойный, рассудительный мещанин, с другой!»

Поединок рассудка и сердца вечен. Только оснащенные нравственным ореолом достижения разума способны стать долговременной опорой в существовании человечества. Только в постижении самотворящих, созидательных начал мироздания человек обретает свое истинное предназначение, испытывая от этого законную радость.

«И поэт, и ученый, и техник, и политик, и пророк, и подвижник приходят к своей радости лишь там,— писал Ухтомский,— где им удается так неразрывно согласить свое внутреннее с действительностью, что уже и нельзя бывает сказать: он ли подчинился действительности, или действительность подчинилась ему. В счастливый час действительного творчества поэт, ученый и пророк одно неразрывное бытие с тем миром, который они учуяли!..»

И не ради ли этой высшей радости возникает писательство? Ради духовного единения каждого с каждым и всех со всем миром!

Алексей Алексеевич Ухтомский не был писателем, не оставил, как Лев Толстой, великих романов. Но и ему была ведома тайна писательства. Как известна ему была и сокровенная правда о человеке.

Литература всегда жаждет писателя, которого еще не было. И особенно ждет — в мучительные эпохи великого исторического труда, когда возникает чрезвычайная и насущная потребность в художнике, способном продолжить своим творчеством летящую из древности в будущее «мировую траекторию».

Литература — вечное дело, и рано или поздно — в свой час! — такой писатель приходит.

ИЗ АРХИВА МИХАИЛА СЛОНИМСКОГО

Когда в кабинете директора Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» — оно многие годы после войны находилось на третьем этаже Дома книги — собирался редакционный совет, редакторам не приходилось много говорить. Мы давали справки, отвечали на вопросы о состоянии той или иной рукописи. Маститые в план попадали легко, а вокруг молодых возникали споры. И, пожалуй, чаще других одобрительно говорил о дебютантах один из старейшин редсовета — Михаил Леонидович Слонимский. Ему не было шестидесяти в пору возникновения литературного объединения при издательстве (это произошло в 1955-м), но в глазах двадцатипятилетних он был ветераном. Мне казалось, что даже В. Панова и В. Кетлинская так считали.

Я же давно прочитал некоторые книги Слонимского — «Повесть о Левинэ» (1935), «Инженеры» (1950), «Друзья» (1954), знал о его участии и активной роли в группе «Серапионовы братья», объединившей в начале двадцатых молодых петроградских писателей. «Серапионов» поддерживал Горький, и, хотя от критики (и тогдашней, и более поздней) им немало досталось, трудно забыть, что в этой «великолепной десятке» вместе со Слонимским входили в литературу М. Зощенко, В. Каверин, Вс. Иванов, Н. Никитин. «Серапионами» были и К. Федин, Н. Тихонов, Е. Полонская...

Пройдя горьковскую школу благожелательного и требовательного отношения к молодым (из опубликованных теперь писем Горького видно, как трогательно относился он к двадцатилетним писателям), Михаил Леонидович перенес его на Г. Горышина, В. Конецкого, В. Голявкина, В. Курочкина, А. Битова, В. Тублина. На обсуждениях бывали горячие споры, но когда речь шла о публикации, Михаил Леонидович первым писал «внутреннюю» рецензию, открывавшую дорогу молодому писателю.

В школе Слонимского доброжелательность сочеталась с требовательностью и демократичностью. В объединение принимали голосованием. Помню, как, уже в начале шестидесятых, «прокатили» одного прозаика, который, кажется, через год был принят в Союз писателей. В объединение оказалось попасть труднее. Это, конечно, редкий случай, но и показательный: никто ни на кого не «давил».

Не однажды мне приходилось обращаться к Михаилу Леонидовичу с просьбой прочитать рукопись молодого. Другим писателям бывало не до того, некоторым из учеников Слонимского не передалось это чувство доброжелательности, а он никогда не отказывал. Мне даже в голову не приходило, что он может быть занят, да и не только мне — дорогу в его дом на канале Грибоедова знали все. Лишь однажды в голосе Слонимского я почувствовал сомнение. Услышав, что его просят прочитать историческое сочинение, да еще из времен Великой французской революции, он несколько раз переспросил — что за автор, да откуда он это знает... А спустя некоторое время, уже после знакомства с рукописью, состоялось и знакомство писателей — старшего и молодого, которое продолжалось многие годы.

Одно качество отличало Михаила Леонидовича от других, тоже, в общем, доброжелательных наших наставников. Он не давил своим авторитетом и, поддерживая, делал это естественно, иногда проявляя особое пристрастие, привязанность. Таково было его отношение к Андрею Битову...

Путь Михаила Леонидовича в литературе был не таким простым, как может показаться. Он не разделил судьбы своего друга Михаила Зощенко. Таких ударов судьба ему не нанесла. Но во второй половине сороковых он вынужденно жил

Окончание. Начало см.: «Нева», 1987, № 12.

в Москве, вдали от семьи, потому что печататься в Ленинграде не мог. Так что, помогая молодым, он помнил, как нелегко порой складывается писательская жизнь.

В 1987 году Михаилу Леонидовичу исполнилось бы девяносто лет. Пятнадцать лет — как он ушел из жизни. За это время вышли новые книги его учеников, печатались и произведения старого мастера. Это значит, что он остается — и в нашей памяти, и в сознании читателей.

М. М. Зощенко — М. Л. Слонимскому

1.

(Записка)

Михаилу Леонидовичу Слонимскому.

Дорогой Миша!

Прочти, пожалуйста, рассказ Ив. Соколова-Микитова [1] — рассказ хороший, вполне принять можно.

Прошу об этом потому, что и ты тоже это делаешь.

Человек за человека. Так и впредь.

Миша Зощенко.

20/III—25 г.

2.

(Записка карандашом, без адреса)

Миша! Твое письмо мне доставили в Сестрорецк. Именно так я и сделаю, как ты написал.

Числа 19—20 передам Груздеву [2] четыре рассказа. Эти рассказы я написвл для нового издания «Рассказы о Ленине». Причем материал любопытный и новый. Но продукция сия для журнала не так уж соблазнительна, ибо там всего (от силы) $^1/_2$ печ. листа.

Шлю тебе и Дусе лучшие пожелания. Надеюсь, что в Ленинграде мы когда-нибудь да встретимся в течение лета, ибо я приезжаю довольно часто.

Но ты добрый семьянин и сидишь, видимо, в своей норе безвыездно.

Желаю тебе всех благ.

Михаил.

⟨17/VII⟩

. . . .

3.

(Открытка)

Дорогой Миша, передай мои извинения всем товарищам за то, что я не был 3 числа в Доме печати. Я был в Царском и не мог приехать.

Кроме того, все это время у меня плохое сердце.

Вчера я даже послал телеграмму в Харьков, в Одессу и в Москву с отказом от выступления.

Если говорить правду, то сердце у меня не так уж плохое, даже хорошее, но просто ужасно не хотелось и не хочется выступать. Ты, надеюсь, меня понимаешь. Итак, пущай Серапионы меня простят.

Целую тебя

6/II—26 твой Зощенко.

4.

(Открытка)

Мишечка, ты мне много вчера верного сказал. Только в поезде под Москвой я разжевал все. И «хорошее» отношение к людям, и «демонизм» (скажи «гордое одиночество»), и жена, которая не должна уважать — все это так.

Почему-то я никогда об этом не думал. Откуда ты все это знаешь? И что ты раньше мне не сказал?

Открытку эту пишу тебе по твоему рецепту, но без принуждения. (Первый раз за десять лет.) По собственной охоте. Только не подумай, что началась «Переписка с друзьями».

Целую тебя, дорогой мой.

9/IX (1926) Мих. Зощенко.

5.

(Видимо, осень 1928 г.)

Дорогой Миша!

В день отъезда я был очень занят и не удосужился тебе позвонить.

В Москве я пробуду несколько дней, так что, если тебе не лень, напиши мне пару строчек о твоем путешествии — где предполагаешь дальше жить — в Сочи или в Гаграх? Или где?

Я в средних числах сентября буду проезжать по Кавказскому побережью — прилично бы встретиться. Поговорим о литературе.

Нет, в самом деле, напиши, только тотчас, куда проследуешь. И у меня будет отдаленная цель — отыскать тебя — на случай моей хандры. При моем беспочвенном состоянии это придаст мне энергию и бодрость в моем путешествии.

Серьезно, Миша, напиши. Конечно, скорей всего на Кавказ я не поеду, а проживу недельки две в Евпатории и вернусь до дому. Но на всякий пожарный случай надо знать. ⟨...⟩

В Москве долго не задерживайся — гнусновато. Те же морды, что и в прошлом году. Впрочем, Вс. Иванов [3] — мужик хороший. Разбогател сказочно. Квартира оклеена тисненными золотыми обоями. На столе 4 старинные лампы. Велел приветствовать тебя.

При всем том он хандрит и не пишет.

До свидания, Миша. Дусе [4] и твоим родным — спутникам твоей жизни и твоего предстоящего путешествия — мой поклон.

Адрес: Москва, Б. Московская гост. к. 1, 440. Мих. Зощ⟨енко⟩.

6.

Дорогой Миша!

Получил твое письмецо. Ну, спасибо, что не позабыл. Я уж думал, что перерождение моей личности всерьез отразилось на нашей дружбишке.

Ну, значит, все в порядке.

Следишь ли ты за высокой литературой? Небось, не читаешь Литерат. газету? Жалко, если чего пропустил. Бог знает, что происходит! Форменная секим-башка. Пильняку [5] отрубили голову. На очереди Замятин [6] и иже с ним. Сей беспорядок может и до меня дойдет. Буду вести себя более прилично, чем некоторые уважаемые писатели, которые с перепугу черт знает что написали в газете.

Ну, да надо полагать, вся история дошла уж до тебя, и ты в курсе. А если нет, почитай Лит. газету.

Предполагается, кроме всего прочего, чистка рядов литерат. братии. Надо полагать, ты будешь в комиссии. Забегаю вперед — похлопочи, в случае чего — пущай меня оставят — может, чего и напишу еще пригодное для социализма в одной стране. Тем более твои шансы высоки. Чумандрин [7] печатает (в «Кр. веч.») статью, в которой очень прославляет тебя и твою общественную значимость. Может, даже тебе убавят кварт. плату.

Ну, не сердись за шутки, дорогой Миша! При всем том, я сердечно к тебе отношусь.

А что происходит сейчас на литературном фронте — достойно внимания. Хотя и лечишься — все равно последи.

По-моему, все просто — надо оставить только коммунистических писателей с уклоном в генеральную линию, а остальных перевести на другое занятие. Тогда мир, тишина и благоденствие водворятся среди нас. А пока что происходят «неполадки» (некое гнусное словечко изобрели). Коекого тащат и ломают руки.

Замятина жалко. Некрасивое зрелище, когда «европейца» и «англомана» волокут мордой по мостовой. Грубое зрелище.

Если на меня будут слишком орать — сложу оружие. Напишу в газету письмо, что временно оставляю литературные занятия. Ну, а если храбрости (а главное, желания скандалить) не хватит, то просто наплюю и действительно брошу писать на годик или два. Очень уж беспокойно получается. (А последнее время пишу много и с удовольствием.) Книжку мою чертовски ругают, но я уже на это плюю. Невозможно объясниться. Я сейчас только соображаю, за что меня (последний год) ругают — за мещанство! Покрываю и любуюсь мещанством! Эва, дела какие! Я долго не понимал, в чем дело. Последняя статья (по радио кр...) разъяснила.

Черт побери, ну как объяснить. Тему путают с автором. Не могу же я к каждому рассказу прилагать учебник словесности.



М. М. Зощенко (1928)

Наплюю на все. Но в случае чего — кину литературу. Или, например, встану рядом с Тиняковым [8]. Пройдешь мимо — не позабудь сунуть в руку.

В общем, худо, Мишечка. Не забавно.

Орут. Стыдят в чем-то. Чувствуешь себя бандитом и жуликом.

Ну, не буду тебя огорчать «кошмарной действительностью». Небось, ты отдохнул и уже думаешь, что в литературе незабудки растут.

Ну, прощай, дорогой! 20 сент. я выезжаю в Москву, а оттуда в Крым, в Ялту. Так что, вероятно, застану тебя еще. Ну, застряну в Москве на 3—4 дня. В Ялте буду числа 25—27. А в Мисхор поеду, ну, скажем, 28—29, а может, и раньше. Ну, еще напишу из Москвы.

До свидания, голубчик. Целую. Поклонись, пожалуйста, Дусе.

Желательно вас увидеть на прелестном фоне Черного моря.

С коммун. приветом

М. Зощенко.

12/IX—29

7.

(Открытка)

10/III—45

Дорогой Миша! Извини, что отвечаю с опозданием — лежал, болел гриппом.

Очень порадовался, что ты вернешься в Ленинград. Это правильно и разумно. Посоветую тебе следующее — за месяц до переезда (или несколько раньше) приезжай в командировку сюда, чтобы на месте решить все вопросы и достать все нужные бумаги для семьи. Правление, конечно, поможет во всех твоих делах и порадуется твоему возвращению. Но все же правильней, если ты будешь здесь, когда начнутся хлопоты о разрешении, поскольку у тебя разрешение уже имелось. Вряд ли тебя затруднит такой приезд. А он тебе будет полезен — подготовишь квартиру к переезду твоих. Сердечный привет Дусе. Целую и радуюсь, что вернешься.

Мих. Зощенко.

И. Г. Эренбург — М. Л. Слонимскому

1

Париж, 4 января (28)

Дорогой Михаил Леонидович,

спасибо за все сведения. Сообщу их Мак-Орлану [9]. Надеюсь, что он поедет. О Вас, кстати, он всегда вспоминает ласково [10] (помните, как Вы молчали). Был сейчас в Берлине. Видали ли Вы апрельского Малика [11]? Там Ваш рассказ. Напишите как-нибудь о себе — что сейчас делаете? У меня все неопределенно: может быть, приеду к весне в Россию. Не знаю до сих пор, а выйдет ли в России «Заговор равных» [12]. Кстати, если Вы встретите молодого Щеголева [13] (историка), скажите ему, чтобы он непременно выслал бы книгу.

Сердечный привет Вам и жене от нас обоих.

Илья Эренбург.



М. Л. Слонимский (1933)

2.

21/IV(28)

Дорогой Михаил Леонидович,

письма Ваши получил и не знаю, как выразить Вам благодарность. Я человек, дружеским отношением не избалованный, и Ваша помощь меня очень тронула!

Послать Вам «Лазика» [14] сейчас не могу, так как нет оказии. Но «Круг» [15] должен Вам переслать рукопись. Если Тихонов (А. Н.) [16] не сделал этого, напишите ему, и он вышлет. Боюсь, что с изданием (после статьи в «Правде») ничего не выйдет. Когда статья о «Лавровых» [17] выйдет (в «Revue Eur») [18], пошлю Вам тотчас же. Ее задержали до (выхода) книги. В майском будет о Бабеле [19] и о «Рискованном человеке» Тихонова [20].

Над чем Вы сейчас работаете? Я пишу полуроман, полу... о заговоре Бабефа [21] или (точнее) об агонии французской революции. О всем, что касается книги статей, я написал Груздеву.

Еще раз спасибо и сердечный привет Вам и жене от нас обоих.

Ваш

Илья Эренбург.

3.

10/8—28 (Чехословакия)

Дорогой Михаил Леонидович,

спасибо за открытку. Денег от «Красной газеты» я не получил. Очень прошу посодействовать, так как, блуждая здесь по разным экзотическим землям, поиздержался в прах. Через неделю возвращаемся в Париж.

Сердечный привет Вам и жене от нас обоих.

Ваш Илья Эренбург.

4.

24/8 (30)

Дорогой Слонимский,

простите, что отвечаю Вам с таким запозданием: все время «передвигался» — был в Англии и в Ирландии. Савич [22] давно уже переслал мне Ваше письмо, но не было ни часа покойного. Спасибо за память и за предложение. Попробую наладить работу с Вашей «Стройкой» [23]. Очень мне трудно это: «Кр⟨асная⟩ новь» вот печатает мою «Скандинавию» [24], но не только режут, что еще полбеды, а добавляют, вставляют фразы, переставляя абзацы и пр. Беда!

Сейчас вот сажусь за работу и мои очерки об Англии [25] пошлю Вам. Предлагаю восемь очерков: «Лондон», «Доки», «Обед Пен-клуба», «День образцового джентльмена», «Кембридж», «Манчестер», «Уэллс», «Шахты Сванси». Пришлите мне журнал.

Рад буду узнать, как Вам живется. Над чем работаете? Давно уже я не читал ничего Вашего.

Я кончил роман «Единый фронт». Боюсь, что Вы увидите его в столь же деформированном и загадочном виде, как «10 л. с.» [26].

Привет сердечный Вам и жене от нас обоих.

Ваш

И. Эренбург.

5.

29 ноября (30)

Дорогой Слонимский,

я получил телеграмму от Чагина [27] о том, что английские очерки будут напечатаны в «Звезде» [28]. Очень обрадовался. Но вот — подл человек! — вместо благодарности посылаю Вам рукопись моего нового романа «Единый фронт». Передайте ее, пожалуйста, тому же Чагину, который, судя по словам Груздева, стоит во главе издательства. Вряд ли надо Вам говорить, как для меня важно, чтобы, наконец, какая-то из моих книг вышла в оригинале. Пойду скрепя сердце на купюры. Рукопись послана Вам сегодня заказным пакетом.

Еще раз спасибо и сердечный привет

И. Эренбург.

К. Г. Паустовский — М. Л. Слонимскому

1.

Москва, 13/IV—55 г.

Я, конечно, свинья, но разве вам милейший идеалист Ефим Добин [29] не передал моих самых униженных извинений и пламенных приветов. Он же, этот Добин, был в Дубултах и целый месяц просидел со мной за одним столом (в столовой), и если у него есть хоть капля совести, то он должен подтвердить, что я беспрерывно вспоминал о Вас со слезами любви и раскаяния...

Я вместо Комарова уехал в Дубулты, прожил там два месяца в романтическом доме на дюне, почти один. Работать там — прекрасно. Вчерне окончил «Золотую розу» [30]. Рассказа для «Невы» не написал потому, что я не двужильный, но сейчас верну свой долг в ближайшее же время. В Дубултах были ленинградцы... Конечно, милый Добин. Жил Шкловский [31].

От Добина я слышал столько похвал Вашему сыну [32], что радовался за Вас и совершенно успокоился за будущее нашей советской музыки.

Как вы? Как оборачивается жизнь? Я приехал и слег тут же с воспалением легких,— сейчас выползаю из болезни. Никого еще не видел...

Когда будете в Москве? Ответьте, пожалуйста, не будьте мстительны и злопамятны.

Татьяна Алексеевна со свойственной ей решительностью купила крошечный домик на берегу Оки в живописном городишке Таруса. Вы приедете туда летом, и я Вас выучу ловить рыбу.

Сердечный привет Иде Исааковне,— она меня поймет лучше, чем Вы.

Татьяна Алексеевна [33] и смущенная Галочка [34] приветствуют Вас. И я с ними.

Ваш К. Паустовский

2.

Москва, 29/XI—55 г.

Дорогой Михаил Леонидович!

Куда Вы пропали — не могу понять. Напишу Вам отдельно, а это письмо передаст Вам Нина Николаевна Грин — вдова Александра Степановича. Она, очевидно, расскажет Вам о своих житейских горестях. В Ленинград Н. Н. Грин едет по делам литературного наследства Грина, и я думаю, что Вы сможете оказать ей помощь советом и добрым словом.

Наши все пламенно приветствуют Ваших всех. Когда будете в Москве? Я мотаюсь между Тарусой и столицей.

Обнимаю Вас.

Ваш К. Паустовский

3.

Таруса-на-Оке

22 июля 1959 года

Дорогой и любезный нашему сердцу Михаил Леонидович, только что получил Ваше письмо и очень обрадовался, что Вы, оказывается, еще не разучились писать письма своим друзьям. Это похвально!

У меня гостит сейчас Самуил Миронович Алянский [35], который вчера весь вечер проговорил со мной о Михаиле Алексеевиче...

Как сказано у Шолом-Алейхема: «Зачем вам горы в Америке, когда вы имеете свои горы в Егупеце?» Зачем Вам шумная Малеевка, когда Вы имеете такие прелестные места, как Тригорское? Но это не мое дело, и Вы можете решительно поставить меня на место за мои бестактные вопросы.

Что с Идой Исааковной? Я сижу в Тарусе и понемногу задыхаюсь. А иной раз и помногу... Я пишу пятую автобиографическую книгу и предвкушаю удовольствие, когда я, наконец, доберусь в своих воспоминаниях до Вас. Трепещите! Татьяна Алексеевна сейчас в Москве.

Вчера у Алянского сорвался на Оке лещ а четыре кило весом. Алянский плакал,

что несколько неуместно для создателя «Алконоста»[36].

Обнимаю Вас. Кланяюсь в пояс Иде Исааковне. Все наши, как всегда, с энтузиазмом приветствуют Ваших.

Ваш К. Паустовский.

P. S. Простите меня за помарки!

М. Л. Слонимский — К. Г. Паустовскому

1.

20/V (56)

Дорогой старик, о Фадееве[37] ничего не пишу — слишком тяжело и страшно, писать невозможно об этом, трудно.

Хочу получить «Золотую розу», которая, говорят, вышла, но до Ленинграда, видно, не дошла и уже не дойдет. Как ее добыть, не насилуя автора?

Выяснил в «Неве», что корректура пьесы[38] послана была Вам, мне сказали, что ни одной запятой не трогали, все — как написано Вами. Больше ничего не могу написать, перо скрипит.

Сердечно приветствую Татьяну Алексеевну и Галочку, Вас целую, если разрешите. Живите хорошо, привет от моего семейства. Приезжайте.

Ваш М. Слонимский.

Ленинград,
канал Грибоедова, д. 9, кв. 97.

2.

Дорогие мои, мы соскучились без точных о вас о всех сведений. Вы забыли, что в Ленинграде есть Слонимские, которые вас любят. Пусть кто-нибудь наиболее свободный из семьи сообщит — что и как. Ей-богу. А то — как же? Мы же ничего. Мы — просто так.

Приветствуем и целуем.

М. Слонимский с женой и сыном.

2/III—58 г.

3.

Дорогие друзья,

вместо новогодней телеграммы посылаем это письмо. Представления не имеем, где Вы находитесь, и уверенности, что письмо это выйдет на заданную орбиту, нет никакой. Математические расчеты показывают, что Вы — между Индией и Марселем, а именно — в Сомали. Сами мы тоже все хотели заехать как-нибудь в Африку, но как-то недосуг — то то, то сё задерживало, да и говорят, жарковато в этой самой Африке. Вот мы пока что и мерзнем у себя на северном полюсе. В общем, хотя Вы, по всем данным, загорате сейчас на сомалийском солнце, мы тем не менее запускаем Вам это поздравительное послание на Москву, и марка почтовая да послужит вымпелом, который прикрепит оное письмо к высотному дому и квартире, в коей Вы проживаете. Поздравляем мы Вас с Новым годом от всей души. Любим Вас всех так же, как прежде и как всегда. Желаем здоровья, чрезвычайных успехов и всех благ, возможных на этом термоядерном свете, застрахованном, согласно теории Козырева[39], от второго закона термодинамики. Все милое сердцу нашему семейство Паустовских обнимаем и целуем!

Все Слонимские

(за исключением однофамильцев — портного, балетного либреттиста, заведующего банями и ряда других, менее заметных).

23/XII—59 г.

P. S. А что я накляксил — так это в доказательство, что это действительно я. Без этого у меня не бывает.

4.

6/XI—58 г.

Дорогой мой Константин Георгиевич!

Прочел сегодня в «Лен. правде», что Вы получили премию Общества Советско-Польской дружбы. Очень обрадовался. Все мы — жена, сын и я — сердечно поздравляем Вас и очень любим. Поздравляем Вас с Октябрьским праздником, с премией, с признанием Вашего чудесного таланта.

Был несколько раз за этот год в Москве, каждый раз звонил Вам; но — увы! — никогда Вас в городе не было. Но на съезде мы встретимся.

Крепко целую Вас, приветствую Татьяну Алексеевну и уже, наверное, самостоятельного сына. А Галочку не рискую назвать Галочкой — совсем уж самостоятельная женщина! Привет ей. Вся моя семья приветствует и поздравляет. Еще раз целую. До съезда![40] До скорой встречи!

М. Слонимский

5.

Дорогой мой Константин Георгиевич!

Спасибо Вам за все Ваши сведения об ионизаторе. Я тотчас же все написал М. А. Сергееву[41], и он безусловно будет весьма тронут, о чем сообщит мне, а я — Вам. Все же даже гениальному изобретателю не следует публиковать письма без разрешения автора оных.

Мы изменили Пушкинским местам, ибо я постарел, ослаб, а там есть нечего, домишко лесника набит до отказа, от жел. дор. около ста километров, в общем, все неудобства собраны со всех концов и сосредоточены в прелестнейших местах. Все чудеса природы и все возможные, а также и невозможные неудобства быта сочетаются там самым оригинальным образом. Это одно из редких мест, где нет электричества, что не всегда приятно. Но мы не теряем надежды вернуть молодость и снова пожить возле Тригорского, на Городище, у Осиповских гробниц, где по ночам шевелится в деревьях невыясненное чудовище (то ли сова, то ли крокодил), и где только жена моя не боится оставаться одна в темноте. Но она даже меня не боится. А здесь колонны, асфальт, хвойные ванны, инвалиды труда, высокоинтеллигентные разговоры и беспомощная медицина при отличной аппаратуре. Появился пруд (искусственный) без рыб, но с лодками, на коих рискуют кататься только 50-летние мальчишки и 60-летние юнцы. Мы же, которые постарше, которым уже под сто, любуемся, смотрим, как развится эта наша смена. Впрочем, жена моя раз покаталась — но она ведь моложе меня. Должен сознаться, что водобоязнь — это один из моих многочисленных недостатков. В связи с этим прошу выразить соболезнование С. М. Алянскому, от которого убежал почтеннейший лещ, судя по всему один из солиднейших авторитетов в Ваших водах. В то же время, как гуманист и нерыболов, не могу скрыть, что я рад за этого избегнувшего гибели леща. Хай живе. В крайнем случае, можно купить другого на рынке. Не надо плакать. Здесь очередь на № 3—5 журнала «Октябрь»[42], да, читают Ваш роман и очень хвалят. И мы очень хвалим — от души.

Мы тут будем до 25 августа. Здесь все-таки не так мусорно, как в городе. И есть лес. И есть надежда на грибы. И можно тихо пописывать что-нибудь такое.

Вам специально просил кланяться В. Типот[43], бойко играющий в теннис юморист 67 лет от роду. Симпатичный. Привет от нас самый нежный — Вам, Татьяне Алексеевне, всему семейству. (Пишу на городской адрес, ибо улицы в Тарусе не знаю. Что касается ребер, то я их ломал дважды, и каждый раз именно по два ребра. Мой опыт показал, что это неизмеримо легче, чем перелом руки или ноги. Очень сочувствуем.)

Ваш М. Слонимский.

6.

Дорогие друзья, надоедаю Вам с таким делом. Есть у меня старый друг, очень хороший человек, старый большевик Михаил Алексеевич Сергеев. С Фединым[44] у него столь же давняя дружба, как и со мной, хорошо знают его также сибиряки. Он — литератор, первейший специалист по Сибири. Весьма и весьма уважает Вас, милый Константин Георгиевич. Заинтересовался письмом в «Юности» и спросил меня, можно ли узнать, где и как за наличный расчет раздобыть ионизационный аппарат, ему, ввиду его болезни, чрезвычайно нужный. Вот я и решил обратиться к Вам с просьбой — ответить, есть ли шансы получить такой аппарат, и если есть, то что следует предпринять? К кому обратиться и по какому адресу? Хочется помочь отличному человеку. С 18 июля мой адрес: Старая Руза (Московской обл.), Дом творчества писателей им. А. С. Серафимовича. Жена моя больна, но все же надеюсь, что мы вырвемся на это московское лоно природы из ленинградской тропической духоты вовремя. Поэтому, если ответите, то прошу по вышеуказанному адресу.

Вы, очевидно, в Тарусе? Но я посылаю письмо на городской адрес в надежде, что доставят. Мы Вас очень любим, желаем, чтоб все в семействе Вашем было хорошо. Привет!

С совершенным почтением и неслыханной преданностью

М. Слонимский.

14/VII—59 г.

Н. Н. Никитин — М. Л. Слонимскому

(без даты, видимо, 1961 г.)

Дорогой Миша!

Пишу это письмишко, в коем есть справка. И все же по поводу «пресловутой» (не для меня ли только? Ибо последователи у В. Ф. Пановой[45] легко найдутся и очевидно уже нашлись в достаточном количестве) — именно пресловутой «точки зрения» на то, что отрицательный герой не может быть основным персонажем произведения. Я в своем неподанном Секретариату «заявлении», опровергая эту точку зрения, писал, приводил в пример создание Горьким произведений с отрицательным героем и таких крупных, как «Клим Самгин». Вспомнил и об этом случае очевидно неслучайно... Потому что этой ночью, читая в № 1—1961 г. «Звезду», наткнулся я в статье Ильи Груздева (кстати, невероятно интересной и значительной воистину) на следующие строки...

«Горбачев писал, — пишет Груздев, — что Горького постигла творческая неудача. Мих. Левидов заявил, что Горький изобразил в повести „галерею уродов". Ж. Эльсберг обвинил Горького в пессимизме... И совсем клеветнической была статья В. Вешнева, который откровенно заявил: "Клим ширма, в которой спрятался сам Горький..."»

Далее Груздев пишет:

«Возмущенный таким непониманием великого произведения, я написал статью для первого номера журнала „Звезда" за 1928 г.

„Если правда, что книги имеют свою судьбу, то этой книге, по-видимому, суждено остаться непонятой. И одной из причин этого непонимания, непризнания будет ходкий тезис: плохое качество героя — плохое качество автора"». Дальше пишет Груздев: «Эта огромная вещь построена исключительно с м е л о: на пустом герое».

Вот на этом тезисе — допустимо ли от имени отрицательного героя писать книгу, а Панова считает, что это недопустимо,— на этом тезисе, в сущности, лишь в более мелком масштабе, и повторяется та старая история.

Я бесконечно далек от мысли, чтобы хоть до известной... приблизиться к такому сравнению, т. е. «Клим Самгин» и «Тетрадь Мавлецова», это одно и то же... До такого склероза я еще не дошел. Между ними воистину дистанция огромного размера. Но «Тетрадь» все же это вещь, хоть и небольшая, и в ней есть та идейная нагрузка, которая не только полезна, а просто необходима в наше время. И отнюдь не детектив.

Мне кажется, что все мои «страдания» вытекают именно из «ходячего тезиса» («плохое качество героя — плохое качество автора»)... Написал об этом, чтобы тебе напомнить, если ты груздевскую статью и читал... Если не читал, прочти... О «Самгине» стр. 166. Что может быть страшнее этого ходячего тезиса, который виден невооруженным глазом и в то же время устойчив, подобно вирусу гриппа.

Н. Никитин.

---

[1] И. С. Соколов-Микитов (1892—1975) — писатель.

[2] И. А. Груздев (1892—1960) — писатель, литературовед.

[3] Вс. В. Иванов (1895—1963) — писатель.

[4] Дуся — И. И. Слонимская — жена М. Л. Слонимского.

[5] Б. А. Пильняк (1894—1941) — писатель.

[6] Е. И. Замятин (1884—1937) — русский писатель, с 1932 — в эмиграции.

[7] М. Ф. Чумандрин (1905—1940) — писатель, один из руководителей РАППа.

[8] А. И. Тиняков (1886—1922) — поэт, опустившийся в конце жизни, просивший подаяния (стал «прообразом» героя повести М. Зощенко «М. П. Синягин (Воспоминание о Мишеле Синягине)» — (1931).

[9] Мак-Орлан (настоящее имя Пьер Дюмарше, 1882—1970), друг Эренбурга, о котором он писал в своей книге «Белый уголь, или Слезы Вертера» (1928).

[10] Эренбург напоминает Слонимскому о его вриезде с женой в Париж в 1927 году.

[11] «Малик ферлаг» — издательство в Берлине, выпускавшее многие книги советских писателей и одноименный журнал.

[12] «Заговор равных» (1928) — роман Эренбурга.

[13] П. П. Щеголев — сын известного пушкиниста П. Е. Щеголева.

[14] «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (1928) — роман Эренбурга.

[15] «Круг» — издательство в Москве (1922—1929).

[16] Тихонов А. Н. (Серебров, 1880—1956) — писатель, литературный деятель.

[17] «Лавровы» (1926) — роман Слонимского.

[18] «Эроп» — прогрессивный французский ежемесячный журнал (с 1923).

[19] И. Э. Бабель (1894—1941) — писатель.

[20] Н. С. Тихонов (1896—1979) — писатель. Речь идет о его книге «Рискованный человек» (1927).

[21] См. примеч. 4.

[22] О. Г. Савич (1896—1967) — писатель, переводчик, друг Эренбурга.

[23] «Стройка» — ленинградский журнал (1930—1931).

[24] «Скандинавия» — см. «Север», «Красная новь», 1930, № 3, 4, 6, 7.

[25] Очерки составили книгу «Англия» (1931).

[26] Речь идет о журнальной публикации очерков («Красная новь», 1929, № 9—10), см. также «10 лошадиных сил» (1931).

[27] П. И. Чагин (1898—1967) — издатель, литературный деятель.

[28] «Звезда, 1931, № 1—2.

[29] Е. С. Добин (1901—1977) — критик, литературовед.

[30] «Золотая роза. Заметки о писательском труде» (1956).

[31] В. Б. Шкловский (1893—1984) — писатель, литературовед.

[32] С. Л. Слонимский — композитор.

[33] Т. А. Арбузова — жена К. Паустовского.

[34] Г. А. Арбузова — падчерица К. Паустовского.

[35] С. М. Алянский (1891—1974) — издательский работник, редактор.

[36] «Алконост» — издательство, возникшее в Петрограде в 1918 году по инициативе Алянского. Издало «Двенадцать» и другие произведения А. А. Блока.

[37] А. А. Фадеев (1901—1956) — писатель, многолетний руководитель Союза писателей. Речь идет о самоубийстве Фадеева.

[38] «Стальное колечко» («Перстенек»), «Нева», 1956, № 7.

[39] Н. А. Козырев — советский ученый, астроном.

[40] Речь идет об Учредительном съезде писателей РСФСР (1958, декабрь).

[41] М. А. Сергеев (1888—1956) — критик, литературовед, ученый, участник революционного движения в России.

[42] В «Октябре» (1959, № 3—5) печаталась четвертая часть автобиографической «Повести о жизни» К. Паустовского — «Время больших ожиданий».

[43] В. В. Типот — советский писатель.

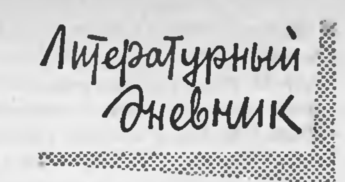
[44] К. А. Федин (1892—1977) — писатель, академик, многолетний руководитель Союза писателей, друг Слонимского.

[45] В. Ф. Панова (1905—1973) — писательница.

[46] Г. Горбачев, М. Левидов, Ж. Эльсберг, В. Вешнев — литературные критики.

Публикация писем М. Зощенко, К. Паустовского, М. Слонимского и Н. Никитина **И. И. СЛОНИМСКОЙ.**

Вступление, комментарии и публикация писем И. Г. Эренбурга **А. И. РУБАШКИНА.**



Анатолий ПИКАЧ

БЕГ ТРУСЦОЙ ПО ЛАБИРИНТУ

Усердный бег трусцой напоминают мне повадки нынешнего читателя журнальной прозы. Журналы ходят по рукам. Журналами меняются. Надо бы везде поспеть. Обежать по периметру пространство. Где-то нырнуть вглубь и успеть выбраться из журнального лабиринта на свежий воздух — отдышаться, одуматься...

Разве ж минуешь в журнальном потоке конца минувшего года новые повести и романы В. Маканина, Ю. Нагибина, Ф. Искандера, Н. Евдокимова, А. Житинского, Г. Николаева, В. Попова, Г. Горбовского... А еще не проскочить бы мимо очередного рассказа Т. Толстой или А. Цветаевой. А еще «Юность» зазывает вас на повесть Ю. Полякова о неуставных (заметьте — неуставных!) отношениях в армии... А может, мне лучше нырнуть в историко-филологическую беллетристику Н. Эйдельмана?

Давно ли мы не знали, что делать с захламленностью журнальных страниц посредственной литературой? А сейчас впору взмолиться: где ж сил и времени взять, все это переварить? Вроде бы все нужно. А все ли? Я думаю, что мы скоро выговоримся. От «пожирающего» чтения, от эйфории гласности мы придем к гласности сосредоточенной.

Пока же острота многих вещей художественно тороплива. Это нужная нам острота, но на ней печать переходного момента в литературном движении, пока лучше сказать — в литературном брожении. Там же, где достигается художественная сосредоточенность, неуместен наш читательский, потребительский бег трусцой.

Горькие, нешуточные вещи глотать на ходу безнравственно. Размышление требует временно́го простора. С хорошей книгой хорошо сживаться неторопливо. И сейчас я уже думаю не о журнальном лабиринте, а об историческом. Лабиринте многих человеческих судеб. Об истории в человеческих лицах и судьбах, явленной сейчас в прозе.

Пока у вас в руках игрушечный лабиринт с закатывающимся шариком, все очень просто. Шарик каждый раз возвращается из очередного тупика и методом проб и ошибок выходит из лабиринта на приволье. Иначе с единичной жизнью в истории, для которой ее пробы и ошибки так часто оказываются роковыми. Тупики — трагическими и последними. Но нить не может оборваться для нас. И словно бы в наши дни заглядывал Пастернак в далеком 1928 году, когда писал Цветаевой о художнике:

Клубясь во много рукавов,
Он двинется подобно дыму
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф:
Горит такого-то эпоха.

Если прежде всего думается о судьбах невинно репрессированных, то не только о них. Не только об отце в последней нагибинской повести «Встань и иди», но и о сыне. Не только о временах и судьбах трагических, но и о временах и судьбах застойных, поколениях «провисающих». О нашем насущном, но с обострившимся до боли чувством исторической корневой системы.

И если вернуться к журнальному лабиринту, то критик в первый момент чувствует себя регулировщиком на людном перекрестке, призванным как-то упорядочить в своем и читательском сознании прозаические потоки. И не столько тематически, сколько жанрово.

Ведь у каждого типа прозы свои приоритеты в контакте с живой жизнью и в ее интерпретации. Вот почему насущный хлеб публицистики и живой человеческий документ на первых порах общественной ломки затмил интерес к художественности.

Экспансия публицистики растормошила и неторопливое правдоподобие прозы психологически-бытового склада. Рядом явилась еще и проза, возросшая на документальной подпочве. Воспрянуло к жизни мышление социальное и даже конкретно социологическое.

Другой поток, напротив, ориентируется на свободу фантазии — сатирический гротеск и фантастическую феерию, притчевые иносказания и сюжетные парадоксы. Вас так я подхлестывает водоворот невероятных сюжетных метаморфоз.

А вот, представляя прихотливую прозу Олега Базунова, академик Лихачев, наоборот, приглашает вас к неторопливому чтению. Той же неторопливости требует и интеллектуально и психологически углубленная и изощренная проза Андрея Битова. Здесь трусцовая пробежка совсем уж немыслима.

Вот о потенциях такого рода прозы в нынешней ситуации и хочется сегодня задуматься, оговорившись прежде, что потоки эти — лишь мыслимые осевые линии. Единичный замысел всегда индивидуальнее, богаче. К примеру, повесть Геннадия Николаева «Заброшенный полигон» («Звезда», 1987, № 9, 10) насквозь злободневна. Герои напрямую обсуждают все, что животрепещет, что есть в живых наших разговорах, в нашем «Прожекторе перестройки»...

Но это не просто «говорильня», а жестко продуманная расстановка социальных моделей и типов. Здесь нужно, чтобы удачливый и самоуверенный физик проводил испытания своей установки близ деревеньки своего детства. Чтобы столкнулись два уклада и образа действия — отца, председателя колхоза, человека от земли, и сына — технократа. Чтобы его настигло нравственное возмездие — гибель по его вине любимой девушки.

Нужно, наконец, чтобы в этой бытописательски плотной прозе было нечто вроде фантасмагорического видения. Видения на ночном кладбище вырытой вирок пустой могилы. Вырытой пьяницей за нужный позарез очередной «червонец». И это видение будет теребить темным предчувствием выхолощенную, казалось бы, душу самоуверенного победителя жизни.

Нужно также, чтобы дешевая эрзац-философия технократа споткнулась в споре о высокую кантовскую мысль о разумной осмысленности мироздания и смутно затосковала. Думаю, прорыв злободневной прозы и к душевным «видениям», и к философичности, чуть намеченный Николаевым, куда смелее и основательнее просится в прозу.

Но вряд ли также можно валить в одну кучу все ирреальное и фантастическое, как это сделал А. Карпов в заметках «Преодоление очевидности» («Литературная газета», 1987, № 47). Ради тривиального вывода, что все это нужно для постижения «посюстороннего» мира? Слишком разные задачи и оттенки в таком постижении.

Легко по привычке навязать фантастику и сатирический гротеск друг другу и тогда не услышать тягучей лирической ноты в романе А. Житинского «Потерянный дом, или Разговоры с милордом» («Нева», 1987, № 8—12). Не так настроено ухо. Сатирические обертоны есть, но главное — это протяженность печального размышления, ускользающая и вновь и вновь выныривающая в сатирической пестроте романа-обозрения. Это история скитаний души, исполненной благих порывов и безвольной, подзаблудившейся в череде застойных лет.

И совсем нечто иное — феерическое повествование блистательного парадоксалиста Валерия Попова «Новая Шехерезада» («Аврора», 1987, № 8). Это не сатира на похождения отчаянной провинциалки, приехавшей в Ленинград покорить большой мир. Это ироника, но и исследование удачно найденного, социально емкого типа. Героиня по-своему незаурядна. Она с детства грезит своей исключительностью, которая манит ее и мерещится ей в мишурном блеске красивой жизни. Но большой город надолго затаптывает юную авантюристку. Ее положение парадоксально и много раз меняется. Блеск паразитической роскоши и самое дно, клоака отпетых пьянчужек. Амплуа валютной проститутки и адова работа на больничной кухне...

Два кривых зеркала, искажающих нормальную жизнь. Эта кривизна обнаружена в самой жизни. Героиня как бы помещена между этих двух зеркал, и в ней так удачно явилась их взаимообратимость. В этой находке соль повести. Но разрешается она облегченно, и концовка шита белыми нитками. Так ли легко отпетые люди два перерождаются в трезвейшую добродетель? Что это — поспешный «хэппи энд»? Или очередной парадоксальный «кувырок» сюжета? Тогда где уверенность, что он последний?

Все та же художественная торопливость переходного момента? Не то чтобы чтения трусцой, но и пишется многое трусцой? Подыгрывая моменту? Подыгрывая читательской пробежке? Вот почему хочется приглядеться к замедленной прозе. Она ведь долго была не в чести Казалась элитарно изощренной.

Между тем, и она не чурается грубых материй. Например, как и у Валерия Попова, или Геннадия Николаева, или Александра Житинского, у Андрея Битова колоритно изображаются пьющие персонажи и «питейные мистерии» и в новой повести «Человек в пейзаже» («Новый мир», 1987, № 3), и в романе, опубликованном с шестнадцатилетним опозданием «Пушкинский дом» («Новый мир», 1987, № 10—12). Все дело, как и зачем изображать.

Здесь необходимо маленькое отступление. Один писатель-геолог жаловался. Сразу после соответствующего указа выходила книга его прозы. Иной раз промерзшие геологи пили в тайге спирт. Везде предупредительный редактор спирт заменил на чай. Разве что чайного сервиза не было.

Таких курьезов было много, но все они полопались, как мыльные пузыри. Ситуация затребовала от литературы как раз иного. Разобраться, как и почему в годы социальной пассивности и парадности уходили (только, конечно же, не все) кто куда — кто в обывательщину и потребительство, а кто в презрении к ним в буддизм или многолетние алкогольные «путешествия»...

Потребовался социальный и психологический анализ, причем дифференцированный. Одно дело — «неформальное объединение» пьянчуг у пивного ларька, живо запечатленное у Валерия Попова. Совсем другое — к примеру — изображение «питейной мистерии» в романе Битова, у деда его героя Льва Одоевцева. Человека, жизнь которого перерубилась надвое тридцатилетней ссылкой — на жизнь выдающегося ученого в молодые годы и жизнь хорошего прораба в последующие.

Две эти жизни уже поздно соединить в одну, но дух личности не распался. Эти мистерии — своего рода прощальные его всплески, вдохновенные устные историко-философские трактаты и прозрения.

Нетрудно понять, как это важно именно для интеллектуальной прозы, которая словно бы и является на ничейной земле между научным мышлением и художественным вдохновением. А тем более для Битова, аналитика которого сдержанно и опрятно иронична, но подспудно импровизационна и взрывчата воодушевлением.

Думая о потенциях такого рода прозы, осознаешь, как двояк непредугаданный каждый раз результат. На ничейной земле может и уродиться нечто ничейное, но это может быть и многообещающая селекция нового и нужного духовного злака.

Вероятно, здесь дело в каком-то особом и трудноуловимом равновесии между лицевой стороной жизни и ее интеллектуальной подкладкой. В случае с повестью при ее компактности дело обстоит проще, чем с романом, который стал ветвиться из замысла рассказа, становясь все более сложным и многосоставным.

Здесь единство распалось на множество, в котором одни фрагменты исполнены живой и социальной осязательности, а другие — чистейшая художественная алгебра, герой по цепной реакции превращается в категорию (по объяснениям самого Битова).

Понятно, что в этом случае живые покровы жизни не просто анализируются, но аналитически начисто выедаются. Потому что уже и мысль выедается мыслью о ней, а эта, соответственно, следующей — и так без конца. Это и есть цепная реакция. Не меньше это напоминает периодическую дробь, которую никак не разделить без остатка. Тогда мысль попадает в плен к самой себе — к такой непрерывности и, все более изощряясь, крутится, в сущности, в самой себе.

Зачем это понадобилось? В первой части Лева Одоевцев изображен глазами автора. Во второй части «герой самостоятельно барахтался в волнах своего настоящего» и своих ощущений. Получились две разные версии и два варианта одной жизни.

Здесь на семейном материале концентрированно разыгрывается историческая коллизия. Лева Одоевцев — наследственный ученый. Субъективно честный и добропорядочный. В первой части он интересует Битова прежде всего как тип в истории, многое в массовом умножении в ней определивший. Это явление честного конформизма или скрытого от собственных глаз предательства.

То, что во всякий настоящий момент понимание своего настоящего скрыто от собственных глаз героя, для Битова принципиально. Со временем происходит прозрение смысла того, что происходило с ним на самом деле. Из второй части мы узнаем, как бурно живет молодой человек как раз в эту пору своими отношениями с Фаиной, Альбиной, Любашей, что так естественно для его возраста.

Лишь на периферии этих переживаний мельком проходят отец, возвращение из ссылки «дядюшки Диккенса» и деда — все то, что составило суть первой части. Периферия и центр правомочно меняются местами. В этом краеугольная основа метода Битова — увидеть явление с разных ракурсов, в разных версиях и вариантах, отнюдь не взаимоуничтожаемых.

Вот почему историческая аналитика первой части поддержана такой психологической наблюдательностью, а душевная осязательность Левиных влюбленностей — аналитическим комментарием, где Лева по принципу «вывернутой перчатки» раскрывается в иной плоскости, но как тот же человеческий тип.

Однако этот принцип действует не только в соотношении частей. Он дробится сам в себе до бесконечности, обнаруживая себя в каждой клеточке повествования.

В каждом ракурсе содержится противоположный. У всякой версии есть контрверсия или побочный и возможный вариант. Иная гипотеза. У книги — открытое перед читателем течение. Это аналитическая импровизация. Она самообсуждается перед ним — «хотя автор и посмеивается над Левой за юношескую игру воображения, однако и сам еще не решил окончательно, что дядя Диккенс ему не отец. Чего не бывает...»

Смерть деда, бежавшего в привычные места своего былого поселения, тоже дается в разных вариантах, как это и есть в многоустой молве... Или сам Лева с ужасом («Не было этого ничего! Бежать, скорее бежать...») выбегает из ненавистной версии и варианта... и «вбегает в другой вариант...»

Причем, каждый из них разработан с предельной осязательной реальностью. Просто там, где другой прозаик выбирает из многих один единственный, герои и варианты у Битова начинают «двоиться, множиться», и он заклинает: «Только версия и вариант, версия и вариант тасуются перед взором автора...»

Как же ведет себя истина при такой многоракурсности и множественности версий — все полнее раскрывается или заметает следы? Пусть прежде читатель попытается решить сам. Я только скажу, что она ведет себя у Битова так же, как возлюбленная Левы Фаина вот в этой ситуации — здесь нельзя скупиться на цитату, как нельзя обрывать дознание:

«А потом, как бы устав от Левиных наседаний и махнув рукой, согласилась с предложенной им же версией, тут же отказалась от нее, сказав, что да, Митишатьев вернулся потом, но она его не пустила, а они просто пошли прогуляться и поговорили, что да, конечно, он приставал к ней, но ничего у него не вышло, хотя он даже затащил ее в подвал своего дома, где хорошо знал все ходы и выходы, что там было тепло и он там тоже приставал, но, опять же, у него и там ничего не вышло, и что — к черту, наконец!, лишь бы Лева отстал от нее! — все, все было, только не в подвале, конечно же, а у нее дома, потому что, когда Лева уехал, Митишатьев вернулся и провел у нее ночь, и потом тоже, когда она однажды не пустила Леву (помнишь?),— это тоже был Митишатьев, и потом еще несколько раз... Ну, ладно, это она назло говорила, ничего этого не было, ничего-ничего! всегда был только Лева (иди ко мне, милый...). Ну хорошо, было, тогда, в подвале, было, но только один раз и то — один позор... Да нет же, ничего никогда не было (чтобы я с этим уродом?.. да мне и смотреть-то на него противно!), просто Лева сам напрашивается, что же она может ему еще ответить? Ну не надо, милый, я же люблю тебя, ну и убирайся к черту — надоел совсем!..»

Если читатель решит после этой тирады, что истина ведет себя в романе, как лгунья и шлюшка, я решительно не соглашусь, хотя понимаю соблазн подумать именно так. Во-первых, могло быть так и этак, а в уяснении сути отношений это ничего не меняет (как раз их проясняет), как ничего не меняют в сути дедовой жизни и его конца разные версии этого конца.

Из одной точки разбегаются разные пути. Разными путями сбегаются в одну точку. Все, что было, могло бы и не быть. Все несбывшееся могло бы и случиться. Поэтому аналитика Битова стремится увидеть вещи не в их номинальной реальности, но в потенциальной множественности. Стереоскопично! Он делает различие между истинностью и реальностью.

Еще и множество людей — это множество точек зрений, пересекающихся в точке их контакта: «Потому что люди, действующие на нас,— это одно, а их действие на нас — нечто совершенно другое, сплошь и рядом одно к одному и никакого отношения не имеет, потому что действие их на нас — это уже мы сами».

Как-то иначе, чем в общении, раскрываются дядюшка Диккенс и дед Одоевцев через их посмертно прочитанные записки, а Лева — через его филологические фантазии-версии — через эти приложения к роману. Все новые и новые ракурсы, «цепи, циклы» химической формулы, как скажет сам герой.

Отдельные «цепи, циклы» этой системы могут быть прочитаны в своей самой острой социальной злободневности. Так что не только публицистичность восходит к философичности, как мы отметили в начале этих заметок, но и такого рода философичность нисходит к ней.

Но при этом будем помнить, что эти отдельные цепи включены в общий философский объем и бытийный контур, в котором их взаимосвязанность сложнее.

Говорят, такая проза требует изощренного читателя. Говорят и по-другому — такая проза на любителя. Второе точнее. Не всякий изощренный для восприятия ее читатель нуждается в ее восприятии. Иной еще и скажет словами поэта:

И я опять себе простил
Желание простора,
Как многим людям непростым
Желание простого.

Дело совсем не в этом. Не всякий интеллектуал нуждается в интеллектуальной прозе Битова, но и она найдет своего читателя. Дело в том, что такого рода проза, от которой мы отвыкли, имеет свои особые возможности выражения, но и тупики и противоречия, как всякое жанровое образование.

Хорошо, что мы стали привечать такого рода прозу. Признание побуждает жанровое мышление к самокритичному анализу и раскрытию своих резервов. А в них нынешняя литература, на мой взгляд, нуждается. И сколько бы мы по ее аналитическим цепям и лабиринтам ни блуждали, эти блуждания будут оправданы, если, как говорит Битов, «хоть одна цепь окажется законченной, и в конце ее покажется светящаяся точка как выход из лабиринта...»



Седьмая тетрадь

Память

В. НИКИФОРОВ

В ГОСТИ К ПОЭТУ

Пароход покричал, покричал,
Бросил чалку на мокрый причал...
Сергей Орлов

Лучше всего совершить паломничество в этот старинный (ему исполнилось 1125 лет) русский город у самого Белого озера, где родился поэт Сергей Орлов, на теплоходе, носящем его имя. Найти дом, где он жил, очень легко. По набережной Шукшина (здесь, в Белозерске, снимал Василий Шукшин свой фильм «Калина красная») нужно пройти к центру города, на площадь Сергея Орлова, где стоит гранитный памятник ему. А тут уж рукой подать до скромного бревенчатого домика. В нем открыт литературно-мемориальный музей, хорошо известный почитателям таланта поэта-гражданина, поэта-воина.

— Сейчас этот адрес знают многие,— как бы упреждая мой вопрос, говорит хранитель музея Ирина Геннадьевна Щукина,— но когда было принято решение создать экспозицию в доме Сергея Орлова, пришлось провести специальные разыскания, чтобы точно определить, в каком же из нескольких сохранившихся старых домов жил сам поэт. Даже близкие ему люди не могли тогда сказать, где же прошли детство Сергея Орлова и его юность. Помогли письма, которые поэт слал с фронта матери, брату, сестре. На сохранившихся «треугольничках» военной поры именно этот адрес!

Литературно-мемориальный музей открылся в 1981 году, когда отмечалось шестидесятилетие поэта. Тогда экспозиция занимала лишь две комнаты.



Памятник Сергею Орлову работы скульптора В. Астапова

— Как любой скромный человек, Сергей Орлов и думать не думал о том, чтобы оставить потомкам какие-то реликвии,— продолжает свой рассказ Ирина Геннадьевна.— Но наш земляк оставил нам духовное наследство — свои стихи. И первое, что попало в экспозицию,— прижизненные издания его книг. Постепенно фонды музея пополнялись автографами, черновиками произведений, письмами, личными вещами поэта.

Сейчас все помещения старого дома заняты музеем.

Вот на стеллаже пожелтевшие листки. На них — строчки, написанные рукою Сергея Орлова. Вот — первый скромный поэтический сборник стихов «Фронт». Издан он (всего несколько страничек) в 1942 году. На обложке дарственная надпись: «Матери моей Е. Я. Шаровой». Еще один экспонат — стихотворное письмо другу детства, танкисту, Герою Советского Союза Ивану Малоземову, погибшему на войне. И еще: комсомольский билет Сергея Орлова, пробитый осколком... Экспозиция продолжает пополняться. Сюда, в Бе-



Объявлена посадка. Фото И. Кружанова

лозерск, приезжают люди со всех концов страны, из-за рубежа, из тех стран, где бывал поэт, где оставил память о себе. Приходят в музей многочисленные письма, бандероли, посылки с документами из личных архивов, рукописями стихотворений, книгами Сергея Орлова, на которых он оставил дарственные надписи. Есть в музее одна книга, с которой (можно, пожалуй, так сказать) начался музей. Давно когда-то поэт подарил ее краеведческому кружку Белозерской средней школы № 2. И именно кружковцы вместе со своей наставницей Риммой Александровной Новиковой стали одними из «учредителей» музея.

— Наш музей популярен,— говорит Щукина.— Каждый, кто приезжает в старинный город Белозерск, обязательно приходит сюда, в скромный дом на улице Дзержинского. В день рождения Сергея Орлова, в августе, здесь проводятся поэтические вечера, встречи с советскими поэтами, с людьми, близко знавшими Сергея Орлова. И здесь, в музее, и на площади его имени, у памятника нашего дорогого земляка, и в школе...

Так живет этот музей на берегу Белого озера. А в гости к поэту лучше всего отправляться на теплоходе «Сергей Орлов».

Воспоминания

Д. ЗАСОСОВ, В. ПЫЗИН

ПЕШКОМ ПО СТАРОМУ ПЕТЕРБУРГУ

«ПРОЩАЙТЕ, БРАТЦЫ: МНЕ В ДОРОГУ...»

Сухопутный транспорт в Петербурге был в основном конный — легковой для пассажиров и ломовой для перевозки грузов. Быстро завоевали популярность и общественные средства передвижения — конки, дилижансы, паровички. Но трудовой люд предпочитал ходить пешком даже на далекие расстояния: для него все остальное было дорого. Рабочие старались селиться вблизи своего предприятия, чтобы не тратить времени и денег на проезд. Владельцы шли им навстречу, строили возле своих заводов каменные или деревянные дома и бараки. Так формировались рабочие окраины.

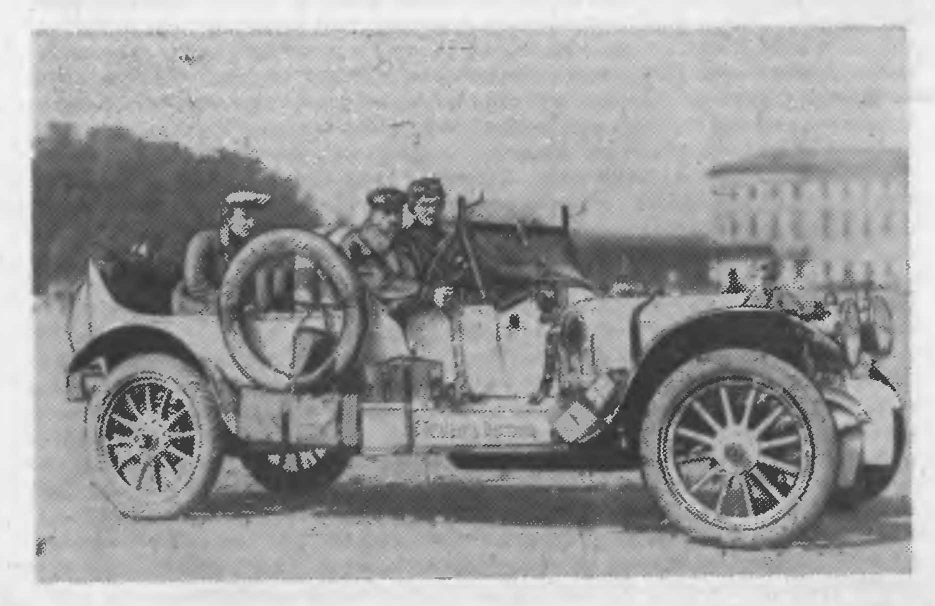
Ближе к центру часам к девяти-десяти торопились, тоже пешком, по своим делам учащиеся, мелкие чиновники, служащие, приказчики. Наступал час «пик», общественный транспорт начинал работать с максимальной нагрузкой.

Самым распространенным его видом были конки — конно-железные дороги. К началу века в столице насчитывалось около тридцати линий конок. Три — по Невскому, Большой Садовой и от Адмиралтейской площади до Николаевского моста (ныне мост Лейтенанта Шмидта) — принадлежали городу, остальные — акционерному обществу конно-железных дорог. Вагоны — одноэтажные и двухэтажные. Одноэтажные везла одна лошадь, двухэтажные, с «империалом»,— две. Спереди и сзади были открытые площадки, в двухэтажных вагонах с этих площадок наверх — на «империал» вели винтовые металлические лестницы. «Империал» был открытый, его ограждали перила, увешанные всевозможными рекламными щитами: «Пейте коньяк Шустова», «Принимайте пилюли „Ара“», «Пользуйтесь только мылом № 4711». Проезд на крыше стоил дешевле — две копейки за станцию вместо трех и даже пяти внизу. Внутри вагона, вдоль бортов, сплошь залепленных объявлениями и рекламами разного рода товаров «чрезвычайных качеств», тянулись скамейки. На «империале» была одна двухсторонняя скамья посередине, и пассажиры сидели друг к другу спинами.

Обслуживали конку двое: вагоновожатый и кондуктор, непременно мужчины. Первый правил лошадьми, второй продавал билеты, давал сигналы остановок и отправления. Вагоновожатому приходилось нелегко. Лошади впрягались в мягкие ременные постромки, прикрепленные к тяжелому вальку. Оглобель и дышла не было. При съездах с мостов или на продольных уличных спусках вагон норовил накатить на лошадей, требовалось вовремя затормозить. И вообще надо было постоянно чувствовать, как ведет себя вагон. Поэтому в правой руке у вожатого постоянно были вожжи, а левая, обычно лежавшая на ручном тормозе, еще и ударяла в медный колокол. Звонить приходилось часто: народ переходил улицу где попало, а пьяные часто лезли прямо под колеса. На конечном пункте вожатый снимал валек с крючка, вел лошадей к другому концу вагона, прицеплял там валек, устанавливал колокол с тормозом и — в обратный рейс.

На крутых подъемах — например, к плашкоутному мосту у Зимнего дворца,— прицеплялись дополнительно две лошади. Вожатые свистели, кричали на них, стегали кнутами. Публика на передней площадке тоже принимала живейшее участие. Испуганные лошади, выбиваясь из сил, выволакивали переполненный вагон на мост. При спуске с моста в торможении участвовал и кондуктор с задней площадки. Наконец, вагон останавливали, отцепляли дополнительных лошадей, и они вместе со своим кучером оставались дожидаться встречной конки. Работа кондуктора тоже была нелегка: ему приходилось то и дело подниматься на «империал» — продавать билеты тем, кто не взял их внизу. Вечером в вагоне зажигался тусклый керосиновый фонарь, а на крыше передней площадки — светильник побольше (хотя толку от него было мало: свет едва доходил до лошадей).

Пути для конок были несовершенны. Междупутье замащивали вровень с головкой безжелобкового рельса, края колес часто съезжали, вагон содро-


Автомобиль товарищества «Проводник» на Марсовом поле

гался и дребезжал. Разговаривать пассажирам было совершенно невозможно, но они не жаловались: это был народ скромный — мелкие чиновники и служащие, рабочие, прислуга, а на открытых площадках — в основном солдаты.

Постепенно конки начал вытеснять трамвай. Первый прошел в 1907 году от Александровского сада по Конногвардейскому бульвару через Николаевский мост к Кронштадтской пристани. Первоначально публика каталась по этой единственной линии туда и обратно, у Александровского сада почти всегда стояла очередь желающих. А тем временем в городе шло переоборудование коночных путей, рельсы заменялись желобчатыми, их укладывали на шпалы. Строили и вторые, встречные пути. Трамвай представлял собой тогда двухосный маленький вагон, прицепных не было. По сравнению с конкой он был очень красив: внутри — сплошное сверкание лака и меди, большие окна, снаружи — красный низ и белый верх, кондуктор и вагоновожатый одеты в добротную форму. Сначала сделали два класса, перегородив вагон внутри: первый (для «чистой публики») — пять копеек, второй — три. Но разделение не привилось. Постепенно трамвай стал основным видом пассажирского транспорта, связав окраины с центром. Появились прицепы, моторные вагоны совершенствовались, делались более мощными и быстроходными...

Нельзя не вспомнить и еще один, особый вид конного пассажирского транспорта — дилижансы. Их в Петербурге звали «сорок мучеников», и не случайно. Это была большая пароконная повозка на окованных железом колесах и с грубыми рессорами. Со всех сторон открыто, только и есть что крыша над головой. От ветра и дождя слегка защищали опускающиеся брезентовые шторы. Поперек повозки стояли скамейки, снаружи вдоль нее были устроены ступеньки. Поскольку большинство мостовых были булыжными, эта колымага тряслась и громыхала невероятно. Тут уж лучше всего держать язык за зубами: неровен час — прикусишь. Кондуктор должен был героически перебираться по внешним продольным ступенькам, чтобы собрать положенные пятачки с пассажиров. Курсировали дилижансы от Адмиралтейства по Вознесенскому проспекту и Гороховой улице (ныне проспект Майорова и улица Дзержинского) к вокзалам. Пока едешь, вытрясет всю душу — потому и название «сорок мучеников». Зимой повозка заменялась большими открытыми санями с продольными скамейками, так что пассажиры сидели спиной к улице. В 1910 году дилижансы попытались было заменить двухэтажными автобусами на литых резиновых шинах, но эти машины были несовершенны и часто портились. Да и езда в них была ненамного спокойнее. Этот вид транспорта не прижился, и вскоре автобусы исчезли.

Зато исправно служили «паровички» — поезда из пяти-шести вагонов с «империалами» желтого цвета, бегавшие по одноколейкам с разъездами. Хотя паровичок и был закрыт металлическим кожухом, но все же очень сильно дымил. Машинист почти непрерывно трезвонил, предупреждая прохожих. Освещение в вагонах было скудное, керосиновое, да еще у кондуктора на пуговице шинели висел маленький масляный фонарик. Летом ходили открытые вагоны. Езда в таких составчиках мало чем отличалась от езды в конках: тот же грохот, то же мотание из стороны в сторону, тот же грохот колес о булыжную мостовую. Паровичок, ходивший в Лесное, пересекал Финляндскую железную дорогу (в то время она шла на одном уровне с улицами). Каждое такое пересечение ограждалось двойными шлагбаумами, а у переезда дежурил сторож. Паровичок медленно подходил к нему, машинист ударял в колокол, укрепленный на котле паровоза. Сигналил и машинист железной дороги. Право преимущественного проезда имел поезд. Паровичок терпеливо ждал, накапливая пары: сразу за пересечкой, если ехать в сторону Лесного парка, был подъем, совпадавший с крутым поворотом. У Спасской улицы, где был конечный пункт, располагался павильончик для ожидающих и рядом — склад угля. На паровичках, принадлежавших частной акционерной компании, ездил трудовой люд, студенты, летом — много дачников.

Особого рассказа заслуживает индивидуальный пассажирский транспорт — легковые извозчики. В Петербурге их было очень много, до пятнадцати тысяч. В основном им пользовались люди зажиточные или считавшие себя таковыми. Извозчик, чтобы получить номер — разрешение на промысел, обязан был иметь «столичный вид», одеваться по форме — кафтан и низкий цилиндр (как правило — хозяйские, нередко — на двоих, а то и на троих). Лошади тоже полагалось быть «годной», сбруя — ременная, пролетка — с подъемным верхом от дождя и кожаным фартуком для ног седока. За всем этим наблюдала городская управа. Извозчик сидел на открытых козлах, в дождь набрасывая на себя коротенькую клеенчатую накидочку.

Перед получением номера надо было пройти особую процедуру. В Семяни-





На Большеохтинском проспекте. 1910 год

ковском сквере на Песках стоял для этого специальный навес с будочкой. В назначенные дни здесь располагалась комиссия из представителей городского управления, полиции и кассира для приема налога и выдачи номера. Один извозчик подъезжал за другим, комиссия придирчиво осматривала лошадь, экипаж и его самого. Если все было в порядке, тотчас же принимались деньги и выдавался номер. Некоторых «заворачивали», требовали что-то исправить.

Стоянки извозчиков устраивались на самых бойких местах: у вокзалов, гостиниц, на оживленных перекрестках — кому какое приглянется. Обязательной таксы не было. Запрашивали, исходя из общего облика седока: один он или с дамой, какая погода, какое время — день или ночь, торопится или нет, приезжий он или местный, много ли у него вещей, знает ли город, и, конечно, учитывалось расстояние. Седок, в свою очередь, тоже оценивал ситуацию: много ли на стоянке извозчиков, удобна ли пролетка, хороша ли лошадь. Торговались, спорили, седок отходил, возвращался, наконец садился. При дамах обычно не торговались. Незадолго до первой империалистической войны были введены таксометры для измерения расстояния. Таксометр укреплялся у извозчичьего сиденья, на нем красовался красный флажок. Однако нововведение не прижилось.

Зимой извозчики запрягали лошадей в санки, маленькие и неудобные. Спинка была низкая, лошадь, идущая следом, роняла пену прямо на голову седокам. Хотя и существовало правило — держать дистанцию не менее двух сажен, это не соблюдалось. Поздно вечером и ночью извозчики были особенно нарасхват: многие побаивались ходить пешком. Часто на сонных улицах слышалось: «Извозчик, извозчик!» — и глядь, откуда-нибудь из-за угла выползает заспанный «ванька».

Извозчики жили на извозчичьих дворах, всегда в страшной грязи и тесноте: крошечные стойла с сеновалами над ними, тут же рядом — сани, пролетки. Ездили они «от хозяина» и должны были ежедневно сдавать ему установленную сумму, заработали они ее или нет. Как правило, это были люди пожилые, нездоровые, не способные уже работать на фабрике и непригодные к тяжелой

крестьянской работе. Попав в лапы ловкого кровососа, они были обязаны выезжать на промысел в любую стужу, град, дождь, нестерпимую жару. За малейшую поломку экипажа или порчу сбруи, за плохое состояние лошади следовали вычеты: если «ванька» не сдавал положенных денег — значит, не умел использовать съезд и разъезд публики, выбрать удачное место для стоянки. Таких беспощадно выгоняли, и они, часто старые, немощные люди, не могли уже нигде устроиться, превращались в бездомных нищих. Обыватели именовали их «желтоглазыми», потому что они часто болели желтухой из-за антисанитарных условий существования. Спали они в лучшем случае на нарах, да и то лишь тогда, когда отдыхала лошадь, питались по чайным и трактирам, вечно экономя на еде.

Были еще и извозчики-собственники из пригородных деревень. Они прибывали в столицу на своих лошадях, со своим экипажем, устраивались где-нибудь у знакомого на окраине или на постоялом дворе. Но таких было мало: их забивала конкуренция организованных хозяйских артелей.

У «лихача» — извозчика высшего класса — и лошадь покрепче, и экипаж получше, и сам он виднее, одет богаче. Иногда его «транспорт» можно было принять за собственный выезд. «Лихачи» выжидали выгодный случай — прокатить офицера с дамой, отвезти домой пьяного купца, умчать от погони вора. Драли они безбожно, но возили действительно лихо. Нанимали их люди с деньгами или же те, кому хотелось «пустить пыль в глаза». Стоянок «лихачей» было немного — на Невском, угол Троицкой (ныне улица Рубинштейна) и около Городской думы, да на Исаакиевской площади.

Особой категорией были извозчики с тройками для катания. Мы застали уже их закат, они казались чем-то отживающим. Зимой они стояли около цирка Чинизелли. Кучер — в русском кафтане, шапке с павлиньими перьями, сбруя — с серебряным набором, бубенцами. У саней — высокая спинка, расписанная цветами и петухами, внутри все обито коврами, полость тоже ковровая. Лошади — удалые рысаки. В санях рассаживались по скамейкам шесть-восемь человек лицами друг к другу. Бывало, неслась по главным улицам такая тройка, унося веселую компанию к цыганам в Новую Деревню или загородный ресторан...

В 1907—1908 годах в столице стали появляться частные автомобили разных форм и фасонов и только заграничных фирм: в России автомобильной промышленности еще не было. Для того времени легковой автомобиль был редкостью и исключительной роскошью. Их и различали иногда по сигналам — от простого рожка с резиновой грушей до гудка с клапанами. Ловкие шоферы ухитрялись даже подбирать на них мелодии. Чуть позже, примерно в десятые годы, некоторые предприимчивые частные владельцы стали переоборудовать их в автотакси. На машинах устанавливались счетчики, но чаще их нанимали из расчета примерно пять рублей в час. Их стоянка была на Невском, около Гостиного. Шоферы тоже выглядели «заграничнo» — каскетка, английское пальто, краги — и держались с большим достоинством: это были еще и хорошие механики. Вообще, надо заметить, машины из-за несовершенства конструкции часто портились, их требовалось на ходу ремонтировать, поэтому многие относились к таксомоторам с недоверием и предпочитали извозчиков: надежнее и дешевле. На некоторых улицах с малым движением и хорошим покрытием, например на набережной Фонтанки, иногда можно было наблюдать своеобразные гонки между рысаком и автомобилем. Нередко побеждал орловский рысак — разумеется, на коротких дистанциях. Кое-кто из публики выражал явное удовольствие, сопровождая обгон криками восторга и нелестными замечаниями в адрес автомобиля...

На масленице появлялись «вейки»: в город приезжали крестьяне на своих лошадях, запряженных в легкие саночки,— большей частью карелы, ингерманландцы, ижоры. Лошадей они украшали красивой сбруей, бубенцами, лентами. Люди попроще катали на «вейках» детишек, вечерами их сменяли супружеские пары, рабочая молодежь. На улицах звучали гармошки, пение. Полиция не запрещала: масленица... Иногда на «вейках» днем ездили и деловые люди: лошадки бойкие, санки удобные, брали недорого, даже дешевле извозчиков, знали город плохо и за любой конец запрашивали тридцать копеек. Поскольку это был верный заработок, то, чтобы не простаивать попусту в ожидании «везухи», под «веек» подделывались и некоторые извозчики: запрягали лошадок в деревенские сани, разукрашивали их как могли и даже запрашивали «ритцать копеек» — словно заправские карелы. Особенно оживленное катание было в последнее воскресенье масленицы — с утра до поздней ночи. Заканчивались эти гулянья перед «великим постом и покаянием». На другой день утром, в «чистый понедельник», бывшие «вейки», уже без бу-



Омнибус у Александровского сада. 1907 год

бенцов и украшений отправлялись восвояси под перезвон десятков церквей, призывающих православных к посту и молитве после масленичного угара.

Не были в диковину для столицы и собственные выезды — кареты, коляски одноконные и пароконные, фаэтоны в английской запряжке, с грумом в цилиндре, «эгоистки» на высоких колесах, мальпосты с двумя высокими колесами, шарабаны на одного или двух седоков без кучера. Такое же разнообразие было и в санях — одноконные, пароконные для запряжки с дугой и в дышле. Содержалось все это в прекрасном состоянии, сверкало лаком. Лошади — большей частью крупные вороные орловские рысаки, покрытые сетками, чтобы на седоков не летели комья снега с копыт. Под стать им были и кучера — дородные, борода лопатой. Аристократы, крупные чиновники, банкиры, фабриканты, купцы гордились своими выездами — это был индикатор их богатства. Ездили они без лакеев: в то время езда с лакеями уже отзывала чем-то архаичным, хотя то тут, то там еще можно было наблюдать, как лакей подсаживал под локоток какую-нибудь сановную старуху, укутывал ей ноги полостью или пледом. Лакей был одет по принятой форме: длинная ливрея с блестящими металлическими пуговицами и цилиндр с большой боковой кокардой-розеткой из золотого позумента. Мы застали еще кареты и пароконные сани с запятками — задней площадкой, где стоял лакей (обыкновенно же он сидел рядом с кучером на козлах). Дверцы некоторых карет и ландо украшались золотыми гербами или коронами, дабы все могли видеть, что выезд принадлежит сиятельному лицу.

Особой пышностью отличались дворцовые и посольские выезды. Самым парадным дворцовым выездом было ландо «адомон» с запряжкой шестеркой белых лошадей цугом по две. Кучера не было, а на каждой левой лошади красовался форейтор, одетый жокеем. Так выезжала императрица с детьми. В дворцовом конюшенном ведомстве было много всевозможных экипажей, особенно карет (в них ездили и зимой). Ничем особенным они не отличались от других, разве только добротностью, а иногда и старомодностью. Дворцовыми выездами пользовались, кроме царской фамилии, приближенные ей лица, министры и высшие чиновники. В конюшенном же ведомстве стояли выезды для обслуживания «императорских» театров — большие неуклюжие кареты старого образца, подаваемые «солистам его величества» и вообще знаменитым артистам, а то и для вывоза учениц театрального училища на спектакли с их участием или как зрителей. Учеников театрального училища обычно возили на открытых длинных «линейках», где они сидели с обеих сторон спинами друг к другу. Посольские выезды были пароконные, на дверцах карет или ландо — герб государства, на козлах, накрытых особой накидкой, расшитой золотым позументом, сидели кучер и лакей в ливреях с позументами и в треугольных шляпах набекрень.

Грузовой транспорт в пределах города был гужевым. Ломовые извозчи-

ки — сильные, здоровые люди, в большинстве своем неграмотные. Они же являлись и грузчиками. Ломовые обозы содержались хозяевами, имевшими по нескольку десятков подвод. Некоторые предприятия, а также городское хозяйство обзаводились собственными ломовыми обозами. Упряжка была русская — дуга, хомут и шлея с медным набором, телега на рессорах — «качка», тяжелая и большая, на железном ходу, задние колеса большие, расстановка колес широкая — по ширине трамвайных путей. Часто ломовики действительно выезжали на трамвайный путь и катили прямо по рельсам — и лошадям легко, и извозчиков не трясет. Такая езда а общем-то запрещалась, но ломовиков это мало трогало. Лошади — крупные тяжеловозы-битюги, першероны — волокли по сотне и более пудов. Проезд ломовикоа по главным улицам, где была торцовая мостовая, был запрещен или разрешался только в определенные часы, и грузовые обозы двигались преимущественно по улицам с булыжной мостовой под оглушительный грохот и громкие окрики. Особенно картинным был обоз городских боен: лошади здоровенные, сбруя в медных бляхах, ломовики — отменные силачи, свободно переносившие на спине освежеванную тушу черкасского быка. Чтобы не перепачкаться в крови, они прикрывали голову и спину рогожным кулем. Образцовые обозы содержались и пивоваренными заводами Калинкина, Дурдина, «Баварией», «Веной»: лошади сытые, разъевшиеся на пивной барде, упряжка без дуги, на постромках. Гужевые обозы зимой составлялись из тяжелых волокуш и двигались по накатанному санному пути.

На ровной местности Петербурга можно было и зимой, и летом перевозить большие тяжести одной лошадью. Но во время распутицы и гололеда мучением для лошади и извозчиков становились крутые выезды на мосты. Можно было наблюдать такие сцены. Возчик разгонял лошадь, быстро вращая концами вожжей, исступленно кричал и свистел, сам тащил за оглоблю. Когда же лошадь падала или останавливалась, не в силах вытащить воз, подбегали другие возчики или прохожие. Общими силами они поднимали упавшую лошадь и выталкивали воз. Нередко при этом оказывался, на их беду, какой-нибудь член общества защиты животных — субтильная дамочка или нервный господин, совавшие им под нос свой членский билет и кричавшие: «Не смейте бить лошадей! Я вас привлеку!». Помочь им и а голову не приходило!

Особо тяжелые и громоздкие грузы перевозились на «медведках» — массивных низких повозках-площадках со сплошными колесами без спиц. В «медведку» впрягались минимум три особо сильные лошади. Для перевозки некоторых грузов требовалась запряжка в пятнадцать-двадцать лошадей. Тогда прицеплялись дополнительные вальки с постромками, получалась запряжка цугом по три, четыре или пять лошадей в ряд. В таких случаях действовали несколько ломовых извозчиков: один был за главного, остальные по его команде начинали хлестать и понукать лошадей. Картина получалась грубая, но колоритная, в воздухе висели слова, в большинстве своем теперь забытые. Такого рода перевозки привлекали много любопытных, громко предлагавших свои способы, как лучше взять подъем на мост, и укорявших возчиков в неазнании дела.

Автомобильный грузовой транспорт появился только с началом первой мировой войны, да и то в весьма малом количестве.

Снимки предоставлены Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов

Библиофил

Александр КРЕСТИНСКИЙ

ВВЕРХ, ТОЛЬКО ВВЕРХ

Стоит назвать ее имя — и вспыхивают улыбки, и кто-нибудь обязательно скажет: «Вверх по лестнице, ведущей вниз!»...

Да, именно так называлась книга об американской школе, правдивая, умная, остро-талантливая, необычная по форме (своего рода литературный коллаж), которая открыла нам в 60-е годы писательницу Бэл Кауфман, внучку Шолом-Алейхема. С тех пор она часто приезжает в нашу страну.

В 1968 году, будучи в Ленинграде, Бэл Кауфман посетила редакцию журнала «Костер», где я тогда работал. Бэл — с неподражаемым чувством юмора, отлично владеющая русским языком — была глубоко тронута той неформальной встречей, какая ждала ее в редакции. Уже на лестнице наша гостья расхохоталась, увидев плакаты с текстами из своей повести: «Привет, училка!», «Привет, зубрилка!».

С этой встречи и началась наша дружба и переписка. И длятся они уже почти двадцать лет. В своих письмах Бэл часто шутит: «Пиши чаще, а то я разучусь говорить по-русски!». Это, конечно, преувеличение, но, пожалуй, русскоязычного общения ей действительно дома не хватает. А она им необычайно дорожит. С горечью говорила мне, что ее дети уже не владеют русским языком.

Во время поездки по Соединенным Штатам Федор Александрович Абрамов был в гостях у Бэл Кауфман. Вернувшись в Ленинград, он передал мне книгу от нее и сказал примерно следующее: как будто не на двадцатом этаже в Манхэттене пил чай, а у нас на Большом проспекте...

Не так давно Бэл Кауфман приезжала в нашу страну как журналист. Вернувшись, написала о советском телевидении — доброжелательно, объективно. Статья имела большой резонанс. В июне 1986 года приехала снова в связи с подготовкой публикации своего нового романа в журнале «Иностранная литература». Побывала не только в Москве, но и в Ленинграде. У нас в Доме писателя имени Маяковского состоялась встреча с ней. Я записал эту встречу на диктофон. Прослушивая запись уже после отъезда Бэл, я подумал: многое из того, о чем она говорила, может представлять интерес не только для тех, кто участвовал тогда в разговоре.

Беседа была неакадемической, свободной, я бы даже сказал, домашней. Надеюсь, что публикуемые отрывки из нее не только познакомят читателя с фактами, касающимися литературной работы Бэл Кауфман, но и дадут почувствовать ее отношение к проблемам современности, а также ее интонацию, юмор, хотя при переносе на бумагу неизбежны и потери: ее живая речь так богата интонационно, так артистична, подвижна, что, теряя звучание, лишается какой-то доли своего обаяния...

— О «Лестнице» (так для краткости называла свою книгу сама Бэл.— *А. К.*). Знаете, она все еще печатается. Сейчас готовится сорок седьмой тираж. Издательство хочет, чтоб я написала пролог и эпилог. Пролог — о том, с чего все началось. Я ведь эту книжку не думала писать. Написала маленький рассказ для журнала, журнал вышел, какой-то редактор издательства прочел рассказ и позвонил мне: о, из этого мы можем сделать книжку!.. Я встретилась с ним и говорю: я никогда не писала романов, и потом — все, что нужно было сказать, я сказала на этих нескольких страничках... А у нас обыкновенно дают аванс. Тогда я очень нуждалась. Мне дали аванс. Так я должна была его оправдать, понимаете? Я не могла не написать книжку. Вот так вышло. Если б не аванс...

Еще про «Лестницу». Моя книжка была первой о школе. После нее у нас появились еще книги про школу, их теперь сотни. А моя была первая, она как бы приоткрыла тот мир, куда не заглядывали...

Понимаете, у нас популярность книги в значительной степени зависит от того, объявлена ли она бестселлером. Это уж потом разберутся, что к чему, а сначала читают, потому что бестселлер. Я была «бестселлером» шестьдесят пять недель. Так покупали. Читали. Смеялись. Закрывали книжку, а потом, может быть, и задумывались: так вот как в школах!.. После выхода книги много писали, обсуждали проблемы школы, дискутировали, пытались что-то исправить, но это трудно, потому что в школах засилье бюрократии.

Когда пишешь, понятия не имеешь, будет ли на это какой-то отклик. Я говорила моей редакторше: вы думаете, кто-нибудь поймет? Будут думать, что это какие-то анекдоты... Я надеялась: ну, учителя поймут, а другие вряд ли. К счастью, получилось иначе. Книгу читают многие и во многих странах. Недавно я с радостью узнала, что главу из нее у вас даже в учебник включили для изучающих английский.

Вы спрашиваете о необычной форме «Лестницы»? Знаете, это опять-таки было заложено в той маленькой рукописи, которую я когда-то напечатала в журнале и с которой все началось. Потом этот рассказ стал одной из глав книги. Там был такой сюжет: в корзине для бумаг находят какие-то клочки — распоряжения администрации школы, записки детей, учительницы, записки от родителей... Трогательные, смешные, глупые, нелепые... Например: «Извините, мать моего сына не может прийти, так как она умерла» и тому подобные. И я их так сложила — вроде мозаики. А учительница все пишет: ну, пожалуйста, ну, пожалуйста!.. Она умоляет, она надеется, хочет что-то изменить, а ничего не выходит. Я так и кончала: ну, пожалуйста, ну, пожалуйста... В издательстве хотели, чтоб я сохранила этот прием, ведь я говорю в книге о бюрократическом мире, и естественно — все бумажки, бумажки, бумажки... Летают какие-то клочки, а людей нет. Голос автора слышен только в начале и в конце. Вот так родился стиль книги.

Меня просили написать продолжение. Это у нас так принято, если книга попу-

лярна. Знаете – Тарзан, сын Тарзана, а там и внук Тарзана... Я не хотела писать «Сына „Лестницы"». Я свое дело сделала, и это закончено. Между прочим, мои коллеги, с которыми я вместе работала в школе, говорили мне, что теперь, когда директор издает свои суровые приказы и распоряжения, он красными чернилами помечает: не показывать Бэл Кауфман!.. Можно гордиться, да? А между тем, признаюсь вам, я все это выдумала, это ведь не документы в буквальном смысле слова, это, так сказать, фикция... Критики в своих рецензиях хвалили меня: дескать, как она ловко собрала документы! А я ничего не собирала, я все придумала. Это похоже на правду — вот в чем суть. Единственное, чего я не выдумала, так это некоторые бумажки администрации, но я их немножко приглушила...

Один наш журнал через несколько лет после выхода книги попросил меня вернуться к «Лестнице» на публицистическом уровне. Так я несколько недель поработала в школах, в самых обычных, рядовых; разумеется, не под своим именем. И тогда я узнала, что по сравнению с той порой, когда я была учительницей, вся обстановка в школах стала гораздо хуже. Учителя — герои, по-моему. Я много выступаю с лекциями, езжу по всей стране, люди подходят ко мне и говорят: «Я хотела уйти из школы, но когда вышла ваша книжка, я решила остаться». Они так любят детей, так любят свою профессию, но им так трудно!.. Это замечательные люди.

У нас плохо оплачивается труд учителя по сравнению с другими профессиями. Люди, которые хотят больше заработать, не идут в школу. И получается так, что люди, имеющие педагогический талант, любящие детей, не попадают в школу.

О названии книги. Вы знаете, я боялась, что название никто не поймет. Я говорила редактору: как вы думаете, поймут, что это символ, что моя героиня старается идти против всех?.. А сейчас заглавие это вошло в обиход, в повседневную жизнь. Недавно мне прислали из одной провинциальной газеты вырезку: какая-то политическая статья, а название — «Вверх по лестнице, ведущей вниз»...

О новом романе. По-английски он называется «Любовь и так далее». В редакции «Иностранной литературы» еще не пришли к окончательному выводу, как назвать: «Любовь и все прочее» или «Любовь и все остальное». Я надеюсь, что будет хороший перевод. У вас вообще переводчики замечательные. Я до сих пор восхищаюсь, как переведено: «Привет, училка! Привет, зубрилка!». Как будто я написала это на русском языке, так для меня это звучит.

«Любовь и так далее». Роман написан, так сказать, на трех уровнях, тремя стилями, совершенно различными, а в конце они все сливаются вместе. Первый уровень — дневник героини. Моя героиня влюбляется и рассказывает в дневнике, как это все от сердца идет... Другой уровень — письма. Все, что с нею происходит, она описывает в письмах к подруге. А третье — она пишет роман, то есть переводит все содержание дневников и писем в художественное видение. Очень трудно было осуществить этот замысел...

Расскажу вам забавный случай. Когда моя книга «Любовь и так далее» вышла, на обложке я увидела рисунок: молодая пара стоит обнявшись. А моей героине пятьдесят лет, а герою — чуть больше... Я хотела показать, что такая глубокая настоящая любовь может происходить не только у двадцатилетних. Так вот, увидев эту обложку, я звоню в издательство и говорю: знаете, если кто-нибудь прочтет мой роман и увидит, что рисунок этот, мягко говоря, не имеет к роману никакого отношения, он, наверно, будет очень недоволен... Мне говорят: подождите, созвонимся с художественным редактором. Хорошо, жду. Через некоторое время звонят: художественный редактор сказал: «Если вы внимательно приглядитесь к рисунку, вы увидите, что у героини три седых волоска...».

Как я работаю? Честное слово, в моей манере работать нет ничего поучительного. Для меня самое трудное — заставить себя сесть за стол. Я нелегко пишу. Очень трудно. И я не работаю каждый день. Вот, например, нужно отнести послезавтра статью в редакцию — так я начинаю в последнюю минуту. Я жду, тяну, ничего не делаю, а в последнюю минуту какая-то паника. И эта паника дает какой-то сок... А дисциплины у меня нет. Но уж когда я работаю, то я работаю, как сумасшедшая. Когда я писала «Любовь и так далее», я вставала, смотрела в окно — темно... Садилась за стол и не замечала, как проходил день. Если б муж не приносил что-нибудь поесть, я не знаю... Так и жила в ночной сорочке три года. Да, три года... Вообще я пишу так: сначала на машинке — все, все сливаю, но это чтоб никто не видел! Потом беру ручку и сокращаю, без конца сокращаю!..

А знаете, как Шолом-Алейхем писал? Он писал рано утром, когда даже бог спит — так он говорил. Стоя писал, у конторки. Он стоял и смотрел куда-то в себя, прислушивался к чему-то в себе. Иногда тихо посмеивался. И без конца переписывал, переделывал! Он часто посылал в издательства телеграммы с просьбой изменить одно слово. И он писал каждый день. Мне рассказывали, что перед самой смертью рука его машинально двигалась по одеялу, как будто писала. Это мне говорили свидетели его смерти...

— Вы видели телефильм «Тевье-молочник»?

— Конечно. И не только видела. Мне подарили видеокассеты с этим фильмом.

— Вам понравился фильм?

— Очень! Ульянов поразительный актер!

— А пьесу «Улица Шолом-Алейхема, 40» видели?

— Да. Там замечательная актриса — Римма Быкова. Она мне понравилась больше пьесы. Мы потом прошли за кулисы, поцеловались с ней, она такая милая, чудная женщина!..

О многом еще говорилось во время той встречи. Сравнивая решение той или иной социальной проблемы у нас и в Соединенных Штатах, я нередко думал: слава богу, у нас не так... А порой обнаруживались сходные заботы. Например, преобладание женщин-учителей в школах. И тут же Бэл с восторгом говорила о наших женщинах, вспоминала пьесы А. П. Чехова, «Родню» Н. Михалкова — ей показали в Москве...

И снова — о детях, о мире, о необходимости знать и понимать друг друга.

Недавно я получил из Нью-Йорка коротенькое письмо. В нем характерные для Бэл строки: «Сейчас мы с Сидни оба дико заняты. Много работы, много забот...». Сидней — муж Бэл, дизайнер и философ. Тогда, в июне, они приезжали вместе. А после встречи М. С. Горбачева с Р. Рейганом в Рейкьявике вдруг вижу в программе «Время» Сиднея, обаятельного, элегантного Сиднея — он дает интервью на улице Нью-Йорка корреспонденту советского телевидения. Четко и ясно говорит о своем неприятии той позиции, которую заняла американская администрация на переговорах в Рейкьявике.

Что ж, много работ, много забот — это прекрасно, когда все они направлены к одной цели: содействовать взаимопониманию между нашими народами, которым суждено идти по лестнице истории рядом и только вверх.

Изыскания

Л. Н. ГУМИЛЕВ,
доктор исторических наук, профессор

АПОКРИФИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

«Седьмая тетрадь» заканчивает публикацию исследования известного ленинградского историка Л. Н. Гумилева (См.: «Нева», 1988, № 3). Работы интересной, но не бесспорной. Автор построил ее в форме диалога, максимально приблизив тем самым выдвинутую им концепцию к читателям литературно-художественного журнала. Правда, автор сознательно ограничил себя опровержением лишь полярно противоположных суждений анонимных оппонентов, оставив за пределами своего внимания аргументы многих историков, не во всем разделяющих его точку зрения.

Удалось ли автору склонить на свою сторону читателей и убедить их в том, что на золотоордынское иго нужно смотреть по-другому, судить, видимо, тем же читателям.

В спор вступает научный сотрудник-дилетант: «Если есть хорошие и плохие люди, значит, есть добрые и злые правители. Чингис-хан, конечно, был злой, потому что много воевал».

Автор. Суворов тоже всю жизнь воевал, однако мы его ценим и чтим.

Научный сотрудник. Я не свои слова говорю. Такой ученый, как Г. Е. Грумм-Гржимайло писал о Чингисе: «Злой, жестокий и мстительный трус, решающийся на отважные поступки только тогда, когда задеты его материальные выгоды, себялюбец, лишенный рыцарских чувств — вот каков портрет Тэмуджина в молодости».

Автор. Вы нечестно цитируете, обрывая цитату на полуслове. Дальше, через запятую, следует: «И, конечно, будь этот портрет хоть сколько-нибудь верен, Тэмуджин не мог бы стать тем, чем он стал, и возбудить к себе уже с юных лет, с одной стороны преданность и симпатию, с другой — боязнь и зависть, а засим и открытую вражду тех, которые прозревали в нем силу, способную умалить, если не совсем уничтожить их влияние на народ». Уж лучше воздержаться от цитирования, чем искажать слова великих ученых.

Научный сотрудник. Современники Чингиса были осведомленнее нас. А источники ссылаются на их отношение к Чингису.

Автор. Скажите честно: про Вас в институте никогда не говорили дурно и несправедливо?

Научный сотрудник. Конечно, говорили, но ведь

это были сплетни, интриги. Разве можно им верить?

Автор. Вот и Тэмуджин был в таком же положении. История его жизни известна в двух версиях. Первая — «Официальная», сохранившаяся на персидском и китайском языках, и вторая — «Тайная история», на монгольском языке, написанная очевидцем многих событий. Этот очевидец не любил Чингиса, поэтому относился к числу сплетников, а составители официальной истории были подхалимы, что естественно: иначе их не привлекли бы к такой ответственной работе. Кроме них, были и открытые враги, разумеется, вне Монгольского улуса. Те просто лгали, говоря все, что пришло им в голову. Боюсь, что в данном случае доверчивость неуместна.

Научный сотрудник. Но коль скоро так, то и Вам верить нельзя.

Автор. Но ведь я не современник Чингисидов, и потому личных пристрастий у меня нет. Я ученый, поставивший себе цель рассмотреть изменения, происходящие в поведении людей на этническом уровне. Можно, конечно, работать и на персональном уровне: заниматься даже биографиями, если нет обобщенных статистических данных. Но при этом нельзя забывать, что не во власти одного человека нарушить природные закономерности, а приписывать ему такую способность — это ревизия исторического материализма, четко определившего роль личности в истории.

Научный сотрудник. Значит, Чингис-хан, Наполеон и Гитлер не виноваты?!

Автор. Нет, почему? Они виноваты в своих личных преступлениях, обусловленных личным свободным выбором. Но вызвать мировую войну таким образом так же трудно, как создать циклон или цунами. В древности люди верили в колдовство и убивали неповинных людей, обвиняя их в том, что они вызвали бури или засухи.

Научный сотрудник. В описанных Вами подробностях детства и юности Чингиса в Вашей книге «Поиски вымышленного царства» я вижу только обычные межплеменные столкновения, из которых вырастают феодальные отношения. Не более.

Автор. Тезис, согласно которому феодализм возник как следствие завоевательных войн, а не изменившихся производственных отношений, принадлежит К. Каутскому. У Вас какая-то непонятная тяга к устарелым теориям. Народы сами создают свою славу. Так сложились древние римляне и скандинавские викинги. По той же схеме создался Монгольский улус: путем усложнения этно-социальной системы. Это усложнение было достигнуто благодаря деятельности «людей длинной воли» — богатырей, отколовшихся от своих родов. Они не наследовали свое социальное положение, а меняли его. Но любое изменение возможно лишь при затрате энергии. Откуда избыток реальной энергии мог появиться у этих людей? Есть только один источник — природа. Если мы проследим канву событий, станет ясно, что этот излишек — результат мутации, затронувшей популяцию монголов в XI веке. В результате мутации в генотипе появился признак, обеспечивающий избыточную абсорбцию особой энергии из природной среды.

Научный сотрудник. Не буду Вас ни читать, ни слушать! Что Вы тогда будете делать?

Автор. Искать собеседников и читателей. И думаю, что найду.

Историк Востока (эрудит). Не может быть сомнения, что создание Монгольского улуса в XIII веке не является заслугой одного человека, пусть даже гениального злодея, если такие вообще бывают. Отметим, что Монгольскому улусу предшествовали хуннская родовая держава III—I веков до н. э. и Великий тюркский каганат VI—VIII веков. На этом фоне Монгольский улус, просуществовавший как целостность всего 60 лет и как мозаичная совокупность ханств с династией Чингисидов 170 лет (1200—1369), не является чем-то исключительным. Поэтому целесообразно говорить о соотношении более крупных величин, например, кочевников и оседлых. Об этом говорили такие ученые, как В. В. Григорьев в 1875 году и Рене Груссе в 1941 году. Первый писал, что «одной алчностью к грабежу нельзя объяснить массовые вторжения кочевников в оседлые страны. На это должны быть более важные причины. Нет ни одного случая, где бы кочевники выселились с родины своей добровольно и произвольно кидались на земли оседлых. Их, согнанных и удалившихся с собственных земель, приводила к этому необходимость овладеть другой территорией, на которой они могли бы существовать». Под «необходимостью» покидать родину понимаются недороды трав, засухи, нападения соседей, комментирует А. Ю. Якубовский, считающий причиной завоевательных походов классовое расслоение внутри кочевого общества.

Автор. Не совсем понятно, почему в обществе со стабильным способом производства, при консервативных производственных отношениях вдруг за несколько десятилетий сложилась новая формация. За счет каких сил могло там появиться классовое расслоение?

Историк Востока. Погодите, это еще не все. К аналогичным взглядам пришел Р. Груссе, изложенный А. Ю. Якубовским. «Если проследить тщательно китайские хроники, тюрко-монгольские набеги являются их лейтмотивом... и повторяются почти каждые десять лет. До тех пор, пока династия сильна, набеги остаются набегами, укусами насекомого на теле огромной империи. Если организм болен, это — смерть». Неужели Вы с этим не согласны?

Автор. Конечно, нет! Оседлые народы — китайцы, арабы, персы и маньчжуры были куда агрессивнее степняков. До XI века арабы вторгались в Среднюю Азию и Поволжье, китайцы, не только при воинственных династиях Хань и Тан, но и в эпохи Цзинь, Суй и Мин, пытались закрепиться в Турфане, не говоря уже об их продвижении на юг от Янцзы и на Формозу (Тайвань). Маньчжуры — народ оседлый, подчинили Монголию, Джунгарию и Кашгар.

Историк Востока. А как же Вы интерпретируете походы Чингиса, его детей и внуков?

Автор. А Вы обратите внимание на то, с кем они воевали. Кроме захватчиков чжурчжэней, жестоких соперников, ровесников по этногенезу, только с кочевниками: меркитами, кераитами, найманами, кыпчаками, то есть половцами, канглами, то есть печенегами, составлявшими основную силу хорезмшахов, туркменами-сельджуками и с карлуками. Конечно, населению страны, где идет война, всегда плохо, но надо уметь выбирать союзников, как это сделали уйгуры, армяне и никейские греки. А долгую войну с Китаем вызвала сама династия Сун, пытавшаяся отнять у монголов земли, завоеванные ими у чжурчжэней, нападавших на монголов.

Историк Востока. Вы, кажется, хотите оправдать монгольские походы, а значит, и кровопролития...

Автор. Нет! Я только хочу понять: почему монголы побеждали тех, кто был значительно сильнее их? И разговор о том, кто лучше, а кто хуже — беспредметен. Монголы учиняли жестокие кровопролития, говорите Вы? А вырезанный Иерусалим, где в 1099 году крестоносцы не оставили в живых даже грудных детей! А разграбленный ими же в 1204 году Константинополь! А приказ Черного Принца вырезать все население Лиможа в 1370 году? Черного Принца, который считается национальным героем Англии! А чем же он «лучше» монгольских полководцев?!

Но дело даже не в этом. Гораздо важнее уяснить общую причину побед слабого над сильным. История при помощи гуманитарной методики на этот вопрос не смогла ответить. Поэтому логично сменить методику. А значит, надо обратиться к естествознанию.

Любую этническую систему можно уподобить движущемуся телу, характер движения которого описывается через три параметра: массу (человеческое поголовье), импульс (энергетическое наполнение) и доминанту (слаженность элементов системы внутри нее). Последними двумя качествами в большей степени обладают этносы, находящиеся в фазе подъема. В этом смысле монголы XIII века являются подобием викингов, арабов при первых халифах, зулусов Чаки и готов II века. После фазы подъема сначала система разрывается во внутренних конфликтах от энергетического перегрева в акматической фазе и затем теряет прежнее единство в фазе надлома. Монголы были молодым этносом в фазе подъема — вот секрет их успеха. Эта версия не противоречит всем известным фактам, а также объясняет развал улуса в 1260 году.

Историк России. А как же Вы с этих позиций трактуете такой общеизвестный термин как «татарское иго»? Простые русские люди переносили владычество Орды очень тяжело и назвали его «игом» недаром.

Автор. Простые люди всех стран и эпох не испытывают восторга при уплате налогов правительству. Однако этот повсеместный факт далеко не всегда именуется «игом». Во Франции бретонцы, гасконцы и провансальцы выплачивали налоги французскому королю, сидевшему в Париже, хотя ни те, ни другие, ни третьи французами не были. Французы их завоевали, и достаточно жестоко, только в XIII—XV веках. До этого они были связаны либо с Англией — Бретань и Гасконь, либо с Германией — Лангедок. Прочтите работы О. Тьерри.

Историк России. Всем известно, что Батый завоевал Русь и обложил ее данью.

Автор. Батый с войском в 30 тысяч всадников действительно прошел через княжества Рязанское, Владимирское и Черниговское в 1237—1238 гг. Гарнизонов в городах Батый не оставил, а следовательно, и дань платить было некому. Уплата ее началась двадцать лет спустя, благодаря дипломатическим переговорам Александра Невского с ханом Берке.

Руси тогда угрожал немецкий натиск, и Александру Невскому найти союзника было *жизненно необходимо.* Русско-ордынский союз остановил натиск немцев на восток.

Историк. Но русские люди страдали от татарского ига!

Автор. В Древней Руси это слово употреблялось в разных значениях. «Иго» означало то, чем скрепляют что-либо, узду или хо-



мут. Существовало оно и в значении «бремя», то есть то, что несут. Слово «иго» в значении «господство», «угнетение» впервые зафиксировано лишь при Петре I в 1691 году: «Писали запорожцы... будто они... с немалою жалостью под игом московского царя воздыхают».

Историк. А как же говорили об ордынском владычестве русские люди XIV—XV вв.?

Автор. Они называли золотоордынского хана «царем». Вспомните летописный текст: «Скончался добрый царь Джанибек». Любопытно, что даже во время «великой замятни», когда в Сарае шла череда цареубийств и была полная анархия (1357—1380), удельные князья продолжали высылать в Орду «выход» (налог). Те же, которые этого не делали, подпали под гнет Польши.

Историк. Почему же никто не говорит «польское иго», а все знают, что было «татарское иго»?

Автор. Это словоупотребление объяснено историком В. В. Каргаловым, в вышедшей в 1980 году книге «Конец ордынского ига». Автор ее считает, что впервые оно было употреблено статс-секретарем короля Стефана Батория Рейнгольдом Гейденштейном в «Записках о Московской войне». Он привел ряд оценок деятельности Ивана III. Русский летописец (Казанская летопись) писал, что Иван III «восприет велие дерзновение, побарая по крестьянской вере, и презре, преобиде... царя Ахмата Златия Орды, и страх и буесть всех варвар в плюновение худое вмени, и крепце вооружися и мужествение ста против неистовства царева, и гордого шатанин послов его отнюдь не восхоте, и до конца отложи дани и оброки давати ему, ни сам в Орду приходити к нему».

Из цитаты не видно, чтобы войну на Угре рассматривали как восстание; упор делается на войну за христианство, против несправедливого царя. Возникает мысль, что сам Иван III не знал, что он находится «под игом», как Богдан Хмельницкий не считал подчинение Москоаскому царю Алексею «игом». Хотя на Украине XVII—XVIII вв. были противники объединения с Россией, однако народ их не поддержал, ибо отказ от союза с Москвой означал необходимость подчинения Польше, Турции или Швеции. Иван III имел татар у себя на службе: крымский татарин Нур-Даулет, командуя московским войском, спустился по Волге и разгромил Сарай, чем лишил хана Ахмата тыла, после чего положение последнего стало безнадежным.

Если считать ордынский суверенитет в Восточной Европе и Западной Сибири «игом», то как назвать власть Литвы над исконными русскими землями — Киевом, Волынью, Белоруссией? Каргалов отмечает, что эта «выдумка Гейденштейна, подхваченнан известным французским историком де Ту, получила впоследствии самое широкое распространение в исторической литературе».

Историк. Но значит ли сказанное Вами, что надо любить Золотую Орду?

Автор. Разве речь идет о любви? Союз Руси с Ордой был результатом не завоевания, а политического расчета, который оправдался. Татарская конница задержала наступление Литвы на Русь и амортизировала грозный удар Тимура. В XV веке Москва была уже сильнее Орды, что показывает неудача московского похода Едигея, только что разбившего на Ворскле отборное европейское рыцарское войско (1399). Но вспомним, что Едигей был ставленник Тимура и погиб в борьбе с ордынцами.

Союз Москвы и Орды держался до тех пор, пока он был взаимовыгоден. Но процессы этногенеза неуправляемы и идут по ходу времени. Россия в XV веке росла и крепла так неудержимо, что смогла противопоставить себя и западноевропейскому, романо-германскому суперэтносу, к которому примкнула Польша, и ближневосточному, возглавленному Турцией. А Орда распадалась. Часть татар после принятия ислама ханом Узбеком в 1312 году влилась в состав России, а другая часть понадеялась на Турцию... и проиграла. Именно этот раскол тюрко-монгольской степной культуры облегчил совершенный Иваном III переворот, в результате которого столица Восточной Европы из Сарая была перенесена в Москву, а наиболее непримиримая часть бывших ордынцев, приняв имя «узбеков», в честь хана, обратившего их в ислам, отошла в Среднюю Азию, где сокрушила государство Тимуридов. Таким образом, Россия в XV веке унаследовала высокую культуру Византии и татарскую доблесть, что поставило ее в ранг великих держав. Остальное известно.

Историк. На базе каких источников Вы пришли к этой версии?

Автор. Я отказался от прямого использования источников, а ограничился извлеченными из них сведениями. Тогда у меня образовалась цепь событий, имеющая свою логику. Обратите внимание: геолог, астроном, зоолог, генетик и другие естествоиспытатели не имеют нарративных источников или рассказов о событиях, но им хватает наблюдений, которые они увязывают друг с другом. Эту же методику я применил к истории, сопоставляя факты, то есть события, отслоенные от текстов. Ведь тексты всегда тенденциозны, а факты молчаливы. Но ведь я не отрицаю традиционной методики, а только добавляю к ней новую, тоже испытанную и оправдавшую себя. Иными словами, я подошел к материалу как натуралист, а не как гуманитар.

Историк. Это ново, но подумать об этом стоит.

Палеотопонимист. Я с Вами не согласен. Вы писали, что «Золотая Орда служила Руси прикрытием от нападения с востока, причем в результате этого Русь успела окрепнуть и усилиться». Такое утверждение основано на явном историко-географическом заблуждении, так как с востока на Русь никто не пытался нападать: все территории, вплоть до океанского побережья, были подвластны монголам. И почему Вы назвали меня «топонимистом»? Я историко-географ!

Автор. Топонимистом я Вас назвал потому, что историки и географы учитывают в словах смысл, а Вы только звук (фонему). Монголы, как уже говорилось, создали пять самостоятельных государств: империю Юань в Китае, государство ильханов в Иране, улус Чагатаидов в Средней Азии, улус Джучидов в Поволжье и Казахстане и особый улус потомков Угедэя в Джунгарии. С 1259 года по 1307 год между этими государствами шла жестокая война. Монголо-китайское и монголо-иранское государства воеаали против степных улусов — Золотой Орды и джунгаров хана Хайду и его сына Чапара. Хубилай, завоевав Китай, превратился из хана в «сына неба», то есть императора, и сама Монголия воевала с ним как с узурпатором. Если бы не героическое сопротивление степняков, Хубилай привел бы на Русь войско из китайцев, а они вырезали население в завоеванных странах вплоть до грудных младенцев, считая это не злодейством, а нормой.

Благодаря тому, что степь устояла, войска империи Юань обратились на юг, в горные джунгли за Янцзы.

Палеотопонимист. Так, значит, монголы не виноваты в разрушениях, ими произведенных? А ведь они разрушали культурные города, убивали людей.

Автор. А их противники разве были добрее? Маньчжурский богдохан Цянь Лун в 1757 году с китайскими войсками произвел массовое истребление ойратов — западных монголов в Джунгарии. Объединенный Китай во все времена неизбежно расширялся. Так произошло с монгольской династией Юань и маньчжурской империей Цин, осуществившей расширение Китая на запад. К счастью, монголы и ойраты задержали наступление китайцев на северо-запад до XVIII века. За это время Россия сумела окрепнуть и установить твердую границу. А если бы маньчжуро-китайцы двинулись на запад в XII веке, не встречая сопротивления? Они достигли бы Волги и Днепра в то время, когда Киевская Русь распалась на уделы и потеряла способность к сопротивлению. Немногочисленные воины-монголы Батыя только прошли через Русь и вернулись в степь. А китайцы пришли бы в большом числе и осели бы в завоеванных городах. Так было бы, если бы не было монголо-тюркского амортизатора, малочисленного, но боеспособного.

Палеотопонимист. Но ведь и тюрко-татары нападали на Русь!

Автор. Тюрки — понятие лингвистическое. Этносы, говорившие по-тюркски, частью остались в степи — казахи, частью ушли в Сибирь — якуты, а частью вошли в мусульманский суперэтнос и разделили его судьбу, ибо, хотя сама система клонилась к упадку, но культура манила к себе степняков Средней Азии.

Монгольское завосаание в XIII веке одарило побежденных новой энергией, и Мусульманский мир (суперэтнос) в XIV веке пережил краткий, но блестящий период регенерации. Эмир Тимур, горячий поборник мусульманской культуры, сумел воссоздать хорезмийский султанат Мухаммеда Гази и Джеляль ад-Дина Мынгбурни в былых границах и с прежними традициями. Опорой его власти была постоянная армия из гулямов, столицами — заново отстроенные Самарканд и Бухара, главным врагом — Великая степь и традиция кочевой культуры.

Однако содержание постоянной армии стоило дорого. Деньги для оплаты воинов приходилось добывать путем ограбления соседних государств, тоже мусульманских, тогда как степняки собирались в ополчения, а после поражений, наносимых им регулярной армией, рассыпались по степи для того, чтобы собраться вновь. Война стала постоянной, а победа недостижимой.

Главным противником Тимура был Тохтамыш, потомок Орды-Ичэна, внука Чингиса. Он овладел в 1380 году престолом Золотой Орды и казахской степью, вследствие чего постоянно угрожал северной границе государства Тимура. Тимур произвел два похода на Волгу. Первый — в 1391 году через казахскую степь до Волги и на реке Кундурче нанес поражение Тохтамышу. Однако потери Тимура были так велики, что он отвел свое войско обратно в Среднюю Азию. Второй поход Тимур совершил через Кавказ в 1395 году. При Тереке ордынцы были разбиты. Тимур прорвался в Поволжье, сжег Сарай Берке (около Камышина), прошел на север до Ельца, который тоже был взят и

разграблен. Но дальнейшее наступление на Россию ему пришлось остановить, потому что в тылу у него татары продолжали сопротивление, отвлекшее Тимура в Крым, к устьям Дона и в низовья Волги. Оттуда войска Тимура вернулись на родину.

Так как же можно утверждать, что опасности для России на востоке не было? Тимуру нужны были средства для содержания армии, без которой он не мог стремиться к своей цели — возвеличению мусульманской культуры. Россия была богата, ее юго-восточная граница была открыта для нападения. Московский князь Василий мог подтянуть войско только с севера, для чего требовалось изрядное время. Казалось бы, Тимура ожидает очередной успех... но вести войну, имея в тылу неразбитого противника, безумно. Поэтому Тимуру пришлось вернуться, чтобы спасти свое измотанное войско.

Русско-татарская дружба была благотворна и тогда, когда столица государства была в Сарае, и тогда, когда она оказалась в Москве, а оттуда перешла в Петербург. В войнах с Пруссией, Турцией, Францией и Польшей русские, татары и калмыки сражались в одних рядах, точно так же, как и в усобицах ордынских мурз и русских князей, когда половцы и татары приходили на Русь для поддержки одних князей против других, а русские поддерживали то узурпаторов (Ногая или Мамая) против законных ханов, то наоборот. В Восточной Европе была одна полиэтническая социальная система, не ставшая химерной потому, что обе стороны не старались сделать ее монолитной, жили порознь и относились друг к другу терпимо. Кончилось это только тогда, когда Орда распалась, Крым, Казань и ногайская орда связали свою судьбу с Оттоманской Портой, а бывшие несториане и шаманисты стали русскими однодворцами — стражами южной границы.

Таким образом, в XIV веке на Восточно-Европейской равнине действовали три могучих суперэтноса, или, как принято говорить, три взаимовраждебные культуры: местная, русская, объединенная православием, мусульманская, находившаяся на излете, но гальванизированная Тимуром, и западноевропейская, находившаяся в акматической фазе этногенеза и потому наиболее хищная. Эта культура сделала Польшу своим авангардом, с ее помощью вобрала в себя Литву и готовилась к овладению всей Русью. Но это удалось лишь на две трети, ибо Москва и Суздаль, Тверь и Рязань устояли. Им удалось предотвратить раздел своей страны по двум одинаково важным причинам. Первая. Мусульмане и католики усердно мешали друг другу; одна битва при Ворскле в 1399 году обессилила Литву и Польшу на десятилетие, дав передышку Москве. Вторая. Остатки носителей кочевой культуры нашли приют в Москве и умножили ее силы. Объективное сочетание обстоятельств, логика событий, то, что раньше называлось «силой вещей», спасло Россию и вознесло ее на гребень славы.

Но воспользоваться этой ситуацией Москва сумела лишь потому, что в XIV веке на ее и литовских землях произошел новый взрыв этногенеза, подобный тем, какие ранее имели место и у монголов, и у европейцев. Для России XIV века — это было второе рождение, залог долгой жизни. А там, где взрыва этногенеза не было (например, в Галиции, некогда бывшей цитаделью русской культуры), шло унылое тление и остывание пепла. Зато Галиция и Белоруссия обошлись без татар.

Так в чем же патриотизм: в дружбе народов своей суперэтнической системы или в подражании соседям, чужим и враждебным?

Палеотопонимист. Наш народ был всегда велик и непобедим. Нужно было только объединение.

Автор. А именно его-то и не было, да и быть не могло. Вы должны, как специалист, помнить, что Новгород в XII веке выделился из Русской земли и сражался с суздальцами как с иноземцами. В 1216 году в битве на реке Липице было убито свыше 9000 русских людей. В 1208 году Всеволод III Большое Гнездо «положил рязанску землю пусту». В 1380 году Ягайло вел против Дмитрия Донского волынские и киевские полки, и так далее.

Строго говоря, в XIII веке русский этнос политически представлял систему из восьми соперничающих государств, в каждом из коих этническое наполнение было своеобразным за счет смесей славян с балтами, финнами, уграми, тюрками, причем в разных пропорциях. Так ощущение общерусского единства заменялось сознанием местных интересов.

Да и культурно-политические контакты на Руси были различны. Роман Волынский был гибеллином, черниговские князья заигрывали с папой, а Юрий II выслал доминиканских монахов из своих владений. Так было еще до похода Батыя, а потом появилась новая возможность найти союзника в лице монголов: ею и воспользовался Александр Невский. Так можно ли его за это обвинить в недостатке патриотизма? Заключенный им союз с Золотой Ордой позволил остановить агрессию Запада, и спасти ту традицию, которую мы именуем «отечественной».



Заключение

Пожалуй, ни об одном историческом явлении не существует столько превратных мнений, как о создании Монгольского улуса в XIII веке. Основанием для них служат антимонгольские пасквили XIV века, принимаемые доверчивыми историками за буквальное описание событий. Не будем вдаваться в подробности исторической критики, что нами уже было сделано, а приведем некоторые цифры. В Монголии в начале XIII века жило около 700 тысяч человек, раздробленных на враждующие племена.

Обычно расчет населения делается по числу воинов, то есть мужчин, составляющих 20 процентов населения. В битве при Далан-Балджутах, между Чингисом и Джамухой, с обеих сторон сражалось около 43 тысяч монголов. Значит, всего монголов проживало тогда около 200 тысяч, а остальные полмиллиона падают на долю кераитов, найманов, меркитов и татар, покоренных монголами в 1201—1210 годах.

Государства, окружавшие Монголию, имели гораздо более многочисленное население. В Тангутском царстве жило около 2500 тысяч человек, из которых в армии служило около 500 тысяч. В Китае, Северном — подчиненном чжурчжэньской династии Кинь (Цзинь), и Южном — 80 миллионов, в Хорезмийском султанате — около 20 миллионов, в Восточной Европе — приблизительно — 8 миллионов. Если при таких соотношениях монголы одерживали победы, то ясно, что сопротивление было исключительно слабым.

Отметим, что, очевидно, здесь имеет место закономерный процесс этнической истории, которая в каждом регионе индивидуальна. Но этносы взаимодействуют и между собой, что влечет разнообразные последствия, часто трагичные. В XIII веке пострадали народы, оказавшиеся в слишком тесном соседстве. Но искать виновных антинаучно. Сода и лимонная кислота, будучи смешаны в водном растворе, шипят и выделяют тепло. Это реакция нейтрализации, которая идет естественным путем. Разве меньше пролили крови готы и вандалы в III—V веках или викинги в IX—XI веках, крестоносцы в XII веке? Конечно, нет! Но их завоевания были подобны расширению Римской республики.

Арабы в VII—VIII вв. расправлялись с персами, армянами, испанскими вестготами, берберами, а согдийцев — культурный и богатый этнос уничтожили так, что от них остались только реликты в недоступных горах Гиссара и западного Памира.

На этом фоне взрывы этногенеза у чжурчжэней и монголов не представляют собой ничего особенного, хотя летописцы-современники не пожалели черной краски для истории XIII века.

Этногенезы — процессы, возникающие вследствие природных явлений, а, как известно, природа не ведает ни добра, ни зла. Ураганы, ледники, землетрясения приносят людям бедствия, но сами являются частями географической оболочки планеты Земля, в состав которой, наряду с литосферой, гидросферой, атмосферой входит биосфера, частью коей является антропосфера, состоящая из этносов, возникающих и исчезающих в историческом времени. Моральные оценки к этносам так же неприменимы, как ко всем явлениям природы, ибо они проходят на популяционном уровне, тогда как свобода выбора, определяющая моральную ответственность, лежит на уровне организма или персоны. Этногенезы на всех фазах — удел естествознания, но изучение их возможно только путем познания истории, содержащей материал, подлежащий обработке методами естественных наук.

Сравнив тюрко-монгольскую концепцию с романо-германской, мы невольно заметим, что в них есть черты сходства и существенные различия. И та, и другая основаны на эмоциях, вернее, на доверии к традиционному восприятию прошлого, без тени научной, исторической критики. Для тюрко-монголов завоевания Чингисидов — подвиг, для европейцев — бедствие, к счастью, их миновавшее.

Тюрки и монголы не нуждаются в доказательствах своей точки зрения, поскольку она не умопостигаемая теория, а ощущение. Уважать дух великого предка для них то же самое, что видеть солнце, ощущать тепло костра, нюхать аромат цветка. Это факт, не нуждающийся в аргументации. А французам и немцам было необходимо обосновать свою ненависть, так как она ни из чего не вытекала. Поэтому появилась оригинальная теория европоцентризма, то есть центра мировой культуры, окруженного «дикими» и «застойными» азиатами, африканцами, индейцами, которых истребляли, как волков, и полинезийцами. Сюда были причислены и русские.

Европоцентристская концепция проникла в Россию и была принята без критики. Если русские бояре и думные дьяки XVI—XVII веков были лишены предвзятостей, благодаря чему использовали татарско-башкирскую и калмыцкую конницу против Польши и Швеции, то в устах просвещенных дворян XIX века слово «татарщина» стало синонимом дикости и произвола. Думается, что к этой проблеме следует отнестись исторически справедливо.

тетрадь

По случаю юбилея

Анатолий ПЕТРОВ

ПОСТИЧЬ ДУШУ МАСТЕРА

Жизнь лауреата Государственной премии РСФСР В. П. Астапова связана с искусством скульптуры. Он оставался верен ему все годы войны и ленинградской блокады, верен ему и сейчас, на пороге своего семидесятилетия. Талант, трудолюбие, прямота, искренняя вера в человека — вот черты Астапова-скульптора, признанного мастера портрета.

А постижима ли она? Я обращался к скульптуре — часами листал альбомы Микеланджело, Донателло, Родена, Мештровича, Коненкова, Голубкиной, ходил вокруг монументов на площадях, сидел перед ними, и стоял при всякой погоде и во всякое время суток и сделал вывод: душу ваятеля постичь невозможно. Ибо он — Создатель. И его создания — вечны. Это он постигает и великих, и малых, и созданные его руками бронзовые и мраморные образы их несут в вечность печать его знания, его постижения человека. Так думал я. Пока не познакомился со скульптором Астаповым



Жажда (Побег). 1965

Я наблюдал его в работе Мокрая глина пищала, когда он стискивал ее в ладонях, и из нее летели брызги. Он мял ее, неотрывно глядя на модель, и пришлепывал кусочки зеленоватой пулковской глины к будущему портрету. А он уже смутно рисовался, этот портрет. Он был уже «похож», но какой-то, как бы далекий, как бы запредельный, был еще эскизен и безгласен. Глядя на него, я думал, что человек, «заключенный» в этом незаконченном образе, мучительно хочет изъявить себя — и на него нельзя было смотреть без сострадания. Тени играли на глине, неверные, неуверенные тени, и образ менялся, он казался оживающим из-за этих теней и, скованный вязкой глиной, словно силился что-то сказать...

С некоторых пор я стараюсь смотреть на лица людские глазами ваятеля. И вижу теперь гораздо больше того, чем видел прежде. Наклон головы, ее поворот, движение губ, выражение глаз говорят о человеке лучше, нежели сам он мог бы сказать о себе. «Зеркало души» раскрывает самое сокровенное, оно представляет глубинную суть характера — как бы человек ни владел мимикой, суть проявляется и, раскрепощенная, оседает на этом «зеркале». Сочетанием объемов, плавным их распределением или резкими переходами одного в другой скульптурный портрет воспроизводит облик человека реальный и в то же время как бы отодвинутый от реальности на некоторое расстояние — на какой-то шажок, на пресловутое «чуть-чуть». Тут и есть чудо искусства! Мастер лепит не копию, он творит характер и, если хотите, эпоху.



Думы солдата. 1965



Лев Толстой. 1978. Памятник, выполненный в граните, установлен в станице Староглад-ковской — там рождалась повесть «Казаки»

Мы много беседовали с Василием Павловичем Астаповым в его мастерской. Мне хотелось понять, что же значит это «чуть-чуть». Без этого понимания я терялся.

Бесчисленные скульптуры в мастерской что-то, казалось, говорили, и довольно красноречиво. Но не мне. Я не знал их языка. Я вглядывался в их глаза — они были бездонны. Сквозь мраморную пыль, осевшую на портреты, словно из вечности глядели на меня увековеченные люди. Я попытался их пересчитать — пустое занятие. И потом... мне сделалось стыдно. Я сказал: «Восемнадцать», и мой палец завис в воздухе над гордой головой Серго Орджоникидзе. Я отвел глаза влево и встретился с неистовым взглядом донателловского Гаттамелаты — его напряженное лицо со следами формовочных швов дышало такой страстной силой, что я не выдержал и спрятал руки за спину «Это всего лишь гипсовый слепок», - сказал я себе и увидел Алексея Югова.



Анна Ахматова. Портрет вылеплен с натуры в Комарове в 1963 году

На давней, двадцатилетней, пожалуй, давности, выставке в Эрмитаже я видел роденовского Бальзака. Это была воплощенная мощь человеческого духа. Казалось, прикоснись к ней, и ты ощутишь и в себе частицу этой мощи, и возвысишься над суетою будней, и поймешь, как все-таки безграничны возможности человека. Портрет Алексея Югова сродни роденовскому Бальзаку — этот образ исполнен духовной силы, он не просто запоминается, он входит в сознание и навсегда поселяется в нем. И ты можешь вызвать его в любой момент, и он, подобно духу-покровителю, явится, медленно поворачиваясь в пространстве, укрепляя веру в человека и его достоинство, твою веру в себя.

— Есть середина работы! — слышу голос Астапова. — Середина работы — перелом, середина — самое трудное.

Он пристально смотрит на модель и как будто бы отрешенно. и руки его мнут глину и мятые комочки прилаживают к портрету. И все это несуетливо, замедленными. почти сомнамбулическими движениями.



Портрет сына. 1979

— Плохо идет. Вчера я видел, вчера он уже был, а сегодня вяло идет — не чувствую, не вижу образа, — это снова Астапов.

У него есть портреты писателей. Много портретов. Писатели — давняя его привязанность, его любовь. Именно через нее он приходит к изображению.

Когда-то, очень много лет назад Ольга Берггольц прочитала ему стихи Киплинга. Он услышал их впервые и был ими покорен, они были созвучны его душе — душе бойца, танкиста, фронтового поэта. И он «заболел» Киплингом. И вылепил Киплинга. Я смотрел на его Киплинга, задрав кверху голову. Гипс тонированный, припорошенный мраморной пудрой, явил мне с верхней полки стеллажа знаменитого поэта.



Старый большевик Хрисанф Чернокозов — учитель Николая Островского. 1955

И Киплинг смотрел на меня из шеренги чабанов, художников, ученых, артистов, писателей — долгим, пронзительным и вечным взглядом изваяния.

Я оглядел весь громадный стеллаж, медленно перебирая знакомые и незна-

комые лица. Кажется, что-то проснулось во мне, кажется, что-то я начал понимать, кажется, я стал слышать голос скульптуры...

— Пошел портрет, пошел! — это Астапов.— Теперь бы не испортить деталями, не замельчить.

Он стоял перед своей работой, вдохновенный, как дирижер симфонического оркестра, вскинув руки и отклонив назад голову.

— Дело не в сходстве, хотя он похож. Дело в том самом «чуть-чуть». Здесь оно есть, я его ощущаю.

И я, поворачивая портрет на станке, тоже это почувствовал. Портрет дышал, он жил, он говорил языком пластики. И я радовался, словно сам его изваял, я гладил живую поверхность глины и думал о том, что сделает с этим портретом гипс. Белый-белый, он станет торжественным. Быть может, таким — гипсовым, белым — Астапов и выставит его? А может, переведет в бронзу? Каким он явится на выставке взорам ценителей? И что они скажут о нем? Кроме железной логики канонов, стандартов, конъюнктуры, есть высшая логика — логика искусства. Какой они станут руководствоваться? А знакома ли им логика чувств, живущих в душе ваятеля? Кто ее поймет, тот и оценит мастера.



РАЗЪЯСНЕНИЕ

В № 10 журнала «Нева» за 1987 г. помещены воспоминания Дмитрия Хренкова о встречах его с Анной Андреевной Ахматовой — «Уроки добра и мудрости». В частности, в них рассказывается об истории подготовки к печати сборника Ахматовой «Стихи и проза», выпущенного Лениздатом в 1976 г. Д. Т. Хренков в течение многих лет занимал в этом издательстве пост главного редактора. Однако процесс составления сборника отражен в его воспоминаниях не совсем точно.

Более всего меня изумила оценка работы Л. К. Чуковской — составительницы раздела «Стихотворения и поэмы» (я готовила прозу Ахматовой). Д. Т. Хренков пишет: «Что касается Эммы Григорьевны, то она безупречно выполнила свою часть работы. С Чуковской начались осложнения. Мы вынуждены были отказаться от услуг одной из составительниц».

Как могут понять это сообщение читатели, не осведомленные о событиях нашей литературной жизни семидесятых годов? Из полного умолчания и глухих намеков рассказа можно сделать вывод, что Л. К. Чуковская — слабый работник. Очень больно, что мое имя послужило опорой для этого теаевого портрета.

Но о работе составителей можно судить по авторитетным положительным рецензиям, по быстроте, с какой книга была сдана в производство (31 мая 1967-го), то есть через четыре месяца после подписания с нами договора. Этого бы не было, если бы отдел поэзии не был подготовлен так же «безупречно», как и отдел прозы. Вступительную статью к сборнику написал К. И. Чуковский. Ждали выхода книги в том же 1968 году. Но тут произошло непредвиденное. Б. Г. Друян, издательский редактор, который вел этот сборник, сообщил мне по телефону из Ленинграда, что «книга Ахматовой задержана на неопределенное время».

«Неопределенное время» длилось 7 лет. В промежутке Л. К. Чуковская запросила издательство, означает ли это промедление, что книга отвергнута совсем? В таком случае, она просила произвести с ней окончательный расчет и вернуть ее работу. Хотя директор издательства повторил, что книга только отложена, просьба Чуковской была выполнена. В конце ноября 1973 г. ей вернули подготовленные ею комментарии и аннотации к стихам Ахматовой. Статью К. И. Чуковского забрала из издательства его наследница.

А в 1974 г. Лидию Чуковскую исключили из Союза писателей, и ее имя больше не упоминалось на страницах советской печати. Таков был результат ее тогдашней борьбы за гласность, справедливость и правду.

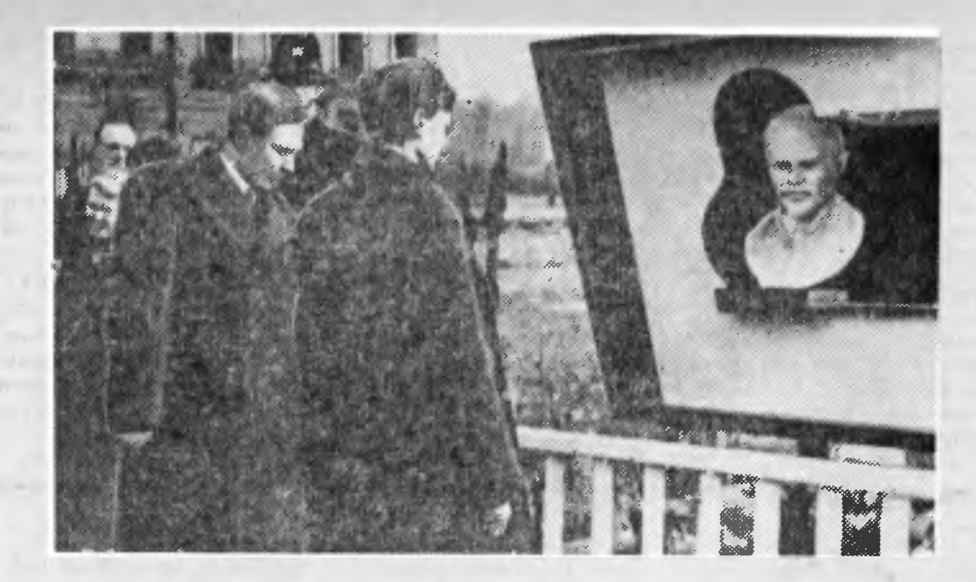
Вот на какие «осложнения» намекнул Д. Т. Хренков в своих воспоминаниях.

Между тем, в 1975 г. Лениздат вернулся к изданию сборника Ахматовой. Из старого рабочего коллектива осталась я одна. Почему же я не отказалась от сотрудничества с новым коллективом?

Подготовку прозы Ахматовой я никому не могла и не хотела передоверить или уступить. Ведь я, так сказать, подымала целину, работая над некоторыми рукописями первая. Эту возможность я получила еще до того, как фонд Ахматовой был окончательно разобран и описан в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Разрешение мне было дано по ходатайству Лениздата. По инициативе Д. Т. Хренкова то же издательство предоставило мне командировку в Ленинград для этих занятий. Все это накладывало на меня дополнительные обязательства по отношению к Лениздату. И я осталась работать в другом составе сотрудников. Вступительную статью написал Д. Т. Хренков. Роль составителя основного отдела перешла к Борису Григорьевичу Друяну. В основу его текстологии была положена работа Л. К. Чуковской, дополненая открывшейся возможностью проверять тексты Ахматовой по ее рукописям. Когда в сомнительных случаях Борис Григорьевич советовался со мной, я не скрывала от него, что, в свою очередь, посоветуюсь с Чуковской.

Но сегодня я считаю необходимым рассказать читателям «Невы» о характере «осложнений», возникших у Лениздата с Л. К. Чуковской.

Эмма Герштейн



ПИСЬМО ИЗ ЛОНДОНА

Е. Куницын,

моряк дальнего плавания

В журнале «Нева» № 4 за 1987 г. опубликован мой репортаж «Бесценная реликвия», в котором говорится о бюсте В. И. Ленина, хранящемся в Ислингтонском муниципалитете города Лондона. Я сделал попытку выяснить историю создания скульптурного портрета вождя революции.

Летом прошлого года в редакцию пришло письмо от Эндрю Ротштейна, старейшего члена компартии Великобритании, историка, профессора, директора мемориальной библиотеки Карла Маркса. С его отцом А. Ф. Ротштейном, видным социал-демократом, был хорошо знаком В. И. Ленин.

Наш друг из Англии в своем письме утверждает: бюст В. И. Ленина — копия бюста, находившегося в посольстве СССР; по восковой маске, снятой с этого бюста, была отлита копия, которую в 1942 году установили на Холфорд-сквер в Лондоне. А оформил памятник известный скульптор-архитектор Б. Лубеткин. Он входил в творческую группу «Скиннер и Лубеткин», которая выполняла заказ. «Я,— пишет Э. Ротштейн.— присутствовал при открытии (22.4.1942). Я проверил все эти сведения у самого г. Лубеткина, проживающего в городе Бристоле...».

Ротштейн прислал и фотографию памятника, сделанную в 1946 году.

Как сообщалось в репортаже «Бесценная реликвия», на оборотной стороне бюста В. И. Ленина обнаружена надпись: «19 (Мордар. А.Коу) — 34».

Можно, по-видимому, предполагать, что это и есть имя создателя скульптуры. Если это так, то теперь остается выяснить, кто именно заказал ему бюст.

ПОЛЕЗНО СОПОСТАВИТЬ

Петр Дудочкин,

писатель

Общеизвестно, с какой государственной деловитостью и озабоченностью Владимир Ильич решал финансовые проблемы молодой республики, но при этом даже в самые тяжелые времена мысли не допускал, чтобы бюджет улучшался за счет продажи спиртных напитков. Полезно вспомнить его заключительное слово по докладу о продовольственном налоге на десятой Всероссийской конференции РКП(б) 27 мая 1921 года. Говоря о торговле в деревне, Ильич в числе многих задач поставил перед партией и такую: «Нужно и помаду пускать в оборот: в торговле приходится считаться с тем, что спрашивают. Спрашивают помаду, мы должны дать... (Голос с места: «А иконы, просят икон».) Вот что касается икон,— здесь напоминают, что крестьяне просят иконы,— то я думаю, что в отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что, как бы они ни были выгодны для торговли, но они поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму, тогда как помада не угрожает этим».

Таково было официальное отношение Ильича к водке. Не случайно же оно высказано в заключительном слове со столь высокой трибуны. Хочу еще раз сослаться на письмо, присланное мне в свое время сормовским большевиком, членом партии с 1917 года Яковом Карповичем Кокушкиным, ныне покойным. Яков Карпович бережно хранил письма старых знакомых, живших с Лениным в Сибири, в Минусинской глуши. Тамошний житель Калмыков в 1897 году был вместе с Владимиром Ильичом приглашен на крестины. «Запомнилось мне то,— поведал он,— что Ленин вежливо, но категорически отказался пить опьяняющие напитки за здоровье ребенка и вообще. Этот его поступок всех сидящих за столом сильно озадачил, ибо был ошеломляюще необычен. Мужчина — и не пьет? Удивительно! Странно! Один из гостей, осмелясь, спросил, что, может

быть, он болен или чересчур набожный. Владимир Ильич ответил, что он, к счастью, неверующий, то есть атеист, и вполне здоров, и разъяснил при всеобщем внимании, что алкоголь разрушает семьи, вредит здоровью, уводит обездоленных от борьбы за лучшую жизнь, делая их пассивными... Рабочим и крестьянам нужна трезвость, если они хотят покончить с темнотой, невежеством, голодом, угнетением... если они хотят жить по-человечески... Владимир Ильич интересовался нашим крестьянским бытом и очень внимательно слушал, что мы ему рассказывали. Сидел он вместе со всеми за столом, был прост, весел, шутил... Выпил стакан чая и, прежде чем уйти, душевно поблагодарил хозяев дома за приглашение и пожелал им вырастить сына здоровым и воспитать из него доброго человека и достойного гражданина России».

Храню я и письмо особенно мне дорогое. Его прислал А. Н. Емельянов, старший сын известного большевика, рабочего Сестрорецкого оружейного завода Н. А. Емельянова, укрывавшего Ленина на чердаке сарая и в шалаше за озером Разлив в 1917 году. Саше тогда шел семнадцатый год. Вот что написал Александр Николаевич: «Наша семья в июле-августе 1917 г. в меру сил и возможностей заботилась о безопасной и нормальной жизни В. И. Ленина. Я с братом обычно доставляли на лодке к шалашу Ленина обеды и газеты, причем никогда ничего спиртосодержащего не видел. В. И. Ленин и руководимая им партия большевиков отрицательно относились к алкоголепотреблению. Я буду говорить лишь о том периоде, в течение которого был знаком с Ильичом. Впервые мне довелось увидеть Ленина во время возвращения его из эмиграции в Белоострове 3 апреля 1917 г., лично познакомился с ним через три месяца, когда нашей семье было поручено укрыть вождя от Временного правительства. В период этого подполья никакой речи об алкогольных напитках не было. Они для нас не существовали. В послеоктябрьский период родителей перевели в Москву, и у них установились дружеские взаимоотношения с Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой. Ни от них, ни от родителей, ни от знакомых как во время гражданской войны, так и после нее я не слышал о том, чтобы Ленин употреблял спиртное. Более того, както при мне Н. К. Крупская и М. И. Ульянова утверждали, что Ильич спиртное не употреблял. Об этом же свидетельствуют его друзья и соратники, например Н. А. Семашко и М. Горький. В. И. Ленин, будучи главой советского правительства и руководителем партии, часто встречался с иностранцами, однако я никогда не читал в газетах и не слышал, чтобы при этом употреблялось спиртное и провозглашались какие-либо тосты. Об отрицательном отношении Ленина к алкоголепотреблению говорят некоторые его работы, документы и выступления. Известно, что еще в дореволюционное время он критиковал алкогольную политику, выступал против винной монополии. После победы Октября контрреволюция пыталась использовать спиртные напитки в качестве средства одурманивания людей и провоцирования их на контрреволюционные выступления. В тот период существовал запрет на употребление спиртного, и оно или уничтожалось, или вывозилось за границу... В ленинский период большевики боролись не только с пьянством, но и вообще с алкоголепитием, стояли за трезвость. В подтверждение сказанного можно привести множество фактов, приведу несколько... Красная Армия в период гражданской войны была трезвой. За употребление алкоголя военных, особенно комиссаров, строго наказывали. Вспоминается такой эпизод, случившийся на Восточном фронте. Один комиссар появился в пьяном виде перед красноармейцами, за что его предали суду военного трибунала... Между прочим, в тот период спиртное можно было легко добыть, поскольку спирт использовался в качестве горючего для автомобилей. Белая армия пила, и это снижало ее боеспособность. Бывало, наши красноармейцы брали опьяневшего противника почти голыми руками. Приведу один пример. Однажды нам удалось без выстрела захватить эшелон врага. Белые настолько одурели от алкоголя, что когда мы вошли в вагон, нас не опознали и потребовали объяснить: „Почему вы вошли к офицерам без доклада?". Они сообразили, что перед ними красноармейцы, лишь тогда, когда мы подняли оружие и приказали им не двигаться. При жизни Владимира Ильича пьянства как такового не существовало. Мы считали нормальным для себя вести трезвый образ жизни. Водки тогда и в помине не было, только после смерти Ленина началась все более широкая торговля спиртными напитками, в том числе и крепкими. Мое отрицательное отношение к алкогольным напиткам сложилось в основном под влиянием службы в Красной Гвардии (1917 г.), а затем в Красной Армии (с 1918 г.), однако после смерти В. И. Ленина, в связи с широко распространившимся в стране алкоголепотреблением, оно было несколько поколеблено, а в 1928 году я впервые отведал спиртное. Важно подчеркнуть, что старая „противоалкогольная закалка" не пропала бесследно, поэтому спиртные напитки меня не привлекали, даже в Великую Отечественную войну, будучи на фронте, я причитающуюся мне водку („наркомовские сто грамм") менял на сахар. Последние годы в результате серьезных размышлений, приобретения новых достоверных сведений по алкогольной проблеме, наблюдений над пьяницами и алкоголиками я стал сознательным трезвенником и радуюсь этому... Член КПСС с марта 1917 г. А. Емельянов. 26 февраля 1980 г.».

Утверждая как норму поведения трезвый образ жизни, полезно вспомнить труды Фридриха Энгельса. В нашумевших в свое время «Письмах из Вупперталя» он возмущался тем, что «пьяные толпами вываливаются из кабаков и вытрезвляются большей частью в придорожной канаве». Но если замечал где-нибудь стремление уменьшить пьянство, высказывал одобрение: например, тому, что, «ограничив количество кабаков, которым раньше не было числа, власти положили теперь до некоторой степени предел этому безобразию».

В научно обоснованной, очень убедительной статье «Прусская водка в Германском рейхстаге» Энгельс сделал такой вывод: «Прусские юнкеры в последнее время должно быть очень расхрабрились, если они осмеливаются обратить внимание всего мира на свою „спиртовую промышленность" или vulgo (попросту. — *Н. Д.*) винокурение». А причину роста преступности в народе определил так: «Настоящей же причиной было внезапное наводнение прусской сивухой, которая производила свое естественное физиологическое действие и отправляла в крепостные казематы сотни бедняг».

Если перечислить главные причины, мешающие изжить в нашей жизни пьянство, то, по-моему, самой первой надобно считать равнодушие общественности к этому злу.

Воевать с пьянством — это значит воевать на два фронта (так было в любом обществе, наше не является исключением): первый фронт — война всем, кто пьет; второй — война тем, кто спаивает или способствует этому, независимо от того, кто есть кто — шутник, рекомендующий «сбрызнуть», или отупевший бедолага из компании «на троих», бездумный рядовой труженик или не умеющий критически смотреть на жизнь руководитель, преступник или тот, кто во славе и почете. Закон трезвости для всех должен быть един, как воля партии и государства.

«С БОЛЬШОЙ СИМПАТИЕЙ...»

А. Трухин,
инженер

«Каждый четверг бываю в редакции, где в этот день собирается вся пишущая братия во главе с Горьким. Познакомился с „футуристом" Маяковским. Интересный парнишка. Он теперь выправился, читал он нам свою поэму „Война и мiр" (а не мир). и знаешь, произвела она большое впечатление по своей жуткости. Любопытно, что время от времени декламирование у Маяковского прерывается пением — (из панихиды)».

Так в августе 1916 года Александр Евгеньевич Кудрявцев описывал в письме жене, Елене Евгеньевне Звенигородской-Кудрявцевой, свое знакомство с Маяковским в редакции журнала «Летопись».

В тот год ему уже исполнилось тридцать шесть. За плечами — детские годы в семье отца-священника на станции Сенгилевской Ставропольского края, студенческая юность на историко-филологическом факультете Юрьевского (Тартуского) университета, участие в студенческих волнениях (за это он дважды исключался из университета) и в революционных событиях 1905 года на Кубани (за это познал и ссылку, и тюрьму), защита в 1908 году дипломной работы «Путешествие Артура Юнга как исторический источник» (за нее в Юрьевском университете ему была присвоена степень кандидата исторических наук), переезд осенью 1912 года на жительство в Петербург, где до конца 1915 года перебивался случайными заработками. Наконец, с декабря 1915 года — совместная работа с Горьким.

В 1929 году Кудрявцев писал в своей автобиографии: «С появлением журнала „Летопись" — был приглашен А. М. Горьким — в качестве сотрудника; в этом журнале помещал главным образом статьи и заметки библиографического и историографического характера. Из наиболее крупных отмечу — „Новости русской историографии за последнее десятилетие" (VI и XII кн[иги] за 1916 г.), „Эпоха римского империализма в новом освещении" (IX.1916), „В. И. Семевский", большой рецензии об „Ист[орической] обществен[ной] мысли" Плеханова. В первых книжках „Летописи" за 1917 г. — уже после февральской революции — поместил две статьи — „Революция и провинциальная печать" и „Культурное строительство в провинции". В течение 1917—18 гг. — состоял сотрудником газеты „Новая жизнь", где заведовал провинциальным отделом и [был] постоянным участником библиографического отдела».

В 1939 году он уточняет некоторые детали: «В 1915 г., когда начал выходить журнал „Летопись", его редактор А. М. Горький пригласил меня в качестве сотрудника. Появился какой-то просвет в моей жизни, я оказался в среде литераторов и ученых. В „Летописи" я помещал главным образом историографические обзоры и рецензии на исторические книги. Так я продержался [до] 1917 г. — до февральской революции. С основанием газеты „Новая жизнь" (в апреле 1917 года. — *А. Т.*) я стал работать в ней, главным образом в отделе библиографии и провинциальном... Великая Октябрьская революция застала меня в Сибири, куда я поехал в отпуск на побывку к жене и трехлетнему сыну... В декабре 1917 г. я вернулся в Петроград уже при советской власти. Я продолжал работать в „Новой жизни", часто бывал у А. М. Горького на Кронверкском пр[оспекте], где жил также и мой старый товарищ по университету В[асилий] А[лексеевич] Десницкий. Летом (в июле. — *А. Т.*) 1918 г. „Новая жизнь" была закрыта, а осенью началась моя педагогическая и научная работа».

Осенью 1918 года Александр Евгеньевич стал одним из основателей первого советского вуза — Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена, созданного по инициативе Луначарского и Горького, и его преподавателем — профессором кафедры всеобщей истории, заведующим кафедрой средних веков, деканом исторического факультета.

Но с каким, должно быть, волнением раскрывал он свои письма к жене, связанные с его молодостью, с Горьким!

«Сейчас нахожусь „в отпуске", но хочу его использовать для газеты. Теперь мы окончательно переехали на Шпалерную, и необходимо как следует наладить провинциальный отдел. Статью в „Летопись" не дал пока, нет времени взяться за нее... На Шпалерной тоже (как и в редакции „Летописи". — *А. Т.*) кормят обедами, попробовал раз и остался доволен. За 2 р[убля] 50 к[опеек] 3 блюда и очень сытно. А чаю сколько хочешь бесплатно. Я уже писал тебе, что вечерами в новой редакции и ужином кормят бесплатно» (1 августа 1917 года).

«Газету закрыли еще летом, но платили нам до октября» (14 января 1919 года).

И всегда — что-нибудь о Горьком, о его заботе и внимании к сотрудникам. До конца жизни (а умер Кудрявцев в декабре 1941 года при эвакуации из Ленинграда и похоронен в Угличе) хранил он подарок Алексея Максимовича — книгу «По Руси» с авторской надписью: «Александру Евгеньевичу Кудрявцеву с большой симпатией к нему. М. Горький».



НАШИ АВТОРЫ

● КУШНЕР Александр Семенович. Родился в 1936 году в Ленинграде. Окончил литературный факультет ЛГПИ имени А. И. Герцена. В 1959—1970-м преподавал в средней школе. Печатается с 1957 года. Автор многих поэтических книг. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ВОРОНИН Сергей Алексеевич. Родился в 1913 году в городе Любиме. Окончил ФЗУ в Ленинграде. Учился в Горном институте. Работал в изыскательских партиях, затем — в редакциях газет. В 1957—1964-м — главный редактор журнала «Нева». Первый рассказ напечатал в 1944 году. Автор нескольких десятков книг прозы. Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького. Член СП. Живет в Ленинграде.

● МИХАЙЛОВ Игорь Леонидович. Родился в 1913 году в Петербурге. Окончил филологический факультет ЛГУ. Работал преподавателем. С 1939 года был на военной службе, в 1943—1946-м — на военном строительстве. Печатается с 1935 года. Поэт, переводчик, критик. Автор многих стихотворных книг. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ЛИВАНОВ Василий Борисович. Родился в 1935 году в Москве. Народный артист РСФСР. Член Союза кинематографистов СССР, член СП. Автор сценариев, пьес, повестей и сказок, печатавшихся в журналах, сборника повестей «Легенда и быль», выпущенного издательством «Советский писатель» в 1985 году. Живет в Москве.

● ИЦКОВ Игорь Моисеевич. Родился в 1940 году в Москве. Окончил факультет восточных языков Московского университета. Работал журналистом-международником, последние двадцать лет — кинодраматург. Лауреат Ленинской премии за киноэпопею «Великая Отечественная». Живет в Москве.

● БАБАК Марина Михайловна. Родилась в 1939 году в Москве. Окончила ВГИК. Режиссер и кинодраматург. Лауреат премии Ленинского комсомола за фильм «Чужого горя не бывает...». Живет в Москве.

● ГУМИЛЕВ Лев Николаевич. Родился в 1912 году в Петербурге. Окончил исторический факультет ЛГУ. Доктор исторических наук. Автор десяти научных монографий и более ста статей по истории народов Центральной Азии. Живет в Ленинграде.

Сдано в набор 25.12.87. Подписано к печати 16.02.88. М-24019. Формат бумаги 70×108[1]/16. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2+4 вкл.=18,9 усл. печ. л. 21,0 усл. кр.-отт. 22,69+4 вкл.=23,35 уч.-изд. л.
Тираж 550 000 **экз.** Заказ № 783. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии и «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-70-35, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15